

# НОВЫЙ МИР

5

---

МОСКВА

1938



К О Г И З  
ПОЛИТКНИГА

ИЗДАТЕЛЬСКОЕ  
ТОВАРИЩЕСТВО  
ИНОСТРАННЫХ  
РАБОЧИХ в СССР



# ЧИТАЙТЕ

ИНОСТРАННУЮ ХУДОЖЕСТВЕННУЮ  
ЛИТЕРАТУРУ В ОРИГИНАЛЕ

★ ★ ★

ИМЕЮТСЯ В ПРОДАЖЕ КНИГИ  
НА НЕМЕЦКОМ ЯЗЫКЕ

**БРЕДЕЛЬ, В.** — Испытание. Роман. 205 стр. Цена в пер. 4 р. 75 к.  
**ВОЛЬФ, Ф.** — Бедный Конрад. Пьеса. 116 стр. Цена 1 р. 75 к.  
**ВОЛЬФ, Ф.** — Матросы из Кагарро. Пьеса. Цена 1 р. 75 к.  
**ВОЛЬФ, Ф.** — Троицкий конь. Пьеса. 135 стр. Цена 2 р.  
**ВОЛЬФ, Ф.** — Флоридсдорф. Пьеса. 135 стр. Цена 2 р. 50 к.  
**ГЕЙНЕ, Г.** — Избранные произведения в 4-х томах. Том I. 384 стр. Цена в пер. 8 р.  
**ГЕЙНЕ, Г.** — Избранные произведения в 4-х томах. Том II. 279 стр. Цена в пер. 8 р.  
**ГЕРНЛЕ, Э.** — Крестьяне под игом. Рассказы. 136 стр. Ц. 1 р. 75 к.

**ГОТТОП, А.** — Штандер «Ц». Рассказы. 79 стр. Цена 1 р.  
**ВЕГЕРС, А.** — Путь через Февраль. Роман. 373 стр. Цена в пер. 4 р. 75 к.  
**РЕГЛЕР, Г.** — Под перекрестным огнем. Роман. 212 стр. Цена в пер. 4 р.  
**РЕНН, Л.** — Война. После войны. Роман. 62 стр. Ц. в/п. 7 р. 75 к.  
**ЦИННЕР, Г.** — Под крышами. Стихи. 90 стр. Цена 1 р. 50 к.  
**ШЕНШТЕДТ, В.** — Застрелен при попытке к бегству. Рассказы. 232 стр. Цена в пер. 2 р. 50 коп.  
**ЭРПЕНБЕК.** — Но я не хотел быть трусом. Рассказы. 136 стр. Ц. 1 р. 75 к.

## НА АНГЛИСКОМ ЯЗЫКЕ

**ВЕДЕРУАК, К.** — В марше. Роман. 252 стр. Цена в пер. 4 р.  
**КОНРСИ, Л.** — Обездоленные. Роман. 370 стр. Цена в пер. 6 р.  
**РОЛЛИНС, В.** — Тень впереди. 471 стр. Цена в пер. 7 р.  
**СТИЛ, Д.** — Конвейер. Роман. 234 стр. Цена в пер. 4 р.  
**УИТМАН, У.** — Листья травы. 558 стр. Цена в пер. 10 р.

**ФИЛЬДИНГ, Г.** — История Тома Джонса - найденыша. 930 стр. Цена в пер. 14 р.  
**ШЕКСПИР, В.** — Избранные произведения в 4-х томах. Том I. Цена в пер. 18 руб.  
**ШЕКСПИР, В.** — Избранные произведения в 4-х томах. Том II. Цена в пер. 18 р.

★ ★ ★

Требуйте эти книги во всех книжных магазинах КОГИЗ'а. В случае отсутствия на местах почтовые заказы просим направлять в ближайшее областное (краевое) отделение КОГИЗ'а или по адресу: Москва, ул. Горького, 51, Дом Интернациональной Книги.

# **НОВЫЙ МИР**

---

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ  
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ  
ЖУРНАЛ

М А Й

---

МОСКВА  
1938

---

Уполн. Главлита Б—41317.  
Объем 18 печ. л. по 64.000 знаков.  
Сдано в набор 15/IV—38 г. Подписано к печати 17/V—38 г.  
Тираж 80.000. Зак. 980.  
Технический редактор А. И. Гессен.  
Тип. «Известий Советов депутатов трудящихся СССР».  
Москва, Пушкинская площадь, 5.

## СОДЕРЖАНИЕ

*ВКЛАДКИ:* Портрет народного певца Казахстана Джамбула.  
Иван Голиков (Палех). Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».

	Стр.
МАЙ 1938 ГОДА	5
ДЖАМБУЛ — Первомайские песни, перевод с казахского	12
ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ — Высокое давление, роман	15
СТЕПАН ЦИПАЧЕВ — Четыре стихотворения	63
МИХАИЛ КОЛЬЦОВ — Испанский дневник, книга вторая	65
ЭМИ СЯО — Стихотворения, перевод с китайского	111
ИВ. НОВИКОВ — Сын тысяцкого, повесть об авторе «Слова о полку Игореве»	113
И. СЕЛЬВИНСКИЙ — Челюскиниана, эпопея	141
В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ — Дикая рейс, рассказ	177
Л. КВИТКО — Стихотворения, перевод с еврейского	193

### ЛЮДИ И ФАКТЫ

И. РАНЕВСКИЙ — РСФСР	197
М. ВОДОПЬЯНОВ — Как сбылась мечта, продолжение	213

### ЛИТЕРАТУРА

А. ВЛАДИН — Джамбул и его поэзия	243
Н. СУТТ — «Слово о полку Игореве»	252
М. ЦЯВЛОВСКИЙ — Пушкин и «Слово о полку Игореве»	260
П. ЛЕПЕШИНСКИЙ — Мастера большевистской литературной критики	272

### БИБЛИОГРАФИЯ

ИВ. РОЗАНОВ — Вас. Лебедев-Кумач, «Книга песен»	283
Ф. КЕЛЬИН — Антонио Русс-Вилаплана, «Я свидетельствую»	285
ВЛ. РУБИН — Жозефина Джонсон, «Теперь в ноябре»	286





## МАЙ 1938 ГОДА

Величественным и прекрасным был первомайский праздник 1938 года — излюбленный праздник рабочего класса, боевой смотр его революционных сил, торжество весны человечества.

Могучим гигантом встала в этот день наша великая страна, и перед всем миром открылась грандиозная панорама невиданной силы и красоты.

Авангард человечества — советский народ — продемонстрировал свои неисчерпаемые силы, неиссякаемые родники своих талантов и дарований, свои всемирно-исторические завоевания, свою безграничную преданность великой коммунистической партии, пламенную любовь к родине, непреклонную волю двигаться вперед и выше — к коммунистическому обществу.

В этот день Москва, ее Красная площадь были в центре внимания всей страны, всего мира.

По улицам и площадям Ленинграда, Киева, Минска, Баку, Тбилиси, Ташкента, Ашхабада, Алма-Аты, Еревана, Фрунзе, Сталинабада, Хабаровска и других городов шли стальные батальоны Красной Армии, стройные шеренги рабочих, крестьян, интеллигенции, но мысленно они все проходили мимо зубчатых стен Кремля, мимо гранитного мавзолея, на котором в окружении своих ближайших соратников и друзей стоял человек, имя которого стало живым воплощением, символом побед социализма.

Особенной лаской и любовью народ окружал в этот день Рабоче-Крестьянскую Красную Армию — свою гордость и надежду. Народ восторженно приветствовал бойцов Красной Армии, ее командиров и политработников. С чувством законной гордости народ любовался могучей и разнообразной техни-

кой, которой социалистическая промышленность вооружила Красную Армию и Флот.

Рабоче-Крестьянская Красная Армия — армия мира, армия социализма. Она никому не угрожает, никого не запугивает. Но в случае нападения врага на наши рубежи Красная Армия обрушится всей своей мощью на агрессора и уничтожит его. Об этом говорил чеканный и уверенный марш пехотных колонн, стремительный бег металлической лавины броневиков, танков, артиллерии, грозный лет наших аэропланов.

А за Красной Армией, как ее непосредственное продолжение, в колоннах демонстрантов шли миллионы советских патриотов, готовых в любую минуту сменить мирные орудия своего труда на красноармейские винтовки, занять места танкистов, самокатчиков, летчиков и грудью встать на защиту своей социалистической родины.

Народ, неразрывно связанный со своей армией, — какая грозная, непобедимая сила!

Вот почему так веско, так убедительно прозвучали на весь мир слова сталинского наркома обороны — маршала Ворошилова, когда он подводил блестящие итоги побед Советской страны:

«Корабль социализма, рассекая волны трудностей, отбрасывая с пути своего весь мусор, неуклонно и быстро идет вперед». «... Советский государственный корабль оснащен хорошо. Его команда — это наша славная Коммунистическая партия, партия Ленина — Сталина. Во главе этой прекрасной, чудесной, делами свидетельствующей о своем могуществе, команды стоит великий кормчий — наш несравненный, великий Сталин».

«... Этому кораблю не страшны ни пучины внешних авантюр, на которые за последнее время немало охотников, ни подводные камни внутренней предательской мрази, которую наше правительство, партия, весь народ беспощадно уничтожают».

Через головы фашистских палачей и разбойников, которые терзают живое тело испанского и китайского народов, товарищ Ворошилов послал горячий братский привет героическим борцам за право на жизнь, за независимость — республиканской Испании и великому китайскому народу.

В то время как капиталистический мир, еще не успев оправиться от хозяйственной депрессии последних лет, попал в полосу нового жестокого экономического кризиса; в то время как там, в странах капитала, падает промышленное производство, растет безработица и миллионы рабочих ввергаются в пучину нищеты, в объятия голода, — в Советском Союзе народное хозяйство продолжает бурно развиваться, продукция промышленности растет из месяца в месяц.

К началу третьей пятилетки довоенный уровень крупной промышленности был превзойден больше чем в 8 раз. Увеличение промышленной продукции больше чем в 8 раз против довоенного времени было достигнуто лишь за последние 11 лет.

СССР — единственная страна в мире, где нет безработицы.

В СССР непрерывно растет материальное благосостояние трудящихся, поднимается культурно-технический уровень рабочего класса.

Каждый завод, каждая фабрика, каждый колхоз вышел на первомайскую демонстрацию с показом своих достижений, своей доли участия в великом социалистическом строительстве.

Лозунги, с которыми шли демонстранты, говорили не только о победах. Страна, которой руководит партия большевиков, никогда не довольствуется достигнутым. Она всегда стремится к большему, она заглядывает далеко вперед и стремится к тому, чтобы грядущий день был еще лучше, еще прекраснее.

Первый год третьей пятилетки ставит перед рабочими и работницами, ударниками и стахановцами, перед инженерами и техниками новые большие задачи. Стране нужно больше угля, больше нефти, больше металла, больше машин. Стране нужно больше ситца, шелка, сукна, трикотажа, обуви. Нужно еще больше крепить оборонную мощь нашей родины, вооружать Красную Армию новейшей техникой, создать могучий военно-морской флот.

Первомайские лозунги призывали к выполнению этих боевых задач.

1937 год дал стране небывалый урожай. Сталинский лозунг о 7—8 миллиардах пудов хлеба претворяется в жизнь. Первомайские плакаты призывали колхозников и колхозниц, агрономов, работников социалистических полей к тому, чтобы продолжать борьбу за высокий урожай, к образцовому проведению весеннего сева.

Разоблачив и разгромив злейших врагов народа — троцкистско-бухаринских и буржуазно-националистических наймитов иностранных разведок, пособников фашизма, шпионов, диверсантов и вредителей, Советская страна укрепила свое могущество и свою силу. Первомайская демонстрация показала, что советский народ — это народ-победитель, который сокрушит всякие препятствия на своем пути.

Молодая, мужественная и прекрасная Советская страна показала всему миру путь к новой жизни — без угнетения, без эксплуатации, без порабощения человека человеком. Великая Советская страна дала миру классический образец единства и дружбы народов. Морально-политическое единство советского народа — самое замечательное явление нашей эпохи.

★

Взоры всего передового и прогрессивного человечества в день 1 Мая были обращены в сторону СССР — страны надежд и чаяний трудящихся и угнетенных всего мира. Никогда еще угроза новой мировой кровавой бойни не нависала над миром, как в наши дни. Четвертая часть человечества уже ввергнута в войну.



«Ограбив и закабалив свои собственные народные массы, фашистские правительства врываются на чужие территории. Грабительскими военными походами против других народов они хотят заглушить возмущение трудящихся собственных стран. От своих внутренних трудностей и банкротства фашистского режима они ищут спасения в военных авантюрах. Фашистские провокаторы войны тащат человечество к новой мировой империалистической войне» — так характеризует положение в фашистских странах первомайское воззвание Исполкома Коминтерна.

Наглость фашистских агрессоров возрастает с каждым днем. Этому способствует предательская политика так называемых «демократических» стран, бездействующих перед лицом разбоя, попустительствующих агрессорам и сговаривающихся с ними о новом дележе мира.

День 1 Мая показал, что и в странах капитала есть достаточно сил для борьбы с фашизмом и реакцией. Несмотря на необычайные меры, принятые против рабочего класса, несмотря на всякие запреты и угрозы, первомайские демонстрации состоялись почти во всех капиталистических странах, в том числе и в фашистских.

Во всех странах на рабочих собраниях и митингах выражались горячие симпатии Советскому Союзу — «плоту мира во всем мире».

В своем приказе ко дню 1 Мая нарком обороны товарищ Ворошилов вовремя напомнил поджигателям мировой бойни, что «пожар мировой войны хорошо сжигает не только хижины труженников и уничтожает миллионы рабочих и крестьян, но тот же огонь войны прекрасно истребляет царей и королей с их монархиями, помещиков и буржуазию с их властью и капиталами».

Двадцать лет тому назад трудящиеся массы и угнетенные народы бывшей Российской империи сбросили цепи капиталистического рабства, сбросили со своих плеч иго буржуазии и построили новое могучее государство, которое стало отечеством трудящихся и угнетенных всего мира.

В единении с рабочим классом страны Советов рабочий класс капиталистических стран непобедим. Но для этого нужно усилить и укрепить интернациональные пролетарские связи рабочего класса СССР с рабочим классом буржуазных стран, нужно выше держать знамя международной пролетарской солидарности.

Эта сталинская заповедь была одним из ведущих лозунгов первомайских демонстраций 1938 года.

Присутствовавшие на первомайской демонстрации в Москве на Красной площади иностранные рабочие делегации имели возможность воочию убедиться в том, как советский народ осуществляет свои обязательства по отношению к международному пролетариату и к угнетенным народам всего мира. Они могли убедиться в том, что советский народ находится в состоянии мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения и что никакая «случайность» и никакие фокусы наших внешних врагов не смогут застигнуть его врасплох.

Голос советского народа против фашизма и войны раздается на весь мир. В то время как иностранные рабочие делегации после первомайского праздника разъехались по стране, чтобы ознакомиться на месте с успехами и достижениями социалистического строительства, — представители СССР — народный комиссар по иностранным делам товарищ М. М. Литвинов и председатель ВЦСПС товарищ Н. М. Шверник выехали в Женеву.

В Женеве в одном зале собрались представители прогрессивной общественности разных стран, члены Исполнительного Комитета международного движения за мир, в другом — официальные представители капиталистических держав, члены Совета Лиги Наций, призванной быть инструментом мира между народами. И в обоих залах голос уполномоченных советского народа звучит на весь мир призывным набатом: «Мир в опасности, нужно его спасти».

Товарищ Шверник, выступив на пле-

нуме Исполнительного Комитета международного движения за мир от лица организованного рабочего класса Советского Союза, еще раз напомнил сторонникам мира, что только усилия демократии всех стран смогут обуздать фашистского агрессора. «Трудящиеся Советского Союза, — заявил товарищ Шверник, — считают необходимым развитие и укрепление единого пролетарского и народного фронта во всех демократических странах, как основное условие для успешной борьбы за мир».

Товарищ Шверник призывал представителей интеллигенции — государственных деятелей, представителей науки, литературы, искусства и всех людей, искренно стремящихся к действительному предотвращению войны, стать активными застрельщиками и пропагандистами против войны и фашизма в своих странах.

От имени двадцати двух с половиной миллионов советских рабочих, служащих, инженеров, техников, врачей, деятелей науки, искусства и литературы, объединенных в профсоюзы, товарищ Шверник заявил, что трудящиеся СССР будут энергично добиваться установления единства с Международным объединением профсоюзов для борьбы против войны и варварства фашизма.

О том же самом, хотя и в иных выражениях, говорил и товарищ Литвинов на сессии Совета Лиги Наций. Представителю советской внешней политики приходится выступать в чрезвычайно сложной международной обстановке. Распутывать дьявольский клубок дипломатической лжи, уверток, ханжества и лицемерия — задача не легкая. Но товарищ Литвинов, имея за собой единство мыслей и воли стасемидесятиmillionного народа, выполняет эту задачу с присущим ему мастерством, повышая в глазах всего мира моральный вес и авторитет Советского Союза.

Это моральное превосходство страны Советов представляет собой колоссальную силу: Советский Союз стоит «как маяк, заражая духом освобождения рабочий класс всего мира и вызывая бешенство у врагов рабочего класса» (Сталин). Полностью оно скажется в

момент столкновения двух миров, и тогда обанкротившиеся буржуа вспомнят о предостережениях, сделанных им в день 1 Мая с Красной площади товарищем Ворошиловым.

★

Первомайский праздник этого года проходил в момент, когда в союзных и автономных республиках идет подготовка к выборам в Верховные Советы.

Размах избирательной кампании в нашей стране превосходит все, чему до сих пор был свидетелем капиталистический мир. Самый характер кампании у нас, в стране, где господствует демократия социализма, резко отличен от того, как проводятся избирательные кампании в странах так называемой буржуазной демократии. Не говоря уже о том, что контингент избирателей там весьма ограничен самим законом, — борющиеся на выборах политические партии (за исключением коммунистов) и сами кандидаты в депутаты вовсе не заинтересованы в том, чтобы вся масса избирателей участвовала в голосовании. Наоборот, правящие партии прилагают немало усилий к тому, чтобы помешать неудобным избирателям в осуществлении их политических прав. Бульварная газетная шумиха вокруг политических платформ разных партий и отдельных кандидатур заменяет подлинное участие масс в общественной жизни.

В нашей стране избирательная кампания становится школой политической активности миллионных масс. Избирательная кампания тесно связывается с текущей хозяйственной и политической жизнью страны. Агитаторы и пропагандисты не могут и не должны оставить без ответа ни одного вопроса, который интересует избирателя — сознательного строителя социалистического общества.

Во время избирательной кампании наша страна превращается в гигантскую школу политграмоты и просто грамоты. Все учатся. Все изучают свою родину, законы своей страны. Количество кружков, в которых изучаются статьи Сталинской Конституции, исчисляется

сотнями тысяч. Изучая Конституцию и избирательный закон, каждый избиратель поднимает ряд практических вопросов, проводит параллели между прошлой и настоящей жизнью, проверяет на деле людей, которым доверены ответственные участки работы.

Так было во время избирательной кампании в Верховный Совет СССР, та же картина наблюдается и сейчас, с той разницей, что теперь можно использовать богатый опыт предыдущей кампании.

Избирательная кампания вступила в ту стадию, когда на народных собраниях намечаются кандидаты в депутаты Верховных Советов республик. В Грузии, Армении, Азербайджане, Киргизии, Таджикики, Узбекистане, Белоруссии первыми кандидатами в депутаты выдвинуты товарищи Сталин, Молотов, Каганович, Ворошилов, Калинин, Микоян, Ежов.

С таким же подъемом и воодушевлением на первых предвыборных собраниях в Москве, Ленинграде и других городах РСФСР были выдвинуты кандидатуры вождя народов товарища Сталина, его славных соратников и лучших людей страны — знатных стахановцев фабрик и заводов, социалистических полей, инженеров и техников, педагогов, профессоров, врачей, лечиков, писателей, артистов — активных общественников, пламенных патриотов нашей великой родины.

Безгранично доверие народа к руководителям партии и правительства. Весть о согласии товарищей Сталина и Молотова баллотироваться в депутаты Верховного Совета Грузии от Ленинского и Сталинского избирательных округов города Тбилиси была встречена на народных собраниях в столице Грузии с исключительным энтузиазмом. Радость грузинского народа вылилась в многотысячные демонстрации избирателей, заполнивших площадь Закавказской Федерации, чтобы устами своих представителей выразить любовь и благодарность товарищу Сталину, Советскому Правительству. Грузинский народ видит в согласии товарищей Сталина и Молотова баллотироваться в

Верховный Совет Грузии выражение дружбы и братства с великим русским народом.

Сталинский блок коммунистов и беспартийных на выборах в Верховные Советы республик возглавляется любимыми руководителями партии и правительства. В него войдут лучшие люди республик — это видно по тем кандидатам, которые уже выдвинуты, и по тем характеристикам, которые им даются на собраниях. Блок коммунистов и беспартийных победит на предстоящих выборах так же, как он победил на выборах 1937 г., и это будет еще одним подтверждением несокрушимого морально-политического единства советского народа.

★

Как бы естественным продолжением первомайского праздника, в нашей стране является праздник большевистской печати. Большевистская печать родилась 26 лет тому назад. У ее колыбели стояли великие гении пролетарской революции Ленин и Сталин. Они создали большевистскую «Правду» — первую ежедневную большевистскую рабочую газету. В истории партии, в истории большевизма день 5 мая — большая и знаменательная дата.

«Поставив ежедневную рабочую газету, — писал Ленин, спустя полгода после выхода первого номера «Правды», — петербургские рабочие совершили крупное, — без преувеличения можно сказать, историческое дело. Рабочая демократия сплотилась и укрепила себя при невероятно трудных условиях. ... Создание «Правды» остается выдающимся доказательством сознательности, энергии и сплоченности русских рабочих».

Ленин и Сталин сделали из большевистской печати самое острое и самое сильное орудие партии. Ленин и Сталин создали славные традиции большевистской печати: ее высокую идейность и принципиальность, беспощадную самокритику, революционную бдительность и непримиримость к врагам рабочего класса, врагам коммунизма, ее неразрывную связь с массами. Эти традиции охраняются Ленинским Цен-

тральным Комитетом партии и личным руководством товарища Сталина большевистской печатью.

«Печать, — говорил товарищ Сталин на XII съезде партии, — единственное орудие, при помощи которого партия ежедневно, ежечасно говорит с рабочим классом на своем, нужном ей языке. Других средств протянуть духовные нити между партией и классом, другого такого гибкого аппарата в природе не имеется».

Велика ответственность большевистской печати перед Советской страной, перед всем миром, но почетны ее задачи. Советская печать обязана высоко нести великое знамя Маркса—Энгельса—Ленина—Сталина, вести неустанную пропаганду ленинизма, воспитывать массы в духе безграничной преданности партии, советской власти и делу рабочего класса.

Печать нашей страны воспитывает в своих читателях любовь к родине и ненависть к ее врагам.

С этими большими задачами советская печать, находясь под непосредственным руководством Ленинско - Сталинского Центрального Комитета партии, справляется и справляется с честью, и именно поэтому она пользуется большой популярностью в массах. Ленин говорил, что «Политическая газета — есть одно из основных условий для участия любого класса современного общества в политической жизни страны». А так как политическая активность масс растет в нашей стране в невиданных размерах, то и рост журнально-газетной продукции принял у нас грандиозные масштабы. Достаточно сказать, что разовый тираж газет в 1937 году (36.197 тысяч экземпляров) почти в 14 раз превышает разовый тираж газет в царской России.

Кроме того, в СССР издается 1.880 журналов, общим тиражом в 250 миллионов экземпляров.

Типы газет чрезвычайно разнообразны. В СССР выходят, кроме центральных, газеты районные, фабрично-заводские, в совхозах, в машинно-тракторных станциях.

Надо отметить еще одно явление, характерное для нашей страны: где бы ни

образовался коллектив советских граждан, там возникает газета. Газеты (то, что они стенные и нередко написаны и разрисованы от руки, — это в данном случае не имеет значения) у нас выходят на кораблях, находящихся в плавании, в различных экспедициях, в малодоступных местах и т. д., и т. п. Известно, что, когда челюскинцы высадились на льдину и разбили лагерь, они немедленно приступили к выпуску своей знаменитой газеты: «Не сдадимся!».

Так велика у советских граждан жажда политического общения, активного участия в общественной жизни.

Еще более показательны данные о росте книжной продукции в СССР.

В 1937 году в Советском Союзе выпущено почти в полтора раза больше названий книг, чем в 1913 г. в царской России. В то же время общий тираж книг, выпущенных на рынок, увеличился в 1937 г. по сравнению с 1913 г. в восемь раз и достиг цифры в 673,5 миллиона экземпляров.

В вышедшей ко дню печати книжке К. Омельченко: «О большевистской печати» приведены интересные данные о выпуске литературы на языках народов СССР. В царской России книги печатались на 49 языках, — в СССР литература издается на 111 языках. За годы советской власти более 40 народов впервые получили письменность.

Это — результат ленинско-сталинской национальной политики, это — один из блестящих итогов Октябрьской социалистической революции, приобретшей к культуре десятки народов, ранее лишенных даже письменности.

Любопытно, что на территории нынешних Киргизской и Таджикской ССР до революции не издавалось вообще никакой литературы. Менее одной тысячи книг было издано в 1913 г. в Туркмении. Во всех этих республиках, а также в Белоруссии, в дореволюционное время не издавалось книг на родном языке местных народов. В 1937 году в Таджикской ССР вышло 2.168 тысяч книг (тираж), в том числе на таджикском языке 2.012 тысяч; в Киргизии — 2.505 тыс. книг, в том числе на киргизском языке — 2.256 тысяч книг и т. д.

Где, в какой другой стране мира можно в наше время наблюдать такое победное шествие культуры?

В СССР выросли миллионные кадры читателей из рабочих и крестьян. Новые массы читателей начинают прежде всего с овладения большевизмом. Колоссален спрос на литературу по социально-экономическим и политическим вопросам. Книжки по вопросам марксизма-ленинизма, философии, истории, экономики, права, государственного устройства берутся нарасхват. За двадцать лет в СССР произведения классиков марксизма — Маркса, Энгельса, Ленина, Сталина разошлись в количестве около 356 миллионов экземпляров, из них на русском языке около 301 миллиона экземпляров.

Второе место по тиражу занимает художественная литература. За время с 1928 г. по 1937 г. тираж изданий художественной литературы вырос больше чем в полтора раза, по вопросам искусства — почти в два с половиной раза.

Новый, советский читатель умеет ценить все действительно художественное и отвергает халтуру. Новые читательские массы оказали огромное влияние на направление нашей художественной литературы, нашей критики. Господствующее направление нашей литературы — социалистический реализм. Любимыми произведениями советского читателя стали книжки, в которых отражаются героика гражданской войны, пафос социалистического строительства, победа колхозного строя, дружба народов СССР и героическая борьба угнетенных народов всего мира за свое освобождение.

Характерно, что колоссально увеличился интерес к произведениям русской и иностранной классической литературы. Нет такой библиотеки, вплоть до колхозных, где бы не было сочинений Пушкина, Гоголя, Толстого, Некрасова, Тургенева, Максима Горького, Байрона, Шекспира, Бальзака, Ромэн Роллана, Барбюса и т. д. Растет интерес и к классикам народов СССР — Шевченко, Руставели — и к их молодой советской литературе.

Чем больше растет роль и значение печати как коллективного агитатора-пропагандиста и организатора масс, тем выше должны быть требования работников печати к самим себе, к своему творчеству, к своей литературной продукции. Некоторые наши газеты, журналы не могут еще похвалиться ни четкостью, ни оперативностью своей работы, ни инициативой. В работе некоторых наших газет и журналов еще не хватает настоящей большевистской культуры. Далеко не всегда они умеют говорить с массами на нужном и понятном им языке. Нельзя забывать, что в некоторых органах нашей печати, в редакциях газет и журналов долгое время орудовали враги народа. Центральный Комитет нашей партии за последний год проделал большую очистительную работу и в области печати. Советская печать должна делаться чистыми и честными руками большевиков партийных и непартийных. Работники советской печати должны отличаться особенной зоркостью и политической чуткостью, уметь различать врагов, под какой бы маской они ни скрывались.

Надо также ускорить ликвидацию последствий вредительства в бумажной промышленности, лимитирующей развитие нашей печати.

Наконец, работники печати, как и вся наша страна, должны готовить себя к грядущим боям. Наша печать, как и вся страна, должна привести себя в состояние мобилизационной готовности перед лицом опасности военного нападения.

Таковы в общих чертах итоги дня печати 1938 года. Советский многонациональный народ — наследник мировой человеческой культуры. Он бережно собирает, хранит, творчески осваивает все лучшее, что создано прошлыми поколениями в области науки, техники, искусства, литературы. Он создает образцы новой общечеловеческой культуры.

Перед советской печатью и советской литературой открываются широчайшие горизонты, перспективы блестящего расцвета.

# Первомайские песни

ДЖАМБУЛ

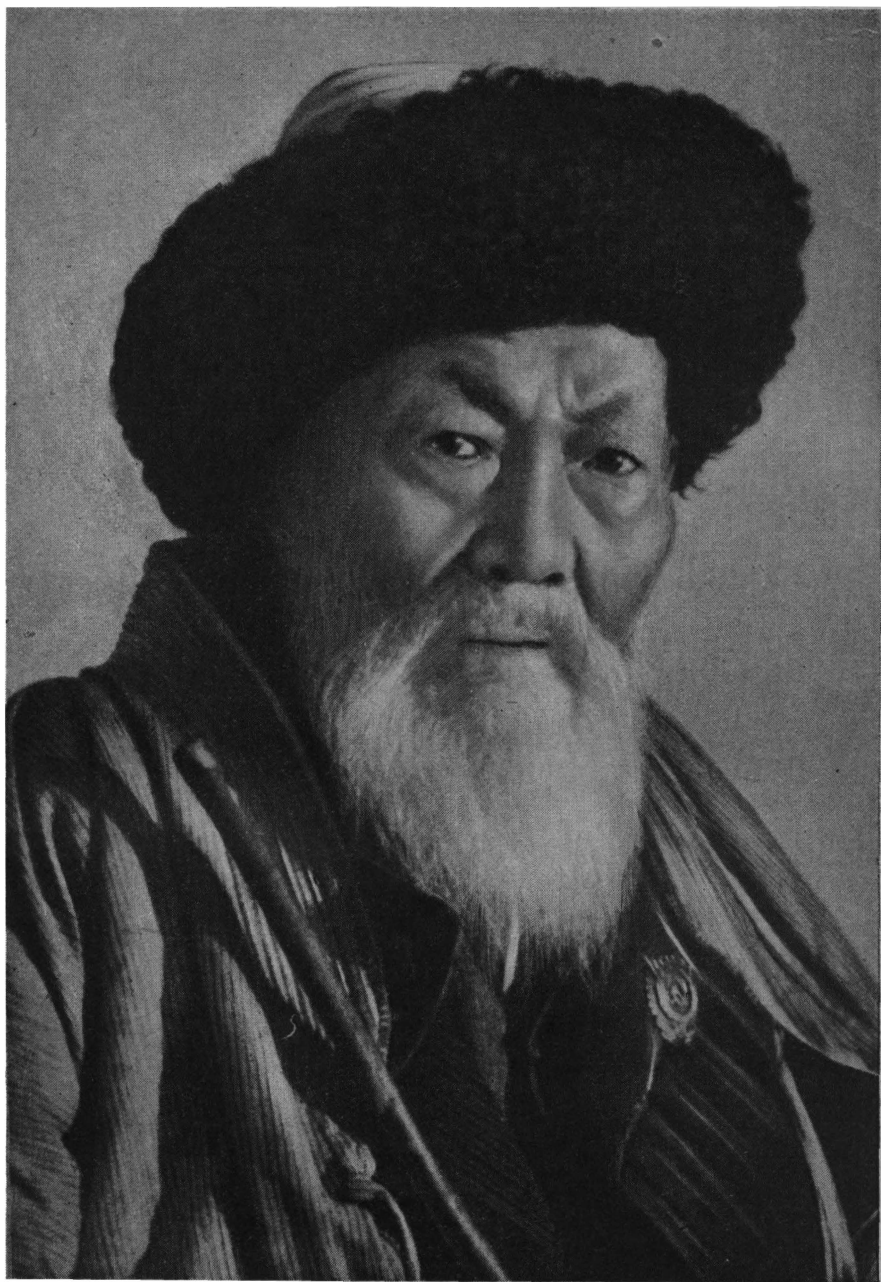
Народный поэт Казахстана, орденоносец

★

## СТАЛИН С НАМИ

Над степью просторной пылает закат. Снега на вершинах в рубинах горят. Я еду по степи. В спокойном сиянии Встают величавые воспоминанья. Я помню — свирепый буран бушевал, И землю и воды мороз заковал. В мерцаньи звезды неподвижной и синей Лежала страна ледяною пустыней. И шли под глухие стенанья пурги, Как стаи волков, отовсюду враги. Со снежного Севера, с теплого Юга, С Востока, где пела песчаная вьюга, Оттуда, где Запад от крови багров, Катились несметные орды врагов. Казалось — страну молодую задуют, Казалось — зарю золотую потушат, Но Ленин, водитель народов — в Кремле Боролся за счастье для всех на земле. И в час, когда враг побеждать начинал, Любимого Сталина в бой посылал. Повсюду, где были смертельные схватки, В Царицыне, у Петрограда, у Вятки,	Повсюду, где пела о смерти мятьель, Являлся наш Сталин, одетый в шинель. Вставали за светлое дело свободы По слову его корабли и заводы, И шахты за ним выходили в поход, И в селах за ним поднимался народ. И степи шумели, бурана сильней, В походы седлая гривастых коней. Он вел за собою нас, вождь миллионов, Над нами победно шумели знамена, И бой бушевал, как могучий Арал, И сломленный враг в беспорядке бежал. Учились у Сталина, гения мира, Серго с Ворошиловым, Фрунзе и Киров, И Блюхер, бесстрашный питомец войны, И все полководцы великой страны. И если сгустятся над родиной тучи, Народ наш свободный, бессмертный, могучий Оружие грозное в руки возьмет, И Сталин, как прежде, нас в бой поведет. Он с нами! Без страха вперед мы глядим Мы с ним побеждали и с ним победим!
--	---

★



*Джамбул, народный певец Казахстана, орденосец.*





## ВЕСНА

Халат из цветов надевает мой край.  
Идет по стране торжествующий май.  
Ручьями бушует, лучами сверкает  
Под крик лебединых играющих стай.

Заря над страной величаво горит.  
Нет в мире чудесней, чем наша, зари.  
Сияя нам сталинской теплой улыбкой,  
Она лучезарное счастье дарит.

Страна моя радостью озарена,  
Довольства, веселья и песен полна.  
К полетам на Север, к весеннему севу —  
Готова могучая наша страна.

Стада подарили нам много телят.  
Табун небывалым приплодом богат.  
Бегут жеребята, резвятся ягнята,  
Верблюдицы криком зовут верблюжат.

По глади зеркальных, спокойных озер  
С гусьями гуси плывут на простор.  
Над гнездами вьются веселые птицы —  
Ликующ и звонок их праздничный хор.

Сто лет доживающий, древний Джамбул  
Вплетает слова свои в радостный гул.  
И, отклик встречая, летит моя песня  
В казахский аул и в киргизский аул.

Пльви, моя песня, по волнам ветров  
В страну, где колышется море цветов.  
Вернулась ко мне моя звонкая юность.  
Подобно орлу, я к полету готов!

Мне девушка машет платком: «Запевай!»,  
И я запеваю — и слушает край.  
Милее всех весен, что мною прожиты,  
Мне этот сверкающий Сталинский Май!

## СЧАСТЬЕ

Давным-давно, до Октября, бродя в родных степях,  
 Я видел, как встречал закат седой акын-казах.  
 Я слышал голос старика, который умрал.  
 Была в словах его тоска. Он жизнь припоминал.  
 Он счастья в жизни не знал и шел в могильный мрак.  
 Он не жалел, что угасал. И говорил он так:  
 «Я был дрофой, в сухой степи прожившей без птенцов.  
 Я был свирелью, что молчит и не зовет бойцов.  
 Я был, как лес, совсем пустой, где звери не видны.  
 В пыли я жемчугом лежал — без блеска, без цены.  
 Так умер он. До Октября в степях я кочевал,  
 Довольных жизнью стариков нигде я не встречал.  
 А я, седой акын Джамбул, счастливейший старик,  
 К источнику живой воды горячим ртом приник,  
 И снова стал — силен и юн, как ветер с белых гор,  
 Как звонко-скачущий тулпар<sup>1</sup>, стремящийся в простор,  
 Как сокол, чьи глаза зорки и клюв, как сталь, остер,  
 Как лебедь с дальних золотых, сверкающих озер.  
 В бездонной синей высоте звезда моя горит —  
 И песня звонкая моя народу говорит:  
 Я кубок счастья пью до дна. Я счастлив, что живу  
 И сталинский счастливый век увидел наяву.  
 Про сбывшийся счастливый сон народ кругом поет.  
 Цветет семья племен, как сад, где Сталин — садовод.  
 И я, степной акын Джамбул, кто сед, но сердцем юн,  
 Несу любимому восторг и звонкий рокот струн,  
 Ему, кто землю возродил и вдохновил певца,  
 Ему, кто радость поселил в горячие сердца,  
 Родному Сталину, кто бой за счастье всех ведет,  
 Родному Сталину, кто всем тепло и жизнь несет!

*Перевод с казахского*

★

<sup>1</sup> Тулпар — легендарный крылатый конь.

# Высокое давление

РОМАН

ЛЕОНИД СОЛОВЬЕВ

★

1

Это было в деревянном городе Зволинске.

По вечерам Михаил и Клавдия ходили в кино. Трижды мигнув, гасли лампы; экран освещался голубым мерцанием первой вступительной надписи. Темный зал встречал надпись сдержанным гулом, и Клавдия вместе со всеми, и только один Михаил не читал этой надписи вслух. «Раз, — говорил он, загибая палец. — Слышишь, Клава, запомни — раз».

Прямо в лицо сухим зноем дышала пустыня; индийский раджа раздувал ноздри тонкого, горбатого носа; Пола Негри шла в пески, навстречу гибели. Через ледяные поля пробивались тяжелые ледоколы, отцы расстреливали на экране сыновей, девушка разоблачала возлюбленного — агента врангельской разведки. «Путь в Дамаск», «Три встречи», «Индийская гробница», «Кровь и песок», «Сорок первый», «Водопад жизни», «Бухта смерти»... Клавдия с головой уходила в этот мир страстей, страданий и героических подвигов. Изнемогая от волнения, она судорожно сжимала руку Михаила; он же был спокоен и холоден. Он считал надписи, затемнения и диафрагмы. «Сорок два титра, восемь затемнений, запомни, Клава!» — «Сорок два титра, восемь затемнений, — повторяла она сухим, горячим шопотом. — Смотри, Миша, он лезет в окно».

Стрекотал аппарат, луч окрашался то в голубое, то в красное. «Вираж, — шептал Михаил, — девятый вираж. Запомни, Клава». Фигуры на экране двигались с непостижимой стремительностью; так могут они двигаться только в провинции и только на последнем сеансе, когда механик устал, а дома дожидается друг и скучает один над нераскупоренной бутылкой и помидорным салатом.

Аппарат был старый, и часто механик объявлял в проекционное окно, как в рупор:

— Граждане, аппарат сломался. Сеанс окончен.

Граждане устремлялись к будке и находили ее предусмотрительно запертой изнутри. Граждане требовали заведующего. Механик отвечал через дверь:

— Заведующий здесь не при чем. Аппарат старый. Дребезжит.

— А как же теперь? — спрашивали граждане. — Так и уходить, не досмотревши за свои деньги? Откуда мы теперь должны знать, что там с ним случилось у Махны?

— А у Махны случилось с ним вот что, — говорил механик и, воодушевившись, открывал дверь. — Сидят они, стало быть, в штабе, водку пьют, и вдруг — полковник! Не тот, который в черкеске, а другой, толстый. Нагрянул и кричит: «Где план? Подавайте сюда план, или всех постреляю на месте, собачьи ваши глаза!». Они и туда, и сюда — нет плана! Сперли. Но кто — вот

вопрос. Тут, стало быть, который с усиками, хватает: «Вот он, красный! Держите!» — «Что? Какого полковника?..» — «Да не полковника вовсе, а этого, приезжего. Экой вы народ беспонятный!» — механик сердился, и его черные греческие усы шевелились.

— Говорят вам русским языком — приезжего хватает. Тут, конечно, обыск. Эх, запутался! Полюбовница приходит сперва, а в руках у нее письмо... Обождите-ка, я вам про письмо говорил?

— Нет, — отвечали граждане.—Про письмо позабыл.

— Ах ты! — досадовал механик и снова рассказывал всю картину — подробно, с глубокими отступлениями в прошлое; граждане переставали понимать даже то, что видели до порчи аппарата.

Потом Михаил провожал Клавдию домой. Они шли через свежую весеннюю мглу переулков, разговаривая вполголоса, чтобы не потревожить угомонившихся на ночь собак. Вскоре они выходили на линию, к тусклому блеску рельс. Здесь кругло цвели на низких железных стелях зеленые огни стрелок. С затыжным, убегающим звоном скользила по блокам проволока, протянутая к семафору. Твердые, цепкие жуки, привлеченные на линию светом, с коротким гудением ударились в белую рубашку Михаила, впивались в волосы Клавдии. Она боялась, что жук может провалиться за блузку, и придерживала воротник рукой.

...Три месяца тому назад Михаил, сидя с Клавдией в кино, вдруг сказал:

— Я решил переменить свою жизнь в корне. Через год я буду на экране.

Тогда она ждала от него других слов, а этим не придавала значения. Она знала, что ребята часто хвастаются перед девушками силой, храбростью и много врут. Михаил понял ее мысли и угрожающе добавил:

— Вот посмотришь!

Теперь она убедилась в полной серьезности его решения. Он забросил драматический и литературный кружки, где раньше был главным заправилкой; в стенной газете «Паровозник» перестали появляться стихи и фельетоны за его подпись. И только одна Клавдия знала о

большом деле, за которое он взялся: провожая, он рассказывал ей свой сценарий. Он менял встречи, события, разговоры, и сегодняшняя выдумка всегда казалась ему лучше вчерашней. Это был героический сценарий, прославлявший красного моряка Ивана Бурового, победителя всех князей, баронов и генералов. Роль самого Ивана Бурового Михаил предназначал себе.

— Он выбросит следки в море, а сам спрячется в бочку, — рассказывал Михаил; холодок вдохновения бежал по его спине. — Он спрячется в бочку, и белые привезут его в порт. Затем он пробирается в штаб.

— Так нельзя, Миша. Он не проберется в штаб. От него будет вонять следками, и часовые сразу догадаются.

— Ерунда! — сердился Михаил, — Он выкупается в море и переодевается.

— А где он возьмет другую одежду?

— В мешке привезет! С собой!

— Если он привезет мешок в той же бочке, — рассудительно отвечала Клавдия, — тогда, и переодевшись, он, все равно, будет вонять следкой.

— Это неважно! Удивляюсь, как ты не понимаешь! Никто не обратит внимания. Ты думаешь, там, на фронте, одеколоном пахнет? Там всякое нюхали, не то что следку!.. Слушай и не перебивай меня.

Вздохнув, она отвечала покорно:

— Я слушаю.

Они садились на любимую скамейку, против большого трехэтажного дома; стены его скрывала темнота, освещенные окна казались прорезанными прямо в небе.

— Он пробирается в штаб, прячется в кабинете генерала Палачева. Потом он смотрит гипнотическим взглядом, и генерал засыпает. Клава, ты опять не слушаешь!.. Если тебе неинтересно, то скажи прямо...

— Миша, мне очень интересно. Я внимательно слушаю. Я могу повторить, если хочешь.

Так они разговаривали, не замечая времени, а мимо, прогибая рельсы, беспрерывно грохотали перегруженные составы из Москвы и на Москву. Сверхмощные паровозы тащили вагоны с кле-

бом, картошкой, мясом, с тракторами и цементом; платформы с автомобилями, танками, аэропланами; цистерны с бензином и нефтью — все богатство и грозная сила огромной страны, грохоча, перекачивались от границы к другой границе; дымили заводы, цвели поля, ревели самолеты на военных аэродромах; красноармейцы склоняли над учебниками стриженные головы; следователи в Наркомвнуделе терпеливо допрашивали разных мерзавцев, преодолевая желание плюнуть им в благопристойные очкастые физиономии; стыл бетон крепостных укреплений; пограничники лежали в секретах; плоские лучи прожекторов, перекрашиваясь, ощупывали воду и воздух, — и все это для того, чтобы Михаил и Клавдия могли спокойно сидеть ночью на скамейке и поверять друг другу смешные и милые мысли.

В большом доме, напротив, гасли окна, одно за другим. Клавдия загадывала — в каком ряду погаснет следующее окно: если правильно, значит, будет исполнение желания.

...Дома Михаил прежде всего снимал ботинки. Он делал это из предосторожности, потому что иногда, разгорячившись, бегал по комнате и стуком каблуков мог разбудить хозяев. Дверь он завешивал одеялом.

За окном в палисаднике густо цвела сирень, и темнота насквозь была пропитана ее запахом. Подобно факиру в «Индийской гробнице», Михаил вызывал из темноты славный дух Ивана Бурего. Сонно бормотали и ворочались хозяева за перегородкой, звенела гитара на улице, — Михаил ничего не слышал, охваченный созидательным волнением. Он до того распаял себя, что карандаш прыгал в его пальцах и почерк менялся; он закрывал глаза — и стройной чередой проходили видения. Да, он вдохновенно сочинял свой сценарий, и если у него не все получалось ладно и хорошо, то потому только, что он еще ничего не умел. Зеркало висело сбоку; Михаил нарочно повесил его так, чтобы видеть себя, не вставая со стула. Заканчивая сцену, он тут же репетировал ее перед зеркалом. Вся роль превосходно удавалась ему, даже гипнотический взгляд.

...Перед тем, как сказать Клавдии знаменательные слова об экране, Михаил долго раздумывал о смысле жизни, о своем будущем. Уже давно его томили и тревожили неясные мечты о славе, о подвигах, и вот, однажды, он прочел в каком-то журнале статью знаменитого человека, известного всему миру:

«Даже теперь мне страшно вспомнить о прошлом. Покинутый всеми, одинокий и осмеянный, я был близок к отчаянию... Бесперывные удары надломили мою волю, я начал терять силу, мужество, веру в себя. Я был одно время близок к тому, чтобы отказаться от своей заветной цели и мирно плыть в жизни по течению, безвольно подчиняясь всем его прихотям, ничего не завоевывая, удовлетворяясь лишь тем, что само дается мне в руки. Все мои силы и способности растратились бы на житейские мелочи, как это, к сожалению, бывало с десятками и сотнями тысяч людей — моих современников... Я уверен, что талантливый людей гораздо больше, чем принято думать, но кому в то время была нужна их талантливость? И часто они сами не знали о ней, и уходили, не оставив следа, ничем не обогатив мир. Есть хорошая сказка о нищем, который купил на толчке пиджак и двадцать лет носил его, не подозревая, что в подкладке зашиты бриллианты. Так и похоронили его в этом пиджаке вместе с бриллиантами...».

«...Молодые люди! — восклицал далее знаменитый человек. — Не уподобляйтесь этому нищему, неустанно разыскивайте свои бриллианты, смелее показывайте их миру! Вы — первое в истории человечества поколение, которое не знает, что такое голод, конкуренция, карьера. Вас не обманут, не покинут, не осмеют, вам не грозит ни безнадёжность, ни отчаяние, — так будьте же смелыми кузнецами судьбы, искателями счастья, ищите и шлифуйте свои бриллианты и помните, что жизнь без борьбы и благородных стремлений — не жизнь, а только существование!..».

Такие слова заставят задуматься хоть кого. Для Михаила они прозвучали, как боевой призыв. Бывает иногда,

что попадаетея человеку книга, даже одна страница из книги, где находит он итог своим неясным надеждам, мечтам и стремлениям. Эта страница подобна последней крупинке, что, падая в насыщенный раствор, вызывает кристаллизацию, — и вот человек принимает такие решения и затевает такие дела, до которых сам не додумался бы никогда!..

Михаил начал искать свой подвиг, и нашел, посмотрев одиннадцать раз «Чапаева». Все будет понятно, если добавить, что стихи Михаила часто печатались в местной районной газете и что руководитель драмкружка находил в нем определенный талант и всегда, без колебаний, поручал ему самые трудные роли. Михаил вдруг почувствовал себя необычайно сильным, способным сделать все — и сразу поверил в это, потому что сомнения — печальная привилегия зрелости, а Михаилу только наднях исполнилось двадцать лет; и сомнений в его душевной описи не значилось. Он был так уверен в успехе, что заранее переселился в свое блистательное будущее, жил, опередив время на целый год. Это была странная и очень интересная жизнь, в которой все случившееся сегодня было уже как бы воспоминанием — кроме Клавдии. С Клавдией Михаил не хотел расставаться: путь к славе он расчищал для обоих: он был героем, а Клавдия — героиней картины.

Готовясь к своему подвигу, Михаил в книге «Кино-актер перед аппаратом» прочел о фокусах с лицевыми мускулами, о номенклатуре жестов и поворотов — и с возмущением отверг всю эту систему хитрой и тонкой лжи. Нет, он не хотел обманывать себя и других, притворяясь Иваном Буревым; нужно, уподобившись заботливому садовнику, вырастить в себе новую душу, непреклонную, смелую, благородную! Он твердо решил, сыграв роль, оставить за собой имя и фамилию героического моряка — это будет заключительной точкой в сложном процессе замены в себе одного человека другим.

Новые душевные качества завоевывались в тяжелой борьбе. Очень утоми-

тельно все время быть благородным иногда не хочется вступать в разговоры с пьяными, пристающими на улице к женщине (тем более, что пьяных трое, и все — здоровенные); очень противно вставать ночью и, в целях воспитания воли по системе профессора Штейнбаха, лить на тело, разгоряченного сном, ледяную воду из колодца. Чтобы проверить свою выдержку, он простоял однажды целый час с вытянутыми вперед руками; он мог бы перенести любые испытания; если бы он слышал когда-нибудь о геральдике, то нарисовал бы для себя герб: у подножья неприступной скалы с белой сияющей вершиной стоит гранитный обелиск — символ мощи и непреклонности, на граните высечена рука с перстом, указующим вверх, и под ней — короткий девиз: «Сделай или умри!».

...Тетради убраны, и лампа потушена. Небо светлеет, звезды на востоке уже совсем исчезли, кроме одной, самой яркой. А Михаилу снится все тот же Иван Буревой — он вырвал из рук палачей прекрасную девушку Клавдию, и она полюбила его. «Сейчас не время! — сурово отвечает моряк. — Идите в санитарный поезд служить революции. Мы еще успеем поговорить о любви, если останемся живы...». Оглушительно бьет пулемет... Нет, хозяйка стучит в дверь костлявыми кулаками.

— Вам сегодня дежурить, Миша...

Неужели утро? Да. За окном — прозрачная свежая дымка; уже плавятся стекла верхних этажей, тополя, встречая своего бога, замерли с просветленными вершинами и медленно опускают к ногам, на землю, влажные и легкие теневые одежды.

Михаил шел серединой улицы по мостовой. Ветер был его неизменным спутником, услужливо забегал вперед, осторожно поднимал за уголок тонкие ситцевые занавески в открытых окнах, показывая Михаилу то куст герани, то горшок, выставленный на свежий воздух, чтобы молоко не прокисло, пухлый женский локоть на подоконнике, сонную кошку, сияющий бок самовара, нечесанную, помятую физиономию с папирсой в зубах.

За огородами начинались запасные пути. Здесь всегда хлопотал маневровый паровоз-инвалид, отставленный по слабости здоровья от пассажирской и товарной службы. Бодро погромыхивая на стыках, он подбегал к составу. Тонким голосом он приглашал Михаила полюбоваться на его удал. Никогда ему не удавалось тронуть вагоны сразу. Он лязгал буферами, шипел, хрипел, пар тугой струей хлестал изо всех скреп и фланцев. Колеса вертелись на одном месте, как будто паровоз был чуть-чуть, незаметно для глаза, приподнят над рельсами.

Из будки управления вылезал машинист Петр Степанович и с проклятиями сыпал под колеса песок. «Люди топливо экономят! Людям премию дают! — яростно кричал он. — Так люди на паровозах ездят! А это что? Жестянка на колесах!». Паровоз заглушал его слова отчаянным шипением; вверху пар, охлаждаясь, сгущался и падал водяной пылью; над паровозом зыбилась тонкая прозрачная радуга.

— Не идет? — спрашивал Михаил.

— Нет, — горестно отвечал Петр Степанович. — Ни в какую. Видишь ты — ни силы в нем, ни тяжести. Он сам под собой и крутится...

Петр Степанович сдвигал на затылок кепку с покоробившимся козырьком.

— Состав, что ли, тяжеловат?

И прикидывал прищуренным глазом длину состава.

Паровоз в это время продолжал крутить колесами на одном месте, натягивал сцепы, стучал буферами. Но Петр Степанович знал, что паровоз без него все равно никуда не уедет, и не торопился вернуться в будку.

— Не стронет, окаянный! Вот и получи с ним премию! Топлива сожрет, как порядочный, а возить его нету! Эй, Маркелыч! — кричал он сцепщику. — Не берет, холера! Давай, расцепляй, в два раза перевезем!

Маркелыч расцеплял. Паровоз трогался. Петр Степанович бежал впереди, мягко шлепая по шпалам стоптанными валенками и посыпая рельсы песком.

На этой ветхой машине Михаил под руководством Петра Степановича начи-

нал изучение высокоответственного искусства водить поезда. Потом его перевели помощником к машинисту Яну Яновичу Вальде. Прощаясь с Михаилом, Петр Степанович говорил:

— Ты, Миша, держись за этого Вальду. Этот Вальда очень головастый человек, он из тебя машиниста сделает первого класса. Я его давно знаю — он у меня помощником ездил на бронепоезде «Гром». Он по-русски не говорит, а я по-латышски не понимаю.

Петр Степанович улыбнулся, пожевал губами.

— Насели они пешим строем — цепями на бронепоезд. Сунутся, а мы им по морде, по морде! Пальба поднялась — белого света не видно; пули в паровоз тук-тук-тук!.. Но только гляжу — нет моего помощника!.. Туда, сюда — нет. А он вылез на тендер и кроет из маузера. Прямо орел! Под самыми пулями стоит, чортова голова! А я тут один управляйся на паровозе, как хочешь... А потом я его загнал на трое суток на гауптвахту!

Михаил удивился:

— За что же на гауптвахту?

Петр Степанович поправил свои железные очки и наставительно пояснил:

— За то, что во время боя паровозная прислуга из будки управления никуда не могли ни одного шага. А это он врал, что русского слова «назад» не понимает. Если «вперед», так он очень даже хорошо понимал. Вот за что... Ну, давай попрощаемся, Миша.

Они погрустили, сидя на рельсах, в тени паровоза. Петр Степанович посетовал на свою старость.

— Сколько я вашего брата, помощников, выучил — нет числа. А ты уж, видно, последний... Вчера я, брат, заявление подал насчет пенсии.

На следующий день Михаил, робея, пошел к новому начальнику и учителю. Вальде пользовался на участке большим уважением за твердость характера и неоспоримые знания. Он был приземистым и рыжеволосым, на ходу широко разворачивал ступни и пригибал голову, точно ее тянула к земле тяжесть большой черной трубки, всегда висевшей в зубах.

Он встретил Михаила вежливо и холодно. Посапывая трубкой, сказал:

— Этот паровоз есть самый лучший на целый участок и сейчас находится в прекрасном состоянии.

Вальде выразительно помолчал, давая Михаилу время сообразить, кому именно обязан паровоз своим замечательным состоянием. Вальде положил на регулятор тяжелую волосатую руку. Блестела полированная сталь рычагов, желто сияла медь арматуры, сияли крупные золотые зубы во рту Вальде; он повернул голову, и на его выбритый щеке дрогнул медный блеск.

— Я прошу вас, Михаил Озеров, служить хорошо. Помните, что песок есть злейший враг для всякий механизм. Поэтому всегда закрывайте масленка. Болт и клин могут ослабнуть, и тогда в машина получается вредный стук. Поэтому я прошу вас туго забивать клин и до отказа затягивать гайка.

Каждое слово его было отдельным, круглым, таким же полированным, как все на этом паровозе.

— И еще я прошу поддерживать чистота и вытирать паклей поручни. Я люблю ездить на паровоз в белой рубашка и воротничок.

Он действительно ездил иногда в костюме при галстуке. Сдавая по окончании маршрута свой паровоз, он говорил:

— Этот воротничок есть такой же чистый, как вчера, потому что этот паровоз есть такой же чистый, как этот воротничок.

И, не дожидаясь ответа, уходил тяжелой, неторопливой походкой, оставляя за собой густую вишневую струю дыма от флотского табака.

Михаилу с непривычки было холодно в этом храме чистоты, ответственности и точности. Зато паровоз никогда не капризничал, и не приходилось пороть горячку, налаживая перед самым выездом инжекторы, как это часто бывало у других машинистов. А Вальде оказался не таким уже надменным и недоступным, — выяснилось, например, что он очень любит хоровое пение и хлопочет об организации кружка в клубе; выяснилось, что дома у него живет замеча-

тельный ученый скворец, разговаривающий по-латышски и немного по-русски (с таким же, наверное, акцентом, как сам Вальде).

Михаил легко нашел путь к сердцу Вальде, — не жалея рук, чистил арматуру и при каждом удобном случае громко восхищался паровозом. Вальде был доволен новым помощником и великодушно прощал ему неизбежные мелкие промахи.

— Вы есть хороший помощник, но вы есть молодой человек и любите иногда вот это... как это по-русски? Мечта. Вы, наверное, много думаете о разный путешествии, приключение и еще о девушках. Михаил, помните, что эта машина самый лучший на целый участок, и она очень ревнивая. Она не любит, если вы ухаживаете за ней, а в своя душа думаете о другой женщина. Мужчина всегда платит за такой обман очень дорого — он теряет обе женщины. Я опытный человек, Михаил, я однажды потерял за такой обман обе женщины. Одну из них я совсем не хотел потерять... совсем не хотел. Поставьте масленку крепко, Михаил, — смотрите, нефть льется на пол, а она стоит деньги...

## 2

За полчаса до окончания работы в цех пришел начальник депо, грузный и седоусый. Он изнемогал от жары, его парусиновый китель промок на спине и подмышками. Осматривая свои владения, начальник степенным хозяйским шагом направился в угол, где стоял у самого окна станок Клавдии — маленький, новенький, всегда чистенький.

— Добрый день, — сказал начальник густым покровительственным басом.

Клавдия ответила:

— Добрый день.

Ей было неловко работать под его внимательным взглядом, и она склонилась ниже, прислушиваясь к бархатному, ровному пению станка. Через смуглые, слегка закопченные окна смотрело солнце, в цехе все вертелось, блестело, гудело, бежало — ремни, шкивы, шестеренки; на стенах, на потолке —



всюду играли, плясали, прыгали зайчики, отраженные гладкой сталью. Острый резец чуть-чуть, самым уголком, на один волос касался металла и, словно разматывая солнечную нить, гнал бесконечную тонкую стружку.

Эта спокойная работа, совсем не требующая силы, только чуткости в пальцах, острого глаза, точности и терпения, была по душе Клавдии. Особенно любила она мягкую, податливую медь и могла по меди снять такую стружку — на удивление всему цеху, как паутину! Железо нравилось ей меньше; к серому чугуно относилась она равнодушно, сталь не любила, а белый чугун, упрямо сопротивляющийся резцу, твердый и хрупкий, как стекло, — просто ненавидела!

Сегодня она работала по меди. На глазах начальника она два раза подряд нарочно сняла свою знаменитую стружку-паутину. Начальник разгадал ее мысли и засмеялся:

— Хочется, чтобы похвалили? С удовольствием! Есть за что...

Она подала начальнику готовый клапан — желтый, блестящий, гладкий — хоть на выставку! Начальник промерил его кронциркулем и остался доволен.

— Только вот руки у вас побиты и поцарапаны, — сказал он. — Разве девушкам можно руки портить?

— А что?

Начальник посмотрел веселыми глазами.

— Любить не будут, вот что.

Клавдия покраснела, но быстро нашла и ответила с озорством:

— Будут!..

И сейчас же испугалась, разве можно так с начальником!.. Но сегодня он был в хорошем настроении, ушел, поспеиваясь.

Конец работы, густой, хриплый рев, сотрясающий стекла, потом — тишина. Все остановилось, солнечные зайчики мгновенно успокоились и уснули на станках, на ремнях — там, где застал их гудок.

...Возвращаясь домой, Клавдия зашла в аптеку и купила крем для рук. Михаилу она задала вопрос:

— Мои руки тебе кажутся некрасивыми?

Он удивился:

— Я как-то не обращал внимания. Давай посмотрим.

— Нет, нет!.. — Она быстрым движением спрятала руки за спину. — Потом. Сейчас они действительно некрасивые, все исцарапанные... Зря я тебе сказала, будешь теперь рассматривать.

Они шли купаться на речку. Дорога огибала пологие лысые холмы; навстречу, взметая желтую пыль, дул низовой ветер; на горизонте сгущался белесый зной, обещая грозу. Наконец, за кустами блеснула река, вся покрытая мелкой солнечной рябью, точно сыпался на нее искристый дождь. Михаил давно уже разделся, шел в одних трусиках, заботливо раздвигая кусты перед Клавдией. И ей приятно было видеть, что он — стройный, крепкий, только слишком черный, — что же будет с ним в конце лета?

Любимое место для купанья оказалось занятым — какой-то бородатый рыболов с подвязанной щекой понатыкал здесь свои удочки. «Куда вас черти несут! — захрипел он страшным, сдавленным голосом. — Ходят, только рыбу пугают!». Михаил, нахмурившись, остановился, Клавдия быстро шепнула:

— Не надо! Не связывайся! Пойдем дальше!

Она взяла его под руку, потащила за собой. Он упирался, грозно оглядываясь на рыболова.

— Перестань!.. — сказала Клавдия. — Какой злюка! Невозможно!

— У меня есть правило — за каждую обиду отплачивать.

— Нашел обиду! — засмеялась она. — Действительно! Рыбаки, они же все психи! Миша, посмотри, что это плывет по реке?

Они стояли на высоком глинистом обрыве, у самого края, но разглядеть ничего не могли, ослепленные блеском живой, торопливой игры воды, ветра и солнца.

— По-моему, это ящик, — неуверенно сказал Михаил.

— Ящик? Миша, а может быть, в нем что-нибудь есть?

— Да?.. — Он оживился. — Надо посмотреть.

Он отступил три шага назад. Клавдия угадала его намерение, но остановить не успела. Голос Клавдии настиг его уже в воздухе. Растягиваясь и выгибаясь, он стремительно летел по кругой дуге; в воду врезался, как снаряд, без плеска и брызг, — вода только забурлила, вспенилась и сомкнулась над ним. Руки его коснулись песчаного дна; сильно оттолкнувшись, он пошел вверх, к прохладному зеленоватому свету, что слабо пробивался в подводную тишину. Через минуту он вынырнул, фырча и отдуваясь, жадно хватая воздух.

Ящик оказался пустым. Михаил направился к берегу. Стремительное течение несло его вниз. Он плыл, сильно выбрасывая руки, пришлепывая ладонями, высунувшись из воды всей грудью.

Клавдия встретила его упреками;

— Ты совсем сошел с ума. Разве так можно? А если здесь мелко? Или кол? Или коряга какая-нибудь?

— Ладно, ладно. Подумаешь, важность — один раз прыгнул. Никаких кольев здесь нет — я купался на этом месте и знаю дно.

— Ты врешь. Ты все врешь! Ты не знаешь! У тебя, Миша, очень горячий и нетерпеливый характер. У тебя могут быть из-за этого неприятности в жизни.

— Я не боюсь никаких неприятностей! Но только здесь кольев нет, — я же знаю...

Так они спорили до самой отмели, потом Клавдия переодевалась за кустами, потом они купались, лежали на горячем песке и снова купались, потом Михаил ловил пескарей под камнями и сажал их в отгороженную лужицу. Солнце уже садилось за лесом на той стороне; река успокоилась, затихла, накрытая тенью до середины; сильнее запахло сыростью, водорослями, плеснулась крупная рыба, квакнула лягушка, первый комар потянул сквозь тишину свою звенящую нитку.

— Пора, — сказала Клавдия. — Миша, уходи. Я буду мыть костюм.

Он уговаривал ее окунуться вместе, в последний раз. Клавдия отказывалась — холодно! Смеясь, он подхватил ее, понес к воде и вдруг остановился. Кровь ударила ему в сердце, в голову; он вздрогнул; глаза потемнели, расширились, дыхание отяжелело.

Клавдия поняла сразу.

— Миша, ты опять!.. — Она уперлась рукой ему в грудь, пытаясь освободиться. — Пусти меня.

Он молчал, прижимая ее к себе все крепче. Она притихла и смиренно лежала на его руках, пряча лицо, чтобы не выдать своего волнения. Их разделяла только влажная ткань ее костюма.

— Миша, прошу ведь! Пусти! Ты обещал. Можно тебе верить, наконец, или нет?

— Верить? — Голос его окреп и очистился. — Мне всегда можно верить, Клава!

— Тогда пусти.

— Пожа-аулыста!..

Он хотел сказать это слово с пренебрежением, а вышло — с обидой. Подхватив свою одежду, он пошел вверх, к деревьям. Клавдия долго сидела на берегу одна, обняв колени; грустно улыбнулась и пожалела себя до слез. У нее были серьезные причины жалеть себя.

Михаил нетерпеливо кашлянул наверху. Клавдия сняла костюм и тихонько вошла в ласковые, теплые объятия воды. Ленивая зыбь всколыхнула ее отражение. Клавдия украдкой взглянула на обрыв. Если бы Михаил в это время смотрел на нее, она сделала бы вид, что не замечает. Но обрыв был пустым, ровным — никто не смотрел. Клавдия вздохнула, оделась, поднялась по тропинке.

Михаил, заложив руки под голову, вытянулся на траве, смотрел в небо, охваченное светлым заревом. Клавдия села рядом, осторожно погладила его темные, мягкие волосы.

— Ты сердисься?

— Нет, Клава... Я только удивляюсь. Ты как будто совсем не веришь мне.

— Я верю тебе... Но я уже давно хотела сказать...

— Я знаю, что ты скажешь. Но только для кого ты бережешь себя? Может быть, ты ошиблась, может быть, я не нужен тебе?

— Не то, Миша, совсем не то. Совсем другое. — Ей было трудно. Она отвернулась. Казалось, она позабыла все слова и подолгу вспоминала каждое. — Я давно хочу тебе сказать, и все как-то не приходится...

Но Михаил, увлеченный своими мыслями, не слушал ее.

— Весь этот разговор вообще ни к чему. Я не из таких. У меня хватит выдержки. Я не какой-нибудь мещанин, у которого и мыслей других нет, только, чтобы овладеть. Я с тобой гуляю не для этого, — быстро добавил он, покраснев... — Раз ты не хочешь — я совсем не буду тебя беспокоить.

Клавдия тайком улыбнулась. Михаил заметил ее улыбку и сдвинул брови.

— Ты напрасно смеешься! Хорошо, я докажу! — В голосе его появились упрямые нотки. — Ты мой характер знаешь, мое слово твердое. Сегодня это было в последний раз. Теперь ты можешь даже раздеваться передо мной, как, все равно, перед столбом! — Он встал, резко затянул ремни сандалий. — Кончено!

Они возвращались молча. После таких разговоров между ними всегда возникало легкое отчуждение. Михаил шел краем дороги, сбивая прутом колючие головки репейников. Ветер улегся и не пылил больше; разливы реки были гладкими, розовыми; из оврагов и низин поднималась синяя мгла; и опять замерли с просветленными вершинами тополя.

Сегодня Клавдия опять не призналась, и это неприятно, томило ее. Она старалась угадать, что он скажет, когда услышит; в этом был оскорбительный оттенок боязни; Клавдия шла и сердилась на Михаила, что слишком сильно любит его, — если бы меньше, давно бы призналась. «Вот еще! Подумай! — Она решительно вскинула голову. — Скажу ему сейчас, а там пусть как хочет!».

— Миша!

— Что?

— Мне с тобой нужно поговорить... Я думала... очень много думала.

Михаил остановился, ждал, а Клавдия все молчала. Ее лицо было напряженным, ниточки бровей приподнялись, губы дрогнули и сомкнулись.

Михаил беспокойно и пытливо заглянул ей в глаза, томимый ревнивым предчувствием.

— В чем дело? Что ты мне хотела сказать? Говори прямо.

Решимость покидала ее. «Тряпка! — подумала она о себе, — Нет, я скажу! — Она вздохнула прерывисто. — Нет, я не могу... Я потом скажу когда-нибудь...».

Она заставила себя улыбнуться.

— Миша, ты совсем не то думаешь... Я хотела сказать о твоём моряке. Он вылез из селедочной бочки и прошёл мимо часового в штаб. Так нельзя. Его поймают. Пусть он лучше влезет в окно.

— В окно?.. — Он не поверил ей и тоже хитрил; Клавдия это чувствовала. — Нет, Клава. Окна в штабе закрыты. Как же он влезет?

— Он выдавит стекло.

— Ты говоришь глупости, Клава. Он всполошит шумом всех часовых.

— Никакого шума. Он намажет стекло медом, а сверху наклеит бумагу.

Михаил заинтересовался, замедлил шаги.

— Никакого шума, — повторила Клавдия. — Осколки прилипнут к бумаге. Воры всегда так делают.

— Воры?.. Я никогда не слышал. Откуда ты знаешь?

Клавдия отстала, чтобы Михаил не видел ее лица.

— Я в книжке читала, Миша... Будет лучше, если он влезет в окно.

— Нет, Клава! Откуда он может знать этот способ? Что он вор какой-нибудь или бандит? Не годится. Зрители могут подумать, что он был вором.

— Ну, и что же, если подумают?

— Клава! — От возмущения и негодования Михаил не мог найти слов. — Что ты говоришь, Клава! Как это произошло тебе в голову? Он моряк, пони-

маешь — моряк, революционер, герой!.. Я удивляюсь, Клава. Ты, может быть, в шутку?..

Он долго не мог успокоиться. Клавдия смотрела в землю, вся поникшая, и не сказала больше ничего. У железнодорожной насыпи они расстались. Михаил поцеловал Клавдию; на его губах она почувствовала холодок недоверия. Потом он бегом помчался домой переодеваться: ночью паровоз уходил в очередной маршрут. А Клавдия не торопилась — вечер у нее был свободен. Темнело, кое-где в окнах уже загорались огни. Клавдия одиноко шла в своем белом платье по безлюдной дорожке вдоль палисадников, охваченная странном чувством, когда кажется, что время остановилось и все будет всегда, как сейчас. Она совсем не заметила дороги, опомнилась только дома. В условном месте под крыльцом нашарила ключ, открыла дверь. В душный коридор, где стоял запах нагретой смолы и краски, хлынул свежий сильный поток лунного света. Клавдия прошла в свою комнату, такую крохотную, что в ней нельзя было повернуться, не задев спиной открыток и бумажных вееров на стенах. Тускло мерцало в полутьме зеркало. Клавдия села на подоконник, открыла окно. Все было тихо, никто не мешал думать и вспоминать. Перед ней прошло многое из прежней жизни. Она горько упрекнула себя — почему опять не сказала? Ведь когда-нибудь все-таки придется, зачем же тянуть?

Она должна была сказать Михаилу простую вещь — что осталась в четырнадцать лет сиротой и попала в плохую компанию. Дело кончилось, как обычно, лагерями. Там Клавдия заработала полное снятие судимости, восстановление в гражданских правах, путевку на профтехнические курсы и стипендию от ОГПУ. Остальное известно — в двадцать один год Клавдия начала жить. Большой, сияющий, светлый мир впервые открылся ее изумленным глазам, полный простых, но величественных чудес. Восходы и закаты; сверкающий короткий дождь, шумящий в полдень по молодой листве, и потом — самоцветная радуга; поля и реки тенистые, гу-

стые леса; лунные ночи, соловьи, костры и песни над тихой, заколдованной водой; милые хозяйственные хлопоты на вечеринках и пикниках; пироги вскладчину, самовары; веселый цех с грузным седоусым начальником, подругами и товарищами; танцы в саду; драматический кружок и стенгазета в клубе; и, наконец, самое большое чудо — Михаил. Даже недостатки его казались Клавдии достоинствами — нетерпеливость, вспыльчивость, особенно властность, которую она бессознательно поощряла: ей нравилось быть покорной и послушной ему.

Но его туманных стремлений и надежд Клавдия в глубине души не одобряла, видя в этом опасное чудачество. Все есть у парня, что ему еще нужно? Почему она, Клавдия, счастлива, довольна этой жизнью, а его все тянет куда-то? Она не понимала, что для нее эта жизнь была уже достигнутой высотой, а для него — только началом подема; она завоевала эту жизнь, а он получил как будто в подарок, готовую — сам ничего еще не завоевал и никуда не поднимался. Хотя сейчас они стояли в жизни рядом, но Клавдия смотрела больше вниз, в прошлое, наслаждаясь своей теперешней высотой, а Михаил, за неимением прошлого, смотрел вверх, в будущее, и тосковал по высоте. Она уже испробовала силу и крепость своих крыльев, а он еще нет; она была спокойна, как всякий человек после большой победы, а он горячился и петушился, как перед боем. Клавдия, впрочем, надеялась, что со временем Михаил отрезвеет. У нее были на будущее простые и ясные планы — она хотела семьи. В ней текла мирная, честная кровь заботливой хозяйки; даже в разгульном воровском шалмане она пыталась, повинуюсь инстинкту, заводить примус, кастрюли, скатерти, занавески, но ее дружок в плисовых штанах и сапожках все это немедленно пропивал, даже одежду и одеяла...

В Зволинске никто ничего не знал о Клавдии. Во всех ее анкетах против графы о судимости стояла черточка. Клавдия имела законное право не отвечать на вопросы подруг и товарищей о прежней жизни; если зачеркнуто, зна-

чит зачеркнуто. В Наркомвнуделе знают, а остальным знать вовсе не к чему. Она хорошо понимала, что всем доверяться не следует: земля населена не только друзьями, но и сплетниками, и дураками, и негодьями. На профтехнических курсах Клавдия получила жестокий урок — сказала, что приехала из лагерей, и этим отравила себе всю жизнь, даже хотела бросить курсы. Соседка по общежитию стала прятать на ночь свои часы, другая соседка — пышная, белая, с круглыми фарфоровыми глазами и толстым шепелявым языком, очень добрая, но столь же глупая, — каждый день приставала с расспросами о похождениях: вся жизнь Клавдии представлялась ей цепью сплошных походов, на манер Соньки Золотой Ручки или Рокамболя. Нашелся, конечно, и парень, встречавший Клавдию странными усмешками, нашлась жалостливая повариха, выбиравшая для Клавдии лучшие куски и причитавшая над ее тарелкой. Все это было одинаково нестерпимо. А в довершение всего явился развязный и прыщеватый молодой человек с фотоаппаратом и сказал, что намерен напечатать в местной газете статью под заглавием «От убийств и грабежей к честному труду», необходим портрет Клавдии. Тут уж Клавдия не выдержала — были слезы, крик, вальерьянка; молодой человек с фотоаппаратом благодушно смылся; прибежал доктор, Клавдию кое-как успокоили. С этого дня все обидчики, вольные и невольные, притихли. Хороших, умных ребят было на курсах все-таки гораздо больше — они взяли Клавдию под защиту и помогли дотянуть до выпуска...

— Куда хочешь поехать? — спросил директор.

— Куда-нибудь подальше. — Подумав, Клавдия добавила: — И чтобы я одна...

Директор размашисто подписал путевку в зволинское депо.

— Впредь будешь умнее. Тебя за язык не тянут. Получай. Едешь далеко. И одна. Давай руку.

На новом месте все было очень хорошо до тех пор, пока любовь с Михаилом не зашла так далеко, что Клав-

дия волей-неволей нужно было рассказать ему о себе. Она все выбирала момент поудобнее и никак не могла выбрать: для таких объяснений, к сожалению, не существует подходящих моментов. Не могла же она огоршить Михаила в самом начале, только что выслушав его бурное признание? Через месяц она думала, что говорить еще рано, так же думала и через два месяца, на третьем — почувствовала тревогу и беспокойство, убедившись, что любит всерьез. Много раз она окольными путями выпытывала Михаила, чтобы заранее знать его ответ в решительную минуту, но он, открывая ей все, оставлял именно этот уголок, точно в насмешку, наглухо запертый и непроницаемым.

Она вспомнила сегодняшнее купание. Уже в третий раз Михаил порывался к ней, и все труднее было устоять, а главное — незачем. Но она боялась, что после никогда не решится сказать и будет ждать, когда он сам узнает... Нет! Она не согласна жить в таком унижительном вечном страхе; пока она еще свободна и, если Михаил откажется, сумеет перенести! Видали не такое! Очень ясно представилось ей, как все это будет: он, пряча глаза, глухо скажет: «Надо расстаться» и с притворным зевком протянет руку. Она спрыгнула с подоконника, охваченная гордостью, негодующим волнением. Она заранее ненавидела Михаила. Лицу было жарко, выступил пот. «Я пойду и скажу!». Она кинулась к двери, но вспомнила, что Михаил сейчас на работе — не дома. Обессиленная, она легла на кровать.

Она лежала долго, потом встала, зажгла свою лампу на тонкой выдвинутой ножке, подошла к зеркалу. «А все-таки я красивая...». Эта мысль немного успокоила ее; она обдернула кофточку, чтобы лучше обрисовывались груди, подкрасила губы, напудрилась, повязала шелковую косынку, что очень шла к ее синим глазам, примерила несколько улыбок — пошире, поуже, с блеском зубов и без блеска, остановилась на одной и долго изучала себя в зеркале, решая важный вопрос — очень она привлекательна или не очень, сможет Ми-

хаил отказаться от нее или не сможет. Решила, что очень привлекательна и он отказаться не сможет, — повеселела.

Донесся мягкий голос знакомого паровоза. Клавдия тихо подумала: «Поехал! Счастливейший путь!» — и долго прислушивалась к затихающему железному ливню, что уходил все дальше и дальше в ночные поля.

## 3

Профиль пути на участке был трудным и сложным, особенно в сторону Москвы. На девятнадцатом километре от станции начинался крутой подъем; чтобы преодолеть его, нужно было все время с момента выезда держать в котле очень высокое давление.

— Михаил, сегодня мы будем делать еще одна маленькая экономия — полчаса.

Медленно, уверенно и точно ходили, отблескивая медью и сталью, дышла, шатуны, кривошипы и штоки, провертывая с тугим усилием пять пар тяжелых колес; в топке глухо ревело белое пламя; зыбкая стрелка манометра, дрожа, висела над красной чертой; в стеклянной трубке колыхался водяной столбик; потный котел гудел и вибрировал, сдерживая напор семнадцати атмосфер. Вытягивая на подъем тяжелый состав, паровоз дышал глубоко, мощно и ровно; впереди в белом свете фонарей сияли рельсы. Вальде неторопливо и мудро почуял Михаила:

— Когда вы будете самостоятельно водить поезда и встретите такой подъем, то помните: самый главный правило — не дергать. Машинист, который дергает и горячит себя на подъем, не есть машинист, а есть сапожник. Сцепка может лопнуть, и вагоны пойдут назад с такой крутой спуск, и будут одни брызги! Это очень страшная штука — обрыв на таком подъеме.

Ударил грохотом встречный поезд, мелькнул, обдавая Михаила горячим ветром, частя по его лицу обрывками света. Поезда разошлись — и опять всплыл спокойный голос Вальде:

— Вы есть молодой человек, Михаил, и в жизни вашей сейчас начался очень

крутой подъем. Никогда не дергайте. Поднимайтесь вверх ровным ходом и следите, чтобы в котле у вас...

Вальде указал на свою широкую, выпуклую грудь.

— ...чтобы здесь у вас было всегда высокое давление.

Паровоз вышел на горизонталь и, набирая скорость, веселее и чаще стучал колесами. Вальде взглянул на часы.

— На этот подъем мы уже сэкономили шесть минут. Что вы делаете, Михаил! Никогда не открывайте перед семафор топка — огонь слепит ваши глаза и вы не различаете путевой сигнал.

... В одну из таких поездок Михаил был мрачен и молчалив. Вальде, конечно, заметил это.

— Что с вами?

— Так... Ничего.

Заметила и хозяйка, когда Михаил вернулся домой.

— Вы нездоровы, Миша?

— Нет, здоров. Просто так...

Он умылся, прошел в свою комнату и долго сидел, не притрагиваясь к чаю, накапливая в сердце обиду и гнев. На ветке, что заглядывала в окно, самозабвенно дрались взъерошенные воробьи, к ним с картузом наготове покрадывался хозяйский сынишка; его босые ноги оставляли на рыхлых грядках глубокие следы. И слышался сердитый голос хозяйки:

— Куда, куда тебя черти несут? Грядки топчешь, чтоб тебя разорвало!

«Клава! — писал Михаил, — я не ожидал от тебя такого поступка. Почему ты не сказала мне прямо, что тебе нравится другой парень? Ты думаешь, я ничего не вижу? — я не слепой. Если ты меня разлюбила, то должна сказать прямо, а не двурушничать...».

Письмо не выходит. Вальде слова бесильны тронуть жестокое сердце Клавдии, в намеках нехватает горечи и насмешки.

Михаил порвал письмо, решив поговорить лично.

Он намеревался спросить сегодня Клавдию напрямик, что думает она об ухаживаниях Чижова, счетовода из конторы депо, и не пора ли ей сделать окончательный выбор. Этот Чижов уже

целый месяц ухаживал за Клавдией. В его длинном лице, без улыбки и без румянца, в постно зачесанных волосах, в желтых немигающих глазах с крошечными зрачками, было что-то неуловимое, — этаким слабым, необъяснимым и неприятный запах его души. Он был молчалив и скрытен, даже купался всегда отдельно, на мелком месте, и в воду заходил не выше пояса, боясь утонуть. Потом тихим и ровным ходом ехал на своем стареньком велосипеде обратно, осторожно огибая каждый камушек и слезая с велосипеда перед каждым мостиком.

Михаил знал Чижова только по редким встречам в конторе, где приходилось иногда ругаться из-за неправильно подсчитанных премиальных. Не поднимая головы, Чижев листал ведомости, перекидывая бледными, приплюснутыми на концах пальцами костяшки счетов и, наконец, говорил:

— Вам причитается еще сорок рублей, а всего за месяц четыреста семьдесят.

Он протягивал ордер; в его желтых глазах светился какой-то странный огонь, и пальцы дрожали.

Вот этот самый Чижев и был соперником Михаила.

... Когда стемнело, Михаил в новом костюме и при галстукe явился в сад. Было очень душно — июньский вечер без ветра, без влаги; листья деревьев поникли в изнеможении, но звезды горели над электрическим заревом высоко и чисто, обещая ночью прохладу. В полутемной аллее Михаил замедлил шаги. За деревьями на танцевальной площадке играла музыка. Михаил знал, что Клавдия сейчас там и, наверное, не одна. Ну, что же, очень хорошо, когда-нибудь надо поговорить всерьез! Он не из таких, Михаил Озеров, чтобы колебаться, трусить, бесконечно ждать. Он требует все или ничего. Он и так слишком долго молчал...

Он вышел из темноты на свет, к деревянному кругу. Лицо его выражало решимость и непреклонность. Среди танцующих он увидел Клавдию; так и есть — она шла в паре с Чижовым. Губы ее были полукрyты, глаза влаж-

ны, через тонкий шелк блузки просвечивали красные ленточки на плечах. Она ничего не замечала, увлеченная танцем, счастливая с другим. Она, может быть, и берегла себя для другого? Если бы Михаил не занимался так долго воспитанием своей воли, то ужасная мысль эта подбросила бы его на метр кверху. Но он только крепче стиснул кулаки в карманах и судорожно проглотил слюну, — нет, он не согнетсЯ, Михаил Озеров, он ничего не боится в жизни, готов ко всему! Теперь понятно, что хотела сказать ему Клавдия на реке...

Музыка оборвалась, толпа на деревянном круге поредела. Клавдия увидела Михаила, бросилась, радостная и раскрасневшаяся, к нему. Он встретил ее ледяным взглядом.

— Нам нужно серьезно поговорить, Клава.

— Даже серьезно!.. О чем это?

Он молча взял ее под руку, повел в сторону, подальше от фонарей. Чижев долго смотрел им вслед желтыми, немигающими глазами.

Михаил и Клавдия шли молча. Широкая аллея незаметно переходила в тропинку, заросшую высокой травой; здесь в глубине сада не было электрических лампочек, светила сквозь деревья желтая, низкая луна.

— Что-нибудь случилось, Миша? — спросила, наконец, Клавдия.

Он глухо ответил:

— Ты сама знаешь.

— Ничего я не знаю. Говори прямо.

— Брось, Клава. Я не дурак и не разводи со мной дипломатию.

Она высвободила свою руку.

— Ты, Миша, стал ужасно грубый. Во-первых, я ни в чем не виновата — он ко мне подошел и пригласил, а тебя не было. Я хотела отказаться, да как-то неудобно...

— Конечно, конечно, — криво усмехнулся Михаил.

Клавдия вспыхнула:

— Ты не имеешь права так со мной разговаривать. Я тебе не жена и никто...

— И слава богу! — подхватил он. — Слава богу, что не жена.

— Ах, вот как! Еще не поздно, Миша. Мы оба свободны.

Михаил остановился, в упор посмотрел на Клавдию. Она смело встретила его взгляд.

— Ты не выспался, Миша. У тебя плохое настроение.

— Я могу уйти!

Он ждал, что Клавдия остановит его. Она спокойно подала руку. Он затянул пожатие, все еще ожидая каких-то слов, но Клавдия молчала. Он с силой отбросил ее руку — не надо! Она вдруг поняла, что это всерьез, и рванулась к нему, но было уже поздно: он уходил размашистым шагом, высоко подняв свою горячую, упрямую голову. И в его обрывистой походке, в том, что он ни разу не обернулся, Клавдия впервые по-настоящему почувствовала мужской гнев. Она бы кригнула, вернула, но помешал Чижев. Появившись откуда-то перед Клавдией, он заглянул ей в лицо и сказал:

— Идемте танцевать, Клавочка. Не беспокойтесь, я провожу вас домой.

... Это была первая серьезная размолвка между Михаилом и Клавдией. Прошла неделя, а они все еще не помирились, даже не разговаривали. В кино менялась программа — Михаил и Клавдия не видели новых картин; в саду каждый вечер играла музыка — Михаил и Клавдия не танцевали; они совсем позабыли любимое место на реке, и теперь бородастый рыболов мог спокойно расставлять по берегу свои корявые удочки.

В душе Михаила тлела слабая надежда, что Клавдия опомнится и придет к нему с повинной головой; три вечера он отдежурил пустую на скамейке против большого трехэтажного дома. По утрам дворник, подметая улицу, ворчливо дивился — кто это мог набросать около одной скамейки столько окурков и почему все они брошены не докуренными даже до половины. Михаил не знал, что в эти же самые томительные часы Клавдия, тоскуя, ждет не дождется его на танцевальной площадке, вздыхает, грустит и, наконец, отчаявшись и ожесточившись, идет, назло ему, танцевать с Чижевым.

На следующий день услужливые друзья, встретив Михаила, докладывали:

— А Клава вчера в саду была и танцевала...

— Меня не интересует, с кем она танцевала, — отвечал Михаил. — Она встречает больше не интересует меня.

Встречаясь иногда с Клавдией где-нибудь в депо или в клубе, он безразлично и холодно кланялся ей и быстрым шагом проходил мимо, без единого слова, без рукопожатия, унося на лице скорбную улыбку мудреца, познавшего всю тщету земных надежд и стремлений. Ему было не легко — он даже похудел, бедный! Клавдия тоже измучилась, улыбка исчезла с ее лица. «Какие мы дураки, форменные дураки!» — думала она по ночам, сидя в одной рубашке на подоконнике, вся — в лунном дыму. Давным-давно следовало бы помириться и обменять свои мучения врозь на радость вместе, но между ними стояла гордость, эта вечная помеха в любовных делах...

— Что случилось, Михаил? — спрашивал Вальде.

— Ерунда.

— Женщина, Михаил. Это обязательно женщина.

— Ничего подобного. Просто болит голова.

— Я знаю, когда у здоровый молодой человек начинает вдруг болеть голова. Она простужает себя, когда молодой человек напрасно ждет на свидании. Но она никогда не простужает себя, если на свидание приходят оба. У меня, Михаил, есть одна книга, там есть одно такое письмо, что если девушка читает его, то брызгает слеза и сердце рвет себя на мелкий часть. О, какое это письмо! Его сочинил великий Дон Жуан! Если хотите, Михаил, я переведу это письмо на русский язык. Оно начинается так: «Дорогая, зачем я буду жить, если я есть сжигаемый в пламя любовь, я есть убиваемый, как пуля, голубые глаза!..».

— Право же, ничего не случилось, товарищ Вальде.

— Еще я хотел сказать, — у меня дома в палисадник есть много цветов.



Приходите, и мы нарвем один красивый, большой букет. Он может иногда хорошо помогать от головная боль.

... И снова ночь, храп хозяев за перегородкой, ветер, темнота за окном, — и в страшной вышине, в разрыве тяжелых туч — одинокая голубая звезда... Это были часы тех раздумий, что остаются морщинами на лице. Михаил достал из ящика первую тетрадь сценария. В перечне действующих лиц под номером третьим значилось: «Клавдия, красивая девушка, 20 лет, среднего роста, блондинка, стриженная». Он зачеркнул эти строчки и поверх черных широких полос мстительно написал: «Мария, прекрасная девушка, 18 лет, брюнетка, высокого роста, с длинными волосами».

Все было кончено. Он один пойдет по дороге славы. Подруга не будет опираться на его сильную руку. Тем лучше! Довольно грустить, ты раскис, Михаил Озеров, разве зря ты занимался воспитанием воли по системе профессора Штейнбаха! Завтра свободный день, значит, можно писать всю ночь. Осталось немного — всего две части. Но почему не указал в своей книге профессор Штейнбах верного средства сразу забыть серые глаза, стриженные волосы, смуглые руки и короткое имя? Вот, например, в пятой части Иван Буревой разговаривает с девушкой по имени Мария, а перо само пишет заглавное «К». И почему нельзя легко зачеркнуть эту букву, чтобы не сжималось и не падало сердце?

4

Счетовод Чижов был человек завистливый и алчный. Лютая зависть терзала его душу беспрестанно, подобно зловредному чирею. Каждый рубль в чужих руках казался Чижову вытасненным из его кармана.

Особенно мучился он в дни составления полумесячных ведомостей на зарплату, когда против фамилий начальника депо, инженеров и машинистов писал цифры от 500 и выше, а против своей фамилии—140. Он завидовал пассажирам спальных пульмановских вагонов, проходим в новых костюмах; читая газету, завидовал летчикам, изобретате-

лям, спортсменам, артистам, стахановцам; и уж совсем вконец добивало его коротенькое сообщение о каком-нибудь счастливец, выигравшем по займу три тысячи. Словно пораженный вдруг электрическим током, он, бледнея, замирал на месте и долго сидел, покусывая тонкие губы, а в желтых немигающих глазах его медленно разгорался тусклый и мрачный огонь.

Да, ему не легко жилось, счетоводу Чижову. Казалось, все человечество нарочно сговорилось поминутно тревожить его чирей. Он хотел в ответ презирать человечество — и не мог, потому что зависть несовместима с презрением, — ему оставалось только злобствовать

Палимая постоянным жаром, истомленная непрерывной лихорадкой, душа Чижова пожелтела, высохла, сморщилась и к моменту описываемых нами событий представляла собой уже не цветник, а скорее гербарий чувств. Но это не помешало ему влюбиться, — если только можно назвать любовью то слабое щекотание и беспокойный зуд, которые он ощутил в себе недели через две после знакомства с Клавдией. Почти каждый вечер он встречался с нею в саду, танцевал, сидел на скамейке; говорил он мало, все больше молчал, глядя в лицо Клавдии так пристально, что она не выдерживала — отводила глаза.

Эту молчаливость Клавдия отметила про себя, как неоспоримое достоинство Чижова. Разговаривать ей совсем не хотелось; все время она думала о своем.

Но Чижов был не такой человек, чтобы зря тратить время на эту невеселую игру в молчанку.

Однажды он удивил Клавдию вопросом: умеет ли она шить? Разговор происходил на скамейке, под общипанной акацией, ронявшей сухие стручки. На деревянном круге ревел оркестр и шаркали десятки ног. Клавдия пошутила в ответ:

— Вы хотите мне заказать что-нибудь? Я заказов не принимаю.

— А для себя? — серьезно спросил Чижов. Улыбки не было на его лице.

— Конечно, умею. Я все умею...

— Угм, — отозвался Чижов и замолчал на весь вечер. Он был уверен, что

Клавдия отлично поняла скрытый смысл его вопроса.

Домой возвращались поздно, в первом часу. Луна пряталась в облаках, было темно, дышал ночной ветер. Чижев осторожно взял Клавдию под руку. — Здесь — кочки. Не споткнитесь.

Она шла, опустив голову. Чижев все плотнее прижимал ее локоть. Она даже не замечала. Все мысли ее были заняты Михаилом. Где он сейчас? Наверное, давно уже спит, или сидит над своим сценарием... И вдруг охватило Клавдию такое нетерпение увидеть его лицо, услышать голос — хоть беги прямо сейчас, ночью, к нему домой! «Надо мириться. Не могу больше» — подумала она, краснея от стыда за свою слабость, но это был радостный стыд — не тяжелый. И тут же она решила уступить Михаилу во всем, позабыв даже гордость. «Ничего, — утешала она себя. — Когда-нибудь придет и он ко мне первый. Завтра напишу письмо, что я виновата. Пусть, — хоть я и не виновата, но — пусть... Я потом когда-нибудь скажу, что не виновата. Я напишу письмо...».

Всю дорогу она сочиняла это письмо. Порой в ее мысли врывались со стороны чужие слова — это были слова Чижева. Он говорил что-то, но Клавдия слышала только обрывки и сейчас же теряла нить его голоса.

— Оклад у меня двести восемьдесят. Конечно, подрабатываю сверхурочными рублем семьдесят. Если поднажать — можно сто.

«Поднажать можно сто» — поймала Клавдия. В это время она обдумывала, как лучше начать письмо: «Дорогой Миша» или просто «Миша». Ответила наугад:

— Совершенно верно... Конечно...

Чижев кашлянул, закурил папиросу, покосился при свете спички на голую шею Клавдии. Они уже свернули в переулок. Здесь было темно от деревьев, упруго рокотали в сырой канаве лягушки. Прощаясь, Чижев дольше обычного задержал в своей руке ее тонкую руку.

— ... Родители мои живут в городе Юрьевце, на Волге, — рассказывал он. — Виды там роскошные и климат

весьма здоровый... Дом — собственный, сад в два гектара. Одних яблок продают на восемьсот рублей с лишним... А в урожайный год — больше тысячи. Я — единственный сын...

Помолчав, он добавил:

— Отцу — семьдесят лет. Матери — шестьдесят восемь.

Клавдия услышала только последнюю фразу. Сказала, открывая калитку:

— Совсем уж старенькие.

Чижев понял ее слова по-своему, как деловой, вполне законный вопрос.

— Года три, больше не вытянут, — ответил он. — Чуть ходят, больные оба. Желая вам приятных сновидений. Спокойной ночи.

Из густой, пахучей темноты палисадника донеслось:

— Спокойной ночи.

Но эта ночь была совсем не спокойная. В комнате Клавдии до рассвета горел огонь. Клавдия писала. Ее пальцы были вымазаны в чернилах, всюду валялась измятая, жорванная бумага. Письмо получилось длинное и бессвязное. «Позову его просто в сад, там все скажу на словах. Он меня любит, он придет. Скажу, что виновата, хоть я и не виновата, — пусть!..». Вместо письма Клавдия запечатала в конверт коротенькую записку с приглашением притти в сад и потушила лампу, но уснуть все равно не смогла от волнения — так и встретила утро с открытыми глазами. Птицы начинали в кустах свою суетливую работу, с крыши на подоконник падали, сияя и блестя в первых лучах, крупные капли росы.

А на другом конце поселка, в хмуром казенном многоквартирном доме ворочался на скрипучей, расшатанной койке Чижев. Это была его последняя одинокая ночь. Вчерашний разговор с Клавдией убедил его в том, что она согласна выйти замуж. Впрочем, он и раньше не сомневался в ее согласии, — иначе зачем бы она стала тратить время на ежедневные встречи в саду? Человек солидный — тридцать четыре года, пьющий, но мало, имеет профессию — чем не муж? Тем более, предвидится наследство — собственный дом и сад в два гектара. Клавдия тоже была невеста

вполне подходящая, как это выяснил Чижев, справившись в конторе об ее заработках и расспросив знакомых об ее поведении. К тому же она Чижову очень нравилась. Но комната, комната!..

Чижев обвел взглядом свою комнату. Действительно, это была комната мрачная, как подвал. Особенно неприглядной казалась она сейчас в сером утреннем свете: желтый потолок, голые, истыканные гвоздями стены, облупившаяся штукатурка, сизые окна, отсвечивающие мутной радугой. Обстановка небогатая — стол, табуретка, койка, вешалка и больше ничего — точь-в-точь тюремная камера, не хватало только решетки в окне. «Довольно стыдно и даже нахально приводить жену в такую комнату» — подумал Чижев.

Он встал и, не теряя времени, принялся за ремонт. Разбудив соседа маляра, он попросил у него ведро и кисти. «Комнату отделываю» — пояснил Чижев. «Ага-а, — протянул заспанный маляр, поддвигая розовые подштанники, — жениться надумали, стало-быть». Он был опытный маляр и знал, что люди не отделывают комнаты просто так, от одной фантазии. Вернувшись в постель, он сообщил новость жене. «Поди ты! — заворчала жена. — Кто это пойдет за него?».

Но, когда в девятом часу утра Чижев, весь заляпанный мелом, позвал ее вымыть в обновленной комнате пол и протереть стекла, она поверила. Подоткнув юбку, обнажив жилистые ноги, она принялась за работу. Чижев умылся, переоделся в белое и пошел в город. В походке его была медлительность, несвойственная ему раньше, на лице — торжественная строгость.

Вернулся он к полудню с подводой, нагруженной двуспальной кроватью, столом, гардеробом, двумя стульями и картиной в золотой раме. Поверх всего восседал босоногий возчик в красной вылинявшей рубахе, чернобородый и могучий. Телега завернула во двор. Сдержанному погромыхиванию колес отвечали мелодическим звоном пружины кровати. Чижев, потный и встрепанный, шел сзади, — в правой руке был у него новенький сияющий примус, в ле-

вой — абажур для настольной лампы и чайник. Сейчас же изо всех окон высунулись любопытствующие физиономии. Возчик остановил лошадь, распутал веревки. Вдвоем с Чижовым они взялись за гардероб, огромный и такой тяжелый, словно это был несгораемый шкаф. Он занял сразу четверть комнаты, другую четверть заняла кровать. Потом в комнату были внесены стулья, картина — и дверь закрылась. Головы, торчащие из окон, начали многозначительно переглядываться, кивать — и пошел работать по всему двору телеграф улыбок и подмигиваний.

За дверью между тем послышался неясный гул, он все нарастал, усиливался и был слышен далеко — то грозно гудел и грохотал в тесной комнате могучий, негодующий бас возчика. Слова сливались, но было ясно, что возчик требует справедливости и, может быть, уже бьет Чижова. Дело в том, что возчик и Чижев друг друга стоили и при найме подводки нарочно договаривались о цене туманными словами, при чем один надеялся содрать побольше, а другой — дать поменьше. Коса нашла на камень, в комнате началась война. Гул все усиливался, наконец, распахнулась дверь, и возчик появился на крыльце, весь пылающий гневом, с лицом таким же красным, как его рубаха, с растерзанной, вздыбленной бородой.

— Вот они, люди! — сказал он с невыразимой горечью, как человек, обманутый в своих лучших надеждах. — Гардеробы покупают! — Он скорбно усмехнулся и добавил матерное. Женщины начали поспешно закрывать окна, но это ничуть не смутило искателя справедливости. В порыве негодования он швырнул деньги на землю и загремел с новой силой: — Книжки читает! Обрванный! Сволота несчастная!

И долго еще он бушевал, стоя один посреди двора, потрясая своим басом плохо пригнанные оконные стекла, поминая вперемежку бога, веру, налоги, овес, крест и печенку; был он страшен — люди попрятались от него в комнаты, куры — в курятник, собаки — в сарай, и только лошадь, видимо, давно уже привыкшая к характеру своего

хозяйина и к его вечным поискам справедливости, мирно дремала у крыльца, изредка передергивая ушами. Наконец, утомившись, возчик подобрал деньги, уселся на телегу и, дабы выразить крайнюю степень презрения, уехал прямо через палисадник и огороды, оставляя за собой на капустных грядках две глубоко промятые колеи. Вслед ему неслись проклятия жильцов, но он даже не обернулся, величественный в своей красной рубашке, надуваемой ветром...

... Комната волшебным образом преобразилась. Чижев смотрел зачарованными глазами. Стены и потолок сияли ослепительной белизной, стекла в закрытом окне, казалось, исчезли совсем, — так чисто протерла их жена маляра, — и было странно, что звуки со двора доносятся глухо, и ветер, играющий с листвою, не залетает в комнату. Гардероб отсвечивал красноватым лоском, стулья — черным, пол — желтым; и, глядя на широкую кровать с пружинным матрацем и никелированными шариками, на картину в золотой раме, на все это сияющее великолепие, Чижев понял, что если бы даже и захотел, то не смог бы переменить своего решения жениться. Такая комната не годилась для холостяка. Здесь все говорило о счастье вдвоем. В такой комнате любой, самый закоренелый холостяк жежился бы через месяц.

Чижев раскрыл гардероб. Пахнуло кисловатым запахом свежего дуба, смолой. Гардероб был пуст. Чижев повесил туда свой костюм, пальто, зимнюю шапку, но гардероб все равно оставался пустым. Его могли заполнить только платья. На столе не хватало скатерти, на постели — второй подушки. Чижев подумал с нежностью о Клавдии: такая милая, все молчит, только морщит брови. ...Что-то непонятное происходило в нем, какое-то размягчение души; если бы он посмотрел на себя в зеркало, то сам удивился бы новому свету в своем лице и глазах. И улыбка была у него хорошая, без ехидства, и губы не кривились на сторону, — уже давно он так не улыбался. И странно было ему думать, что до сих пор он мог жить в одиночку, без Клавдии, в своей заплыван-

ной, вонючей конуре. Все прошлое сливалось в одно серое, безрадостное пятно — точно бы до сих пор вообще ничего не было, целых тридцать четыре года ничего не было, а все начнется только завтра... Теплые, приятные мысли охватили его: вот сидит хороший, добрый, прстой человек, счетовод Чижев, все его любят, и он всех любит, и солнышко светит, птички поют, травка растет, — экая благодать!..

Начиналось чудо, и, может быть, чудосочная, воспаленная душа Чижева навсегда бы исцелилась любовью. Но этому чуду не суждено было завершиться, а начало его увидели только мальчишки, что гоняли голубей на крыше, немилосердно грохоча по железу босыми ногами. Когда Чижев вышел на крыльцо, мальчишки, присев за трубами, приготовились к бою: они знали, что сейчас Чижев будет швырять камнями и ругаться душным, хриплым голосом. Обычно они отвечали ему с крыши дерзостями: «На-ко-ся, выкуси! Большой, а дурак!». На этот раз они вместо ругани услышали кроткие слова:

— Мальчишки, нельзя ли потише.

Это их до того поразило и напугало, что они долго сидели, притаившись за трубами, — затем тихонько спустились по лестнице и, озираясь, молча пошли со двора. Чижев вернулся в комнату, подумал — чем бы еще украсить ее, достал из ящика пачку фотографий и прилепил веером над столом. Эти фотографии он привез в позапрошлом году с курорта, и каждая из них была снабжена пояснительной надписью, например: «Я, садящийся в лодку», или: «Я, гуляющий в парке»...

... В этот день мужьям долго пришлось ждать послеобеденных самоваров. Женщины со всего двора собрались у водяной колонки. Пересудам и разговорам не было конца, и все заранее жалели молодую. А когда узнали, что это Клавдия, — ахнули: нашла себе сокола, нечего сказать! Слух пошел из дома в дом и дальше, по всему поселку, и доказался, наконец, до Михаила.

Он только-что вернулся из поездки и с паклей в руках ходил вокруг раскаленного паровоза, в железном брюхе ко-

торого медленно затихала гудящая, напряженная дрожь.

— Здравствуй! — сиповато окликнул его знакомый парень, голкипер местной футбольной команды, маленький, черный, жилистый, весь туго закрученный, как пружина. Он был в одних трусиках и в бутсах; на черной голове — платок с завязанными уголками.

— Играем нынче с городскими, — сообщил он. — Реванш захотели, мы им покажем реванш. Приходи. Пятерку унесут они с поля, это уж обязательно.

Поговорили о том, о сем; словно бы мимоходом, парень сказал:

— Клава замуж выходит. Слышал?

В груди у Михаила все опустело; низко пригнувшись к горячей стали, он глухо спросил:

— За кого же это? За Чижова?

— За него... — Парень сплюнул. — Дура!

— Ее частное дело, — сказал Михаил чужим голосом.

На этом их разговор закончился. Парень ушел прыгающими шагами, сразу через две шпалы, а Михаил так и остался стоять у паровоза, с паклей в руках, оглушенный новостью.

Дома нашел он записку от Клавдии. «Дорогой Миша! — писала она. — Я перед тобой очень, очень виновата. Приходи вечером в сад на танцевальную площадку, нам надо серьезно, очень серьезно поговорить. Обязательно приходи, смотри, не забудь». Михаил смял записку, бросил вялым движением в окно. Со всех сторон к ней побежали куры, но, разглядев, опять улеглись в горячей пыли на солнцепеке и закрыли круглые янтарные глаза.

В сад Михаил не пошел. Он все знал, и ему больше не о чем было разговаривать с Клавдией. Знакомая дорога повела его в степь. Солнце накалило голую землю; стоял тяжелый, ленивый зной, полусон, тишина; над серыми лысынями холмов струилось марево; поднимался от земли сухой, горячий, сгустившийся за день полынный запах. Михаил повернул с дороги; мертвая, сожженная солнцем трава зашуршала и захрустела под ногами. Он был теперь один на всей земле, а над ним в пустой синеве повис

на распластанных крыльях беркут — один во всем небе... Незаметно опустилось за холмы солнце, озолотило высокие облака, — а он все шел и шел, все дальше в степь, сам не зная, куда...

... Клавдия обегала все закоулки сада, разыскивая Михаила. Может быть, он где-нибудь задержался? Она присела на скамейку в глухой боковой аллее. Большая липа накрывала ее своей тенью; в резком электрическом свете беззвучно плясали мошки и бабочки. Очень тоскливо было смотреть сквозь листву на фонарь. Клавдия опустила глаза: «А если он совсем не придет?». И вслух сама ответила себе: «Если не придет — значит, совсем не любит». Она долго сидела, оцепенев, точно бы эта мысль на время лишила ее жизни. Она не чувствовала в себе волнения — одну пустоту. За день она так устала волноваться, что теперь ей было почти все равно.

Вдруг она встрепенулась, словно разбуженная, и выпрямилась на скамейке. «Что это со мной? Вот еще новости — совсем раскисла!». Она достала из сумочки пудреницу, круглое зеркало. Ну, копейно! В письме назначила на танцевальной площадке, а сама ушла куда-то в закоулок... Она пудрилась торопливо. Наверное, давно уже пришел и ждет. Удивляется — почему нет?

Она встала, чтобы идти на площадку, и вдруг увидела тень, выдвигавшуюся из кустов на аллею. Тень была в кепке и штанах. Сердце застучало часто и неровно. Клавдия прерывисто вздохнула, но вида не показала — пошла себе потихоньку, будто ничего не заметила. Шаги нагоняли ее. «Нашел и здесь, — подумала она с благодарной нежностью. — Нашел все-таки...».

Ее плеча осторожно коснулась рука и — легкая — осталась лежать на нем. Клавдия остановилась, ждала, затаив дыхание, покусывая липовый листок.

— Клавочка!

Она чуть не упала: это был голос Чижова! Она шагнула вперед, резко выдернув плечо из-под его руки. Чижов забежал сбоку.

— Я думал, вы сегодня не пришли. Нигде нет. Я уж искал, искал...

— Да? — холодно улыбнулась Клавдия. А сама думала в смятении: «Вот еще нехватало! Не дай бог, увидит Мишка!.. Да еще в таком месте... Одних!..».

— Клавочка! — повторил Чижов. Он волновался, потирал руки. От него шел густой запах парикмахерской, волосы — гладко и постно зачесаны; новая рубашка в клеточку, новые черные брюки; словом — вид у него был торжественный.

— Присядем на минутку.

Он потащил ее к скамейке. Она села неохотно, с одной мыслью: «Поскорее бы... Что ему надо? Вдруг — Мишка?..». Вздыхала, вертелась, оглядывалась... Чижов молчал, натужно откашливался, будто в горле застряли репы. Клавдия покосилась одним глазом. Все очень странно...

— Так вот... — начал он. — Дело в следующем... — И опять замаялся. А Клавдия уже догадалась и похолодела в смятении. Только этого нехватало!

— Я очень спешу... — Она привстала, но Чижов схватил ее за руку, удержал на скамейке. Тоскливо замирая, Клавдия подумала: «Сейчас... вот сейчас!..». Чижов бухнул, как в пруд головой:

— Я на вас жениться хочу.

— О-ох! — застонала Клавдия. У нее даже слезы выступили на глазах — до того ей было нехорошо. Чижов сильно засопел, потянулся к ней. Она отодвигалась по скамейке все дальше, к самому краю. «Не надо! — торопливо говорила она, перехватывая его руки. — Слышите, говорю же, не надо... Ну, прошу же! Ну, что вы!.. Не надо!..». Она вскочила, прижалась к шершавому стволу липы. Электрический свет, пробивая листву, падал на ее шею, на голые руки, покрытые матовым теплым загаром. Чижов недовольно ворочался на скамейке — все шло не так, как он думал, все по-другому, с каким-то вывертом. Он предполагал в Клавдии больше выдержки, деловитости.

— Клавочка, вы, может быть, думаете, я в шутку?.. Я серьезно...

Клавдия услышала хруст песка, сказала, не оборачиваясь:

— Не надо... Не подходите...

— Позвольте, — обидчиво сказал Чижов, дыша ей в спину. — Я ведь не как-нибудь... Я не какой-нибудь алиментщик и так и далее. Я вам предлагаю руку и сердце. Вы, кажется, слышали. Русским языком было сказано...

Он уже почуял неладное и встревожился.

Клавдия пожалела его, а себя почувствовала виноватой.

— Я очень извиняюсь, — мягко сказала она. — Очень извиняюсь... Вы не обижайтесь, но я не могу. Очень досадно, что все так вышло... Но я не могу...

Он слушал молча и вдруг вскинулся, как человек, напуганный спросонья.

— Что? Что?.. То-есть как? — забормотал он обрывисто и торопливо, прижав ладони к груди. — Что это не могу? А! Это что такое не могу?.. А?

— О, господи! — воскликнула Клавдия с мукой в голосе. — Ну, не могу! Сказала ведь — не могу!.. Чего же спрашивать! Не могу! Не могу! Не могу!..

Она быстро пошла по аллее, твердя все время: «Не могу! Сказала ведь!.. Ах, ты, господи! Не могу!..». Чижов нагнал ее, схватил за руку.

— Позвольте... Позвольте... — Это было, как тревожный бред — его бормотание. — Вы когда раздумали?.. Вы когда?.. Вы почему?.. Позвольте...

Она остановилась.

— Ну, успокойтесь... Не надо... Я и не думала... — Она развела руками, не находя больше слов. — Я виновата, конечно... Мы танцовали... Но я не знала, что вы так все поймете...

— То-есть как не думали?.. Это как понимать, не думали?.. Почему не думали?.. Вопрос — почему?..

Клавдия потеряла терпение.

— Я не могу. Я люблю другого. Вот и все. Понятно?

— Другого? — подхватил Чижов. — То-есть как? Кого другого?.. А? Это как понимать другого? А?

Он метался перед Клавдией, загоразживая аллею, беспорядочно размахивая руками. На песке, передразнивая его, кривлялась черная, уродливая короткая

тежь; вверху мошки однообразно танцовали вокруг фонаря; ветер зашумел по кустам — все было, как дурной сон. У Клавдии загудело, заныло в голове.

— Пустите! Ну, пустите! — И, отводя все время его руки, точно продираясь через густой кустарник, она пошла быстро, почти бегом.

— Позвольте, позвольте! Кого другого? Кого? — слышала она, и хотелось ей зажать уши. И вдруг Чижев закричал: — Озерова?.. Озерова? Да?..

Он обозлил Клавдию этим выкриком. Она остановилась, бледная, — сказала коротко:

— Да...

Чижев подступил к ней вплотную. Были еще какие-то слова; совсем близко увидела она перекосившееся лицо Чижева, глаза, блеск зубов. Она отступила. Подломились в коленях ноги: Чижев сналету опрокинул ее на скамейку. Руки его шарили. Клавдия отбивалась молча, отчаянно, ломая ногти. Руки Чижева оостенели, не разжимались. Клавдии удалось повернуться, и, откидывая голову, она несколько раз сильно и резко ударила назад затылком, рванулась, отбежала за дерево. Все произошло в одну секунду. Медленно трезвев, Чижев достал из кармана платок, приложил к разбитому носу.

Клавдия спросила вызывающе, с веселой злобой:

— Что? Получил? Хорошо!..

На всякий случай она подняла булыжник, если опять сунется. Чижев не сунулся. Рассматривая пятна крови на своем платке, он звучно и мокро потянул носом. А Клавдию подмывало и разбирало дерзкое озорство — глухой отголосок прежних отчаянных лет. Блестя глазами, она подошла вплотную к Чижеву, поднесла булыжник к его лицу. Он откачнулся, тупо посмотрел побелевшими глазами. «Видишь! — грубо сказала Клавдия. — То-то. Руки больно длинные хватать!..».

... Потом она долго отсиживалась в пустой читальне, пила воду, кусала губы. В ушах гудел голос Чижева, перед глазами мелькали его руки... Даже не верилось — до того все получилось нелепо и глупо.

— Ой-ой-ой!.. — тихонько пожаловалась она в пустоту, морщась, словно от зубной боли. Заботливо осмотрела сарафан — не оборвались ли пуговицы? — и пошла на площадку искать Михаила.

Его нигде не было. Значит, он сегодня в сад не пришел... Клавдия вернулась в читальню, забралась в самый темный угол и горько заплакала, причитая шопотом.

А за городом, вдали от путей, гудков, музыки, электрического света, лежал на песчаном бугре Михаил и смотрел пустыми глазами в сонную воду. Над ним низко светили крупные звезды, отражались в реке, и вдоль по воде вспыхивала временами светлоголубая полоса.

5

Через полчаса Чижев сидел на вокзале, в буфете. Пиво не брало его сегодня. В распухом носу он чувствовал боль, в душе — нестерпимую обиду и унижение. Опять его обошли, охмурили, выхватили Клавдию из-под самого носа!..

Кругом спорили, шумели, звенели посудой; рыча и огрызаясь, бежали потные официанты; из кухни густо несло жареным луком; воздух медленно желтел от вони и табачного дыма. А народ все подваливал — железнодорожники в кожаных картузах, в тужурках с оловянными пуговицами и окантованными воротниками, пассажиры с детьми, узлами и корзинами; колхозники в запыленных сапогах. Многие приткнулись на подоконниках, а некоторым пришлось стоять прямо в проходе, с бутылкой в одной руке и стаканом в другой. Чижев снял кепку, положил рядом на свободный стул. Это его немного утешило, что есть у него лишний стул, а другие без стульев. «Занято! Занято!» — поминутно огрызаясь он, и было в его желтых ястребиных глазах такое, что люди отходили молча, лишь бы не связываться. И только один веселый мужик в коричневом балахоне покачал головой, почесал черную с проседью бороду на рябом лице и сказал натужным голосом, с хрипотцой:

— Сиди себе, милый, сиди!.. Я уж тебя насквозь вижу, тебе и в чистом поле — все тесно будет. Тебе всю землю бы одному, да, видишь, больно круглая она, держать ее неловко.

И ушел, осыпая с балахона соломинки на заплыванный, зашарканый пол. Чижев заскрипел зубами ему вслед: «Деревня!.. Чаво!.. Акулька!..». Мужик не обернулся и не удостоил ответом.

Вот здесь-то, за кривоногим столиком, под крики, шум, под бутылочный звон и произошла, совершенно случайно, встреча, о которой никогда не думал, не гадал Чижев и которая так переломила судьбу Клавдии.

Подлетел, сияя окнами, шипя тормозами, скорый московский поезд, постоял три минуты и, погромыхивая все чаще колесами, заволакивая звезды над станцией густым пахучим дымом, двинулся дальше, в россыпь красных, белых, зеленых огней и — за ними — в ночную степь, что дышит под шторки вагонных окон теплыми полярными ветром.

На обезлюдевшем, затихшем перроне зволинского вокзала поезд оставил только одного человека. Роста был он среднего, но в груди и в плечах очень широкий, одет в новенький серый костюм, через левую руку перекинута было пальто на шелковой лоснящейся подкладке, в правой — держал он увесистый чемодан желтой кожи с медными блестящими замками. По виду приезжий был инженером или, на худой конец, столичным экономистом, которого служба загнала в Зволинск в командировку на два или на три дня. Он посмотрел вслед поезду, прошелся взад-вперед по перрону, задержался на минутку, точно прислушиваясь, у зарешеченного освещенного окна, откуда доносился писк фонопора и тонкое стрекотание телеграфного аппарата, — затем направился прямым ходом в буфет. Его желтые туфли на толстой, мягкой каучуковой подошве не скрипели и не стучали, двигался он быстро, бесшумно, плавно, как тень. Привычно лавируя между стульями, никого не толкнув и не задев по дороге, он подошел к единственному свободному месту за столиком Чижева.

— Занято! — быстро сказал Чижев, придвигая стул с кепкой ближе к себе. Приезжий спокойно взял кепку и положил ее на стол, козырьком в пивную лужу.

Чижев посинел от злобы, яростная дрожь прошла по его телу, глаза выкатились и остановились — круглые, немигающие, налитые желтым ядом.

— Занято, говорят вам! — Чижев вцепился в стул намертво обеими руками. — Довольно нахально..

Но тут он осекся, не договорив: на него были устремлены в упор такие же круглые, желтые, ястребиные глаза, с такими же крошечными зрачками.

Несколько секунд они молча смотрели друг на друга, потом приезжий легонько потянул стул к себе. Пальцы Чижева разжались. Приезжий сел, придвинул пепельницу, закурил. Чижев уставился на него, точно стараясь навсегда запомнить сухое, темное лицо с горбатым носом, втянутыми щеками и квадратным подбородком, раздвоенным посередине. Он был, повидимому, опытным путешественником, этот приезжий, и знал вокзальные нравы: чемодан поставил не кое-как, а между ног, и прижал коленями. Брезгливо морщась, он подозвал официанта, приказал ему вытереть стол. Говорил он не громко, но веско; официант сразу почувствовал к нему такое уважение, что даже предложил постелить скатерть. «Не надо», — сказал приезжий, небрежно махнув рукой; блеснули желтым лучом золотые часы.

Официант побежал заказывать бифштекс по-гамбургски. Приезжий тем временем разглядывал потолок, стены. Казалось, он совсем не замечает людей вокруг, но каждого нового посетителя он встречал коротким, настроженным взглядом. Пальцы его — длинные, цепкие, горбатые в суставах — подрагивали на столе.

«Московская птица! — подумал Чижев. — Какой-нибудь — с персональным окладом... В международном приехал...». Душа Чижева, потревоженная новым костюмом приезжего, чемоданом, золотыми часами, папиросами «Люкс» — пять рублей коробка, — начинала потихоньку ныть и тосковать от зависти. А



тут еще пальто на шелковой подкладке и почему-то с дамскими квадратными пуговицами, — наверное, последняя мода. «Командировочных в день рублей тридцать, — томился Чижов. — Плюнуть его сейчас по морде бутылкой!».

— Послушайте, гражданин, — сказал вдруг приезжий. — Гостиница тут у вас далеко?

— Нет у нас гостиницы... (Про себя Чижов добавил: «Не гостиницу тебе, а в пруд башкой!»).

— Как же так? — удивился приезжий. — А где же ночуют у вас?

— А вот... — сладко замирая, сказал Чижов. — Здесь и ночуют у нас приезжие. На вокзале они ночуют у нас. Вот здесь, на полу, они спят... В садике еще можно, там травка, помягче...

Приезжий посмотрел длинным, пристальным взглядом и кашлянул так выразительно, что язык у Чижова сразу прилип к зубам.

— Встретил я одного человека в прошлом году, — холодно сказал приезжий. — Он тоже грубости говорил незнакомым людям. Теперь ходит на костылях.

— Потихе! — деревянеющими губами ответил Чижов. — Много вас таких ездит... в международных...

— Закажите себе костыли, — сурово посоветовал приезжий. Уши Чижова, лицо и шея побагровели, но с'язвить он не посмел. Кто его знает, что за человек? Не оберешься потом неприятностей.

Приезжему подали бифштекс, водку. Чижову — еще бутылку пива. И вдруг пальцы его заледенели на стакане. У прилавка он увидел Клавдию. Болтая с молоденькой продавщицей, она глазами искала кого-то среди сидящих. Заметила Чижова и, с независимым видом, сложив бантиком губы, направилась к выходу. «Озерова ищет» — сообразил Чижов. Он медленно и тяжело поворачивал голову, следуя взглядом за Клавдией, считая как будто ее шаги.

Что-то кольнуло его, он быстро перекинул глаза на приезжего и застыл в удивлении. Приезжий, вытянув жилистую шею, выпятив подбородок, смог-

рел вслед Клавдии неотрывно и пристально, недобрым, настороженным взглядом из-под широких бровей... Нож в его руке висел в воздухе над тарелкой.

Клавдия вышла.

Приезжий встретился глазами с Чижовым. Это было, как немая борьба: оба старались угадать тайные мысли друг друга. От напряжения в ушах Чижова тонко заныла струна. Он ничего не слышал — ни криков, ни бутылочного звона, ничего не видел, кроме ястребиных, остановившихся глаз приезжего. Наконец, приезжий, вздохнув, медленно опустил темные веки. Ножик его опять застучал по тарелке. Опять зашумели кругом. Чижов молчал, выжидая. Он в своих расчетах не ошибся. Приезжий спросил прямо, без обиняков:

— Что это за девушка?

— Наша... деповская.

— Давно она здесь?

— А вы ее знаете?

— Давно она здесь? — нетерпеливо повторил приезжий.

— Полтора года. А вы ее знаете?

— Может быть? — уклончиво ответил приезжий. Загадочная усмешка потянула его бритые губы.

Чижов почувствовал зудящее изнеможение в ногах.

— А что вы знаете?.. — Какое-то колесико оборвалось в нем, соскочило — руки затряслись, лицо перекосилось; он заволновался, заторопился, забормотал отрывисто и невнятно, точно спросонок: — Что?.. А? Что вы знаете?.. А?.. Что?..

Приезжий откинулся на стуле, закурил и холодно, испытующе посмотрел на Чижова сквозь папиросный дым.

— Может быть, и знаю. А вам зачем это?..

— Просто так. Низачем. А что вы знаете?.. — Расплескивая пиво, Чижов налил свой стакан доверху, выпил залпом,

— Угм, — протянул приезжий. — Ну, ладно. Получите! — крикнул он официанту.

Он расплатился щедро, из толстой пачки двадцаток. «Сдачи не надо».

Взял свой чемодан, перекинул через руку пальто и неторопливо пошел к двери.

Чижев окаменел. И вдруг сорвало его с места, понесло к выходу.

Он нагнал приезжего на улице.

— Куда вы пойдете ночью — все заперто. Идемте ко мне. — Приезжий молчал. Чижев торопливо добавил. — Комната очень хорошая. Живу один. Две кровати... Совсем близко...

— Идемте...

Они пошли, прямо через линию, спотыкаясь в темноте о рельсы и шпалы. Перешли по мостику через какую-то канаву, пересекли пустырь, весь в ямах и буграх. Поселок спал, все окна давно погасли, собаки утомонились и не лаяли. Низко стояла огромная красная луна, светила на землю сбоку непрозрачным, тускловатым тяжелым светом, сгущая душную темноту.

Повстречался какой-то человек, ушел в темноту, как в стену. Шаги заглохли. Это был Михаил. Они с Чижевым не узнали друг друга.

... Утром Чижев, злой и желтый от бессонницы, стоял в одном белье у подоконника, разжигал примус. Медь и железо, орошаемые керосином, наконец расцвели мертвым цветком — венчиком синего пламени. Комната наполнилась тоскливой керосиновой вонью, утомительным ревом. Чижев вытер руки, поставил чайник.

Начинался день, скучный, серый, плохой, без света и теней; сизая мгла накрыла землю, как одеялом; земля парилась, томилась в духоте. Бродил под окнами старый грязный козел, весь в репьях, с обрывком веревки на шее, — точно хотели его повесить, а он сорвался и убежал.

Приезжий сидел на кровати, опухшими глазами осматривал комнату, гладил свои волосатые ноги.

— А жена где? Уехала?

Чижев промолчал, уязвленный этим вопросом в самое сердце.

Потом пили чай — на новом столе, из нового чайника, вскипевшего на новом примусе. Чижеву это все было хуже смерти. Он с ненавистью смотрел на приезжего, — мало того, что нахально, без спросу занял в уголке место, пред-

назначенное для Клавдии, да еще раскачивает стул!

— Не раскачивайте стул. Деньги стоит.

— Как? — переспросил приезжий.

— Деньги стоит, говорю! Не раскачивайте!

— А сколько? — осведомился приезжий.

— Тридцать рублей.

Приезжий полез в карман, достал две двадцатки, молча положил на стол перед Чижевым.

Чижев растерялся.

— Это вам, — пояснил приезжий. — Берите, не стесняйтесь. И не мешайте мне сидеть, как мне хочется.

И развалился уж совсем нахально, — стул, скрипя, качался на одной ножке, а три остальных висели в воздухе.

Чижев позеленел.

— А я, может быть, не продам.

— Я покупаю у вас не стул, а личную независимость, — внушительно пояснил приезжий. — Я враг всех правил и ограничений. Сильная личность имеет в мире только один закон — свое желание. Вам это понятно?

Нет, Чижеву это было непонятно. Он взял деньги, нерешительно повертел в руках. Уж не смеется ли над ним этот московский ферт? Очень странный человек. И разговор у него какой-то замысловатый, темный.

— ...Конечный вывод всей философии таков: «Человек человеку волк». Это верно. Испытал на собственной шкуре. И давал почувствовать другим. В этом — вся жизнь. Берите деньги и не мешайте мне сидеть на стуле, как я хочу.

— А если денег нет?

— Денег не бывает только у дураков и трусов. Если человек не может достать денег — значит, он недостоин сидеть на стуле, как хочет; пусть сидит, как ему велят. В этом — вся жизнь.

Он говорил долго, а Чижев покашливал, ерзал: ему хотелось спросить о главном, о Клавдии.

— Эта девушка... Вчера мы видели которую...

— Не торопитесь, — усмехнулся приезжий. — Всеу свое время.

Нетерпение со всех сторон подкалывало Чижова; он пустился на хитрости: — Да вы, может быть, ничего и не знаете...

— Может быть, — хладнокровно согласился приезжий. — А почему вас так интересует эта девушка?..

На службу Чижов ушел смятенный — о Клавдии ничего не узнал, о новом знакомом тоже ничего, — даже неизвестно, как его зовут. На полпути спохватился: оставил в комнате чужого человека, одного!.. А там — костюм, пальто. Но, вспомнив о толстой пачке двадцаток в кармане у приезжего, успокоился.

Работалось ему в этот день плохо: какая-то несчастная копейка запутала весь итог ведомости, пришлось пересчитывать сызнова. Цифры сливались в глазах.

...А приезжий, проводив Чижова, занавесил простыней окно, вытащил из-под кровати свой чемодан и стал его открывать. Но открывал странно — не ключом, а перочинным ножиком, подковыривая замки. Что-то шелкнуло, крышка отошла. Приезжий поднялся с колен и запер на всякий случай дверь.

Сверху лежал в чемодане дамский шевиотовый костюм, под ним — десяток платьев, открытых, закрытых, с рукавами и без рукавов, шифоновых, маркизетовых, крепдешинных и просто ситцевых, а еще ниже пошла несусветная женская дребедень: трико, чулки, панталоны, бюстгальтеры, купальные костюмы, туфли, сандалеты, сарафаны, ленточки, подвязки... Брезгливо морща сухое лицо, приезжий осматривал вещи, бросал на кровать; куча разноцветного тряпья росла и росла; было удивительно, как умещалось все это в одном чемодане!

— Да!.. — задумчиво и невесело сказал приезжий. — Дошел ты, Василий Иванович, до самой ручки!

Он сложил тряпье обратно в чемодан, перетянул его ремнем и, захватив свое пальто с квадратными дамскими пуговицами, отправился куда-то в город.

Ходил он долго и вернулся только часам к четырем, без чемодана и без пальто, но внутренние карманы его пид-

жака отдувались заметно. Над головой держал он газету, защищаясь от низкого, раскаленного солнца.

— Уф! — сказал он, войдя в сумрачную прохладу комнаты, подхватил двумя руками ведро и напился прямо через край, обливая подбородок и рубашку. — Уф! — повторил он, опускаясь в изнеможении на стул.

Отдохнув, он принялся разгружать свои отдувающиеся карманы. Они были набиты комками денег. Разглаживая бумажки, он складывал их кучками по достоинству — червонцы к червонцам, рубли к рублям. Потом пересчитал, подвел на полях газеты итог. За чемодан со всей требухой да еще за дамское пальто в придачу он выручил тысячу с небольшим — всего-навсего.

Грустные мысли изобразились на его лице. Презрительно скривив губы, он смотрел на засаленные липкие бумажки, на тусклую горку мелочи... Было время, когда этих денег только-только в обрез хватало бы ему на один вечер в ресторане.

Он задумался. Будущее представлялось ему беспросветным; настали тяжелые времена...

Перед ним лежала московская газета; чернел заголовок: «Явка с повинной». В каждой строчке мелькали знакомые имена — пришел в прокуратуру с повинной Костя Граф, пришел Матвей Сухоруков, Яблочков, Ротенберг, даже Савелий Никитич Гордиенко, знаменитый патриарх взломщиков, вор с сорокалетним стажем, и тот добровольно явился с повинной!.. Это были последние остатки старого воровского клана, некогда величественного и грозного. Всех поименованных в газетной статье приезжий знал лично — в 28-м году втроем с Матвеем Сухоруковым и Савелием Никитичем взяли кассу в Ростове — триста тысяч, как одна копейка. С Костей Графом работали ювелирный магазин в Москве, на Петровке. Потом Ротенберг пригласил на гастроль в Киев; взяли несгораемый шкаф на сто шестьдесят восемь тысяч. Нахлынули воспоминания; приезжий (звали его Василий Иванович Катувльский-Гребнев-Липардин) покачал головой, поджал гу-

бы; скорбная усмешка стянула в складки бритое лицо... «Теперь вот — пожалуйте!.. Явка с повинной».

Блатной мир погиб. Можно было ставить ему надгробный памятник. На воле оставались, кроме шпаны, мелочи, каких-нибудь два десятка настоящих крупных воров, бывших аристократов. Судьба их достойна была сожаления; разбросанные по всему Союзу, они владели жалкую жизнь, промышляя кое-чем, опускаясь до самых мелких краж, со дня на день ожидая неминуемого конца. Профессия, квалификация — все потеряло смысл, и порой знаменитому медвежатнику приходилось работать в компании с каким-нибудь сопливым шпаненком; стальные высшего качества крупновские инструменты, которыми можно было вскрыть, как банку консервов, любой несгораемый шкаф, пускались в ход для взлома папиросного ларька из фанеры. Все измельчало, выродилось. Дмитрий Чугунов, в прошлом крупнейший взломщик, засыпался недавно в Харькове на краже белья с чердака. А Василий Иванович Катувский-Гребнев-Липардин, в послужном списке которого значилось не меньше тридцати ювелирных магазинов и несгораемых касс, мог прошлой ночью засыпаться на краже чемодана и пальто у дамочки, ехавшей в Сочи. Дамочка была веселая, хорошенькая, с кудряшками и пухлыми губами, весьма легкомысленная; без умолку лепетала она, как ей повезло: местком дал бесплатную путевку, единственную на все учреждение. Как завидовали ей все сотрудники! Ха-ха-ха!.. Начальник не отпускал — горячее время, но она сказала: «Товарищ Петров, я работала, не считаясь со временем, для пользы дела, и теперь имею право на отдых». И начальник сразу подписал приказ, в одну минуту, без разговоров, ха-ха-ха!.. Дамочка служила где-то секретарем, получала наверное двести пятьдесят рублей, ради поездки залезла по уши в долги, взяла у знакомых на подержание заграничный чемодан и теперь была безмерно счастлива. Скорый поезд торопился на юг; пролетал без остановки раз'езды и полустанки, с каждой минутой всё ближе

были Сочи, море, пляж, пальмы; дамочка совсем опьянела: щеки горели и глаза сияли. Вечером на темной площадке, на ветру, под бегущими звездами она бредила наяву, безумно целовалась с Василием Ивановичем, прижималась теплым плечом и грудью. Под кофточкой при этом жестко топорщилась бумага, должно быть, конверт с деньгами. Наконец, истомленная, счастливая, она крепко уснула, поручив Василию Ивановичу караулить вещи. На прощание он заглянул ей в лицо, — она улыбалась, что-то шептала во сне. Василий Иванович вышел из вагона с ее пальто и чемоданом, не возбудив у проводника подозрений... А теперь дамочка едет обратно в Москву; глаза у нее погасли, голосок срывается на всхлипывания; и без конца рассказывает она сердобольным соседям о своем горе. Ее счастье улетело, развеялось, как дым... Василий Иванович Катувский-Гребнев-Липардин поморщился и закричал, ощутив неловкость в душе. Он считал себя рыцарем и при других обстоятельствах, конечно, не обидел бы эту дамочку; при других обстоятельствах он, может быть, поехал бы с ней на Кавказ, бросил бы в окно ее путевку и показал бы ей настоящую жизнь с блеском и шиком — первоклассные отели, прогулки на автомобилях, ужины в ресторане... А на прощание подарил бы ей золотые часики с надписью: «от незнакомца», и всю жизнь она вспоминала бы этот месяц на Кавказе, как чудный, волшебный сон...

Василий Иванович встал, сердито прошелся по комнате. Чорт знает что! Украл чемодан и пальто! Самому противно!.. Но — время такое, ничего не сделаешь. Василий Иванович осуждал не себя, а время. Его вынуждают красть чемоданы! Его вынудили обидеть дамочку. Когда у человека в кармане всего восемьсот рублей, он поневоле начнет тянуть чемоданы. Василий Иванович ожесточился, — да, его вынуждают размениваться на мелочи — красть чемоданы, обижать наивных дамочек, и он не принимает на себя ответственности за это!

Между тем в стране было много и несгораемых шкафов, и ювелирных ма-

газинов, и никакая охрана не смогла бы уберечь их от Василия Ивановича Катульского-Гребнева-Липардина, если бы другое время, не советское. Раньше были хозяева несгораемых шкафов и были воры; хозяева имели полицию, воры — свою блатную организацию; остальная публика не вмешивалась. Но что можно сделать сейчас, когда все стали хозяевами и охранителями всех шкафов, когда за каждым магазином следят сотни, тысячи глаз, когда каждый школьник, заметив подозрительного, бежит за милиционером! Кругом, на каждом шагу — враги. Можно бороться с полицией, можно провести десяток тайных агентов, но нельзя человеку в одиночку бороться против всех! Если бы даже удалось вскрыть шкаф, взять магазин, то куда потом деваться с деньгами, с бриллиантами? Продать? Кому? Каждый ответит тебя в угрозыск. А деньги... В Советском Союзе кощунственно нарушен основной закон: «деньги не пахнут»; раньше никто не спрашивал, откуда у человека деньги, а теперь спрашивают. Чую за версту, если от денег идет дурной запах.

В России сменили воздух. Преступному миру пришел конец, погибель. Когда-то была у воров своя тайная ложа, были свои крепкие законы, были чины и звания, младшие подчинялись старшим, прилежно учились тонкостям ремесла. Были шаманы, малины, секретные квартиры, где отсиживались в безопасности после крупных дел; были скупщики краденого, разведчики, наводчики, укрыватели, были свои люди в розыске. Все это держалось на круговой поруке, за нарушение которой наказывали смертью... Ничего не осталось. Погибло все, как погибает плесень на солнце, на свежем ветру. Распалась круговая порука; никому нельзя довериться. Встретишь какого-нибудь старого приятеля, отбывшего срок, а у него — почетная грамота в кармане. Предложишь ему дело, — не поморщившись, пойдет он в милицию заявить. Вору Гинкину такая неосторожность обошлась в пять лет со строгой изоляцией, а приятель, выдавший его милиции, аккуратно через день носил в тюрьму передачи. И при этом

он имел нахальство уверять Гинкина, что посадил его в тюрьму из любви и дружбы, чтобы сделать из него человека. Гинкин угрюмо молчал, сопел в черную бороду, а выйдя досрочно через три года на свободу, в свою очередь, посадил двух старых друзей и тоже носил им передачи. При таких порядках поневоле пойдешь к прокурору с повинной — больше ничего не остается делать.

В Советском Союзе было еще много мелких, случайных краж, но настоящее, квалифицированное воровство, воровство как пожизненная профессия, стало невозможным, подобно профессиям банкира, антрепренера или адвоката по бракоразводным делам. Воровство как профессия целиком принадлежало старому миру. И вот Василий Иванович Катульский-Гребнев-Липардин явственно ощутил себя родным братом тех, кого обворовывал раньше; он был одной крови с владельцами несгораемых касс и ювелирных магазинов; он мог жить только среди них, и они, видимо, без него обойтись не могли, хотя и ловили его и упрятавали время от времени в каталажку. Но все это происходило как бы в одной семье, в одном доме, среди своих, а теперь Василий Иванович чувствовал себя чужаком, белой ворсистой; он жил среди чужих, среди врагов по крови; советский воздух был нестерпим, ненавистен, убийствен для него.

Но что же делать? Итти в прокуратуру с повинной? Отбыв наказание, служить счетоводом или завхозом в клубе? Нет! Никогда!

Василий Иванович Катульский-Гребнев-Липардин был одним из тех немногих экземпляров, что полностью отбывают в тюрьмах свои сроки, не поддаваясь никакой перековке. И в прокуратуре это знали, даже удивлялись, откуда такая масса преступности в одном человеке? В случае поимки Василий Иванович не мог рассчитывать на снисхождение — хорошо еще, если дадут десять лет с испугом, то-есть расстрел с заменой десятью годами, а то просто дадут чистый расстрел. Тем более, что Василий Иванович проживал по фальшивому паспорту: полтора года тому на-

зад он покинул тюрьму, не простившись с администрацией.

В Советском Союзе жить ему было нельзя. Земля под ним горела. Он решил бежать за границу, в Персию. Персия его привлекала патриархальностью. Кассы там, наверное, все старого образца, и вскрывать их можно шутя, мимоходом. Правда, ворами в Персии отрубают руки, но что это за воры? Там, наверное, никогда еще не видели настоящего специалиста по несгораемым шкафам, известного в Москве, в Варшаве, Одессе, в Бухаресте и Константинополе... Такой человек может один разорить всю Персию. А полиция? Василий Иванович видел фотографию, изображавшую персидского полицейского — босиком, с черными тонкими ногами, в пышном тюрбане, с кривой саблей на боку. Душит смех смотреть на такую полицию!.. Да, в Персии можно делать большие дела.

Мечта о Персии не давала ему покоя, но денег для Персии не было. Недавно Василий Иванович с огромными трудностями, в одиночку, взял в Москве восемнадцать тысяч и начал готовиться к отъезду. Но, возвращаясь ночью из Большого театра после любимой оперы «Евгений Онегин», он заметил неподалеку от своего переулка машину с потушенными фарами. А на углу маячила тень. Чутье на эти вещи было у Василия Ивановича сверхъестественное; не останавливаясь, повернул он в первые же ворота, прошел насквозь гулкой пустынный двор, перелез через ограду и прямым ходом отправился на вокзал. По дороге он проклинал и костил последними словами соседа по квартире — молодого шофера, который уже давно приглядывался к странному образу жизни Василия Ивановича и в конце-концов заявил, куда следует.

Все деньги остались дома под матрасом. С собой у Василия Ивановича была только одна тысяча. План бегства в Персию сорвался. Теперь нужно было начинать все сызнова — ждать удобного случая, когда подвернется куш покрупнее, а пока пробавляться кое-чем, по мелочи. Красть чемоданы. Василий Иванович опять поморщился и закри-

тел. С отвращением вспомнил он базарную сутолоку — запахи, жару, шум, гнусавый мелочный торг за копейку. Базарная пыль еще скрипела у него на зубах. Он сплюнул. Самому торговать краденым барахлом на базаре, — что может быть унизительнее для свободной и гордой личности, для аристократа духа? К тому же это не безопасно — можно в два счета засыпаться. Старая воровская мудрость гласила: «Воруй, но сам не продавай». Сегодня, торгуя на базаре лифчиками и дамскими панталонами, Василий Иванович натерпелся страху больше, чем в самой рискованной операции у несгораемой кассы. Того и гляди, заметут. Рисковать жизнью из-за тысячи рублей, это просто нерасчетливо. Необходим компаньон, помощник.

И мысли его, естественно, обратились к Чижову. Василий Иванович Каткульский-Гребнев-Липардин понимал в людях, был психолог. Он сразу почуял запах души Чижова, чем-то ему самому родственный. «Надо пощупать гражданина» — решил Василий Иванович.

Заскрипела дверь, вошел Чижов. Сказал с неудовольствием:

— Ноги вытирать надо. Пол чистый, а вы лезете в пыльных ботинках.

Увидел деньги на столе и сразу притих; глаза остеклятели. Каткульский-Гребнев-Липардин покосился на Чижова, тихонько кашлянул.

— Ходил вот на почту. Получил перевод. Да, кажется, обсчитали меня рублей на тридцать.

Чижов, не отрываясь глазами от денег, подсел к столу.

— Это, что же, командировочные? Целая куча! Куда их только девать...

— Полумесячный оклад, — небрежно ответил Каткульский, собирая деньги и подравнивая стопку ладонями. — А сколько вы получаете в месяц, если не секрет?

— Двести восемьдесят, — ответил Чижов, скрипнув зубами. — Люди мы ничтожные.

— Хотите — одолжу? — быстро перебил его Каткульский. — Пожалуйста. Вы нравитесь мне, молодой человек. Сразу видно в лице этакую... душевность. Люблю душевных людей. — Он

метнул на Чижова быстрый взгляд. — С удовольствием выручу. Сколько? Двести? Триста? — Он придвинул к Чижову толстую пачку денег. — Пожалуйста. Нет, нет, не обижайте меня отказом. — И, широко, радостно усмехаясь, он дружески хлопнул Чижова по спине, выбив при этом облачко пыли, расстегнул его пиджак и сунул в карман ему деньги. Рукой он почувствовал, как прыгнуло и затрепетало алчное сердце Чижова.

6

Обилен и многолюден колхозный базар в городе Зволинске!..

Неторопливым шагом, поправляя минутно очки, ходит по базару Петр Степанович в кожаном картузе — покупает арбуз.

Арбузы — светлые, темные и тигровой масти — навалены горами, подобно пушечным ядрам; арбузы гудят под заскорузлыми ладонями, как бубны; их тут же на базаре с размаха бьют о колесо — они лопаются, разбрызгивая плоские черные семена. И, как розовый снег, тает во рту их мякоть.

— Семь гривен, — вкрадчиво говорит Петр Степанович, любовно поглаживая приглянувшийся ему арбуз.

— Девять, — непоколебимо отвечает продавец-колхозник, сухой, строгий, с бородкой клинышком.

Вдохнув, Петр Степанович чешет в затылке, поправляет очки.

— Значит, семь?

Продавец молчит. Петр Степанович уверенно заключает с притворным зевком:

— Срядились.

— Уйди! Честью прошу — уйди! — вдруг кричит продавец тонким, плачущим голосом. — В шестой раз подходишь — истерзал! Я же тебе сорок копеек скостил, ужаст-ный ты человек!

Петр Степанович смотрит на него поверх очков строгим, внушительным взглядом сына.

— Тебя зачем колхоз поставил? Торговать? А ты покупателя гонишь? Я, ведь, очень даже просто, куплю у другого. Рядом вон — лучше арбузы. Твоему же колхозу убыток.

Страдальческие морщины лежат на темном лице продавца. Петр Степанович снова начинает похлопывать и поглаживать арбуз, подносит к уху, жмет.

— А он как? Того? Спелый? Ну, тогда, конечно, можно прибавить. Три четвертака. Слышишь? Срядились, что ли?

Продавец безмолвно смотрит в пеструю суету базара. Не дождавшись ответа, Петр Степанович уходит. И долго разгуливает среди сестного великолепия... Лысые головки лука с ехидной в три волоса бородашкой; чугунные, не в под'ем, тыквы; фиолетовая свекла; оранжевая морковь; скрипучая тугая капуста, репа, огурцы, петрушка, яблоки. Набухли тяжелым соком груши, хранящие отпечатки недоверчивых пальцев покупателей. Косточки сами выскакивают из матово-пыльных слив. Густой ленивой струей льется молоко, морщит сдвинутая черпаком сметана, осыпается рыхлая, сырая гора творогу. Тают на солнце пласты свиного сала, и бумага под ними становится прозрачной. Висят бело-розовые бараньи туши; тупо обрубленную хрящеватую шею сжимает ожерелье запекшейся крови. Нож пластает дымящиеся коровьи ляжки; руки продавцов, покрытые рыжей шерстью, оплетенные жилами, красны до локтя. Чинными монастырскими рядами уложены вверх ножками утки, куры и гуси, завернулась восковая кожа, зыбится теплый желтый жир. Огромные тупогубые сазаны все ленивее пошевеливают в корзинах чешуйчатыми хвостами. Кругом — возы, возы, возы; хрустит сено на зубах лошадей; пахнет дегтем, потом, пылью, навозом. Торгуются, кричат, спорят, бранятся — шум висит над базаром мутным облаком. Солнце растопилось в небе и льет на землю желтый зной.

Обилен и многолюден колхозный базар в городе Зволинске!..

Петр Степанович в седьмой раз подходит к продавцу, выбирает из груды тот же самый арбуз.

— Сколь? — осведомляется он, словно бы прицениваясь впервые. Продавец притворяется, что не слышит.

— Сколь? — повторяет Петр Степанович.

— Уйди! Не доводи до греха! — начинает придушенным голосом продавец, но, встретив чистый, детски-наивный голубой взгляд Петра Степановича, обесилев, вяло машет рукой:

— Бери!..

Петр Степанович, не спеша, распоясывается, задирает рубаху, расстегивает штаны, показывая продавцу волосатый живот. Во избежание покражи он носит деньги в особом потайном кармане на подштанниках. Он отсчитывает мелочью семьдесят копеек и, подумав, добавляет еще пятак.

С арбузом подмышкой идет он домой по зыбким, прогнившим мосткам, заменяющим в Зволинске тротуары. Изю всех щелей в мостках лезет веселая трава; сырая канава вдоль дороги вся заросла мощными лопухами.

На углу Советской и Пролетарской строят районную больницу — первое в городе четырехэтажное здание. Над полинявшим красным флагом стройки поблескивают сизыми крыльями голуби. Багровеют клетчатые штабеля кирпича, дымятся на ветру кучи извести. Стены здания разукрашены странной мозаикой, — красного кирпича в иные дни нехватает, и тогда кладут силикатный, белый.

Петр Степанович долго стоит, наблюдая. Тень трех с половиной этажей нависает почти всю улицу с домиками в три окошка, с палисадниками и зелеными изгородями. Гулко стучат молотки, топоры; на лесах пристроились рабочие в брезентовых спецовках. Они ловко и споро укладывают кирпичи, сглаживают скребками цемент.

«Махина!» — восхищенно думает Петр Степанович. Он — патриот родного Зволинска и радуется этому зданию, как своему.

Двое рабочих крутят внизу барабан — поднимают на стальном тросе люльку с кирпичами. Она ползет все выше, иногда касается стены; кирпичи от толчка ладают. Они летят, медленно переворачиваясь в воздухе, и красными осколками взрываются на мостовой. Люльку нагружает остролицый парень в зяля-

ганной известью кепке, повернутой козырьком назад; парень знает, что кирпичи будут падать, и каждый раз, мокро шмыгая носом, отбегает на другую сторону улицы.

Три раза поднимают люльку, и три раза падают кирпичи.

Петр Степанович решительно подходит к парню.

— Ты что же кирпич губишь? Он что у тебя, даровой? Денег не стоит?

Парень удивлен и немного испуган. Петр Степанович командует:

— Принеси-ка досточков и гвоздиков! Живо!

Парень приносит обрезки досок, гвозди. Петр Степанович, положив на землю свой арбуз, начинает огораживать борта люльки частоколом, действуя булыжником вместо молотка. Закончив работу, он отряхивает ладони, как рукавицы, одну о другую.

— Давай!

Нагруженная люлька ползет вверх. Петр Степанович следит, закинув голову. Парень, мокро шмыгая носом, кричит с другой стороны улицы:

— Упадет! Башку проломит!

Но кирпич благополучно достигает верха. Удостоверившись в этом, Петр Степанович берет свой арбуз, идет дальше.

У желтого киоска, похожего на скворешню, он вторично распоясывается, расстегивает штаны, покупает газету.

Неподалеку от магазина кооперации собралась толпа; видны зеленые каски милиционеров. Петр Степанович, любопытствуя, прибавил шагу, но в окне почтово-телеграфной конторы показывается круглая голова почтара.

Петр Степанович подходит к окну. Из темной комнаты тянет кислым запахом клея.

— Хорош арбуз! — говорит почттарь. — Почем платили? Семь гривен? Дешевка!

Поднесит арбуз к уху, и вот — перед Петром Степановичем два арбуза: один — зеленый, полосатый, второй — с ушами.

Помощник почтара возится в кладовой. Слышен его сырой, надсадный ка-



шель. Почтарь тем временем сокрушенно рассказывает Петру Степановичу:

— Обокрали сегодня ночью кооперацию нашу. Мануфактуры унесли две штуки, сукна, еще что-то. Проснулся утром сторож, смотрит — замка нет, пробой, как ножом, срезали. Ну, конечно, тревогу, народ собирают. Хватились, да поздно. Вот и возятся теперь с самого утра, проверяют.

Петр Степанович негодует. Ограбление магазина — событие для Зволинска исключительное; толпа все увеличивается. Петр Степанович сурово говорит:

— Сторожу за халатность — три года. Чтобы не спал. Заведующему за то, что такого сторожа держал, — два года. Ну, и прочим дадут горячих, кому надо. Воров-то не поймали?

— Да где там? Разве найдешь? Они уж свищут, небойсь, километров за сто.

Гуляет ветерок по зволинским пыльным улицам, гудит толпа у ограбленного кооператива, прыгают, чирикают воробы, собаки лежат под заборами, в тени. Солнце поднялось высоко, заливают светом и зноем тихие дворы, чаклый сквер, поблескивающую сталью спокойную степную реку, что опоясывает городок с трех сторон.

И все дальше с арбузом уходит по направлению к железной дороге Петр Степанович, загребая ногами пыль.

★

Окраина беспорядочно сбегала к реке, словно бы все эти домишки, деревья, кусты, заборы и навозные кучи врасыпную, вперегонки бежали купаться, остановились вдруг, и так остались — неподвижными навсегда. Вместе с другими остановился домик Петра Степановича над самым обрывом — как будто собрался прыгнуть и повис. Домик этот — ровесник своему хозяину; вместе с ним он старился, оседал, уходил все глубже в землю, клонился набок... Но подпорок ему, как и Петру Степановичу, пока не надо — стоит еще, держится, хотя и пророс во всех углах сырным мхом.

Здесь прошла вся жизнь Петра Степановича; отсюда он уходил и сюда воз-

вращался; эту дверь сорок лет тому назад распахнул он, сияя глазами, перед молодой женой, и в эту же дверь проводил ее из дома в последний раз на погост. Эти окна в тысяча девятьсот пятом году плакали мутными слезами дождя вслед Петру Степановичу, когда жандармы, разезжаясь ногами по скользкой дорожке, вводили его в тюрьму. И в эту же калитку, с этой же самой железной заплаткой, постучал он, вернувшись через год, — худой, бледнозеленый, обросший щетиной, глухо кашляющий, хрипящий отбитыми легкими. И навстречу зашумела листвою эта же самая береза, тогда еще молоденькая, и положила под ноги ему пятнистый, живой, переливающийся коврики тени.

Отсюда, похоронив мать, ушел на Деникина сын-комсомолец; сюда принесли Петру Степановичу письмо, нацарапанное жестким карандашом на обороте какого-то воззвания, — с фронта, от боевых товарищей сына: «... Пошел один с гранатами на белогвардейский танк, подорвал его и сам подорвался». Письмо читал Петр Степанович, только что вернувшись из депо, — бумага до сих пор хранит на себе отпечатки закопченных рабочих пальцев и желтые подтеки от слез. Все было тихо в доме и вокруг; Петр Степанович сидел один за столом с письмом в руках, поникнув седеющей головой, поблескивающей в солнечном пыльном луче. Наконец, он встал, принес из кладовой доски, заколотил все ставни, запер дверь, пошел на следующий день к военному комиссару и два года потом водил знаменитый бронепоезд «Гром», побывал везде, наслушался всяких пуль и снарядов до сыта. И вернулся опять в свой дом, подновил его, живет посейчас. Премировали его однажды новой квартирой; за честь он поблагодарил, но переехать отказался: «Мне здесь привычнее... А то вон березка у меня останется — кто за ней смотреть будет?». И на долгие годы в доме воцарилась тишина, нарушаемая только одинокими шагами да покашливанием хозяина.

...Петр Степанович поставил на шесток чугунок со вчерашними щами, развел

огонь и присел к столу с газетой в руках. Он читал медленно, с передышками, давая отдых глазам.

Заметки об открытии новых заводов, новых парков и санаториев радовали его, корреспонденции с мест о различных беспорядках — огорчали; если же встречалось сообщение о каком-нибудь вредительстве или жульничестве, Петр Степанович темнел лицом и негодовал яростно.

Главной заботой в жизни Петра Степановича было дожить до полного мирового коммунизма. И он видел, что жизнь идет правильно, прямо к намеченной великой цели, он чувствовал ветер, пахнувший ему в лицо из будущих, счастливых и уже недалеких времен. Точно бы в жаркий день долго шел он полями, степью, не видя реки, что скрывалась в ложине, в кустах, — и вдруг потянуло влагой, прохладой, запахом камыша.

Он понял — близко, рядом; прибавил шагу.

Но он разменял уже шестой десяток, сердце работало с перебоями, в груди хрипело. Он тщательно следил за своим здоровьем. Времени, чтобы дожить, оставалось у него в обрез. И ему хотелось всех торопить, подгонять. Все дела, что творились вокруг — в депо, в городе, в мире, все имело для него особый, глубоко личный смысл. Эти события, приближая или, наоборот, отдаляя полный мировой коммунизм, помогали Петру Степановичу выполнить свою главную жизненную задачу или, наоборот, мешали ему в этом. С особой лютостью ненавидел он вредителей, воров и всяческих жуликов. Они были его личными смертельными врагами. Они, отдаляя своими зловердными деяниями коммунизм, наносили Петру Степановичу личный непоправимый ущерб, похищали из его скудного запаса времени дни и даже целые месяцы. Из-за них он мог умереть, не дотянув каких-нибудь два года. Все его надежды, стремления, ожидания — все пропадет зря, жизненная задача останется невыполненной. Такая мысль приводила Петра Степановича в ярость. От природы он был очень добрым человеком, но вредителей,

воров и жуликов — будь его полная воля — расстреливал бы без пощады, подряд. Приговоры судов над ними всегда казались ему слишком мягкими.

Да, он смотрел далеко вперед, этот смешной старик в железных очках и в кожаном картузе. Жить ему было хотя и очень беспокойно, но радостно. Он познал еще небывалое для человека счастье — не только мечтать о солнечном будущем целого мира, но и видеть своими глазами, как воплощается каждый день и каждый час эта мечта и все яснее выступает из тумана, подобно величественному зданию, очертания которого можно уже угадать. И Петр Степанович твердо знал, что имеет законное право жить в этом здании. Он его строитель и его хозяин; есть в фундаменте, в цоколе и его кирпичи; все знают об этом и оспаривать никто не может: есть кирпичи!

Сегодня Петр Степанович ждал к себе Фому Лукачева, сторожа пакгауза. В шкафу, рядом с пухлой засаленной колодой карт, стояла со вчерашнего дня бутылка рябиновой. Фома не замедлил явиться. В комнате сразу стало светлее от его благодушной лысины. Тяжело дыша, он повалился на стул, толстый, оплывший, с бабьим безволосым лицом, в белой рубашке, перепоясанной по мягкому животу зеленым шнурочком с кисточками.

Они с Петром Степановичем были старинными приятелями, еще перед германской войной часто играли они за самоваром в «шестьдесят шесть». Когда в двадцать первом году Петр Степанович, от ездившись на бронепоезде, вернулся в свой пустой, нетопленный дом с выбитыми стеклами и заколоченными ставнями, когда обошел он, резко скрипя в тишине половицами, обе комнаты и пахло на него плесенью, холодной пылью — нежилым духом, и разбежался, пища, из наваленных в углу рогож и стружек целый выводок мышей, и заворочались, заурчали где-то в темноте под потолком дикие голуби, — когда увидел он все это запустение, — очень стало ему нехорошо: как будто понял, что жизнь окончена. Жены нет, сына тоже нет; сызнова начинать — опо-

здал. Прислушиваясь к унылому, мерному шуму осеннего дождя, он думал о себе горько, и очень хотелось ему найти хоть какую-нибудь зацепку от прежнего, чтобы не начинать жизнь заново, а продолжить ее. Не было у него такой зацепки, ничего не осталось. А тут как-раз брякнула железным кольцом дверь, и, тяжело дыша, весь мокрый от дождя, шагнул в комнату Фома Лукачев — старый друг.

— Приехал? — спросил он просто, сел в уголок, поглаживая лысину, которая и тогда была у него обширной.

— Приехал, — ответил Петр Степанович. — Приехал, дружище...

Перехватило горло, он долго откашливался, а Фома, подперев ладонью бабье лицо, смотрел на него из угла жалостливо и смущенно. И Петр Степанович чувствовал, как все в нем теплеет под этим жалостливым взглядом, — поделился тогда с ним Фома теплом своей души. Долго они молчали; наконец Фома кашлянул, полез в карман и вытащил бутылку с керосином (вот чудак, даже керосин не забыл), деловито заправил лампу, протер стекло и зажег. Из другого кармана он достал сверток с хлебом — еще теплее стало Петру Степановичу. И уж совсем он согрелся, когда Фома легко, без усилия, словно бы так и надо, подал ему зацепку от прежней жизни, положил на стол колоду карт.

— Сдавай, что ли, Петр Степанович. От скуки.

Так сказал, как будто они вчера не доиграли кон и надо сегодня доигрывать.

Они начали в пустом холодном доме, под вой осеннего ветра, под шум дождя, партию в «шестьдесят шесть». К полуночи Фома проигрался в пух и прах: у него было двенадцать козлов. «Целое стадо домой пригонишь» — заметил Петр Степанович. — «Ты запиши, запиши, — сказал Фома. — Я их к тебе обратно перегоню». С тех пор эта партия затянулась на пятнадцать лет с лишним; то один был в проигрыше и не хотел сдаваться, не отыгравшись, то другой.

В последние годы они играли мало. Больше разговаривали. Фома, понимавший в газетах не все, приходил к Петру Степановичу за объяснениями, при этом так напряженно смотрел в рот ему, точно готовился услышать тайны вселенной.

— Эх, Петр Степанович, — говорил он со вздохом. — Тебе бы в правительстве заседать, в Москве. Решать вопросы.

— Там есть поумнее нас, которые решают, — скромно отвечал польщенный Петр Степанович; Фома покачивал лысиной, убежденный в глубине души, что людей умнее Петра Степановича не бывает.

... Петр Степанович поставил на стол рябиновую, две рюмки, тарелку с колбасой и вдруг заметил, что Фома чем-то сильно расстроен — душа у него не на месте. Он и вздыхал, и морщился, и прикладывал платок к своей лысине.

Оказывается — обокрали пакгауз: унесли ящик чаю. Фому — хотя кража пришлась на чужое дежурство — вызывали, допрашивали. К Петру Степановичу он пришел прямо из отделения, встревоженный и смятенный.

Петр Степанович нахмурился:

— А в городе вот кооперацию обокрали.

При этом известии Фома совсем обмяк:

— Значит, шайкой работают. Что же теперь делать? А?

— Смотреть лучше надо! — Голос Петра Степановича звучал раздраженно. Фома своими новостями вконец испортил ему настроение. Опять на дороге Петра Степановича всгали смертельные враги — воры и жулики. — Смотреть надо лучше, — повторил он, швыряя на стол вилки. — Спите на дежурстве в своих тулупах, — вот и воруют у вас! Эх, вы, разини! Кто дежурил то?

— Буланов дежурил, Прокофий.

— Три года ему, чтобы не зевал.

Фома жалостливо ахнул и заморгал безволосыми веками, заранее прощаясь с Булановым Прокофием.

— Детишки у него...

Петр Степанович сурово молчал. Фома поглядывал на него с робостью. В молчании выпили по первой, по второй; только на третьей Петр Степанович немного отошел и заговорил:

— Воровство есть самая главная язва на теле государства. — Фома благоговейно смотрел ему в рот. — Так и знай, Фома, ежели в твое дежурство сопрут чего-нибудь, — ты мне больше не друг. И не приходи лучше, все равно прогоню.

Фома запечалился, полный мрачных раздумий о своей судьбе.

Петр Степанович положил на стол карты.

— Вам сдавать. — В игре он почему-то всегда обращался к Фоме на «вы». — За вами два козлика.

Игра не ладилась. Петр Степанович думал о вредоносных жуликах и ворах, сердился, ладонью потирал колючий подбородок. А Фому томили и мучили опасения: завтра вечером он вступал на дежурство — вдруг обокрадут?

— Послушай-ка, Петр Степанович, — несмело сказал Фома, выкладывая на стол червонный туз. — Одолжи ты мне своего кобеля...

— Зачем тебе? — Петр Степанович в удивлении приподнял брови, покрыл туза маленьким козырем, забрал взятку. — Кобель мне самому нужен — сторож.

— А бы егѣ с собой на дежурство водил. Он у тебя злобный, как-раз подходящий.

— А я с чем останусь? Ты кобеля уведешь, а меня обворуют. Кладовку в момент очистят...

— Да что у тебя воровать?... Эх, Петр Степанович, свое украдут — хрен с ним; только бы казенное уберечь! Государственной!

Петр Степанович подумал, пошевелил усами.

— Нет, Фома, кобеля не дам. Кобеля, сам знаешь, я вот с этаких щенков растил. Он у меня домовитый, всю жизнь на дворе просидел. Он и поселка не знает, сбежит — и задавит его паровозом.

Фома безнадежно махнул рукой, повесил голову.

Петр Степанович забрал у него вторую взятку.

— Ты лучше скажи заведующему, чтобы на это время сторожей по-двое ставили.

Послышались шаги, кашель. Сосед Петра Степановича, багажный приемщик, возвращаясь со службы домой, на минутку задержался у открытого окна.

— Здравия желаю.

— Здравствуй, — отозвался Петр Степанович. — Что больно поздно?

— Акт составляли. Беда! Украли у нас из багажного два чемодана...

Фома откинулся на стуле, побледнел. Петр Степанович в сердцах бросил карты и забегал по комнате, придерживая очки. Душа его наполнилась яростным негодованием: враги наносили удары под ряд. И, словно почуяв этих врагов, загремел цепью на дворе и залаял кобель.

Петр Степанович решительно сказал Фоме:

— Пойдем!

Во дворе он успокоил кобеля, снял с проволоки кольцо, передал цепь Фоме.

— Смотри, не упусти.

Кобель, подняв седую морду, тыкался носом в колени хозяину, вертел хвостом и тихонько поскуливал. Фома протиснулся с Петром Степановичем, потащил за собой кобеля. Цепь натянулась: кобель уперся всеми четырьмя лапами и вдруг завыл так горестно, словно тащили его прямо на живодерню. Фома при свистывал, чмокал — не помогало. Кобель, мотая головой, продолжал упираться.

— Обожди, я сейчас, — сказал Петр Степанович.

Он сбежал домой за картузом. Пошли вместе. Рядом с хозяином кобель бежал охотно и весело. Петр Степанович проводил Фому до самого дома. Кобеля заперли в дровяной сарай. Петр Степанович ушел быстрыми шагами, чтобы не слышать его тоскливого воя.

Перрон был, как всегда в этот час, безлюден; гравий хрустел под ногами Петра Степановича. Он шел и думал о своих врагах. Раздражение в нем не улеглось, — наоборот, все больше на-

растало. Он фыркал, хмыкал, грозно осматривался кругом.

В одном из окон вокзала он увидел дежурного сержанта; он сидел в кресле, разбирал бумаги, курил папиросу. Не раздумывая, Петр Степанович вошел в открытую дверь. Сержант привычно спросил, не отрываясь взглядом от бумаг:

— В чем дело?

— Папироски курите, — язвительно сказал Петр Степанович. Удивленный сержант поднял голову, посмотрел холодными глазами в упор. Но Петр Степанович не смутился.

— Это почему ж у вас кругом воровство? — Голос Петра Степановича звучал строго, взыскательно, по-хозяйски. — Это разве порядок? Вас зачем сюда поставили, чтобы вы папироски курили, а кругом, значит, воровство! Смотреть надо, смотреть!.. — Петр Степанович постучал костлявым пальцем по барьеру, огораживающему стол сержанта. — Для того вас поставили сюда, чтобы смотреть!

И, негодующий, раздувая седые жесткие усы, ворча себе под нос, он покинул комнату.

★

Когда ночь была уже на исходе, и темнота протаивала на востоке, и все кругом затихло в крепком предугреннем сне, и только во дворе Фомы Лукачева в дровяном сарае безутешно рыдал кобель, царапая когтями дверь и оглашая сонные улицы своим одиноким воем, — в этот самый предрассветный час вернулся в Зволинск с пассажирским поездом Чижов.

Целый день он провел на базаре в городе Рыльске, что стоял километров за полтора от Зволинска, — продавал украденные в кооперативе ситец и сукно. Целый день бросало Чижова то в дрожь, то в пот; целый день страх боролся в нем с алчностью. Борьба страстей оставила след на его лице: он был бледен, измучен, воспаленные глаза бегали.

В комнате был беспорядок: валялись окурки, яблочная кожура; на столе стояла

пустая бутылка, остатки сыра и колбасы.

— Опять в сапогах на кровати валялись, — недовольно заметил Чижов. — Сколько раз говорил: матрац новый...

— Не будьте мелочным, — остановил его Катульский-Гребнев-Липардин. — Ну-с, каков результат вашего коммерческого дебюта? Пезеты спрашиваю, пезеты. Сколько выручили пезет?

— Все тут. — Чижов начал разгружать карманы. — Я там не считал на базаре, некогда... (Но все деньги были уложены аккуратными пачками). — Тысячи две, наверное... Дешево дают.

Катульский придвинул ближе свой стул, ласково посмотрел в глаза Чижову, потом на деньги, потом опять в глаза. Сокрушенно и молча покачивая головой, Катульский нагнулся, вытянул из-под стула правую ногу Чижова, снял ботинок, приподнял стельку и достал толстую пачку денег. Чижов окаменел; глаза его стали прозрачными.

— Теперь займемся подсчетом, — сказал Катульский, плюнув на свои длинные горбатые пальцы. — И не будем больше вспоминать об этом инциденте. Но предупреждаю, что в случае повторения я буду вынужден применить к вам репрессии. Понял ты, шпана, сукин ты сын! — заорал вдруг Катульский, стукнув Чижова в лоб костяным кулаком.

Но в следующую минуту он опять был безукоризненно вежлив. Закончил подсчет, разделил деньги.

— По нашему договору вам причитается от общей суммы тридцать процентов. Получите.

Остальные деньги — семьдесят процентов — Катульский спрятал в карман, выразительно посмотрев при этом на Чижова.

Лежа в постели, он сказал сонным голосом из-под одеяла:

— Я тут без вас времени зря не терял. Загляните под кровать. Ящик и два чемодана. Вам нужно готовиться к следующему рейсу.

Погас огонь в комнате, Катульский сразу уснул, захрапел и засвистел носом, а Чижов долго ворочался на раскладной койке, снедаемый жгучей завистью. Семьдесят процентов в кармане

Катульского не давали ему покоя, гнали сон от его ненасытных глаз.

А в комнату, вместе с бледным рассеянным светом, уже проникали звуки веселого утра: щебет птиц, брех собак, мычание коров, звон подойников, грохот самоварных труб — и, покрывая все, вдруг завыл низким бархатным басом деповский гудок. Он шел, казалось, из глубины, из самых недр, словно бы доброе, большое солнце, коснувшись лучами земли, пробудило в ней этот спокойный, торжественный, полный звук. Он густо плыл над крышами, над радиомачтами, над паровозами, над мокрыми садами, над туманной рекой, над полями, лесами, дорогами, возвещая всему живому — людям и птицам, деревьям и зверям — начало нового дня. И, радуясь новому дню — труду и отдыху, заботам и веселью, — просыпался поселок, полный легкого звона рукомойников, плеска воды, гула молодых голосов; везде, во всех домах и комнатах, откидывались навстречу гудку одеяла; открывались двери и ставни, и только в одной комнате тщетно пытались укрыться от гудка два грешника: накрывали головы подушками, уползали под одеяла. Но гудок, голос труда и жизни, всюду настигал их, тревожил, грозил, и некуда было им спрятаться!

## 7

С горькой настойчивостью, неотрывно думала Клавдия о своей неудачной любви.

Внешне все в ее жизни шло как будто попрежнему: депо, клуб, занятия, но только стала Клавдия молчаливее, тише, словно бы повзрослела. Она не искала больше встреч с Михаилом и не писала ему; она решила только через год, не раньше, когда уже все пройдет, спросит как-нибудь при случае у него, — что же все-таки вышло? Почему он отшатнулся так резко — или совсем никогда не любил? Может быть, ошибался, а теперь стыдно признаться, — вот он и бегаёт. Но тут же Клавдия вспоминала его ревнивые глаза, его волнение, и не могла поверить себе. Нет, не может быть!.. Здесь что-то другое!

Вскоре она встретила Михаила на объединенном уроке по технической учебе. Он опоздал немного, все уже сидели на местах, он окинул взглядом класс и, небрежно кивнув Клавдии, направился в задние ряды. Одет он был, как всегда, привычно для Клавдии — черные брюки, белая рубашка, подпоясанная узеньким черным ремешком, воротник расстегнут на две верхние пуговицы. Клавдия почувствовала, как приливает к лицу жаркая густая кровь, и низко пригнулась к своим тетрадам. Она слышала сзади, шум — он усаживался; слышала шопот — он переговаривался с товарищами. Весь урок прошел впустую, ни одного слова преподавателя Клавдия не поняла и не запомнила. Прозвенел тонкий, залиvistый звонок; занятия окончились, ребята зашумели, собирая книги, тетради. Клавдия при мысли, что Михаил пройдет сейчас мимо, совсем рядом, опять густо и жарко покраснела, — в смятении начала шарить под столом, как будто разыскивая упавший карандаш. С будущим сердцем она слышала шарканье многих ног, угадала шаги Михаила, украдкой посмотрела ему вслед.

Класс опустел. Она выпрямилась. За стеной в пустом коридоре гулко отдавались голоса уходящих и сразу оборвались, словно обрубленные хлопнувшей дверью. В тишине, одна, Клавдия собирала свои тетради и вдруг увидела маленькую записку, сложенную пополам. Немеющими пальцами она развернула записку, узнала почерк — прямой и крупный почерк Михаила. Он писал, что нужно увидеться и поговорить обо всем до конца. «Мне, Клава, без тебя очень скучно, я все время о тебе думаю, может быть, мы просто не поняли друг друга и вышло недоразумение...». Клавдия читала записку, едва живая от волнения, в ней воскресло все, что она считала похороненным навсегда: надежды, радость. Но (вот пример истинно женского лукавства!) она в своем волнении, в смятении успела подумать, что мириться следует не сразу — не нужно показывать ему свою радость. Она снова и снова перечитывала записку. Недоразумение!.. Она усмехнулась счастливо,

но сердито: хорошее недоразумение — так мучить! Ну, погодн!.. Кое-как, второпях она нацарапала ответ: назначила свидание сегодня же в красном уголке в семь часов — стремительно пролетела по коридору, выскочила на улицу и растерялась: с кем отправить ответ? На счастье, попался веснушчатый, худой мальчишка в помятом красноармейском шлеме; Клавдия схватила его за плечо, сунула в руку письмо, полтинник, объяснила наскоро, — и он умчался, прижимая локти, работая ногами по пыльной дороге со сверхъестественной быстротой.

Никогда еще время не тянулось так томительно. Клавдия то-и-дело поглядывала на свои часики. Минута — это, оказывается, очень долго, а пять минут — просто невыносимо. В красный уголок Клавдия шла с нарочитой медлительностью, и все-таки, когда пришла, то до семи оставалось еще полчаса — тридцать минут, шесть раз по пяти минут!

На полу в красном уголке лежал большой лист картона — недоклеенная вчера Клавдией стенгазета. И, хотя Клавдии сейчас было совсем не до стенгазеты, она достала из ящика папку с перепечатанными заметками и карикатурами, постлала чистую бумагу, встала, подобрав платье, на колени. Ей хотелось, чтобы Михаил застал ее за работой — пусть думает, что у нее было сегодня здесь, в красном уголке, дело, а свидание она назначила заодно, между прочим. Но если бы она посмотрела на себя в зеркало, то отказалась бы от своего наивного лукавства: глаза, улыбка, губы, дыхание — все выдавало ее с головой. Движения были мелкими, торопливыми, бессвязными — кисточка вилась в пальцах, на самую главную цветную карикатуру упала большая капля клея, Клавдия смазала краски, испачкала пальцы, заметку приклеила вверх ногами — словом, дело не ладилось.

С веселым отчаянием, смеясь, она махнула рукой на свою работу, хотела подняться с колен и вдруг замерла, услышав скрип двери и потом — шаги по коридору.

Но это были чужие шаги, не Михаила. Кто же? Неужели он прислал ответ, что не придет сегодня?.. Дверь приоткрылась, первым юркнул в нее сквозняк, закрутил и разогнал по всей комнате шуршащую бумагу, а следом за сквозняком вошел Чижов.

— Здравствуйте, — сказал он и привалился к дверному косяку, заложив руки в карманы, ухмыляясь загадочно и многозначно, с видом презрительного сожаления. Клавдия молча поднялась с колен, чуть побледневшая. С минуты на минуту может притти Михаил! Мысли мелькали, нагоняя, захватывая одна другую; Клавдия смотрела на Чиждва враждебным, пасмурным, словно бы дымным, взглядом.

— Долго вы намерены здесь оставаться? — спросила она. Чижов ухмыльнулся. — Что вам от меня нужно? — крикнула она, угрожающе шагнула к нему, сжала кулаки, вытянула напряженные руки вдоль тела. — Уходите! Слышите! Идите отсюда! Имейте в виду, сейчас придет сюда Озеров. Если он вас застанет, я расскажу, что вы ко мне пристааете. Вам тогда непоздоровится...

— Как страшно, — ответил Чижов, — ужасно! Послушайте, Клавочка, вы, пожалуйста, не думайте, что я в самом деле хотел на вас жениться. Вы понимаете... Вы меня ударили, Клавочка... Я вам не понравился...

— Я вас еще раз ударю! — быстро предупредила она. — Лучше уходите.

— Я вам не понравился, — повторил он. — Вы стали разборчивая, Клавочка! — И вдруг его повело длинной судорогой; он сказал, свистя сквозь сжатые зубы. — Клавочка, вспомните! В Оренбурге, говорят, вы были не такая разборчивая. Клавочка, вы вспомните... Я ведь все знаю, Клавочка. Вы были не такая разборчивая в Оренбурге...

Все в Клавдии оборвалось — чувства, мысли, она стояла перед Чижовым слепая, глухая, онемевшая; все краски исчезли с ее лица, стертые желтой мертвенностью. Голова ее втянулась глубоко в плечи, словно бы в ожидании следующего удара. Чижов напря-

женно следил за ней желтыми глазами.

— Ерунда, — сказала она с таким усилием, словно губы ее были склеены. И это слово, рушась куда-то, подобно глыбе, увлекающей за собой град камней, пробудило в ее голове слитный, утомительный шум. Это были не мысли, а только обрывки мыслей, хаотическое смешение воспоминаний, предположений, сомнений — ничего не понять!.. Медленно, словно бы поднимая тяжелую гирю, она поднесла ко лбу ладонь, глухо и удивленно протянула: «Та-а-ак!».

— Воды? — услышала она сквозь оцепенение голос Чижова. Он в слитном шуме, что гудел у нее в голове, сразу выделился ясный отдельный звук — отдельная пронзительная мысль. Обожженная этой мыслью, она стиснула зубы, с трудом перевела дыхание.

— Ты сказал? Ты ему сказал? — Она спрашивала, точно в полусне, отрывисто и невнятно. Она потеряла контроль над собой, — иначе она не выдала бы себя так глупо! Она сразу поняла неоправданность этой ошибки, когда Чижев ответил, выжидательно растягивая слова:

— Нет, не говорил. Но я могу сказать... Я могу сказать, Клавочка.

Она попробовала пренебрежительно улыбнуться. «Дура, дура! — мысленно кричала она себе. — Что ты надеялась! Дура!». Чижев ждал, сосредоточенно наморщив лоб; в его мозгу шла какая-то напряженная работа. Наконец, она закончилась; Чижев сказал серьезно, с глубоким удовлетворением, как человек, только что разрешивший трудную задачу и не сомневающийся в правильности решения:

— Вы боитесь, Клавочка. — Она независимо тряхнула головой, но он только усмехнулся и убежденно повторил: — Вы боитесь. Я вижу. Вы скрываете, Клавочка.

— Я не боюсь. Вы ошибаетесь.

— А сами вы какая? — перебил он. — Вы меня ударили тогда. А сами вы какая?.. Клавочка, вы сами какая? А я еще хотел жениться на вас. Вы хитрая, Клавочка, очень хитрая...

Он мстил за свое унижение, за двухспальную кровать, на которой вместо Клавдии спал Катульский-Гребнев-Липардин.

— Вы боитесь. Я вижу. Вы скрываете, а я узнал. Я все узнал. Вы боитесь... Вы и в тюрьме были...

А по коридору опять приближались шаги — на этот раз Михаила. «Молчите! Молчите!» — зашептала Клавдия, кусая белые губы. Чижев замолчал, сел на стул. Шаги остановились у двери. Клавдия на мгновение зажмурилась. Когда она открыла глаза, Михаил уже шагнул в комнату и остановился, встретившись взглядом с Чижовым. Потом медленно перевел взгляд на Клавдию, требуя объяснения.

Михаил, конечно, заметил ее взволнованность, ее растерянность. Клавдия угадала его мысли так ясно и несомненно, как будто слышала их.

— Нет! — сказала она со всей силой страсти и искренности. — Миша, не то! Совсем другое! — Она сжала пальцы, закинула голову, умоляя его поверить. — Совсем другое!..

Он смотрел с холодным удивлением. Он никогда не видел ее такой. Пожал плечами, подошел ближе.

— В чем дело? Зачем, собственно, я сюда вызван? — Он избегал обращения, не зная, как ему назвать Клавдию — на «вы» или на «ты». — Я полагаю, мы будем говорить без свидетелей.

Последние слова он произнес громко, в сторону Чижова. Чижев уселся поудобнее, вызываясь положить ногу на ногу. Михаил, темнея лицом, подошел вплотную к нему, сказал со злоеющей сдержанностью:

— Вам понятен мой намек?

Чижев засмеялся прямо в лицо Михаилу.

— Уйдите! — сказал Михаил. — Вы слышите, я прошу вас уйти.

— Это не ваша комната, — ответил Чижев, торжествуя и наслаждаясь.

— Вы мешаете.

— А мне мешаете вы...

Сдерживаясь из последних сил, Михаил оглянулся на Клавдию; глаза его умоляли, просили, требовали, напоми-



нали о прошлом; ему достаточно было только одного сигнала от Клавдии, одного слова — и Чижев со своей улыбочкой, со своими желтыми глазами вылетел бы, проламывая головой двери, увлекая за собой столы и стулья, сокрушая перила крыльца. Михаил уже весь замер в сладком предчувствии, перестал дышать; это было, как тишина перед взрывом, когда палец уже на кнопке. Михаил глазами заклинал Клавдию. Она слышала его мысли: «Ну скажи!.. Ты не должна так мучить меня! Ты видишь, как он гнусно развалился, как мерзко он ухмыляется. Скажи!». И всем сердцем, глазами, пылающим лицом Клавдия отвечала: «Да, да!». Но словами сказать ничего не могла и головой кивнуть не могла: одновременно с горячим, бурным взглядом Михаила на нее был устремлен желтый взгляд Чижева — уверенный, торжествующий, — и она цепенела. «Ну, что же, скажи, попробуй!» — читала она в этом взгляде.

И нужно ей было в эту минуту пойти на прямую, послушаться сердца, нужно было искать у Михаила защиту, нужно было все ему рассказать! Чего боялась она? За что оскорбляла его недоверием? Что в нем было похожего на тех недоумков, на тех людей, с коротким дыханием и вялым сердцем, которые травили ее на курсах? Разве не принадлежал он, как и она сама, к великому и высокому советскому братству, разве с меньшей заботой старшие братья воспитывали в нем светлый разум, чистый дух и благородное сердце? Разве пришло бы ему в голову обидеть ее презрением или жалостью? Что же она молчала? Не он ее, она его обижала, подозревая в нем старые, гнилые, низкие чувства; она сама больше всех была виновата в своих страданиях! В эту минуту, когда смотрели на нее Михаил и Чижев, когда она могла одним порывом навсегда избавить себя от страданий и мук, она позабыла наставление чекистов — быть всегда смелой и прямой. Она поколебалась, опустила глаза...

Взгляд Михаила погас, воинственно поднятые плечи поникли; медленно,

словно отяжелев от невылитой ярости, он отошел от Чижева. Потом постоял, наклонив голову, глядя в пол, точно вспоминая, не забыл ли что, — взглянул быстро на Клавдию, опять устался в пол. Она молчала. Он сказал:

— Ну, я здесь, кажется, лишний!..

Она не пошевельнулась. Михаил вышел. Она чуть приподняла голову, прислушиваясь к его шагам. Он уходил медленно. Хлопнула дверь, потрясая здание, и по всему телу Клавдии прошли мелкие колющие волны — холода или огня, — она разобрать не могла.

— До свидания, — сказал Чижев, поднимаясь. — Вы все-таки здорово испугались, Клавочка. Мы еще с вами поговорим.

Она осталась одна в комнате, оглушенная, смятая; тихонько, боясь нарушить наступившую тишину, она подошла к стулу, села и с коротким стоном бессильно уронила руки.

Ночью она сидела в комнате на кровати, сжимая лицо ладонями, глядя сухими, блестящими глазами в темный угол, где тускло светило на стене зеркало. За все время она сказала только две фразы: «Чорт знает, как мне не везет!» — и часа через полтора добавила: «Но все проходит...». И никто никогда не узнал, что в эти полтора часа она со страшным, холодным спокойствием решала: стоит дальше жить или не стоит? И были минуты, когда ей думалось, что не стоит: до того безнадежно пусто и мрачно было вокруг, до того страшно невидимые ходики осыпали в темноту тикающие мгновения. В ту ночь для нее не было в мире ничего, что хотелось бы ей снова увидеть утром; она точно провалилась куда-то и была отделена от мира, от его красок, звуков, запахов и движений... Любовь была для нее большой радостью в жизни, высоким счастьем. Все рухнуло, все потеряно, и впереди — никакого просвета. И не лучше ли выйти сейчас на линию к поезду и умереть?

Но это ей только казалось, что она может выйти на линию и по своему желанию умереть. На самом деле это было для нее невозможно, потому что она была необходима миру, потому что

ценность ее жизни выходила далеко за пределы ее личных желаний, стремлений, радостей и горестей, потому что в ней было постоянное ощущение своей полной обязательности на земле — могучая сила, которая никогда бы не позволила ее скорби перейти в слепое отчаяние и катастрофу. Великое братство советских людей потратило немало времени, заботы, сил, чтобы сделать из Клавдии нового человека, человека высшей породы, способного и достойного творить на земле всеобщее счастье. И поэтому жизнь Клавдии была слишком драгоценна, чтобы принадлежать только ей — целиком, безраздельно, как личная собственность. На Клавдию распространялся закон великого братства, по которому все охраняют жизнь каждого и каждый отвечает за свою жизнь перед всеми, как за неоценимое сокровище, доверенное ему. «Умереть» — думала Клавдия, но у нее не было права принимать такие решения, и она чувствовала незаконность своих мыслей, постыдность их, словно бы намеревалась совершить какое-то предательство или обман. Она пробовала спорить с этим чувством. «Хозяйка я, наконец, над собой или нет?». И что-то ей властно отвечало из самой глубины души: «Нет! В таком деле ты над собой не хозяйка!». «Но я не могу, мне очень тяжело, мне больно. Я не могу!». И Клавдия с упрямым ожесточением хотела все-таки перешагнуть через этот запрет, — плотно сжав губы, глядя пустыми глазами прямо перед собой в темноту, она встала, открыла дверь, чтобы выйти и не вернуться, но остановилась на пороге. Непонятная и непреодолимая сила властно задерживала ее; а по земле, по воздуху как будто пошел отдаленный гул не то голосов, не то движений, — словно бы все великое братство, все миллионы советских людей встревожились, проснулись, беспокойно заворочались в своих постелях, насторожились на ночных дежурствах — у станков, у письменных столов, на паровозах, у телеграфных аппаратов, на шахтах, на заводах, в полях; и в Москве, в одном из кремлевских кабинетов, черноволосый седеющий человек с труб-

кой в зубах, в белом, наглухо застегнутом кителе, поднял вдруг голову и долго прислушивался, словно почуял какой-то непорядок в своем обширном хозяйстве. Телефон молчал перед ним, огромный город спал вокруг и был тих, а он все прислушивался — вождь, друг, учитель, глава советского братства, великий ответчик за всех; казалось, вот-вот снимет он телефонную трубку и взыскательно скажет:

— Что там у вас такое? Почему она не спит и думает нехорошее? Вы там смотрите, не прозевайте...

... Голова Клавдии медленно опустилась, рука застыла на дверной скобе, в глазах погас блеск упрямого ожесточения. Ее горе не уменьшилось, но словно бы просветлело; ей было тяжело и больно, но уже по-другому — как будто сдвинулась темная глыба, придавившая все чувства в ее душе, и открылась живая рана, истекающая чистой кровью. Горе мешало Клавдии дышать, губы задрожали, комок подступил к горлу, захотелось плакать, жаловаться. И это было хорошо, это было началом ее исцеления. Она села на кровать, сказала с глубоким вздохом: «Но все проходит...» — и на ресницах ее повисли слезы, первые в эту ночь.

Она плакала, что-то шептала, всхлипывала, кому-то жаловалась... Утром по гудку она пошла на работу. Высокие, тонкие облака в небе, деревья, дальняя синева реки, прохлада — все было для нее тихим и грустным. Она не умела обманывать себя и жить ложными надеждами, безотчетным ожиданием, что все как-нибудь обернется к лучшему; жизнь приучила ее к точности, прямоте и бесстрашию; она знала, что с любовью кончено, и настойчиво твердила себе: «Но все пройдет. Когда-нибудь все пройдет!...».

Катульский-Гребнев-Липардин хозяйничал в Зволинске, как в собственной кладовой. Чижов продавал краденое на местном базаре и в соседних городах. Выручка делилась по договору — Катульскому семьдесят процентов, Чи-

жову тридцать. Зависть вконец извела, измучила Чижова: он возненавидел Катульского. Как-то раз он попробовал заикнуться о несправедливости. Катульский ласково и мягко ответил:

— Вы недовольны?.. К сожалению, ничем не могу помочь, хотя вполне понимаю вас. Катульскому тоже хотелось бы брать себе все сто процентов, однако он вынужден довольствоваться семьюдесятью.

— Семьдесят, а не тридцать, — угрюмо возразил Чижов. — Хотя бы пополам.

Катульский, звеня пружинами, повернулся на кровати, приготовился говорить. Он любил иногда пофилософствовать. Жизнь в избобилии снабжала его темами для философских разговоров и суждений, но собеседник, вернее, слушатель, был у него только один — Чижов.

— Пополам... Вот вы сейчас думаете: «Катульский жаден, Катульский скуп, Катульский не хочет делить деньги со мной пополам». Но дело не в деньгах, вы понимаете. Дело в принципе.

Катульский закурил, пустил к потолку колечко папиросного дыма; лицо его приняло выражение самодовольного сосредоточия.

— Все дело в принципе! — Он поднял палец, строго посмотрел на Чижова, поджал губы. — Я не могу. Катульский не имеет права делить деньги пополам с вами. Почему? Потому что этим он признал вас как бы равным себе, тогда как в действительности он является более сильной личностью, то-есть личностью высшего класса, по сравнению с вами. Если я буду делить деньги пополам с вами, то я нарушу этим естественный порядок вещей, нарушу закон природы. Вы понимаете, молодой друг!?

— Нечего тут понимать... Оба мы жулики, оба одинаковые...

— Выбирайте выражения! — поморщился Катульский. — Сколько раз просил тщательнее выбирать выражения! Во-первых, мы — не одинаковые, во-вторых, я — не жулик, а вор...

— Разницы никакой нет.

— Извините, — разница огромная. Что такое вор, настоящий, крупный, квалифицированный вор? Я спрашиваю вас, — что такое вор в смысле философском?

— Вор? Который ворует — это и есть вор... Который бандит...

— Опять! Вы несправимы! «Который ворует!..». Вы слышком примитивно мыслите; у вас не развита способность к анализу и обобщению. «Который ворует!..». Но как ворует, у кого ворует, что ворует и чем руководствуется, когда ворует?.. Вот корень вопроса: чем руководствуется?.. Все равно, говорите вы. Значит, мальчишка, таскающий платки из карманов, какой-нибудь жалкий бродяга, раздевающий пьяных, и Катульский, работавший в свое время только по несгораемым кассам и ювелирным магазинам, — по-вашему, все равно? Вы примитивно мыслите, как обыватель. Слушайте, я объясню вам разницу. Коренное отличие Катульского от всякой мелочи и шпаны в том, что он — принципиальный вор, понимаете? Принципиальный! Чем он руководствуется, когда извлекает из кассы деньги? Он руководствуется сознанием своего права на это. Больше того, в этом я вижу свое назначение в жизни. Я рожден сильной личностью.

Продолжая говорить, он сел на кровати, натянул штаны; на его помятом, опухшем лице глубоко обозначились морщины; были заметны седые корни спутавшихся выкрашенных волос. Он швырнул папиросу в угол. Чижов молча поднял окурок, выбросил в форточку.

— Человечество, мой молодой друг, делится на две основных категории — на категорию обыкновенных людей и на категорию сильных личностей. Первым определено пахать, вторым — собирать урожай. Я взламываю кассу и беру деньги. Я их не зарабатывал, но я их взял, потому что я — сильная личность. Понятно? Я никогда не работал, не работаю и не буду работать! Это мой принцип в жизни. Пусть работают другие, а я, — извините, подвигитесь! Но, как вам известно, советская власть придерживается других принципов...

Катульский подошел к рукомойнику и долго со вкусом умывался, гремя навесным краником, отфыркиваясь, отплевываясь, разбрызгивая вокруг себя воду и мыльную пену. Чижов смотрел на него с колючей ненавистью. Когда он умылся, Чижов молча взял тряпку, вытер пол. Катульский усмехнулся.

— Ну-с, что вы думаете на этот счет, молодой человек? Вам нравится такое устройство мира: большинство работает, меньшинство собирает урожай. Если бы в России не было советской власти, то вы, например, могли бы завести небольшой полукустарный заводик по выделке хомутов, наняли бы рабочих и собирали в железный сундук барыши.

Катульский попал в самую точку. Это было сладкой, затаенной мечтой Чижова — завести маленький заводик, но только по выделке томатных консервов, а не хомутов.

Чижов посмотрел на Катульского неприязненно.

— А вы бы пришли и унесли?..

— Обязательно и всенепременно. Изъял бы, так сказать, мед из вашего улья. По своему праву сильной личности. Ну, как же, нравится вам такой порядок в мире?

Чижов злобно засопел и сказал:

— Мне порядок нравится такой, чтобы одни работали, а другие были хозяева, а чтобы высших личностей, которые деньги из несгораемых касс вынимают, совсем не было.

— Э-э-э, нет! — засмеялся Катульский. — Где есть хозяева, там неизбежно есть сильные личности — мы. Деньги ваши будут наши. Так-то-с, молодой человек, молодой хозяин, а где ваша касса, покажите-ка нам вашу кассу, дайте-ка нам пощупать вашу кассу!..

Хотя Чижов не имел ни заводика, ни железного сундука с деньгами, но душа была у него кулацкая. Глаза его побелели от злобы.

— А на это есть полиция. Живо поймают...

— Нет! — веселился Катульский. — Нет, мой молодой друг, нет!.. Мы хитрее, мы умнее, мы и полицию обрабатываем. Сунем, где надо, и все в поряд-

ке!.. От нас не уберезетесь, нет... А ну-ка, где ваша касса, дайте-ка, мы проверим ее, вашу кассу!..

Чижов ушел в угол и сидел там, злобно озираясь, как будто под ним был не стул, а сундук с деньгами. Катульский, напевая, уселся перед зеркалом бриться. Бритва с электрическим треском шла по его сытой, холеной коже.

Он вытер одеколоном лицо и встал. Чижов молча вымыл бритвенный прибор, убрал в гардероб, поставил на стол сахарницу, стаканы. Часовая стрелка подходила к двенадцати. Однообразно и деловито шмыгал взад-вперед по стене медный маятник, рассекая время на тоненькие пластинки; секунды падали, тихо звеня. За стеной глухо рокотала швейная машинка. Промчались по дороге мимо окна с криком и свистом мальчишки, все затихло опять. Начинались жаркие, полуденные часы; нагретый воздух густо, лениво вползал через форточку в комнату.

Катульский сел к столу, придвинул к себе стакан, прищурившись, поймал чайнику, стряхнул ее на пол.

— Вы сегодня вечером где будете? — спросил Чижов.

— А что?

— Вы домой не приходите сегодня. Часов до трех ночи.

— Женщина! — догадался Катульский и с удовольствием прищелкнул пальцем. — Ах, женщины, женщины! Они всю жизнь сопровождали Катульского, но ни одной не удалось взять его в плен. Женщины — это цветы, их надо рвать мимоходом.

Когда он ушел неслышными шагами на мягких каучуковых подошвах, Чижов запер дверь, плотнее сдвинул занавески на окнах, распорол по шву старый засаленный тюфяк и достал из него свои деньги, завернутые в газету. Сверток был весь оплетен пахучей, полусгнившей мочалой, свисавшей подобно водорослям, как будто Чижов хранил свое сокровище на дне морском. Он пересчитал деньги. Все было в целости. Тусклым, нерешительным взглядом обвел он комнату — куда бы спрятать? И уже начал отодвигать гарде-

роб, но вдруг передумал. Прижимая к груди свой сверток, он долго бродил по комнате, бормоча вполголоса проклятия, адресованные Катульскому и всем прочим «высшим личностям». Наконец, он засунул сверток глубоко в печную отдушину.

До трех часов он занимался разными хозяйственными делами, потом — отправился в депо. Он шел паровозным кладбищем. Вдоль невысокого забора из шпал стояли в два ряда мертвые, искалеченные, разъятые на части машины; колеса их ушли вместе с ржавыми рельсами в землю, обросли травой. Медная арматура, дышла, кривошипы — все снято, кожа с котлов ободрана, крышки передних топок открыты, дымогарные трубы вынуты из железного брюха.

Неподвижные, холодные, мертвые паровозы ждали здесь своей очереди, чтобы, переплавившись в мартенах, под температурой в тысячу градусов, родиться вновь для стремительного движения. Металл, тронутый ржавчиной только сверху, был годен, сохранил свою первоначальную ценность.

Но в каких мартенах, при какой температуре можно было переплавить и вернуть к жизни Чижова? Куда годился этот материал, вконец изеденный ржавчиной не снаружи, но изнутри?

★

Цех гудел по-обычному. Сливая спицы, вращались шкивы, бесконечно струились ремни. Станки выстроились по ранжиру от самого неуклюжего и огромного, на котором обтачивали целиком паровозные скаты, до маленького станка Клавдии, что подмигивал из угла всему цеху солнечным бликом.

Клавдия была не одна у станка — рядом с ее красной косынкой Чижев увидел крутой затылок начальника, красную шею, поросшую редким седующим волосом, широкую спину в пропотевшем парусиновом кителе. Чижев подождал минуту, две, пять минут, а начальник все не уходил.

Покусывая сивый ус, начальник пристально следил за работой Клавдии, готовый каждую минуту помочь ей...

Четыре дня тому назад им пришлось серьезно поговорить в кабинете. Клавдия вдруг начала пороть — пускать в брак дорогие детали, чего раньше с ней никогда не случалось. Почему-то все вдруг разладилось и в ней самой, и в станке, — то вдруг появится дребезжание, нудное и противное, как комариный зуд, то ремень начнет проскальзывать, то затеряется ключ, то вдруг заскрипит резец, стружка, обламываясь, летит серебряным градом, и весь станок припадочно дрожит, передавая через пол свою дрожь телу Клавдии. Пальцы почему-то становятся вдруг негибкими и ничего не чувствуют, подают резец то слишком мелко, то слишком глубоко.

Когда Клавдия испортила подряд четыре одинаковых детали, — заведующий цехом дсложил начальнику. Начальник вызвал Клавдию к себе. Она вошла в кабинет, потупившись, предчувствуя жестокий нагоняй.

— Что же вы работать разучились? — спросил начальник. Перед ним лежали на газете злополучные детали. — В чем дело? Почему бракуете? Почему раньше этого не было, а вот сейчас вдруг?.. Подряд?..

Клавдия молчала. Начальник шумно вздохнул, отдувая усы.

— Подойдите ближе.

Клавдия шагнула ближе. Начальник заглянул снизу в ее лицо, залитое густой краской.

— Ну, в чем дело? Это—почему? — Он взял со стола деталь и поковырял ногтем ступенчатый переход, где были сняты против чертежа два лишних миллиметра.

Клавдин было до того стыдно — хоть реви! Слезы навернулись на глаза. Начальник испугался и быстро смягчил тон.

— Вы, может быть, нездоровы?

— Здорова, — прошептала Клавдия, глотая слезы.

— Тогда, значит, у вас душа не на месте, — решительно сказал начальник. — Что-то случилось у вас, я вижу. Да вы садитесь, чего же стоять? Ну, что случилось? — рассказывайте. Может быть, помочь?

Клавдия отрицательно покачала головой.

— Любовь, — с уверенностью заключил начальник. — Она самая. (Он был старый, опытный начальник и умел читать по глазам.) С любовью не ладится что-нибудь. Да... Тут, конечно!.. Вот поэтому, — добавил он поучительно, — в старое время хозяева на тонкую работу молодого токаря, который холостой, не ставили. Потому что — любовь! Сколько он тогда материала заперет — беда! Смотрю я, смотрю, самое это главное беспокойство для молодых — от любви. — Начальник сокрушенно покачал головой, легко тронул большой закрубелой ладонью плечо Клавдии. — Но только все обойдется, вы не горюйте. Обойдется, вы уж мне, старику, поверьте. Я сам через это все прошел, стреляться даже хотел — вот до чего! У нашего хозяина дочка была, ну, а мне где же до нее! Я — слесарный подмастерье, — полтинник в день, морда в машинном масле, одет в тряпье, обут в опорки... Мы ведь в молодости-то жили не так, как вы сейчас, нам крепдешиновых разных платьев да шевитовых костюмов не полагалось; нам полтинник в зубы — и будь здоров. Вот вы в таких туфлях на работу ходите, а сестра моя, покойница, — она на ткацкой фабрике работала, — она таких туфель в руках никогда не держала. Всю жизнь протопала в чоботах. Она молодая умерла от чахотки. Работали тогда часов по двенадцати с лишним, жили в подвалах — немудрено и чахотку нажить. Мы ее осенью хоронили, сестру: место нам отвели на кладбище в низине, полна могила воды... Так прямо и поставили гроб в воду; умер человек, а его еще утопили вдобавок. На этих похоронах братишка младший простудился — двенадцати лет; ботинки были у него худые. Через неделю — готов от воспаления легких. На его похороны я уж не попал — хозяин не отпустил. «Опять похороны? — говорит. — А большая у вас семья». — «Да восемь человек осталось». «Эге, — говорит, — этак будут каждый день у вас помирать, а мне все убытки, все из

кармана». Так и не отпустил... И работал я в тот день не хуже обычного, потому — если раскиснешь и хуже работать будешь, выгонят. Значит, остался без хлеба... Братишку я очень любил, самолично выучил грамоте; стучу молотком, а сам думаю: «Вот его выносят, вот по дороге несут, вот на кладбище пришли, вот гроб опускают!». А молотком, все равно, стучу, потому что знаю — пожалеть меня некому, заступиться за меня некому, и что там в душе у меня творится — никому до этого дела нет... Да-с, мы вот как жили; хлебнули мы горячего да соленого вдоволь...

Спокойно и мудро начальник поучал Клавдию примером своей тяжелой, страшной жизни. Она слушала, и было ей удивительно, как не погиб, не сломился человек, пройдя через это один, без помощи. Глаза начальника странно изменились, потемнели, точно смотрел он в самого себя.

А солнце светило сверху прямо в открытые окна, бросало через графин желтоватую радугу на пол, блестело в никеле телефонного аппарата. Легко разгуливал по кабинету солнечный ветер, шевелил бумаги, шевелил золотые завитки на лбу Клавдии. Из деповских корпусов доносился ладный, веселый гул дружной работы людей и станков, покрикивали, солидно проплывая за окнами, новые паровозы. Был обычный день, весь пронизанный солнцем, — радостный, счастливый день, неприметный только потому, что и все другие дни были не хуже; он был неприметен, этот солнечный день, потому что вся жизнь великой страны была пронизана солнцем и счастьем насквозь; он был неприметен так же, как неприметна отдельная золотая нить в колыхающейся золотой ткани, отдельная капля в потоке... Но, когда начальник неторопливыми словами рассказал о другой страшной и темной жизни, сегодняшний день заблестел и засверкал перед Клавдией, словно золотая нить, положенная на темное.

— Все наладится, — продолжал начальник. — Потрясет, потрясет да и наладится. Если человеку в жизни сол-

нышко светит, — значит, все обойдется хорошо. Самое главное — не раскиснуть. Работа — вот спасение. Без работы человек весь раскисает, хоть ложкой его собирай... Работать надо; внимательно работать. В чертеж надо смотреть, где сколько обозначено миллиметров, и точно соблюдать. Тогда этого не получится, — указал он на бракованные детали.

— Этого больше не будет, — быстро перебила Клавдия. — Даю вам твердое обещание, товарищ начальник, этого больше не будет никогда.

— Верю... У вас руки умные и голова на плечах не пустая.

Перерыв окончился; завыл гудок. Начальник заторопился, встал, протянул руку.

— Ну, идите. Желаю успеха. У нас кружок изобретателей организован под моим личным руководством. Милости просим. Может быть, какая-нибудь идея насчет изобретения придет в голову — очень это помогает. Все лишние мысли — долой!..

Вспоминая этот разговор, Клавдия старалась понять, что за сила, освежающая и укрепляющая, была в простых словах начальника. Она ясно чувствовала эту силу в спокойствии, уверенности и точности своих движений, в своем полном слиянии с машиной — как будто резец был ее собственным пальцем. В станке не было ни дребезжания, ни припадочной дрожи; шестеренки пели ровно и мягко, свидетельствуя о правильно найденной скорости резания — наивысшей, но без перегрузки. Глаза Клавдии словно бы смотрели через металл насквозь; пальцы обрели прежнюю чуткость — тот самый особый талант, без которого не бывает настоящего токаря. Пальцы все делали сами и как будто совсем не нуждались в контроле мозга; подавая вперед резец, пальцы безошибочно угадывали десятые доли миллиметра. Резец тихонько шипел и без конца разматывал металлический волосок. И, сознавая в себе талант, гордясь и наслаждаясь своим искусством, Клавдия легчайшим прикосновением пальцев подавала резец еще вперед. Это было не-

уловимое движение; никакими приборами нельзя было учесть его, никакими формулами рассчитать; оно шло целиком от таланта. И последняя стружка тянулась такая, что глаз мог следить за ней только по блеску — в тени она терялась.

Начальник за спиной Клавдии крикнул от удовольствия. Она перекинула рычаг на «стоп». Сияя глазами, она подала начальнику готовое изделие, заранее уверенная, что сделала хорошо. Начальник ничего не сказал, усмехнулся, и в этом была высшая похвала. Они отлично поняли друг друга без слов: «Ну, как! Все в порядке?» — спросил своей усмешкой начальник. «Все в порядке» — ответила ему блеском глаз Клавдия. Смущенной улыбкой добавила: «Мне очень стыдно за то, что я раскисла и портила работу». «Ничего, ничего, — перебил начальник. — Это была просто какая-то болезнь, а теперь ты выздоравливаешь. Ну, смотри, я на тебя надеюсь!».

Успокоившись за Клавдию, он отправился дальше, в свой обычный, ежедневный поход по цехам. Клавдия зажала в патрон следующую поковку.

Ей было хорошо здесь, в цехе, наедине со своей работой. Здесь она как бы освобождалась от всего второстепенного, что ее томило, тревожило, мешало ей жить. Чижов пакостит, и любовь не выходит, — все это, конечно, очень плохо и тяжело, но это не самое главное. Самое главное в том, что под ее искусными руками каждый день рождаются новые вещи, необходимые людям — советскому братству; самое главное в том, что она хорошо, талантливо работает и без нее в стране обойтись никак нельзя. Здесь, у станка, она яснее чувствовала свою необходимость в мире, свою независимую, самостоятельную, высокую ценность. Работа наполняла ее гордостью, самоуважением, спокойной уверенностью в своей судьбе. Она работала легкими, точными движениями и беспрестанно радовалась, видя в них все новое и новое подтверждение своего таланта, своего высокого мастерства. Это был тот самый особый под'ем, что, очищая человека

от скуки и тупого равнодушия, облагораживает любую работу и превращает ее в созидание. Клавдия увлеклась и, если бы ее не трогали, простояла бы у своего станка хоть до самого вечера.

И вот в такой, совсем неподходящий момент к ней подошел Чижов. Он увидел ее раскрасневшееся лицо, блестящие глаза, решил, что она смущена и взволнована его появлением. Он кругом ошибся на этот раз.

— Клавочка, — сказал он. — Сегодня я жду вас к себе.

Она посмотрела на него странно. Как он сюда попал? И зачем? В его появлении здесь, среди ремней и шкивов, она с глухим раздражением чувствовала какую-то досадную нелепость, — ну, точно бы в цех привели вдруг корову или развесили по трансмиссии сушеные грибы. Словом, здесь, в цехе, в рабочее время Чижов со своей гошной физиономией был для Клавдии предметом незаконным и бессмысленным.

— Обязательно, — добавил Чижов. — К десяти часам. Я вас задержу часов до трех. К утру вы успеете вернуться домой.

Клавдия, казалось, не слышала. Она пригнулась к станку совсем низко. Ремень приближался к самому тонкому и ответственному переходу, а Чижов мешал сосредоточиться. «Как бы не испортить» — озабоченно подумала Клавдия, остановила станок. Шестеренки затихли. Ремень бесшумно крутил легкий холостой шкив. Клавдия спокойно ждала, когда исчезнет «это», незаконное в цехе и мешающее работать. Точно так же, глядя сквозь окна в небо, она пережидала иногда ломоту в глазах, появляющуюся от бесконечного вращения и блеска.

Но «это», незаконное в цехе и мешающее работать, не исчезало. Оно стояло, нагло ухмыляясь, играя серебряным концом кавказского пояса.

— Значит, к десяти, — сказал Чижов хозяйским, утверждающим тоном. — Не опаздывайте. И мы, Клавочка, на этом все покончим. Я забуду то, что знаю. И никому не скажу. Зна-

чит — договорились? — Не дожидаясь ответа, он заключил: — Молчание — знак согласия.

Он ушел. Клавдия с холодным удивлением покачала вслед ему головой. Хорош! Она вспомнила вечер в красном уголке, когда, оцепенев под его желтым взглядом, потеряла, может быть, навсегда, Михаила. Как глупо все вышло!.. Сама виновата, раскисла! Сердце, потревоженное воспоминанием, заныло и затосковало.

После работы Клавдия пошла на занятия кружка изобретателей, домой возвращалась в ранних сумерках, задумчивая. Был тот неопределенный час, когда горят уже фонари, но свет их еще прозрачен, водянист и, рассеиваясь, не дает ни бликов, ни теней. Небо задернулось туманным пологом, чтобы открыться снова — темным, глубоким и полным звезд.

Клавдию окликнул из окна знакомый голос. Она вздрогнула — неужели? Бросилась к дощатой калитке.

— Маруся!

Тот же голос — низкий, грудной — ответил:

— Иди скорей!

Клавдия пролетела дворик, крыльцо, террасу, но в комнату вошла осторожно, как будто по тонкому льду. За столом в глубоком кресле сидела Маруся, подруга Клавдии, фрезеровщица. Она заметно похудела, побледнела, но в глазах появился какой-то новый свет и губы стали еще ярче. В комнате везде стояли цветы; на пианино, на радио-приемнике, на столе.

Клавдия, увидев цветы, покраснела, смутилась.

— А я тебе ничего не принесла... Я не знала, Маруся, что ты уже дома, честное слово, не знала.

Улыбаясь, Маруся отложила свое шитье, крепко поцеловала Клавдию.

— А я тебя давно жду... Ну, думаю, совсем она позабыла меня.

— Как я рада, Маруся! Где он? Покажи. Хороший?..

— Он только что уснул. Орал весь день. Ужасно беспокойный.

— Только на минутку. Одним глазком.



На цыпочках они пошли в другую комнату, где белела в углу новая кроватка. Маруся откинула тюлевый полог. Ее сын спал красный и весь надутый, смешно причмокивая губами. Тюлевый полог опустился. Клавдия пристально смотрела в лицо подруги, полное торжественного, спокойного, завершенного счастья. «А я все мечусь... все дергаюсь» — мимолетно и с горечью подумала Клавдия, прислушиваясь к ровному, тихому дыханию ребенка.

Шлепая отстающими от ног туфлями, прибежала, отворачивая лицо, старуха-мать с кипящим самоваром в руках. Блестел чайник, звонкие ложки, посуда; все в этой комнате как-то обновилось вместе с хозяйкой. А она опять взялась за свое вышивание, смеялась и рассказывала:

— Ко мне с утра делегации начали ходить. Сначала из парткома — подарок принесли. Вон, — кивнула она на радиоприемник. — Чтобы не скучно было. Потом из профкома принесли целую корзину приданого. Белье. А мама сама нашила. Теперь у нас целый комод — ящики не задвинешь, честное слово! Хоть детский сад открывай. А уж цветов натащили, цветов! Половину пришлось на террасе оставить, а то голова кружится — такой запах!

— Маруся, это очень страшно? — спросила Клавдия, отодвигая стакан.

— Да?.. — Маруся подумала, сдвинула брови. — Да, это страшно... То есть, в тот момент страшно, когда наступает, а после — сразу все забывается. После — совсем хорошо.

— Теперь ты счастливая? — спросила Клавдия.

— Да, теперь я счастливая. — Маруся подумала и подтвердила. — Я теперь очень счастливая.

— Я это сразу увидела. По глазам. У тебя какие-то особенные глаза... Ты стала такая хорошенькая, Маруся.

— Это всегда так бывает. Мне врачи говорили.

Они посмотрели друг на друга и беспричинно рассмеялись. Маруся убежденно сказала:

— Женщиной быть все-таки лучше.

— Труднее, — отозвалась Клавдия. Тень прошла по ее лицу.

Маруся поняла эти слова по-своему.

— Труднее — это верно. Зато и радости больше. А в общем, конечно, женщиной лучше быть. Я бы не поменялась! Ни за что!

Старуха-мать, маленькая, тихая, серая, с глазами, обесцвеченными временем, с постоянной, словно бы виноватой, улыбкой на морщинистом, измятом лице, поджала губы, имея на этот счет, должно быть, свое особое мнение.

— Все никак не могу сыну отчество подобрать, — сказала Маруся.

— Другое будет отчество?

— Конечно, другое, — ответила Маруся так, что Клавдия поняла неуместность своего вопроса.

Маруся год тому назад очень неудачно вышла замуж: развелась через три месяца, узнав, что у мужа, который постоянно раз'езжал по командировкам, есть еще две жены в других городах. Марусю очень любили в депо, и все заволновались, узнав об ее несчастье, а больше всех Вальде — человек строгих правил, презирующий всякий обман. И хотя муж каялся, грозил, упрашивал, подсылал друзей, но веры ему больше не было, и он уехал куда-то в Сибирь один. Недавно прислал письмо, предлагал деньги на ребенка. Маруся ему даже не ответила, подругам сказала:

— Была нужда связываться! Сама прокормлю хоть пятерых.

Она была очень гордая, Маруся, и обиды забывала не легко.

— Владимирович... — перебирала она. — Иосифович. Вон, мама встатцы старинные принесла. Какие встарину были имена! Потеха! Епимах!.. — Она откинулась в кресле и залилась звонким смехом. — Кто их только придумывал, такие имена? Спяну, что ли?

Маруся обрезала красную нитку, вдела синюю, завязала узелок. За окном легко вздохнул ночной ветер, листья зашумели в темноте. Прилетел какой-то большой, твердый жук, ударился со звоном о стеклянный абажур, упал на спину и долго перебирал светлыми черными лапками. Клавдия пе-

ревернула жука; он быстро пополз, вполоча за собой смятые желто-сетчатые крылья, выпущенные из-под брони.

— У тебя что-то с Мишей неладное получилось? — спросила Маруся.

— Да так...

— Мне рассказывали...

— Ерунда...

Маруся бросила на Клавдию пыливый взгляд и больше не спрашивала. Посидели, поговорили еще немного, и Клавдия распрощалась с Марусей.

Итти домой, в духоту и темноту комнаты, не хотелось: очень уж хорошо горели звезды в чистой, бездонной глубине неба. Тянуло из палисадников теплыми сонными запахами цветов, дурьев, травы. Скамейка напротив большого дома была свободна. Клавдия присела. В три длинных ряда светились окна затаенным в абажурах розовым и голубым светом, одно — зеленым. «Будет у меня счастье или нет?» — загадала Клавдия, принялась считать до пятидесяти; если зеленое окно погаснет, значит — будет. Она считала, зная, что прогадает — кто же гасит свет в такую рань? «Сорок шесть, сорок семь, — считала она все печальнее и медленнее. — Сорок восемь... Напрасно я загадала, только одно расстройство. Не везет мне. Сорок девять». Окно вдруг погасло. Затаив дыхание, Клавдия смотрела, не веря глазам, на темный провал окна — единственный во всем ярко освещенном доме. Через полминуты окно засветилось опять. Для Клавдии это было, как чудо, словно кто-то всеведущий, знающий ее судьбу и мысли, подал ей добрый знак. А этот всеведущий был пятилетний мальчик, веснушчатый и синеглазый, с упрямым вихром на затылке, — большой любитель щелкать выключателем. Но Клавдия о нем ничего не знала и не хотела знать. Радостно изумленная и взволнованная, она замерла на скамейке. Перед ней проходили события последних дней и сегодняшнее появление в цехе Чижова. «Какая ерунда! — удивлялась она и морщилась. — Какая ерунда!». Все очень просто и легко разрешимо.

Она думала о Чижове без гнева, без негодования, даже без возмущения, — с твердым и трезвым спокойствием. «Надо это безобразие прекратить!» — сказала она себе, нисколько не сомневаясь в том, что сумеет прекратить, хотя и не знала еще, каким образом. С Михаилом гораздо сложнее. Здесь надо подумать. И она старательно принялась думать. Любит ли она его? Да, конечно, любит, может быть, еще сильнее, чем прежде, но как-то по-другому. Теперь ей бы не хотелось быть покорной и послушной; многое, что она ему позволяла раньше, теперь не позволила бы. Ее чувство к Михаилу как будто окрасилось другим цветом: та чисто женская подчиненность в любви, что унаследовала Клавдия от матери, бабушки и прабабушки, исчезла бесследно. Если бы она опять сошлась с Михаилом, то любовь у них была бы другая; на прежнюю Клавдия не согласилась бы. Теперь она потребовала бы от Михаила не только любви, но еще и содружества. Дни тяжелых испытаний, страданий, размышлений не прошли даром — оставили глубокий след, навсегда. Многие переменялись за эти дни в Клавдии, в ее любви, и причиной всех этих перемен была, конечно, работа, воспитавшая в ней уважение к себе, сознание своей независимой, самостоятельной ценности.

Клавдия решительно и легко встала со скамейки, полная сил, готовая к поискам и к победе. К ней вернулась воля и та, свойственная только женщинам, цепкость, которая позволяет им выигрывать в борьбе за свое счастье безнадежные, казалось бы, партии. Клавдии предстояло совершить еще много больших и малых дел в этом мире. Огни в окнах были перед ней, разноцветные огоньки стрелок и семафоров роились вдали на линии; со звездами, дрожа и переливаясь, горели в темно-прозрачном воздухе живым, неугасимым трепетным пламенем, и Клавдии во всем чудился добрый знак, обещание удачи... Гул ветра в густых вершинах звучал, как призыв.

*(Окончание следует.)*

# Стихотворения

СТЕПАН ЩИПАЧЕВ

★

## О ЦВЕТКЕ

Была недолгой жизнь цветка —  
давно покошены луга.  
Зима. Метелица метет;  
буран, влетает в сени, —  
но аромат цветка живет  
в сухом колхозном сене..  
Струей парного молока  
звонит степная жизнь цветка..  
И, если песня хороша,  
любую тронь строку, —  
пусть вьюги всё запылят, —  
и в ней дышать цветку.

★

## БЕРЕЗКА

Ее к земле сгибает ливень  
почти нагую, а она  
рванется, глянет молчаливо —  
и дождь уймется у окна.  
И в непроглядный зимний вечер,  
в победу веря наперед,  
ее буран берет за плечи,  
за руки белые берет,  
но, тонкую, ее ломая,  
из силы выбьется.. Она,  
видать, характером прямая —  
кому-то третьему верна.

★

## У МОРЯ

Знаю я, как волны с камнем спорят.  
У сырых голубоватых скал  
повстречал я девушку у моря:  
— Хорошо здесь! — только и сказал.  
Долго мы на берегу стояли...  
Под вечер она опять пришла.  
Круглобокий колыхался ялик,  
на песке лежало три весла.  
И легко нам было в разговоре.  
Слов особенных я не искал.  
Смуглые, забрызганные морем  
маленькие руки целовал.  
И сегодня — нет ее милее,  
так же всё ладонь ее тепла.  
Пусть твердят, что и моря мелеют,—  
я не верю, чтоб любовь прошла.

★

★ ★ ★

Начало пятого, но мне не спится.  
Мутнеет вьюга. Ночь летит в рассвет.  
Земля, как заведенная, вертится.  
Пройдет и сто и десять тысяч лет.  
И дальний век (мы и о нем мечтали)  
вот так же станет вьюгами трубить.  
В той, даже мыслям недоступной,  
дали  
хотел бы я хотя б снежинкой быть,  
чтоб, над землею с ветром пролетая,  
на жизнь тогдашнюю хоть раз  
взглянуть,  
пушинкою над топелем порхнуть  
и у ребенка на щеке растаять.

★

# Испанский дневник

КНИГА ВТОРАЯ<sup>1</sup>

МИХАИЛ КОЛЬЦОВ

★

7 НОЯБРЯ

Около двух часов ночи генерал Миаха приехал в штаб. Он начал свою деятельность по обороне Мадрида со служебного преступления.

Оказывается, вчера, в шесть часов вечера, в момент бегства из столицы, заместитель военного министра генерал Асенсио вызвал к себе Миаху и вручил ему запечатанный пакет с надписью: «Не вскрывать до 6 часов утра 7 ноября 1936 года».

Миаха уехал к себе домой. Пакет жег ему руки. По телефону, от друзей, он узнал, что правительство и высшее военное командование уехали из города. Друзья же сообщили, что, по слухам, это ему, Миахе, доверено сдать Мадрид фашистам.

Это было похоже на правду. Миаха считается генералом-неудачником, простоватым провинциальным человеком, тщетно пробующим занять видное место в военных кругах. Молодой генералитет, особенно Франко, Кейпо де Льяно, Варела, всегда издевались над ним, над его неуклюжестью, неотесанностью, неумением устроиться. Сама фамилия его («миаха» — крошка) настраивала на шутку. В июле, в момент мятежа, многих развеселило назначение Миахи военным министром. В мадридских гостиницах комически-серьезно подымали палец: «О, да, только Миахе и быть сейчас во главе армии таких размеров».

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. 4 с. г.

Бедняга пробыл в министрах несколько часов; он пробовал по телефону разыскать какие-нибудь части, найти концы, дозвониться до каких-нибудь военачальников, — тщетно. Никого не оказалось дома, из некоторых квартир в телефон откровенно фыркали, услышав, что спрашивает военный министр генерал Миаха. Ничего не добившись, сконфузившись, он в тот же день подал в отставку.

В оставлении Миахи сейчас военным руководителем покинутого, беззащитного Мадрида тоже какая-то издевка. Несомненно, это подсказал Асенсио — формально республиканский генерал, фактически — однокашник Франко, Варела, Ягуэ, сходный с ними по воспитанию, стилю и вкусам.

После нескольких часов колебаний Миаха решил незаконно вскрыть пакет, не дожидаясь утра.

В пакете был приказ военного министра:

«Дабы иметь возможность выполнять основную задачу по обороне республики, правительство решило выехать из Мадрида и поручает Вашему Превосходительству оборону столицы любой ценой. Для помощи Вам в этом трудном деле в Мадриде создается, кроме обычного административного аппарата, Хунта (комитет) по обороне Мадрида, с представителями всех политических партий, входящих в правительство, и в той же пропорции, в какой они входят в правительство. Председательствование в

Хунте поручается Вашему Превосходительству. Хунта обороны будет иметь полномочия правительства для координации всех нужных средств защиты Мадрида, которую нужно продолжать до конца. На случай, если, несмотря на все усилия, столицу придется оставить, тому же органу поручается спасти все имущество военного значения, равно как и все прочее, что может представлять ценность для противника. В этом случае части должны отступить в направлении на Куэнку, дабы создать оборонительную линию на рубеже, который укажет командующий центральным фронтом. Ваше Превосходительство подчинено командующему центральным фронтом, и Вы должны постоянно поддерживать с ним связь по военно-оперативным вопросам. От него же Вы будете получать приказы по обороне и наряды на боевое питание и интендантское снабжение. Штаб и Хунта обороны должны быть расположены в военном министерстве. В качестве Вашего штаба Вам придается генеральный штаб, кроме той части, которую правительство сочтет необходимым взять с собой».

Миаха бросился искать приданный ему штаб и штаб центрального фронта. Не нашел ни того, ни другого. Все разбежалось. В военном министерстве не было ни души. Он стал звонить на дом. Никто не откликнулся. В некоторых квартирах, услышав, что говорит «президент Хунты по обороне Мадрида генерал Миаха», люди, ничего не отвечая, осторожно клали трубку.

Он стал искать Хунту обороны — ничего не нашел. Представители партий, назначенные в Хунту, самовольно покинули Мадрид, кроме коммуниста Михе. Все это было абсолютно похоже на унижение, которому подвергли Миаху при назначении его в июле военным министром.

Он обратился к Пятому полку народной милиции. Пятый полк ответил, что целиком отдает в распоряжение генерала Миахи не только свои части, резервы, боеприпасы, но и весь штабной аппарат, командиров, комиссаров. Это немного ободрило Миаху. Чэка и Михе установили с ним контакт от име-

ни Центрального Комитета. Поздно ночью появилось несколько офицеров для штабной работы: подполковник Рохо, подполковник Фонтан, майор Матальяна. Пятый полк дал для штабной работы Ортегу, члена ЦК, начальника отдела служб генерального штаба.

Обо всем этом Миаха рассказывает сам, стоя посреди большой министерской приемной, в кругу людей, постепенно собирающихся в покинутое здание. Это высокий, румяный, совершенно лысый старик с обвислыми пухлыми щеками, в больших роговых очках. У него облик совы. Он волнуется, сердится, хлопает себя по груди и животу, в его жестях чувствуется добрый человек.

Что за предательский поступок — запретить начальнику обороны Мадрида до утра вскрывать пакет с приказом! Хорошо, что у Миахи хватило решимости распечатать конверт, пусть через четыре часа. Не всякий испанский генерал сделал бы это. Выиграно полночь. Выиграно ли?

Офицеры штаба пробуют установить связь с колоннами, отошедшими вчера внутрь черты города. Из этого ничего не получается. Никого разыскать нельзя. Подполковник Рохо, приняв на себя функции начальника штаба, рассылает нескольких офицеров и комиссаров, оказавшихся в его распоряжении, просто ездить по городу, по казармам, по баррикадам, обнаруживать части и притаскивать командиров и делегатов связи сюда, в штаб. Пятый полк немножко похвастался — у него тоже сейчас полная неразбериха. Да и насчет боеприпасов, предоставляемых Миахе, — сильно сказано. Снарядов в наличности — на четыре часа огня. Патронов для всего Мадрида, — сто двадцать два ящика. И снарядов, и патронов есть на самом деле во много раз, может быть, в десять раз, больше. Но неизвестно, где они, а это все равно, что их нет.

По берегу Мансанареса, у городских мостов, на свой страх и риск, стоят и постреливают кое-какие части. Рохо старается установить связь прежде всего с ними. Надо им дать боеприпасы, пулеметы и притом проверить готовность мостов к взрыву в любой момент,

минировать все близлежащие дома и руководить взрывами. Это последнее дело берет на себя Ксанти, доброволец, отчаянный человек, македонский партизан, коммунист.

Танки тоже все еще гуляют вокруг города. Вчера, потеряв связь с командованием, они перешли на самостоятельную жизнь. Командир их сам или по просьбе удерживающихся частей делает короткие контракты в Каса дель Кампо и у Западного парка. Ночью, когда танкам полагается спать, они изобразили из себя мощную артиллерию, то есть, по просьбе дружинников, просто стреляли наугад в темноту, в направлении фашистов. Танковый капитан явился к трем часам в военное министерство, обшарпанный, бледный, усталый до изнеможения:

— Охрана труда, где ты! Кажется, так говорят у вас в Москве. Доблестные республиканские части на исходе дня шестого ноября ворвались в родной Мадрид. Горе счастливых родителей не поддается описанию.

Мрачными шутками он пробовал прогнать усталость:

— В таких случаях Клаузевиц и Александр Македонский рекомендовали коньяк.

Коньяк в министерстве оказался. Две бутылки стоят на окне в ванной комнате покинутых апартаментов Асенсио. Всех рассмешило, когда я предложил не откупоривать бутылку до шести часов утра, исходя из надписи на конверте. Кто-то сказал, что отныне началась эпоха беззакония. Третий добавил, что не оставлять же коньяк фашистам. Выпили за здоровье доброго Асенсио, обеспечившего оборону Мадрида коньяком. Было очень тошно на душе.

Мигэль Мартинес поехал в Центральный Комитет. Снаружи дом казался покинутым и мертвым, внутри, за плотно задернутыми гардинами, кипела жизнь. Чэка распорядился во-всю. Вместе с секретарями районных комитетов он организовал поголовную мобилизацию всего боеспособного и работоспособного антифашистского населения. Партийные работники, связавшись с другими надежными элементами, обходят дома,

квартиру за квартирой, составляют списки добровольцев, создают внутренние домовые военные комитеты, задача которых — оборонять каждое отдельное здание до конца, оставляя его только в виде груды развалин. Часть трудового населения выделяется для непосредственной борьбы, другая часть — для фортификационных работ, остальные — для обеспечения снабжения и военного производства.

Кроме районных комитетов, созданы пять секторных военно-партийных комитетов. Они принимают на себя функции чисто военного характера и политического обеспечения обороны четырех городских секторов. Нормальные районные комитеты обеспечивают оборонную работу гражданского населения. Все нетрудоспособные старики и матери семейств с детьми должны немедленно эвакуироваться из города.

Мигэль спросил, как с эвакуацией арестованных фашистов. Чэка ответил, что не сделано ничего и теперь уже поздно. Для восьми тысяч человек нужен огромный транспорт, охрана, целая организация, — где же в такой момент все это раздобыть?

— Все восемь тысяч эвакуировать незачем, там много барахла и безобидных. Надо отобрать самые злостные элементы и отправить в тыл пешком, небольшими группами, по двести человек.

— Разбегутся.

— Не разбегутся. Крестьянам поручить охрану, это будет, пожалуй, еще надежнее, чем тюремная стража, она очень подкупная. Если и разбежится часть — чорт с ней, можно потом переловить. Лишь бы не отдавать Франко эти кадры. Сколько бы ни удалось отправить, две тысячи, тысячу, пятьсот человек, — все будет благо. По этапу гнать до Валенсии.

Чэка подумал, утвердительно мотнул головой. На это дело, кроме Мигэля, выделили двух товарищей. Поехали в две большие тюрьмы.

У заключенных было отличное настроение. Они, усмехаясь, говорили администраторам: «Это наша последняя ночь здесь. Завтра у вас будут другие клиенты». Они не угрожали тюремщи-

кам. В Испании тюремная администрация остается при всех режимах, на правах незаменимых специалистов. Меняются только арестанты.

Фашистов выводили во двор, выкликали по спискам. Это озадачило и потрясло их. Они думали—ведут на расстрел. Их отправляли в сторону Арганды, туда с первой партией поехал надзиратель — устроить временный этапный пункт.

В шестом часу утра мы поехали к мостам. Трескотня стала тише. Люди дремлют. Все оцепенело в угрюмом отчаянном ожидании. В ожидании чего? Спасти Мадрид невозможно, сдать его нельзя. А ведь сделано все именно для сдачи Мадрида и ничего для его спасения. История заклеит тех, кто привел к этому несчастью. Бедная история, сколько хлопот мы на нее взваливаем.

Нельзя сдать Мадрид. Надо драться до иступления, до последнего патрона, а потом до последней щепотки динамита, потом штыками, потом камнями из мостовой, потом кулаками, а потом, когда уже схватят, — кусаться, а потом показывать язык. Пусть почувствуют, что значит взять такой город. В Карбанчель они ворвались слишком быстро; теперь же пусть ползут — каждая улица будет для них мясорубкой. Две недели можно так драться. Месяц — пока захватят весь город!

Вдоль переулка стоит очередь, одни женщины и девочки-подростки. Еще темно, а они уже стоят. Это очередь за оладьями. Она движется очень медленно, потому что оладьи надо жарить. Старуха-торговка печет оладьи на сковороде, — она берет горсточку кукурузного теста из глиняной миски, раскатывает ладонями в лепешечку, затем из пивной бутылки льет оливковое масло на сковороду и шлепает лепешечку на масло. На сковороде помещаются три широких оладьи и одна узенькая. Старуха подкидывает сковороду, оладьи шлепаются спинами и жарятся дальше. Маленькую оладью старуха откладывает себе, в оловянное блюдо. Остальные три продает. У нее нарезана квадратиками газетная бумага. Она листочком захва-

тывает оладью и выдает в окно. Оладья стоит один реал, совсем недорого. Про старуху не скажешь, что она спекулянтка. Покупательницы уходят по-трое. Оладьи уносят домой. Их будут есть с кофе. Старуха продает только одну оладью в одни руки. Мы с шофером тоже стали в очередь, единственные двое мужчин. Очень захотелось оладий, — а шофер, тот вообще целые сутки не ел.

Но, чтобы драться, чтобы драться до иступления, для этого людям надо во что-то поверить, чувствовать, что драться есть смысл. Что Мадрид можно удержать. Может быть, его в самом деле можно удержать... Если, например, держаться, пока подойдут резервы. Чорт их знает, вдруг они в самом деле подойдут. Вообще-то говоря, они уже подходят, целых шесть бригад. Они где-то вокруг столицы. Интернациональная бригада, будто бы, уже в Вальекас. Она прикрывает отступление по валенсийской дороге. Зачем прикрывать отступление — пусть отступающие сами себя прикрывают! Собрать шесть бригад, если нельзя больше, ударить в тыл мятежникам, окружить их, прижать к Мадриду, захватить в ловушку, разбить... Было же «чудо на Марне». Чудо на Мансанаресе,—что нужно, чтобы оно совершилось? Если бы оно совершилось! Его надо совершить...

Уже совсем светло, на улицах начинается оживление; оно растет, и вот, грозно нарастая, и с южной, и юго-западной части города, катится огромная, все более возбужденная волна людей, экипажей, вещей и животных.

Только сейчас, поутру, столица узнала, что правительство уехало, что настоящей обороны город не имеет, что враг у ворот, в воротах, в дверях, переступил порог.

В течение двух часов быстро закупориваются магистральные улицы, затем боковые, затем переулки. Густая, вязкая человеческая масса бурлит, клокочет, исходит воплями. Среди нее торчат застрявшие автомобили, грузовики, пустые трамвайные вагоны, двуколки со скарбом. Вот броневик, к крыше которого бесстыдно привязаны матрацы, подушки, лоханки, узлы с бельем. Вот ка-



тафалк с мертвецом, которого покинули все, и кучер.

Теперь паника стала стихийной. Люди мечутся и рыдают, разговаривают с незнакомыми, как во время землетрясения, матери кличут детей. Какой-то коммерсант пожадничал, он нагрузил на двуколку свой товар, разноцветные материи, одна штука шелка размоталась, зацепилась, владелец кричит, и кто-то равнодушно обрывает полосу яркой блестящей материи, как ленту серпантина.

Это потоп, это светопреставление, это гибель Помпеи, массовое паническое безумие. Впрочем, и в безумии есть своя закономерность. Несметная масса людей, хотя и закупила все улицы, все-таки, пусть медленно, движется в восточном направлении.

Я оставил машину и шофера, предложив ему, если волна схлынет, проехать к военному министерству, а сам, действуя локтями, начал продираться к «Паласу». Я хотел навестить Симона.

Больше часу ушло на то, чтобы добраться до Пласа де лас Кортес. У под'езда стояло множество санитарных карет с ранеными, никто их не разгружал. Нужно ли их вообще разгружать? Ведь раненых надо эвакуировать раньше всего.

Побежал в палату, где Симон. Люди с улицы толпились между кроватями, разговаривали с ранеными, рассуждали, как быть. Некоторые приходили с самодельными носилками и забирали раненых родственников, мадридцев, к себе домой, чтобы спрятать от фашистов.

Симона на его месте не было. Соседи сказали, что он умер час назад, его сразу унесли вниз, в морг.

Вход в морг — с переулка, это был отдельный гараж для богатых туристов; тел очень много, их начали класть уже в два этажа. Симон лежал у стены, над ним висела большая автомобильная шина. Лицо его было спокойно.

На улице завизжала сирена. Появились «юнкерсы». Взрыв глухо послышался издали. Но затем, вместо того, чтобы разбежаться, публика заинтересованно и радостно задрала лица кверху.

Бомбовозы переменяли курс, они повернули на запад и быстро удалились.

Осталась группа истребителей, на которых напали сомкнутым строем сбоку подошедшие, маленькие, очень скоростные и маневренные машины.

«Хенкели» начали разбежаться, бой принял групповой характер, один из самолетов рухнул вниз, об'ятый пламенем, он прочертил в небе линию черного дыма. Люди внизу восторгались, аплодировали, бросали береты и шляпы вверх.

— Чатос! — кричали они: — вива лос чатос!

Через два дня после появления новых республиканских истребителей мадридский народ уже придумал им кличку «чатос» — курносенькие. У машины, в самом деле, такой вид: винтомоторная часть чуть-чуть выдается холмиком впереди крыльев.

«Хенкели» удрали. Чтобы подчеркнуть это, «курносые» специально сделали два круга над столицей, красиво пикируя, кувыряясь в фигурах высшего пилотажа, показывая на малой высоте трехцветные республиканские знаки. Толпы на улицах в радостном волнении внимали звонкому рокоту моторов друзей. Женщины махали платками и, став на цыпочки, вытянув шеи, посылали воздушные поцелуи — как если бы их могли заметить сверху.

Сейчас в Москве ноябрьский парад в разгаре. Проходят, или, наверно, уже прошли, военные академии, Пролетарская дивизия, Осоавиахим, конница, артиллерия. Войдут, или, может быть, уже вошли, из двух проходов по сторонам Исторического музея шумные лавины танков. И в тот же момент показываются в небе первые группы самолетов. Публика будет аплодировать, то глядя вверх, то переводя взоры на тяжелые и быстрые стальные черпахи.

У под'езда «Паласа» со вчерашнего дня без движения стоит совсем новый пятиместный «бюик». Я попросил найти шофера. Это оказался небольшого роста, средних лет человек, аккуратный, с галстучком.

— Что с вашей машиной? Она в порядке?

— Да. Я жду своего начальника.

Он назвал имя видного чиновника военно-инженерного управления.

— Ваш начальник вчера уехал в другом автомобиле в Валенсию.

— Этого не может быть. Он бы сказал мне.

— Не знаю. Я видел его с женой и детьми, жена в синей шляпе, старший сын — лет двадцати, с фотоаппаратом на ремешке через плечо. Машина на вид побольше вашей.

Он слушал, нахмурившись.

— Пожалуй, вы правы. У него есть еще семиместный «паккард». Синяя шляпа, фотоаппарат, совершенно верно. В «паккард» у них, наверно, вошло много багажа... У меня тоже есть семья; некоторые шоферы оставили начальников и увезли свои семьи. Я не сделал этого. Три дня назад я попрощался с семьей, хотя она живет здесь, в Мадриде.

— Как вас зовут?

— Дорадо.

— Будьте моим шофером.

Он очень медленно обошел автомобиль, осматривая, как будто в первый раз. Поглядел на колеса, на радиатор и фигурку на нем, на ручки дверей, на багажник сзади. Все имело новый, опрятный, начищенный вид. Отпер переднее сиденье, сел за руль, нажал стартер, спросил просто:

— Куда ехать?

Во второй половине дня Мигэль Мартинес попробовал сделать что-нибудь в комиссариате. Из начальства в Мадриде не осталось никого, кроме Михе, а он занят в Хунте обороны. Три машинистки, которых вчера не известили об эвакуации, пришли на работу в пустые комнаты. Одну из них произвели в секретари, и она уселась за стол в кабинете. Появился комиссар Гомес, еще два-три человека. Работу стали продолжать, делая вид, что ничего не случилось. Позвонили к Чэка с просьбой прислать человек сорок для направления политработниками в части, обороняющие мосты. Чэка ответил, что у него нет ни одного свободного коммуниста, но уже через полчаса прислал пятерку людей. Им выдали мандаты, по блокноту, по три химических карандаша, по цветному плану Мадрида, по пачке сигарет и указали номера телефонов —

звонить через каждые два часа о положении на участке. Из одной колонны прибыл моторист, привез записку от командира — немедленно дать ему комиссара, чтобы моторист привез его с собой в колясочке. Это всем понравилось и подняло настроение. Гомес и Мартинес разгуливали с важным видом, они чувствовали себя даже лучше без старших, на положении хозяев. Неизвестно, сколько все это продолжится... Чэка прислал еще девять человек, какой молодец! «Что делать, чем заниматься?» — спрашивали вновь назначаемые комиссары. Это были большей частью строительные рабочие. Некогда было читать им лекции о политработе. Мигэль говорил: «Первое: подымайте дух бойцов, ни шагу назад; второе: подымайте дух командиров; третье: организуйте дружины динамитчиков и анти-танкистов; четвертое: укрепляйте вторую и третью линии обороны, пусть жители домов строят баррикады; пятое...». Комиссары записывали новыми карандашами в новые блокноты. «Что пятое?» — спрашивали они. Мигэль не знал, что пятое. «Пятое, — сказал он, подумав, — это держаться крепко, ни шагу назад, пока не подойдут к нам мощные подкрепления и Франко будет разбит на-голову у ворот Мадрида». «Пока не подойдут мощные подкрепления» — радостно записывали комиссары в новые блокноты. «А если не подойдут? — думал про себя Мигэль. — Если подойдут слишком поздно?».

Проезжая по улице Алкала, я сказал новому шоферу завернуть в переулок, где помещалась Альянса писателей. Тяжелые ворота старинного особняка были раскрыты настежь. «Уехали все?» — спросил я у привратника.

— Нет, не все...

— Как так!

Внутри — пустота, тишина. Мраморный бюст, как скелет, белел в полумраке. В зимнем саду — никого, в салоне — никого, в столовой — никого.

Поднялся в бельэтаж. Открыл и закрыл одну за другой множество дверей, никого не встретил. Наверно, стою ошибся.

Поднялся еще выше, в мезонин, здесь раньше жило младшее маркизово поколение, юноши и девицы. Сейчас здесь тоже никого не было.

— Ола! — крикнул я, уже уходя.

Слабый голос ответил издали.

Кинулся вперед, к самой последней комнате.

На неубранной постели сидели Рафаэль Альберти и Мария Тереса Леон. Перед ними на столике стояли две чашки с остатками кофе и лежал маленький серебряный револьвер, знакомый по талаверской дороге. С этим револьвером Мария Тереса останавливала в сентябре бегущих бойцов, останавливала и умоляла вернуться обратно на линию огня.

Они привстали, рука Рафаэля протянулась к револьверу. Движение прекратилось, когда он узнал меня.

— Ола! Ты здесь?! Что это значит?

— Вы здесь?! Почему вы не уехали?

— Мы не уедем. Мы остаемся.

— Что за глупости!

— Это не глупости.

Я их никогда не видел такими. Лицо Рафаэля втянулось. Его глаза, всегда рассматривавшие мир, как спектакль, были жестоки и не хотели больше ничего видеть. Мария Тереса глядела с изумлением, ее тревожили, ее вывели почти из столбняка. Нежное лицо в округлостях и ямочках сейчас было неприятно гипсовым, как маска, которую с нее сняли в Москве. На московском съезде писателей кому-то пришлось в голову снять гипсовые маски со всех литераторов-гостей. Этим очень увлеклись, все устремились в скульптурную мастерскую, но маски оказались неприятные, они никому не понравились, их поломали и затеяли.

— Какого чорта вы остаетесь здесь?!

— Нам больше некуда идти. Мы в своем городе, в своем доме. Мы будем обороняться, когда очередь дойдет до нас. Правда, недолго обороняться, — он бледно улыбнулся, показав на серебряный пистолетик, — три пули им, остальные две нам.

— Это бред!

— Мы — испанцы, антифашисты, революционеры. Мы агитировали за оборону Мадрида, мы руководили антифашистским союзом писателей — значит мы должны погибнуть вместе с городом, мы сами приговорили себя к этому, и приговор должен быть приведен в исполнение.

— А другие члены Альянсы?

— Почти все тоже остались в городе, с таким же решением.

— Это бред. Это собачья чушь. Это гнусная интеллигентщина. Мадрид не обороняется — пока... Вам надо уйти, пока не поздно. Уйти и увести с собой, спасти всю честную мадридскую интеллигенцию, спасти ее от умерщвления, от погрома, от фашистского погрома.

— Мы считали правильнее демонстративно погибнуть, чтобы показать всему миру пример массового самопожертвования перед лицом фашизма.

— Бред! Идиотство. Подумаешь — самопожертвование. Марокканский мясник зарежет тебя и Марию Тересу среди запыленных книг, подтяжек старого импотента-маркиза и вонючих мраморных бюстов. Революционер — это не животное для убоя, не покорный фанатик, не самоубийца. Пока можно — он сражается, наступает, сопротивляется. Когда нельзя — он отходит, сохраняет силы, прячется, убегает. И опять, при первой возможности, возобновляет борьбу, продолжает ее, опять наступает. Это очень трагично, то, что вы задумали, но совсем не так красиво. А по отношению к вашим товарищам, к Альянсе, — это преступление.

Они смотрели на меня и друг на друга недовольно и почти враждебно. Мертвая стройность их решения нарушалась. Альберти сказал нерешительно:

— Это можно толковать по-разному.

Я рассвирепел:

— Почему по-разному?! Если вам угодно пустить себе пули в лбы из вашей жалкой стрелялки, — пожалуйста, я вам не указчик. Но будьте любезны сначала выполнить свой долг руководителей — в порядке антифашистской

дисциплины и вообще в полном порядке эвакуировать весь состав мадридской Альянсы, литераторов, художников, композиторов, их жен и детей. Простите меня за нетактичность, но зло, которое может произойти, не ограничится убийствами и пытками антифашистской интеллигенции. Найдутся такие, волю которых фашисты сломят, заставят их подчиниться, раболепствовать, замаливать свои провинности, выслуживаться, — разве у вас есть гарантия, что не найдется таких? И причиной этому будет тот случайный факт, что им сегодня не помогли эвакуироваться из Мадрида. Кто за это отвечает?!

Теперь они оба, неизмеримо волнуясь, ходили по комнате. Мария Тереса ломала пальцы.

— Но ты сам! Ты требуешь, чтобы мы уехали, а ты, русский, остаешься здесь.

— Ничего подобного. Я пока здесь, потому что... ну, потому что у меня еще есть какая-то надежда. Может быть, город все-таки будет обороняться. Хотя бы даже некоторое время... А если все будет кончено, если последняя баррикада падет, будьте уверены, я не останусь здесь, я уеду, не на автомобиле, так на осле, уйду пешком, уползу на четвереньках. У меня нет никакого желания видеть физиономию генерала Франко.

— А мы... Мы тоже можем уйти последними?

— Конечно. Вас никто не торопит. Но сначала отправьте других. Увезите стариков, слабых телом, слабых духом: вам самим виднее, кого именно.

Их окаменение начало смягчаться.

— У нас есть только один маленький грузовичок...

— Мы достанем еще две машины в комиссариате. И моя — третья. Отличный «бюик», сегодня подарили, в него можно посадить четырех академиков или одного нобелевского лауреата...

Мария Тереса улыбнулась сквозь слезы:

— Он и сейчас шутит.

— Вовсе не нужно всех таскать до Валенсии или до Куэнки. Надо дово-

зить до Алкала де Энарес, это двадцать пять километров. Машины могут оборачиваться в один час. Вопрос, сколько у нас будет часов, ну ладно, это видно будет.

Рафаэль пошел к телефону, на пути с сомнением обернулся, все-таки снял трубку и набрал номер. Он сказал кому-то, уже почти деловым голосом:

— Решено эвакуировать значительную часть интеллигенции. Что? Да. Скажи, что правительство предоставляет все удобства, лучшие машины, отъезд с семьями... Что? Ничего подобного!

Он нахмурился и прибавил в трубку, уже твердым голосом начальника:

— Речь идет о спасении культурных кадров. Возьми лист бумаги, записывай имена, я тебе буду называть.

В пять часов пополудни фашистские части попытались обойти парк Каса дель Кампо. Их встретил здесь очень энергичный пулеметный и артиллерийский огонь (под псевдонимом артиллерии работали четыре танка). В Карабанчеле появилась марокканская конница. Два броневика открыли сильный огонь вдоль улицы от площади боен. Конница отступила.

Более того, части, прикрывавшие Толедский мост, решили сделать контратаку и сделали. В сумерках, подкравшись через дворы к южной части Карабанчеля, дружинники взорвали ручными гранатами небольшой итальянский танк. Экипаж в нем был перебит. Самый танк дружинники, просто на руках, протащили сто шагов, затем подвезли грузовик и вытащили трофей через Толедский мост. Истерзанную и изломанную итальянскую машину, при неопишуемых криках восторга, везли по улицам столицы.

Противник атаковал город на нескольких участках, но пока небольшими силами, повидимому, нащупывая, как стойко намерен и намерен ли сопротивляться гарнизон Мадрида, существует ли он.

Повсюду дружинники удержались на своих местах, у баррикад. Рохо определил командиров колонн на город-

ских участках: Барсело, Галан, Эскобар, Листер, Прада, Клаирак, Буэно. Это частью профессионалы-офицеры, частью командиры милиции из Пятого полка.

Основной атаки, того, что можно было бы назвать штурмом Мадрида, фашисты до вечера не предприняли. Очевидно, они подтягивают главные силы, чтобы завтра решительным толчком проникнуть в центр города.

Огромная волна беженцев постепенно перекачивается через город. Сейчас она, хоть и понемногу, минует восточную часть города. На валенсийском шоссе анархисты устроили дорожные патрули, кого хотят — пропускают, кого не хотят — не пропускают. Им очень нравятся заградительная патрульная служба. Оказывается, вчера они задержали несколько видных сановников из высших правительственных органов, издевались над ними и чуть не расстреляли. Алькальда города Мадрида, знаменитого толстяка Педро Рико, они заставили вернуться в столицу. Перепуганный, он укрылся в здании иностранного посольства, — что за позор!

На боковых улицах, прилегающих к бульвару Кастельяна, было несколько кровавых стычек. Фашисты из «пятой колонны», устроившись на чердаках, подстреливают дружинников или просто прохожих. По одиночкам они стреляют из винтовок, по группам — из пулеметов. Они бросают небольшие бомбы, иногда просто ручные полевые гранаты. Нужно сказать, это очень деморализующий способ борьбы. Мы ехали по улице Гойя, и спереди, на перекрестке, примерно за полквартила, сверкнул взрыв, упали на мостовую люди, раздались стоны и крики. В поле все это гораздо проще. Здесь люди теряются, боятся выйти на улицу, а если выходят, то пробираются очень робко, прижимаясь к стенам. Но действия «пятой колонны» вызвали вспышки страшной ярости. Народ врывался в дома, из которых стреляли, не только делал повальные обыски во всех квартирах, но при этом убивал много людей, правых и виноватых, крушил и бил все, что попадалось под руку. Один дом даже подожгли. Кто-то догадался

объявить обо всем этом по радио и предупредить, что так будет поступлено с любым домом и его населением, где будут обнаружены фашистские террористы и диверсанты. Пусть обитатели каждого дома сами проверят себя, — они несут поголовную и круговую ответственность.

Сразу, в два-три часа, в городе создался внутренний фронт. В тыловых кварталах организуется нечто вроде домовых комитетов бедноты, вернее, антифашистских комитетов. Они несут охрану, проверяют жильцов, общаются с районными властями. Какая-то судорога проходит по городу; хорошая судорога; пожалуй, Мадрид в самом деле будет хорошо драться, квартал за кварталом. Оцепенение страха и обреченности ослабевает, оно сменяется порывом упрямства, гнева, непримиримости.

К семи часам, на маленьком сером листочке, вышел «Мундо обреро». Объявление от редакции: «Сегодня мы приведены к необходимости уменьшить размер нашей газеты по причинам, далеким от нашего желания. Когда положение на фронтах Мадрида прояснится, «Мундо обреро» выйдет в своем обычном формате».

Заголовок над текстом: «Бойцы, отметьте девятнадцатую годовщину славы русской революции непреклонным сопротивлением!».

Телеграмма из Москвы: «СССР торжественно и весело празднует XIX годовщину революции. Города и колхозы по всей стране, приукрашенные и иллюминированные, приняли праздничный вид. Вечером повсюду прошли собрания, посвященные годовщине революции. В Большом театре в Москве состоялось торжественное заседание столичного совета совместно с партийными и профсоюзными организациями. Сталин появился в президиуме вместе с другими руководителями партии и правительства, встреченный восторженными овациями. Калинин, президент Центрального Исполнительного Комитета, сделал подробный доклад об успехах СССР во всех областях. (Агентство Фабра)».

Еще телеграмма:

«Фашистская угроза Бразилии».

Еще: вчерашняя сводка военного министерства, с подробностями мелких перестрелок на северном и арагонском фронтах.

Еще телеграмма: из Барселоны, сводка тамошнего военного советника, полковника Сандино, о том, что у Бухаралоса на нашу сторону перешло три солдата.

Объявления: «Посетите ателье мод Гутерес». «Каса Донато: вина, ликеры, вермут. Улица Галилея, 18». «Бар Бенито: кофе-крем, кофе-эспресс».

Извещения: «Собрание профсоюза сторожей и швейцаров гражданских министерств состоится завтра в 10 часов утра, улица Абада, 9». «Найден портфель и два удостоверения на имя Тимотео Луна, спросить в профсоюзе работников банков и биржи».

Еще страшно важная телеграмма: «Каунас, 5 ноября. Следующее годовое заседание министров иностранных дел Литвы, Латвии и Эстонии состоится, согласно протоколу о сближении балтийских государств, 11 декабря в городе Риге».

Н-да, не густо... Хорошо, что все-таки газета вышла. Одновременно на улицах продается другой, ранее отпечатанный, тридцатидвухстраничный, специальный, иллюстрированный номер «Мундо обреро», посвященный девятнадцатой годовщине советской власти.

А о нас здесь что знают в Москве? Фашисты возвестили, что седьмого ноября вступили в Мадрид. Никакой информации отсюда нет. Поехал к телеграфу — закрыто, не работает. Из комиссариата соединился с междугородней телефонной станцией. Спросил: с кем есть связь. Только с Барселоной. Отлично. Дайте. Попросил отель «Мажестик», дали. Вызвал Лизу Кольцову, она на-днях приехала в Барселону.

— Ты еще там, в Мадриде?

— Да. И поздравляю с праздником.

Она не стала больше спрашивать.

— У меня карандаш в руке. Диктуй.

Передал кратко, по часам, сводку за протекшие восемнадцать часов.

Она не переспрашивала. В конце сказала: «Сейчас же передаю в Москву».

Редакция сейчас не работает, праздник. Но есть дежурные. Кому нужно — позвонит дежурным и будет знать, что Мадрид седьмого ноября был в руках народа.

Опять поехал к мостам. Редкий артиллерийский огонь. Число бойцов у всех баррикад сильно возросло. Паники не чувствуется. Наоборот, люди деловито и спокойно устраивают пулеметные гнезда, подвозят мешки с песком. Появилось несколько пушек, для них устраивают блиндажи. Часть бойцов, завернувшись в одеяла, спит на тротуаре.

В штабе Миахи застал необычайное возбуждение. Оказывается — захваченный итальянский танк был командирской машиной. При убитом фашистском офицере, испанце, был найден оперативный приказ генерала Варела о взятии Мадрида. Подполковник Рох ровным голосом перечитывал его во второй раз, останавливаясь, и ставил у каждого пункта птички красным и синим карандашом. Миаха шагал из угла в угол бывшего министерского кабинета и взволнованно хлопал себя ладонями по груди. Командиры колонн сидели на столах и стульях, жадно слушали.

Варела указывает «Задачу на день «Д»: занять исходное положение для атаки и штурма Мадрида. Занять и удержать линию, прикрывающую наш левый фланг.

Он так формулирует идею маневра: «Атаковать противника на фронте между Сеговийским и Андалузским мостами с целью сковать его. Перевести ударную группу на северо-запад с задачей занять район между Университетским городком и площадью Эспанья, которая явится исходным пунктом для последующего продвижения вглубь Мадрида».

Для этого Варела дает задачи:

Своему левому флангу, «под непосредственным командованием полковника иностранного легиона», обеспечить фланг операции от «возможного наступления красных частей с севера и

северо-запада», двигаясь в направлении Лагерь инженеров — ворота Родахос — высота Гарабитас — Новый мост (переправиться) — Круглая площадь — клинический госпиталь Университетского городка. Начало движения — 6 часов.

Своей ударной группе — атаковать в лоб центральную часть города, для чего:

Колонне № 1 войти в Каса дель Кампо через проломы в стене, наступать под прикрытием колонны № 4 (левофланговой), перейти реку вброд, продолжать наступление через Западный парк, занять Образцовую тюрьму и казармы. Затем продолжать наступление до улицы маркизы Уркихо. Обеспечить из Образцовой тюрьмы огневое взаимодействие с левым флангом, когда он достигнет Университетского городка. Держать под огнем все улицы впереди своего расположения.

Колонне № 3 войти в Каса дель Кампо с аэродрома Четырех Ветров. Пулеметной ротой разведать парк до южной стены, захватить ворота Ангела и Королевский мост. Переправиться через Мансанарес, построив понтонный мост. Атаковать казармы Монтанья, занять церковь Кармелиток на площади Эспанья, держать под пулеметным и артиллерийским огнем Королевский дворец и улицу Гран Виа.

Колонне № 2 атаковать Карабанчель Бахо, чтобы отвлечь внимание противника. Заняв Карабанчель Бахо, двигаться в направлении Сеговийского моста, не переходя его без приказа. Не ввязываться в решительный бой, во избежание больших потерь, а лишь привлечь внимание противника для облегчения наступления первых трех колонн.

Колонне № 5 атаковать Толедский мост с задачей, аналогичной колонне № 2 (демонстративной).

Колонну № 9 и колонну № 6, состоящие из марокканских стрелков и пулеметчиков Ифни, гвардии сивиль, отрядов рекете, Варела оставляет как резерв, непосредственно себе подчиненный.

К этой части приказа есть много то-

пографических деталей, я не успел их записать, пока Рохо читал вслух.

По артиллерии непосредственного сопровождения и непосредственной поддержки есть ссылка на особый приказ. Централизованная группа артиллерии получает задачу контрбатареи стрельбы, стрельбы на запрещение по шоссе, выходящим из Мадрида, и по выходам с Андалузского моста, также задачу усиления непосредственной поддержки ударных колонн и огня по непредвиденным целям. Указаны районы ее расположения — Вильяверде, высоты Гарабитас и аэродром Четырех Ветров. Группы 155-миллиметровых орудий открывают огонь по приказу Варела или полковника Ягуэ. Остальные — по непосредственному требованию командиров колонн.

По авиации, танкам и броневикам — ссылка на особые приказы.

Каждая артиллерийская группа получает взвод зенитных пулеметов.

Далее идут подробные указания по связи — адреса командных пунктов, по артиллерийскому снабжению и прочим видам боеприпасов, по интендантству, по военно-санитарной службе и прочие детали.

Приказ устрашающий. В нем нет никаких колебаний и вариантов. Речь идет о штурме и захвате Мадрида полностью — даже то здание, в котором мы находимся, включено в боевую задачу дня. Противопоставить этой железной лавине почти нечего. Разрозненные, пестрые по составу, некомплектные, лоскутные колонны. Особенно — на направлении Каса дель Кампо. Здесь стоит колонна Эскобара, сборище случайных групп, случайно собранных при бегстве к стенам столицы.

И все-таки — захват неприятельского военного приказа поднял настроение. Теперь, по крайней мере, известно, что нас ждет.

Какая-то заминка произошла у противника. Его колонны № 2 и № 5 — единственные, которые выполнили сегодня задачу — совершающей атаки у Сеговийского и Толедского мостов. Да и то — выполнили ли, еще как сказать. Они чересчур переусердствовали в вы-

полнении фразы «не ввязываться в решительный бой во избежание больших потерь». Чего они испугались — наших двух броневиков и трех танков?.. Остальные колонны движения почти не обозначили.

Но в приказе у Варела штурм вовсе не назначен точно на седьмое ноября. Сказано — задача на день «Д». Несомненно, день «Д» теперь перенесен на завтра.

Рохо попросил не мешать ему, он сел за столик лицом к стене и начал обдумывать приказ, время от времени подзывая к себе командиров колонн, советуясь с ними. Он тыкал карандашиком в приказ генерала Варела. Все-таки всем было приятно, что рабочие дружинники раздолбали итальянский танк и выудили этот хамский приказ, где мадридскими улицами уже распоряжаются, как своими.

Вышел, поехал вверх, к площади Эспанья. Улица Гран Виа еще не была под пулеметным и артиллерийским огнем колонны № 3, предусмотренным в приказе Варела. В конце этой улицы, у входа в «Капитоль», горел замазанный синей краской фонарь, стояли люди.

— Что там?

— Идет русская картина «Чапаев».

Трудно было удержаться не зайти. Огромный театр набит доотказу. Много женщин, а еще больше — дружинников. Им бы, собственно, сейчас быть у баррикад, ну ладно.

Напряжение крайнее. Василия Ивановича только-что настигли. Затрепал пулемет, в зале по привычке хватаются за оружие — до того у всех обострен рефлекс на выстрелы... Горящий дом стали громить пушкой — даже храброму Петьке стало не по себе.

— Амба, Василиваныч... Отступить надо!

— Чапай... никогда не отступал.

И три тысячи человек в ответ кричат:

— Вива, Русиа, вива!

Точно так кричали арагонские бедняки, смотря «Чапаева» в деревне Тардиента, три месяца назад. Русские партизаны, русские моряки посмертно

вдохновляют народы мира на борьбу с угнетателями.

Из комиссариата опять вызвал Барселону, передал последнюю на сегодня телефонограмму для Москвы:

«Через двадцать минут пробьет полночь. Мы сможем по праву сказать, что и в Мадриде провели праздничный день. Банды фашистов рвались сегодня в столицу. Но мадридские рабочие сорвали приказы фашистских генералов. Пусть ценой крови, но они отстояли сегодня Мадрид. Праздник трудящихся всего мира не был омрачен! На завтра, по некоторым сведениям, противник готовит большой штурм, множеством колонн, с поддержкой сильных огневых средств. Но и боеспособность Мадрида возрастает с каждым часом».

Рохо уже составил приказ, Миаха подписал его. Интернациональную бригаду решено ввести в действие, не дожидаясь подхода других обещанных правительством резервов. Пусть это нерасчетливо и разбивает идею мощного кулака, где-то сосредотачиваемого на выручку столицы (так ли еще это!), — ждать больше нельзя.

Приказ мадридского командования на завтра — много короче и скромнее приказа генерала Варела:

«Сведения о противнике. Противник проводил сегодня демонстративные атаки, подготовив генеральный штурм Мадрида.

Идея маневра: колонны центра и Каса дель Кампо удерживают всеми силами занимаемый ими фронт с целью задержать наступление противника.

Фланговые колонны правого фланга (Барсело), левого фланга (Буэно и Листер) атакуют противника во фланг и тыл.

Колонны резерва (Интербригада и Альварес Коке) преграждают доступ противнику на возвышенность Университетского городка, Западного парка и Росалес.

Задачи колонн:

Барсело. Атаковать во фланг и тыл колонны противника, наступающие на Каса дель Кампо. В распоряжение командира колонны поступает 3-я сводная бригада (Галан).



Клаирак. На рассвете развернуть колонну вдоль шоссе от станции Посуэло на Карабанчель, имея свой правый фланг на разветвлении этого шоссе от Посуэло де Аларкон на Карабанчель. Левым флангом держать связь с колонной Эскобар. В случае необходимости отхода — отводить части в порядке через ворота Родахос к мосту Республики, который упорно оборонять.

Эскобар, Мена, Прада. Все три колонны объединяются под руководством полковника Альсугарай. Удерживать любой ценой занимаемый участок и задержать наступление противника.

Листер. Из восточной части района моста Вальекас атаковать на Вильяверде.

Буэно. Из западной части района моста Вальекас атаковать на Карабанчель Бахо.

Энсисо. Размещается внутри Каса дель Кампо, с задачей уничтожить противника, который ворвется в Каса дель Кампо.

Интербригада. Прикрывать доступ к высотам Университетского городка и Западного парка.

Альварес Коке. С батальоном штурмовой гвардии прикрывает бульвар Росалес и казармы Монтанья.

Танки. Придаются колонне Барсело. Артиллерия. 15 минут подготовки, начиная с 6 часов 45 минут. Непосредственная поддержка — по требованиям командиров колонн через начальника артиллерии. Его командный пункт — в здании телефонной станции».

...Надо устроиться хоть где-нибудь поспать. Хоть три-четыре часа. Иначе можно совсем свалиться. Можно здесь, в штабе, или в комиссариате, на диване. Дорадо, новый шофер, предлагает поехать к нему домой, на окраину города. Там будет тесно, но чисто.

— Не стоит, товарищ Дорадо, беспокоить и волновать вашу семью. А что, если мы попробуем тот же «Палас»?

Едем к «Паласу». Портье бесприютно пригорюнился за стойкой среди хаоса санитарных носилок, плевательниц и ночных горшков, загромоздивших вестибюль. Он бледно улыбается, ему неловко за роскошный отель.

— Можно у вас поспать сегодня?

Я спрашиваю, как если бы в первый раз в жизни попал сюда.

— Вероятно, можно... Там у нас оставлен левый угол второго этажа, на всякий случай. Несколько аппартаментов.

Что он подразумевает под всяким случаем? Не будем вдумываться.

— Хорошо, дайте аппартамент. В какую они цену?

— Я не знаю теперь точно. Администрации больше нет... Даже не знаю, нужно ли теперь платить и кому.

Я выбрал аппартамент сто десятый — кабинет, салон-столовая и спальня с двумя огромными кроватями.

— Товарищ Дорадо, мы будем спать вместе. Дверь забаррикадируем стульями. Кровати сдвинем. Оружие положим на постель, между нами. Как бы не проспять — в пять часов надо опять быть у мостов. Надеюсь, до пяти нас не очень будут тревожить.

— У меня чуткий сон, я могу вас разбудить в любой час.

В дверь осторожно постучали. Портье притащил мой чемодан, сданный вчера, шестого ноября, на хранение. Разве это было вчера? Как будто год назад. Ну, и денек, елки зеленые.

— Это излишне, чемодан мне пока не нужен. Ладно, оставьте его.

Мы начали раздеваться, потом передумали, сняли только башмаки, расстегнули ворота. Лучше спать одетыми.

— Вы еще не знаете, — сказал Дорадо, — я вам не сказал, — ведь я коммунист, член партии. Раньше был социалистом, а не так давно вступил в коммунистическую партию.

— Это замечательно. Это меня очень радует, товарищ Дорадо. Это приятный сюрприз. Да позвольте — мы сейчас выпьем по этому поводу.

Он вежливо улыбнулся.

— Не смейтесь, мы выпьем, и такого выпьем, чего вам никогда и не снилось! Да и мне не снилось.

Я открыл чемодан и вытащил оттуда тщательно завернутую бутылку бургундского вина, разлива 1821 года, драгоценную бутылку из погребов герцо-

га Альба, чей род знатнее и славнее испанского королевского дома Бурбонов.

Я обещал рабочей охране дворца Альба распить это вино при первой победе республиканских войск. Не рано ли?.. Нет, не будем дольше испытывать судьбу.

Мы сходили в ванную комнату и взяли два матовых стакана для зубного полоскания.

— Выпьем, товарищ Дорадо, мы, два коммуниста, по случаю праздника седьмого ноября. А также за то, что этот день не стал днем «Д».

Он не понял. Я добавил:

— Выпьем в том смысле, что этот день провели все-таки в Мадриде, и в том смысле, что не боимся ни завтрашних, ни послезавтрашних и никаких будущих боев.

Мы стукнулись зубными стаканами, и шофер приветливо сказал:

— Очень рад с вами познакомиться.

## 8 НОЯБРЯ

Мы яроснулись не от бомбы и не от стука прикладов ворвавшихся в город фашистов, от которых баррикадировали дверь, а от крика петуха. Сначала это воспринималось, как сон, на мгновение мелькнул колхоз, Пугачевский район, хлебозаготовки, изба председателя сельсовета; не удержалось, сменилось Россошью, птицефермой; девушка-зоотехник, — как ее звали: Поликарпова, Поликанова? Она плакала: куры заболели дифтеритом; россшанский райзо не оказывал помощи; хорошая девушка... Петух кричал, надрывался... Это Испания, почему Испания? Аппартамент... Будуар, глупое слово. Петух в аппартаменте — очень глупо. Где же петух?

Дорадо уже встал, неслышно двигался по большой спальне, причесывал редкие волосы обломком гребня.

Петух в самом деле орал здесь, в роскошном отеле «Палас», даже не один, а несколько. Госпиталь перевез с собой свою продовольственную базу, живое диетическое питание для раненых. Курятник временно поместили в салоне первого этажа.

У под'езда уже стояли кареты со свежими ранеными, значит, бой возобновился, шел седьмой час.

За Толедским и Сеговийским мостами — яростная трескотня. Дружинники держатся хорошо, они крепко засели в зданиях. Они даже чуть-чуть продвигаются вперед, отвоевывая перебежками и взрывами ручных гранат пустыри, мелкие постройки и сараи. Обычный состав колонн несколько изменился. Среди дружинников прежнего типа, молодежи в солдатских шапочках, появились средних лет и пожилые рабочие, немного неуклюжие, но очень серьезные и усердные. Они пришли на баррикады, как люди приходят тушить пожар, как у нас рабочие приходили на субботник разгружать дрова: не прохлаждаться, не терять время, а делать дело. Оттого и потери резко повысились с утра. Убиты и ранены сегодня большей частью именно рабочие постарше, вчера пришедшие драться. Но боевой дух от этого резко возрос. Молодежь следует за старшим поколением; она заражается осмысленностью и целеустремленностью борьбы; ведь до сих пор она, эта масса молодых дружинников, впитывала в себя только тоску бесконечного отступления, бессмыслицу глупых и противоречивых приказов, недоразумения и конфликты с неопытными или подозрительными командирами. Здесь же все стало ясно, бегать некуда: если сдать эту улицу и еще вот эту, и еще вот те две, — наступит конец всему.

Еще одно преимущество появилось у мадридцев: они у себя дома, знают, особенно здесь, на рабочих окраинах, каждый переулок, каждый дом, каждый чердак, а осаждающие, наваррские кулаки-крестьяне, галисийские помещичьи сынки, африканцы, иностранные легионеры — непривычно и не очень разборчиво бьются о стены чужого, им, в сущности, незнакомого города. Ведь только высшее фашистское командование и часть офицеров жили в столице и разбираются в лабиринте ее улиц.

Однако здесь согласно приказу Варела (вряд ли он изменил этот при-

каз) против нас действует группа скопления и демонстрации. Главный удар направлен через Каса дель Кампо. Еду туда — положение и тут не плохо. Артиллерия, четыре батареи, правда, из ветхих орудий, удерживает фашистов на их исходном положении. Наши части очень энергично окапываются; аллеи и тропинки простреливаются пулеметным огнем. На двух участках встретил уже бойцов интернациональной бригады. Они опрятно одеты, в новых куртках, в беретах защитного цвета, в обмотках или крагах, с новыми винтовками; большей частью немцы и французы. Они расположены первым эшелонном здесь, вторым — позади, в Западном парке и на южной оконечности Университетского городка. Один батальон брошен в Вильяверде, в помощь Листеру. По внешнему виду среди них вовсе не так много солдат с опытом мировой войны, как рассказывали. Это люди, в среднем, от двадцати пяти до тридцати пяти лет. Некоторые из них довольно неумело обращаются с оружием, смущенно и растерянно разглядывают пулемет даже при простых задержках.

Около полудня здесь удалось сделать небольшую контратаку. Испанцы и интернационалисты, после артиллерийской подготовки, бросились двумя группами сквозь деревья, окружили два павильона с марокканцами. Их, конечно, можно было взять в плен или перебить — нехватило уменя. С устрашающими криками, бросая кругом себя ручные гранаты, мавры выскочили из павильонов и прорвались к себе. Но все-таки противник задержался, он даже немного отступил назад.

В штабе: сведения со всех участков пока удовлетворительные. Дружинники держатся. Только Барсело еще не раскачался со своим фланговым ударом. Вдруг сирена. Над городом семерка «юнкерсов» в сопровождении истребителей. «Курносых» не видно. Фашисты спокойно, безнаказанно движутся по небу. Ага, сейчас они лупят по самому центру города. Взрывы грохочут, раздирают уши. Дымные столбы видны кругом, над крышами домов. Идут

сюда, к военному министерству. Да, они метят сюда. Еще грохот, совсем рядом, видимо, на бульваре Реколтос... Стекла дрожат, частью со звонном выпадают. Военное министерство не имеет противоздушного убежища. Миаху и Рохо уговаривают спуститься в подвал, где архивы. Но «юнкерсы» уже прошли. Ушли. В небе появились республиканские истребители—поздно. Их оповестили на пять минут позже, эти пять минут решают, — ведь для того, чтобы удрать на свою территорию, фашистской авиации нужно мгновение. У нее есть аэродром Хетафе, прикрываемый зенитной артиллерией. «Курносым» командование пока запрещает залетать далеко, ведь их горсточка, дорог каждый человек, каждый аппарат.

На этот раз разрушения от бомбардировки велики, жертвы тяжелы. Много женщин, детей, безоружных, безобидных людей. Смерть застала их в случайных, невинных позах. Одна старуха развешивала белье, ее нашли, распростертую на обгорелых простынях и пеленках, с веревкой в руке, без головы. Взрыв, который мы слышали так близко от военного министерства, пришелся на большой гараж. Бомба прошла через крышу—стеклянную крышу!—воспламенила множество грузовиков и легковых машин. Сейчас все это пылало жарким бензиновым пламенем.

В самый разгар суматохи с «юнкерсами» меня позвали к телефону — из Москвы! Звонили по комиссарятскому телефону — все прочие, частные, штаб обороны Мадрида приказал выключить во избежание переговоров с кварталами, захваченными фашистами.

У телефона был опять Радиокomitee. Поздравили с праздником, рассказали о параде и демонстрации, попросили в ответ сообщить свои впечатления.

Впечатления!..

Передал кратко о том, как держится Мадрид, о виденных сегодня боях у реки и в Каса дель Кампо, о налете «юнкерсов», происходящем сию минуту. Правда ли, что взято Толедо? — спросил Радиокomitee. Кем взято?! Республиканцами. Толедо — взято рес-

публиканцами? Нет, неправда. Как они себе это там представляют, не пойму...

Коммунистическая партия работает великолепно. Вовсе не будет пристрастием, если сказать, что из партий она одна сейчас чувствуется в Мадриде. Все антифашисты, вплоть до крайне умеренных и болотных групп, охотно слушаются ее руководства, принимают все указания по обороне Мадрида, сами приходят за этими указаниями. Члены Центрального Комитета и мадридского провинциального комитета партии весь день проводят на боевых участках, с частями, участвуют в контратаках, строят новые баррикады и укрепления.

Под вечер громкоговорители и не менее громко говорящие мальчишки-продавцы «Мундо обреро» созывают народ на «грандиозный, сенсационный, изумительный митинг» в кино «Монументаль».

Кино переполнено, зал разукрашен знаменами, лозунгами в честь девятнадцатой годовщины Великой Социалистической революции, портретами Маркса, Ленина, Сталина, Хосе Диаса, Тельмана.

В президиуме появляются члены мадридского комитета, затем Педро Чэка и Антонио Михе, затем — зал в восторге встает и бурно аплодирует — Долорес!

Председатель собрания об'являет, что оно посвящается девятнадцатой годовщине Великой Социалистической революции и обороне Мадрида. Овации, музыка, — ах, как хорошо, что музыка. Вот чего нехватало. В эти дни, особенно когда в душе подымалось высокое и горько-торжественное, было как-то сухо в ушах, как бывает сухо в гортани. Вот теперь, когда оркестр, — есть еще оркестры в Мадриде! — бросил в воздух величавую звонкую медь «Интернационала», грудь радостно, впервые за все это время радостно выдохнула то, что томило, — желание боевой песни. И если бы на этом кончился весь митинг в кино «Монументаль», он уже по справедливости мог бы считаться «грандиозным, сенсационным, изумительным». Слезы на глазах, вдохновен-

ные лица рабочих, военных, молодежи, женщин говорят о том, что для них всех — огромная поддержка, праздничный подарок — иметь возможность в тяжчайшую минуту их жизни, в катастрофические, решающие часы иметь возможность собраться здесь огромным боевым партийным коллективом и петь, вместе, стройно, жадно, под музыку, грозную песню пролетарской борьбы и победы.

Антонио Михе произносит речь; он и вообще хороший оратор, на этот раз он прекрасно, сильно, откровенно описывает критическое положение Мадрида, отсутствие в данный момент всякой помощи извне, жизненную, революционную, непрекаемую необходимость драться и держаться, пока не придут подкрепления. Он перечисляет, кратко, точно, оперативно, все условия, без которых оборона Мадрида, даже кратковременная, невозможна: создание еще и еще боеспособных отрядов; упорное сопротивление, борьба за каждый дом; фортификации, окопы, баррикады; строжайшая военная дисциплина; порядок в тыловых кварталах; беспощадная расправа с «пятой колонной», со всеми террористами, провокаторами, шпионами; сбор всего оружия; производство боеприпасов; строгая экономия в продовольствии. Собрание слушает внимательно, прерывает аплодисментами и криками «муи бьен». Вторую часть своей речи Михе посвящает Советскому Союзу, Октябрьской революции, гражданской войне в России, победам социализма, борьбе с троцкистами и правыми, пятилеткам, ленинскому и сталинскому руководству, политике Коминтерна. Он призывает мадридских большевиков оказаться достойными их звания, не уступить фашистам Мадрида ни сегодня, ни завтра, ни послезавтра, никогда, как не был уступлен Мадрид вчера, в день седьмого ноября!

А потом говорит Долорес.

Она исхудала, очень бледна; кажется сейчас еще выше, повелительнее и как-то моложе. Как всегда — в черном, опрятна и, несмотря на простоту одежды, нарядна.

— Товарищи рабочие Мадрида! Не верится глазам, что в этот момент, когда снаряды врага уже начали разрушать здания нашей столицы, когда в небе Мадрида летают мятежные самолеты, направляя смерть против беззащитных женщин и детей,— не верится глазам, что мы сошлись здесь сегодня на подобное собрание... Но мы все-таки собрались здесь, и вовсе не только для того, чтобы поднять наш дух. Он и без того высок, наш боевой дух, в дни тягчайших испытаний. Мы собрались здесь, чтобы соблюсти наш любимый обычай, мы собрались здесь, чтобы воздать должное чудесной стране, которая называется Союзом Советских Социалистических Республик. Воздать должное за великолепную помощь, которую страна эта оказала испанскому народу. За ее твердую позицию в Женеве и ее деяния, которые позволяют испанскому народу собраться с силами для контрнаступления, для отражения и изгнания врага.

— Ныне этот народ, который смог победить и внутренних и внешних своих врагов, говорит нам: «Испанские братья, следуйте нашему примеру». Русский народ был поработан больше всех. Но он создал большевистскую партию, партию Ленина—Сталина, которая с изумительным искусством победила все трудности революции, расчистила путь борцам коммунизма и победила вопреки всему.

— Наша испанская коммунистическая партия требовала и требует от своих членов, чтобы они дрались с врагом в передних рядах. Мы требуем, чтобы коммунист, будь он начальником, организатором или политическим комиссаром, был первым в жертвах!

— Товарищи! Нам надо сопротивляться неприятельскому штурму еще два, три, четыре, восемь дней, столько, сколько придется, сколько нужно будет! И мы будем сопротивляться! Фашизм смог бы найти в Мадриде только развалины, только наши трупы. Но он не дожидается и этого. Мадрид будет могилой для многих и многих фашистов!

Пока зал бурлит рукоплесканиями, она смотрит на женщин, их много здесь. Она обращается к ним, поднимает руки, ладонями вверх, как будто несет в пригоршнях что-то драгоценное, что нельзя пролить...

— Женщины Мадрида! Вы здесь! Я вижу, еще не перевелись героини Освободительной войны, отважные испанки из того племени, которое боролось и изгнало из страны войска Наполеона Бонапарта! Я знаю — вы готовы и вы сможете повторить подвиг освобождения! Подруги Мадрида! В семнадцатом году один народ своей решимостью сделал себя хозяином страны. Покажем и мы свою решимость, уберем нашу столицу, сделаем так, что лозунг «но пасаран» станет реальностью! Сделаем так, что мужчины и женщины трудящегося Мадрида останутся свободными и непоработанными, что они покажут всему миру, как надо бороться и побеждать!..

Представители других партий и организаций пришли на этот коммунистический митинг, чтобы приветствовать советскую годовщину. Выступают Ариэль, оратор-анархист, Регуло Мартинес — от левых республиканцев. Президиум и собрание просят меня передать приветствие газете «Правда» по случаю Октябрьской годовщины; текст приветствия принимается бурными аплодисментами:

«Народ Мадрида приветствует храбрых советских рабочих, строителей социализма. Мы решительно боремся, отстаивая каждую пядь нашей земли от полчищ наемников фашизма. Следуя вашему примеру героической обороны Петрограда, мы не уйдем из траншей, будем держаться до последнего человека, до последней капли крови. Мы упорствуем в нашем желании счастливой жизни, похожей на жизнь вашего народа. Ваша решительная и вдохновенная поддержка подняла наш дух. Вместе с вами, все, что есть прогрессивного и демократического в мире, стоит на нашей стороне, и это сознание вливает в нас силы и энергию. В эти трагические часы, перед жерлами фашистских пушек, Мадрид братски приветствует совет-

ских рабочих и прежде всего товарища Сталина, верного стража социализма, друга нашего народа. Клянемся вам, что они не пройдут! Да здравствует советский народ, да здравствует Сталин!».

Митинг кончается, люди осторожно, в темноте расходятся домой или на фронт. Недалеко до фронта — несколько кварталов. Редкие выстрелы, на центральном участке, у мостов, за эти часы ничего не изменилось. На нашем левом фланге колонне Барсело, с приданными ей шестью танками, удалось если не продвинуться вперед, то обозначить движение. Во всяком случае, противник был здесь смущен и своего собственного охватывающего движения не развил. Зато в Каса дель Кампо фашисты к концу дня прорвали на фланге республиканские линии и прорвались на целых полтора километра внутрь парка.

И все-таки — пусть противник на полтора километра ближе — все-таки я глубоко счастлив сегодня ночью. Теперь уже ясно — Мадрид сопротивляется. Он не склоняет, как на бойне, шею для удара мясника. Он будет драться, «еще два, три, четыре, восемь дней, сколько придется», как говорит Долорес. Он не будет сдан без боя. Очень тихо я говорю себе: может быть, совсем не будет сдан.

## 9 НОЯБРЯ

Весь день прошел в тяжелых боях. Фашисты продолжают, правда, замедленным темпом, штурмовать город по параграфам приказа генерала Варела. Правда, «день Д» растянулся уже почти на семьдесят часов. Фашистские колонны № 1, № 4 и № 3 настаивают на своем обходном движении и пытаются пройти в город через парковые массивы. Интернациональная бригада, с большими потерями, держит фронт на подступах к возвышенности Университетского городка.

Где же резервы? О них ничего толком не известно. Пять бригад должны ударить противнику в тыл, взаимодействуя с частями, сидящими в городе. Пять бригад, и еще одна, 2-я Интер-

национальная. Об этом нет никаких сведений. Нет связи со штабом центрального фронта, генералом Посасом. Оттуда время от времени раздаются странные звонки или приезжают странные офицеры связи — узнать, в чьих руках Мадрид. Из Валенсии, от военного министра, от генерального штаба, — вообще ни слуху, ни духу.

Но ведь так невозможно. Надо знать, сколько держаться, пока придут резервы или вообще какая-нибудь помощь. От этого зависит тактика обороны. Если помощь придет завтра — тогда сегодня можно смелее контратаковать, более решительно отстаивать каждую сотню метров территории, не давать противнику никакого выигрыша в пространстве. Если помощь может подойти только через четыре-пять дней... ну, что ж — тогда следует гораздо экономнее расходовать живую силу и боеприпасы, тогда придется медленно, с боем отодвигаться, уступать по кварталу в день, выигрывая время, затягивая борьбу, тогда будем цепляться хоть за часть города, не давая фашистам основания говорить, что они овладели столицей. Пока все делается без перспектив, хотя бы на сутки вперед. Не ясно, что будет через два часа. Около полудня в Карабанчеле, у Толедского моста, где все время противника удавалось сдерживать, что-то хрустнуло. Броневики в это время пошли заправляться, на баррикадах решили закусить, и вдруг концентрированный, несколькими веерами расставленный пулеметный огонь погнал передовые охранения. Сразу паника передалась на площадь Эспанья, оттуда кто-то брякнул по телефону на улицу Алкала, и вот из штаба, сбивая друг друга с ног, побежали опрометью люди. Миаху и Рохо почти насильно потащили к автомобилям, скорей перебраться на восточную окраину города... Через час суматоха улеглась, атаку отразили, даже не взяв подкреплений из другого сектора.

Одна маленькая часть пока прибавилась к защитникам Мадрида, впрочем, без всякого содействия в этом фронтового или верховного командования. Пришел партизанский батальон Кам-

песино, — смелые, отчаянные ребята, они дрались все эти месяцы на Гвадараме, которая считалась самым близким мадридским фронтом, а теперь стала самым отдаленным от города.

Солдаты батальона — большей частью крестьяне, отличные стрелки и гранатометчики. Командир подобрал их по одному, подвергал испытанию отвагу каждого. Табель взысканий в батальоне не бог весть какая сложная — за мелкие проступки здесь любят с'ездить по загривку, а за настоящие воинские преступления ликвидируют, отведя за большой камень или в лесок. При этом Кампесино страстно заботится о своих бойцах — чтобы они были всегда сыты и напоены, обуты и в хорошем настроении. Сам он — маленький, коренастый, цыганского вида человек с густой черной бородой, страховитый по облику. Выдают его белые, веселые, как у подростка, зубы и плутовские, озорные глаза на-выкате. Он вместе с батальоном принадлежит к Пятому полку, член коммунистической партии. В Цека крихтели по поводу крайней умеренности его марксистской эрудиции и чересчур уж простых нравов в батальоне. Но Кампесино и его ребята так честно, так преданно, так смело сражаются против фашизма, так дисциплинированно выполняют все приказы, — решено было, что красными профессорами они успеют стать и позже.

Вскоре после суматохи и ликвидированного прорыва у Толедского моста к штабу под'ехала очень запыленная машина. Офицер вышел из нее и, на ходу козыряя во все стороны, побежал вверх по парадной лестнице. В нем узнали ад'ютанта из свиты Ларго Кавальеро. Наконец-то! Мы все радостно поспешили в большую комнату, где Миаха, всегда в окружении тучи народу, выслушивал рапорты и распоряжался. Подполковник Рохо, начальник штаба, вышел из соседнего, оперативного зала и заинтересованно встал у дверей. Офицер откозырял генералу — председателю Хунты обороны Мадрида и широким взмахом вынул из-за ворота тужурки большой пакет:

— От главы правительства, военного министра.

Прежде чем разорвать конверт, Миаха сердечно и крепко пожал руку первому гонцу из Валенсии в осажденный Мадрид.

Он уселся за стол и поискал глазами разрезальный нож из слоновой кости, бывший министерский. Ножа не оказалось. Мы ждали. Проволочной скрепкой он распорол тугую полотняную бумагу. Вынул письмо. Прочел. Посмотрел на приехавшего офицера. Еще раз прочел. Приложил руку к лицу, как бы обороняясь.

Он встал из-за стола, с письмом в руке, медленно, тяжелыми шагами, багровый, с отвислыми щеками, необычайно грустный, пошел к выходу, потом вдруг вернулся назад, к столу, вытащил снизу корзинку для бумаг, бросил туда письмо и очень быстро удалился.

Мы кинулись к корзинке, вытащили письмо. Никто этому не препятствовал. Глава правительства и военный министр Ларго Кавальеро в письме обращался к генералу — председателю Хунты обороны Мадрида со срочной просьбой: ввиду того, что военное министерство и генеральный штаб не успели при от'езде взять с собой столовую посуду и белье, что теперь создает известные затруднения, — выдать подателю сего столовые и чайные сервизы военного министерства, соответствующие комплекты скатертей и салфеток, а также предоставить необходимый автотранспорт для немедленной отправки названных предметов в Валенсию.

Под вечер положение сильно осложнилось. Закипел горячий бой у моста Принцессы. Два раза мавры прорывались к реке, их чудом удалось отогнать. Опять налетела авиация, очень сильно громила; наши истребители настигли, правда, ее, но уже за чертой города, после бомбометания; сбили один «хенкель». Один из «курносых» был слегка подбит, имел вынужденную посадку у Викальваро, на нашей территории. Затем вылетело несколько республиканских бомбовозов, бомбили западную часть Каса дель Кампо, занятую

фашистами. Нашли, по дороге из Умера колонну итальянских танков, бомбили ее. На участках у Образцовой тюрьмы дружинники расстреляли все свои патроны, и кто-то начал их провоцировать на уход. Это чуть не случилось. Тяжелая артиллерия мятежников, где-то придвинулась ближе и стала рушить дома позади площади Эспанья. Из Карабанчеля Бахо пробрались две женщины, рассказали, что там уже третий день идет чудовищная резня рабочих. Нет, не расстрелы только, — фашисты говорят, что нужно беречь патроны, — а именно резня. Мавры и фалангисты упражняются, перерезывая связанным рабочим горло от уха до уха.

Опять Москве удалось связаться со мной по телефону. Из «Правды» я услышал голос Мехлиса:

— Каково положение?

— Фашисты подошли ближе к реке. У них прибавилось артиллерии. Артиллерийский огонь затрудняет оборону мостов. То же и воздушные налеты. В захваченных кварталах режут рабочее население. Но это лишь подняло боевой дух. Дратся будут крепко.

— Дратся будут крепко?

— Да, драться будут крепко. Мы ждем подкреплений.

— К вам подходят большие подкрепления?

Я не сказал «к нам подходят большие подкрепления». Я сказал только «мы ждем подкреплений». Голос Мехлиса опять настойчиво, наводяще спросил:

— К вам подходят большие подкрепления?

Голосом и вопросом напоминалось о том, что мы здесь забыли о том, что кроме осажденного врагом, изолированного и пока беспомощного Мадрида есть еще целый мир, есть целых два смертельно враждующих друг с другом лагеря, что они оба, притаившись, ждут, как обернется эта отчаянная схватка здесь. Что от хода и исхода этой схватки может зависеть многое вдалеке от Мадрида. Я прокричал в трубку и звонко повторил два раза:

— Да, к нам подходят большие и сильные подкрепления! Крупные подкрепления республиканских войск приходят на помощь Мадриду!

— Значит подкрепления будут большие?

Теперь я чувствовал уже не только Мехлиса на другом конце воображаемой радиотелефонной нити, но весь миллион ушей между нами, всех профессиональных подслушивателей в шести странах, разделяющих нас, всех врагов и друзей, жадно настроивших приемники на волну республиканского, народного Мадрида, я закричал, что есть силы:

— Да, подкрепления будут солидные. Они будут скоро, со дня на день. И мы вполне можем продержаться до их прихода!

Он быстро задал еще несколько вопросов об обстановке. Спросил, почему я не уехал в Валенсию.

— Береги себя, — сказал он.

— Я берегу.

— У нас в «Правде» сейчас ноябрьская испанская делегация.

— Передай ей большой привет.

После него к аппарату подошла стенографистка, я ей сделал сообщение о том, как прошел день девятого ноября. В Москве послепраздничные газеты выйдут только завтра. Но эти сообщения уже передаются по радио, наша страна знает, что Мадрид не пал седьмого, держался восьмого, держался и сегодня.

## 10 НОЯБРЯ

Еще сутки прошли, и Мадрид по-прежнему в наших руках. И силы защитников не ослабели. Хотя и напряжение боя не уменьшается. На рассвете дружинникам, с помощью авиации, удалось тремя батальонами продвнуться в Каса дель Кампо. С юга бригада Листера захватила несколько улиц у Вильяверде.

Прекрасно дерутся солдаты Интернациональной бригады. Очень жаль, что эта часть, которая, вместе с танками, могла бы послужить хорошим тараном для наступления, брошена сюда и расходуется, очень невыгодно, на обороне городских кварталов. Ничего не поде-



**Уаешь.** Надо удержаться. Это сейчас важнее всего на свете. Пожилые люди, заслуженные ветераны и руководители, прошедшие по две, по три революции, отсидевшие годы в тюрьмах и концентрационных лагерях, — сражаются рядом с молодежью как простые солдаты, они своими телами преграждают фашизму путь к Мадриду.

Миаха издал сегодня приказ, простой, очень короткий:

«Милиционеры и солдаты! Силы противника во всей своей совокупности атакуют Мадрид. Надеюсь, что никто из вас не отступит ни на шаг, пока лично я не дам приказ наступать. Поздравляю вас с блестящими действиями сегодняшнего дня. Ваш генерал Миаха».

Налеты авиации беспрерывно мучают город. «Юнкерсы» появляются почти каждые два-три часа. Республиканская авиация не может много заниматься противовоздушной обороной — она летает над наступающими частями мятежников.

«Пятая колонна» не утихает. По-прежнему подпольные фашисты швыряют, особенно по ночам, бомбы в прохожих. Они почти не отваживаются нападать на вооруженных людей. Их цель — сеять панику и нетерпение среди гражданских жителей. Одна бомба убила двух детей, игравших у под'езда.

Хунта обороны издала новый декрет о регистрации оружия. Всякое лицо, задержанное с незарегистрированным оружием, считается принадлежащим к фашистскому подполью. Хунта объединила все мелкие вооруженные отряды самообороны, таких расплодилось в городе очень много. Учреждения и организации имеют право создавать по специальному разрешению охрану только внутри своих зданий. Наружная охрана улиц централизована. На улицах — относительный порядок.

Под вечер всех взволновал приятный случай. Над аэродромом Алкала де Энарес, недалеко от Мадрида, появился бомбардировщик-«юнкерс». Не обращая внимания на взлет истребителей, он выключил моторы и демонстративно пошел на посадку. В машине не оказалось боевого экипажа, из нее вы-

шел только пилот — испанский офицер. Он заявил, что давно хотел отдать себя в распоряжение республиканского командования и использовал для этого первый удобный момент — когда германские пулеметчики и бомбардировщики пошли закусывать.

Кое-кто из уехавших вернулся. Некоторые приезжают в Мадрид на день, а ночевать уезжают в Алкала или в другие городки на восток от столицы. Осели в «Паласе» кинооператор Кармен и Жорж Сориа, корреспондент «Юманите». Мы составили здесь крохотную колонию.

Я распаковал чемодан, сменил белье, опять запаковал чемодан. Шофер Дорадо видел эту операцию, он взял затем чемодан, снес вниз, поставил в автомобильный багажник.

Мы разговаривали с Карменом и Сориа, стоя у окна моей комнаты. Прямо через дорогу, на наших глазах, это было поразительно, ударил в здание кортесов артиллерийский снаряд. Он взорвался внутри, нас слегка шатнуло.

Сбежали вниз, на другой тротуар, через боковой под'езд проникли внутрь. Служители и сторожа парламента в панике, но постепенно приходят в себя. Старушка-уборщица вся обсыпана штукатуркой, как булочница. Она ничего не соображает, но цела-целехонька. Смотрим, где разорвался снаряд. Оказывается, он пробил крышу рядом с главным залом и исковеркал комнату, где обычно работают журналисты. Некоторые предметы и картина на стене уцелели. Старые часы идут как ни в чем не бывало.

Сегодня истекает последний срок для прихода обещанных резервов, для контрнаступления против мятежников. Но резервов пока нет никаких, они где-то организуются и реорганизируются. Люди — на исходе сил, снаряды и патроны кончаются. Будет чудовишно, если придется уступать город именно теперь, после четырех самых мучительных дней, теперь, когда защитники столицы обрели самое главное, самое драгоценное — боевой дух, волю к сопротивлению, бестрашие перед неприятелем! А ведь, может быть, придется! Кроме телеграмм

сочувствия от собраний и профсоюзов, Мадрид не получает пока ничего.

По комиссариатскому телефону вызвал голос на русском языке:

— Михайль Ефимович, это с вами один добрый приятел говорит, один о-очен добрый приятель, вы наверно его узнаете, когда увидите...

Говорили издалека, по какому-то пригородному проводу, но я тотчас же ответил:

— Здравствуйте, Залка!! Где вы? Давайте сюда!

Голоса и руки я помню, как лица. Конечно, это говорок Залки, протяжный и музыкальный, с западным «л», с украинским «га», со звонким «р», с венгерским соскальзываньем ударения на первый слог, с крошечными паузами после каждого слова. Вспомнил его руки, небольшие, широкие в ладонях, пальцы короткие, мягкие, с крепкими ногтями, в густых светлых волосках.

В трубке захихикали. Он сказал, очень довольный:

— Это не Залка, дорогой Михайль Ефимович, это другая личность. Но вы не совсем ошиблись. Скоро я вас увижу, а пока счастлив слышать ваш голос, мой р-родной.

К подполковнику Рохо пришли договариваться о заданиях командир Интернациональной бригады Эмиль Клебер и его помощник Ганс. От них я узнал, что уже сформирована вторая бригада и командиром ее намечается Павел Лукач.

— Это венгерец, писатель, — сказал Клебер. — Вы должны его знать, он много жил в Москве. Товарищ Марти сначала хотел, чтобы вторая бригада была только резервным пополнением к первой. Теперь же он приходит к заключению, что ее надо срочно выделить, как самостоятельную оперативную единицу.

За эти четыре дня командиры, комиссары, штаб хорошо перезнакомились друг с другом и успели подружиться. Не слышно споров и пререканий, какие были в военном министерстве до осады Мадрида. Все подчеркнуто повинуются, не оспаривают приказов, хотя и не всегда выполняют их. Отошла

в сторону игра военных самолюбий, появилась коллективность в работе. Здесь большая заслуга Миахи и Рохо. Миаха очень мало вмешивается в оперативные детали, он даже мало в курсе их, это он предоставляет Рохо и командирам колонн и секторов. Зато он охотно и усидчиво разговаривает с людьми, с военными и штатскими, со всеми делегациями и депутациями. Для них у него есть хороший крепкий язык, стиль старого рубаки, краткого и непреклонного в заявлениях. Это подтягивает и ободряет людей, а заодно, и самого Миаху. Он видит, что дело не безнадежно, что оно еще может обернуться во все не так скверно, как представлялось это людям, направившим его на этот пост. Пусть даже завтра Мадрид будет взят — все-таки он храбро оборонялся, и немалая заслуга в этом приходится на долю Миахи. Ему нравится административная работа, и у него явный нюх к этим вещам...

Рохо привлекает людей своими скромными манерами, прикрывающими большие конкретные знания, и необычайной работоспособностью. Вот уже четверо суток, как он не разгибает спины над картой Мадрида. Непрерывной чередой подходят к нему командиры, комиссары, и всем им он вполголоса, спокойно, терпеливо, как из справочной будки на вокзале, иногда повторяясь по двадцать раз, объясняет, втолковывает, указывает, записывает на бумажках, часто рисует. Сейчас, поздно ночью, вдруг опять завязался горячий бой в Каса дель Кампо. Мятажники решили вернуть себе часть парка, отнятую у них днем. Трескотня отчаянная. Темно, трудно разобраться, где что, люди наскакивают друг на друга, поминутно спрашивают и опять разбегаются. От снарядов загорелось несколько деревьев, и это еще больше усилило темноту кругом. Осколочный снаряд попал в ложбинку, где мы сидели, — никого абсолютно не ранило, но меня сразбегу кто-то саданул в висок каблуком так, что в глазах все помутилось. И тотчас же другой чорт брыкнул кованым сапогом в грудь. После этого еще долго стреляли над головой, орали и бегали

кругом, я лежал недвижимо в овраге, с огромной шишкой, не желая никуда двигаться, смертельно злой и обиженный на всех, на фашистов и республиканцев. Ну хорошо — война, но нельзя же так лягать человека каблуком по виску, ведь это невозможное дело!

### 11 НОЯБРЯ

Вечером я телеграфировал «Правде»: «В ночной и сегодняшней утренней атаках республиканцами взято много пленных. Сегодня утром республиканская авиация совершила блестящий налет на фашистский аэродром Авила и уничтожила двенадцать самолетов.

Вчерашний контр-удар, направленный против фашистов в парке Касадель Кампо, заставил их отступить и остановиться в этом направлении. Мы увидели, что марокканцы умеют удирать не хуже других, когда на них хорошо нажимают пулеметным и оружейным огнем, авиацией и внезапной штыковой атакой. Они умеют охотно сдаваться в плен и потом подолгу дискутировать на допросе цитатами из корана. Они не прочь признать свои ошибки и обещать, что в следующий раз не будут драться, если даже их насильно мобилизуют.

Встретив сильный удар, противник несколько перегруппировался и возобновил главную атаку со стороны предместья Карабанчель. Здесь вчера и сегодня опять идут ожесточеннейшие уличные схватки. Отдельные дома берутся с бою в штыковых и гранатных атаках.

С четырнадцати часов фашисты начали здесь сильную артиллерийскую атаку по Толедскому мосту. К этому моменту я был в прилегающем к мосту квартале Карабанчель Бахо, — квартал на время атаки оказался отрезанным от моста. С огромным трудом бойцы удерживают баррикады под ураганным огнем артиллерии. Все-таки до сих пор, к восемнадцати часам, мост и несколько улиц впереди него находятся в руках республиканцев. От зажигательного снаряда пылает громадное здание «Капитания Хенераль» — в прошлом управление мадридского военного округа.

Кипит бой, а рядом, по соседству, на маленькой площади, идет летучий митинг. Агитаторы и политработники, нередко женщины, поднимают дух бойцов.

Осажденный Мадрид оплакивает смерть Антонио Коля, которого называли «моряком из Кронштадта». Посмотрев знаменитый советский фильм, Антонио Коль, моряк испанского республиканского флота, перешедший сражаться на сушу, поставил себе целью останавливать и выводить из строя гранатами фашистские танки. И добился этого. Пять итальянских танков были взорваны. Антонио Коль подползал к ним, имея на поясе дюжину гранат. Он был ранен случайно и до последней минуты надеялся поправиться, чтобы продолжать свою блестящую работу.

Тяжелый бомбовоз «юнкерс», который вчера перелетел на сторону республиканцев, сегодня уже получил номер правительственной авиации и вылетел с новым экипажем на бомбежку фашистских частей. Ему не надо было брать с собой бомб — полный запас их оказался на самолете и на бомбодержателях. Теперь офицеры Иностранного легиона почувствовали на своей шкуре приятное прикосновение германских бомб».

(Я не упомянул в телеграмме, что с этими бомбами была большая возня. Кто-то вздумал открепить их на земле, запутался в сложной сети проводов от электронагревателей и чуть не погубил все дело. Пилот корабля не знал, как открепить бомбы. Летчики долго совещались, и вдруг пришли к самому простому выводу — взлететь над противником и облегчиться от бомб над фашистскими позициями нажимом кнопки).

«К вечеру замечены накопления противника в районе Вильяверде. Очевидно, фашисты хотят нанести третий охватывающий удар с юго-востока Мадрида, чтобы отрезать единственно свободную дорогу на Валенсию и в основном полностью окружить город.

Республиканские части, народная милиция и рабочие Мадрида сопротивляются поистине героически и наносят

противнику все более сильные ответные удары. Ближайшие два-три дня могут решить судьбу Мадрида и, может быть, всей гражданской войны».

Последними словами телеграммы я имел в виду резервы, которые, однако, до сих пор не вступили в сражение, не имеют настоящего контакта с мадридским командованием, и дай бог, если завтра только сконцентрируются.

Оставленные на произвол судьбы военным министром, разрозненные мадридские колонны смогли, благодаря преданности нескольких командиров, благодаря мужеству и энергии мадридских рабочих, благодаря политическому руководству мадридских коммунистов, сдержать первый натиск врага, затормозить штурм столицы, создать порядок в собственных рядах, оборонять Мадрид, почти без вооружений, пять суток. Это в самом деле чудо, — но сколько оно может еще длиться без поддержки извне?

Натиск врага возрастает, и завтра он будет еще сильнее. Укладываясь спать, не находишь в себе никакой мысли кроме этой.

## 12 НОЯБРЯ

Туманная, слякотная погода. Это к лучшему — приостанавливает работу авиации.

Сокрушительный, яростный штурм фашистов почти на все мосты по Мансанаресу. Мятежники засыпают огнем все набережные. Настоящие огненные вихри. Часто самому не по себе становится. А дружинники держатся, они держатся и сегодня — ведь это зачастую те же самые люди, что опрометью бежали из-под Талаверы, из-под Толедо от одного звука пулемета!

У Сеговийского моста рота под командованием сержанта Веласкеса бросилась на фашистов в контратаку. Здесь дрались астурийцы-динамитчики. С пением «Интернационала», под пулеметным дождем, они кинулись вперед, на эстремадурскую дорогу и отвоевали у противника почти полтора километра!

У моста Принцессы пошли в атаку фашистские танки «ансаьдо». Они меньше и слабее республиканских, но в городской обстановке довольно вертля-

вы. А все-таки ребята из социалистической молодежи забросали их гранатами.

Я не знаю, продолжает ли соблюдать генерал Варела свой приказ на «день Д». Фашистское командование теперь меняет направление своих ударов по Мадриду и комбинирует их. Неудачи пехотных и танковых атак оно возмещает непрерывным мощным артиллерийским огнем. Грохот взрывов почти не смолкает. В окнах непрерывно дрожат стекла. Пожарные команды еле успевают локализовать пожары.

На столе у меня три радиogramмы, принятые мадридским телеграфом, он их передал в комиссариат:

«Мадрид. Генералу Франко. В воюющей и благоговении преклоняемся перед победителем, вошедшим со своим благословенным войском в столицу Испании. Шлем свои молитвы рыцарям святой церкви, освободителям родины. Алькальд города Бургоса — Алялья. Ответ оплачен пятнадцать слов».

Другая: «Мадрид. Генералу Франко. Аве Цезарь Император. Антонио Аренверо».

Третья: «Мадрид. Генералу Варела. Поздравляю с победоносным вхождением в Мадрид. История смотрит на вас. Боливаро».

Героическое сопротивление Мадрида оказалось сюрпризом не только для фашистов. Вчера и сегодня здесь появилось несколько физиономий, которые бесследно исчезли пятого и шестого ноября. «Возвращенцы» заглядывают с небрежным видом в свои бывшие кабинеты и канцелярии. Они видят за своими письменными столами работников Хунты обороны. Они делают незамечающий, туристический, проездной вид. Утром, выходя из «Паласа» с шофером Дорадо, мы натолкнулись на его бывшего начальника. Со мной он вежливо раскланялся, а на Дорадо и на «бюик» посмотрел, как если бы в первый раз в жизни. Дорадо тоже не поклонился и хмуро сел за руль... Во второй половине дня, когда в городе стало особенно шумно, валенсийские туристы опять улетучились.

Хунта обороны приняла новый порядок пропусков на выезд и въезд в город. Этим предотвращается беспорядочное бегство и ненужное возвращение в Мадрид лиц, покинувших его.

Хунта работает очень энергично. Она регулирует порядок в городе, в розничной торговле, в продовольственном снабжении, организует эвакуацию. Арестованные фашисты постепенно, начиная с 7 ноября, вывезены из Мадрида...

К вечеру, наконец, определились перспективы на завтрашний контр-удар против фашистов вместе с резервами. В штабе это называют громко контрнаступлением, но, по-моему, в окончательном виде это только контр-удар. Большие планы широкого маневра шестью бригадами из района Арганда на Пинто-Парла и вспомогательными маршами других четырех бригад на Леганес и Ильескас эти большие планы очень сузились. Часть бригад Миаха и Рохо потребовали себе на оборонительные городские сектора — «не до жиру, быть бы живу». Остается весьма небольшой ударный кулак из четырех бригад, с дюжиной орудий и дюжиной танков, который завтра должен ударить на фашистов с тыла, в направлении горы Ангелов и Хетафе. Со своей стороны Мадрид ударит всем своим правым флангом и центром обороны.

Конечно, это никак не Марна, но...

### 13 НОЯБРЯ

День разочарований и тяжелых огорчений. Из контрнаступления, повидимому, ничего не выйдет. Главная ударная группа очень поздно вступила в бой. Артиллерийская подготовка была просто жалкая. Новые, плохо обученные бойцы вяло пошли вперед, а приблизившись к горе Ангелов, смутились встречного огня и залегли по складкам местности. Они пока лежат там.

Мадридские части тоже вначале рванулись в атаку, но далеко не углубили. Трудно фашистам продвигаться вглубь Мадрида, но не менее трудно выковыривать их из тех мест, где они уже

закрепились. Отбросить мятежников одним махом далеко от реки оказалось на сегодняшний день делом невозможным.

Интернациональная бригада храбро ринулась вдоль стены парка Каса дель Кампо. Умело перебегая группами и одиночками, используя пригорки и камушки, выбрасывая вперед пулеметные отделения, два батальона продвинулись более чем на километр. Можно было выйти гораздо дальше, но фланги, колонна Галана и другая, анархистская, колонна отстали и не пытались догнать. Танки, приданные этой группе, несколько раз отрывались, уходя вперед, возвращались к пехоте и тянули ее за собой. Танкисты уговаривали бойцов не терять времени, броситься вперед, захватить широкое пространство, обстреливаемое весьма слабым огнем, — из уговоров ничего не получилось. «Мы свистим» — сказал по обыкновению танковый капитан. У него это получается всегда кстати. Разозлившись, два танковых взвода еще раз удрали вперед, ворвались в проволочные заграждения, передавили пулеметные гнезда, изничтожили какое-то артиллерийское имущество, исковеркали несколько фашистских автомобилей. Они немного отвели душу — а то всю неделю они стояли у мостов — «как пугала на огороде», по выражению того же капитана.

Эта неудача очень тяжела, но воспринимается не так прискорбно, как это могло казаться раньше. Для разгрома Франко под Мадридом время, видно, еще не пришло, — а с приходом пополнений оборона города, пусть пока пассивная, но жесткая оборона, становится более верным делом.

Как и в предыдущие дни, в два часа пополудни над городом появились «юнкерсы» в сопровождении своих истребителей. Миаха покраснел от злости, он ударил пухлым своим кулаком по обеденному столу:

— Когда они завтракают?! И сами не едят, и другим не дают. Прошу вас не вставать из-за стола.

Впрочем, он сам соблазнился и побегал с салфеткой на шее на балкон, когда ему сказали, что бой идет над самым зданием военного министерства.

«Юнкерсы» уже сбегали, «курносые» атаковали «хенкелей». На крутых виражах и пике они мелькали раскрашенными, как у бабочек, крыльями, это повергло в восторг публику, жадно наблюдавшую с земли.

Затем бой отнесло за угол дома, и ничего не стало видно. Все уселись про дождать завтрак. Еще через пять минут сообщили по телефону, что несколько машин сбито, один из пилотов спрыгнул на парашюте и взят в плен. Миаха приказал привезти его сюда, в штаб. Минут через десять послышался невероятный шум и вопль толпы. С балкона видно было, как к ограде медленно под'ехал автомобиль, облепленный со всех сторон и даже сверху людьми. Дверца раскрылась, изнутри вытащили кого-то, поволокли через сад министерства.

Куча сопровождающих и зевак хлынула внутрь здания. Я вышел на лестницу — по ее широким ступеням наполовину вели, наполовину несли вверх атлетического молодого человека с гримасой боли на лице; он обхватил руками живот, как если бы у него лопнул пояс и падали брюки.

Это вовсе не был фашистский летчик. Это был, я узнал его с первого взгляда, капитан Антонио, командир наблюдательного отряда «курносых».

Почему его так волокут? Он очень бледен; спотыкается; плохо видит перед собой. В большой комнате, где работает Рохо со своими помощниками, он рушится на диван, чуть не сломав его могучим телом.

— Антонио, это ты прыгнул с парашютом? Тебя атаковали?

Он тяжело дышит:

— Дай мне воды. У меня прострелен живот.

— Антонио!

— Это сумасшедший дом какой-то. Почему они стреляют в своих? Дай мне воды тотчас же. У меня огонь в животе. Много пуль в кишках. Дай воды, и тогда я расскажу, как было.

— Антонио, не надо рассказывать. Нельзя пить, если рана в животе. Сейчас тебя положат, отвезут в «Палас».

— Скорее в госпиталь и немножко воды. Надо потушить огонь от пуль. Не теряйся, пожалуйста, из виду. Шесть штук, гадов, на меня напали. Я пошел под облака, и вдруг сразу шесть «хенкелей» — со всех сторон, все на меня! Очень прошу, не теряйся из виду.

— Я не потеряюсь из виду. Я с тобой поеду в «Палас». Это госпиталь. Я там же и живу, рядом с тобой. Антонио, милый, не разговаривай, я тебе запрещаю.

Вся комната слушает в ужасе. За чем раненого республиканского летчика притащили сюда, почему не в лазарет? Начинается галдеж, все взаимно обвиняют друг друга. Все сходятся на том, что во всем виноват приказ Миахи. Велено было им привезти летчика сюда, вот и привезли. Но приказ был основан на ложной информации, на том, что с парашютом сбросился летчик-фашист. Нужно ли было идиотски или провокационно выполнять приказ, основанный на ложной информации? Все сходятся на том, что исполнять не надо было. Никто не зовет санитаров и носилки. Все сходятся на том, что надо позвать санитаров и носилки. Антонио начинает сползать с дивана, веки его опускаются. Наконец, вот санитары и носилки. Антонио берет, весьма неловко, с дивана, кладут на носилки, кладут вкось, одного санитаров толкнули, он выпустил ручку, Антонио грохнулся на пол. Все кричат от ужаса и боли, один только Антонио не кричит. Его опять берут, опять кладут, мы спускаемся к санитарной карете, едем до «Паласа» только три минуты. Его несут в операционную, здесь толчея, курят, груды грязной ваты, неубранные пальцы рук, ступни ног и еще какая-то непонятная часть тела, похожая на колено, лежат в большом тазу, дожидаясь санитарки, на стене висит плакат с танцующей парой: «Проводите лето в Сантандере». Антонио кладут на операционный стол, он вдруг кажется ребенком, а ведь такой большой.

Через два часа доктор Гомесулья пришел сказать, что Антонио уже опери-

рован, лежит рядом в комнате, зовет и нервничает. Из кишечника извлечены четыре пули, еще две оставлены во внутренних органах, извлекать их очень опасно. Все дело в том, чтобы раненый был совершенно неподвижен, иначе начнется перитонит, и тогда все кончено. У летчика, видимо, богатырское здоровье, у него есть шансы спастись, если только будет обеспечена полная неподвижность его в постели. Но он очень беспокоен. Он нервничает и зовет. Он хочет что-то объяснить.

Я пошел к Антонио, он и в самом деле очень нервничает. Прежде всего я должен взять листок бумаги и записать его рапорт.

— Понимаешь, документа нет. Надо составить документ.

— На кой тебе документ? Ты дрался, мужественно, геройски дрался, ранен, поправляешься — о документах другие позаботятся.

— Нельзя без документа. В аэродромном журнале записано, когда мы вылетели по тревоге. Пожалуйста, эту дату возьми и подставь в рапорт. Я-то помню точно, пятнадцать сорок восемь, но ты сверь с журналом, ведь это же документ.

— Ты хочешь сказать: тринадцать сорок восемь? В пятнадцать сорок восемь тебя уже оперировали...

— Постой, постой. Я ведь помню точно, вчера, в пятнадцать сорок восемь, в пятнадцать...

— Не вчера, а сегодня — ведь бой-то был сегодня, три часа тому назад!

Он встревожился.

— Сегодня?! Разве сегодня?! Что же это у меня память отшибло? Ты шутишь, разве сегодня был бой? Какое же сегодня число?

— Сегодня. Ты был под наркозом. Все это неважно. Главное — не двигаться, поправляться.

Он очень подавлен, что спутал дни.

— В мозгу-то у меня ничего нет? Ты мне скажи прямо.

— Ничего у тебя в мозгу нет, голова садовая. Лежи смирно.

— А с ребятками что? Целы ребятки?

— Больше, чем целы. Твои ребятки сбили пять машин, да ты одну — итого шесть.

— Ну что за орлы! Ах, ребятки милые. Они ведь у меня молодые, ребятки мои, я шестерых послал на «юнкерсы», а сам с двумя, поопытнее которые, стал удерживать боем истребителей... Мы хорошо с шестеркой подрались. Сбили каждый по одному гаду... Вдруг вижу — товарищ с правой стороны исчез и все фашисты тоже. Ясно, пошли под облака. Тревожусь за молодежь. Мировые ребята, да ведь еще не совсем опытные. Пикирую... Я ведь ничего не путаю? Ты мне скажи.

— Ты ничего не путаешь, молчи, пожалуйста. Тебе нельзя говорить.

— Я тревожусь за молодежь. Пикирую... И тут сразу опять шесть «женкелей», другие, со всех сторон, как псы, все на меня! Не успел разобраться — мне сразу перерезали пулеметной струей левое крыло и элероны. Пошел в штопор. Время от времени пробую выравнивать машину мотором — ничего не выходит. Понимаешь, ничего не выходит. Понимаешь?!

— Понимаю. Молчи, милый, потом расскажешь.

— Понимаешь? Машину жалко. А ничего не выходит. Машин у нас мало, понимаешь? Тогда я отстегнулся, ногами толкнул машину и прыгнул. Прыгнул и соображаю: ветер на юг, в сторону фашистов, поэтому надо падать быстрее, затяжным прыжком... Метрах в четырехстах раскрыл парашют, опускаюсь на улицу, не знаю, на чью... Какие-нибудь двадцать метров решат мою судьбу. Ты понимаешь? Ты можешь себе представить, что я думал в это время?.. И добавок начинают стрелять с земли — не то по самолетам, не то по мне. И опять неизвестно, кто стреляет. И вот сразу что-то загорелось в животе. Может быть, сдуру кто-нибудь даже с нашей стороны стрелял. Эх, дураки. Слепые люди. Но никому не говори. Мои ребята ни в коем случае знать этого не должны. Это для их политико-морального состояния бесполезно знать. Такие ошибки могут быть, они не показательны. На таких

ошибках летно-подъемный состав воспитывать не нужно. Понимаешь? Ты об этом деле молчи.

— Не я молчи, а ты молчи, слышишь? Сейчас же уйду, если ты будешь разговаривать. Для тебя одно спасение — не двигаться, лежать, молчать.

— Одно спасение?.. Значит, плохо мое дело, говоришь?

Он замолчал и скоро опять начал:

— Имя ранение в области живота, я по правилам спуститься уже не мог. Стукнулся очень сильно о землю. Ясно помню, что ко мне бежали какие-то люди. Какие-то неизвестные лица. Какие именно — опять неизвестно...

— Ты не слушаешься, я уйду.

— Пожалуйста, молчу. Очень обидно, что свои стреляли. Нелепая ошибка. Я бы приземлился благополучно и сегодня опять в бой пошел... Против фашистов. Против фашистов! Против фашистов!

— Я прошу тебя и предлагаю, прекрати разговаривать. Так ты скорее выздоровеешь и вернешься в строй.

— Думаешь, вернусь?

Он посмотрел мне в глаза таким внезапно всевидящим, пронизывающим взглядом — я испугался, что он прочтет слово «перитонит». Но он не прочел. Ослабев, он сразу задремал.

Отряд капитана Антонио вылетел сегодня второй раз в бой, в шестнадцать часов с минутами. Он сбил еще четыре истребителя, три «хенкеля» и один «фиат».

Итого за сегодняшний день над Мадридом сбито десять фашистских самолетов, восемь германских и два итальянских. Потери бомбардировщик «Бреге», устарелой конструкции, и машина Антонио.

Заголовки сегодня вечером в «Мундо обреро»:

«Воздушный бой над крышами Мадрида».

«Слава героям воздуха! Фашистские самолеты, сбитые летчиками свободы, свидетельствуют перед миром, что фа-

шизм будет побежден у ворот Мадрида».

«Да здравствуют пилоты республики!».

Ночью обехал пригородные участки. Наступление уже замерло. Большинство частей отошло в исходное положение — кроме Каса дель Кампо, где интернациональная пехота и третья бригада Галана, с помощью танков, все-таки продвинулись вдоль стены на целых четыре километра. Бойцы ударной группировки так и лежат перед горой Ангелов, ни вперед, ни назад. А все-таки сегодняшний день, в совокупности, принес много пользы. Фашисты видят, что Мадрид не только отбивается, но и атакует, что он не так уж одинок, что ему приходят на помощь. Это озадачивает противника, заставит его перестраиваться, подкрепляться, отнимет время. А время это нужно здесь, в Мадриде. Каждый лишний день укрепляет нас, хотя бы и ценой укрепления врага.

#### 14 НОЯБРЯ

Сегодня — сравнительно тихий день. Напряжение в городе чуть-чуть ослабло. У Толедского моста идет перестрелка. Два автомобиля застигнуты снарядами — окровавленные обломки валяются на мостовой. У баррикад бойцы сидят спокойно, терпеливо, отвечают на огонь методически, без излишней трескотни.

Сеговийский мост поутру взорван. Разрушил его бомбой «юнкерс», сам того не желая. Он метил в республиканские части, стоявшие у моста.

У вокзала Аточа бомбы исковеркали фасад здания министерства общественных работ. Две громадные мраморные колонны рассыпались, как сахарные головы. Рядом с министерством бомба вырыла глубокую воронку, через нее видны рельсы метро. Правда, метро здесь проходит не глубоко.

Сила бомб — громадная. Это бомбы-пулутонки, по пятьсот килограмм.

Прибыла каталонская колонна, во главе с Дурутти. Три тысячи человек, очень хорошо вооружены и обмундиро-



ваны, внешне совершенно не похожи на фантастических воинов, окружавших Дурутти в Бухаралосе.

Он обнял меня очень радостно, как старого приятеля. И тотчас же пошутил:

— Ты видишь, я не взял Сарагосу, меня не убили, и я не стал марксистом. Мне еще впереди.

Он похудел, подтянулся, вид более военный, у него адъютанты, и разговаривает он с ними не митинговым, а командирским тоном. Он попросил себе в интернациональных бригадах советника-офицера. Ему предложили Ксанти. Он расспросил о нем и взял. Ксанти — первый коммунист в частях Дурутти. Когда Ксанти пришел, Дурутти сказал ему:

— Ты коммунист, ладно, посмотрим. Ты будешь всегда рядом со мной. Будем обедать вместе и спать в одной комнате. Посмотрим.

Ксанти ответил:

— У меня все-таки будут свободные часы. На войне всегда бывает много свободных часов. Я прошу разрешения отлучаться в свободные часы.

— Что ты хочешь делать?

— Я хочу использовать свободные часы для обучения твоих бойцов пулеметной стрельбе. Они очень плохо стреляют из пулемета. Я хочу обучить несколько групп и создать пулеметные взводы.

Дурутти улыбнулся:

— Я хочу тоже. Обучи меня пулемету.

Одновременно в Мадрид приехал Гарсиа Оливер; он теперь министр юстиции. Они ходят вдвоём.

Оба знаменитых анархиста беседовали с Миахой и Рохо. Они объяснили, что анархистские части пришли из Каталонии спасти Мадрид, и Мадрид спасут, но после этого здесь не останутся, а возвратятся в Каталонию и к стенам Сарагосы. Далее — они просят отвести колонне Дурутти самостоятельный участок, на котором анархисты смогут показать свои успехи. Иначе возможны недоразумения, вплоть до того, что другие партии начнут себе приписывать успехи анархистов.

На Миаху и Рохо это произвело большое впечатление, они предложили поставить колонну в Каса дель Кампо, с тем, чтобы завтра атаковать фашистов и выбить их из парка в юго-западном направлении. Дурутти и Оливер согласились. Я с ними потом беседовал — они убеждены, что колонна отлично выполнит задачу. Оливер спросил меня, существуют ли в Красной армии особо храбрые специально ударные пехотные части, такие, которые можно было бы поставить впереди более слабых войск, нанести удар, увлечь за собой более слабые части, а затем, после боя, уйти в тыл и перейти на другой участок, с той же функцией.

Я сказал, что, насколько мне известно, таких частей у нас нет, да и было бы вредно создавать различные уровни храбрости для одной и той же армии. Тактика ударных войсковых кулаков — самая правильная, но командование должно иметь возможность создать такой кулак в любое время из любых свежих, боеспособных частей.

Оливер сказал, что для Испании в данный период подобные части очень необходимы и он не представляет себе, как можно будет на ближайшее время драться без них.

Ларго Кавальеро посетил некоторые центры формирования вокруг Мадрида и вернулся обратно в Валенсию, не заезжая в Мадрид. Говорят, будто ему отсоветовали посещать сейчас город, потому что отношение рабочих к нему очень озлобленное, из-за столь внезапного, панического, украдкой отъезда шестого ноября.

Разговоры эти, вообще говоря, очень неприятны. Не без основания, конечно, но слишком огульно, в Мадриде стали ругать и поносить всех, кто уехал и эвакуировался. Те, кому пятого и шестого не удалось выпросить себе места в автобусе или грузовике на Валенсию, — теперь шумно презирают «подлых трусов». В свою очередь «валенсийцы» буквально за одну эту страшную неделю создали легенду о заносчивых, драчливых, самонадеянных мадридцах, об их дерзости и самостийности, вплоть до неповиновения центральному

правительству. Валенсию потрясла озорная демонстрация солидной мадридской лево-республиканской газеты «Политика», которая на самом видном месте, рядом с заголовком, напечатала: «Некоторые любители мягкого морского климата слишком поспешно отправились на побережье. Пусть попробуют эти туристы сунуться обратно в Мадрид!».

Эти разговоры обеспокоили коммунистическую партию, они подрывают атмосферу дисциплины и доверия. Карлос, комиссар Пятого полка, выступил по этому поводу со специальной статьей:

«Правительство уехало в Валенсию. Правительство не может себе позволить роскошь из сантиментальных соображений и из ложного понимания своих функций оставаться в Мадриде, когда Мадрид не является лучшим пунктом, где правительство могло бы выполнять свои функции национального и международного характера. Испанский народ нуждается в том, чтобы правительство было там, где оно с наибольшей пользой может организовать победу. Поэтому бойцы приветствуют переезд правительства. Мы находимся в распоряжении Хунты обороны Мадрида, которая является достойным представителем правительства народного фронта.

Понятно, что противник хочет окружить Мадрид, запереть в Мадриде испанское правительство, чтобы этим облегчить фашистским государствам признание «правительства» Франко и Мولا с ссылкой на то, что правительство, окруженное в Мадриде, не имеет связи со всей остальной страной.

В ответ на это мы отвечаем, как бойцы, как испанцы:

— Товарищи члены правительства, вы пользуетесь нашим полным доверием, мы хотим, чтобы вы были в месте, где вы можете с наибольшим удобством руководить страной и обороной. Другое дело — разные чиновники и сановники, которые просто труслили и бежали из Мадрида без надобности, оставив свои посты. К этим людям мы относимся, как к трусам, как к канальям, и только эту оценку они заслуживают.

Мы поддерживаем полностью и безусловно наше правительство, правительство Ларго Кавальеро, составленное всеми антифашистскими партиями и организациями».

Случай с Антонио произвел очень тяжелое впечатление в штабе. Миаха отдал специальный приказ об охране жизни всех пилотов, хотя бы и неприятельских, совершающих вынужденные посадки или прыгающих с парашютами на республиканскую территорию. Всех невредимых летчиков приказано немедленно направлять в штаб, не подвергая никаким оскорблениям ни словами ни действием. Раненых предписывается тотчас же отвозить в госпиталь. Нарушители приказа подлежат военному суду.

Миаха пишет:

«Мы отлично понимаем чувство гнева и ярости, охватывающее бойцов милиции при виде фашистских разрушителей наших домов. Но причины военного порядка заставляют нас требовать от всех частей корректного отношения к пленным летчикам. Пилот, прыгнувший на парашюте, выходит из боя и вместе с тем представляет большую ценность информацией, которую от него можно добыть. Командование надеется, что не меры взыскания, а сознательность республиканских бойцов поможет провести этот приказ в жизнь».

Приказ опубликован во всех газетах и оглашен по радио.

### 15 НОЯБРЯ

Сегодня пробовал наступать Дурутти. Он очень нервничал перед боем, потребовал дать ему всю артиллерию и всю авиацию, и в самом деле ему наскребли орудий со всего города, республиканская авиация сделала два налета на позиции мятежников в Каса дель Кампо, затем «курносые» патрулировали над колонной, охраняя ее от авиации фашистской.

Ничего из всего этого не вышло, каталонцы побоялись довольно слабого пулеметного огня и в бой не пошли. Бедняга Дурутти был вне себя, приказал расстрелять несколько трусов, потом отменил приказ, потом совещался с Оливером, потом заявил штабу, что пло-

хая артиллерийская подготовка виной всему, и, наконец, принял решение завтра повторить атаку.

Мятежники предприняли ожесточенный штурм Французского моста. Сюда они направили артиллерийский огонь, пулеметы и танки «ансальдо». Сюда же прилетели восемь «юнкеров», они почти одновременно сбросили около семидесяти бомб на отряды, прикрывающие мост. В течение нескольких минут земля буквально дрожала от чудовищных ударов стокилограммовых бомб. Поднялся смерч огня, песку, камней и обломков. Дружинники взорвали мост.

Как бы в ответ на великодушный приказ Миахи о гуманном обращении с летчиками, фашисты сбросили на мадридский аэродром Барахас чудовищный груз. К парашюту был привязан деревянный ящик с надписью «Вальядолид». Ящик раскрыли — в нем оказался изрубленный в куски труп, куча страшного кровавого мяса и обрывки одежды. По некоторым признакам удалось опознать тело республиканского летчика-истребителя Хосе Галарса, который вчера участвовал в воздушном бою и имел вынужденную посадку на неприятельской территории.

Для того, чтобы совершить свое деяние, фашисты должны были провозиться не менее нескольких часов. Им надо было по-мяснички рубить Хосе Галарса (мертвого или живого?) на куски; затем сложить эти куски на простыню, завязать ее узлом; поместить в ящик; прицепить к парашюту; вручить летчику; совершить с ящиком полет и сбросить.

Капитан Антонио томится в постели. Ему трудно лежать, не двигаясь. Он требует, чтобы его навестили его «ребятки» из эскадрильи «курносых», он называет имена, и в том числе имя Хосе Галарса. Один снаряд опять разорвался у самого «Паласа». Стены задрожали. Раненые повскакали со своих кроватей и выбежали в коридор. Вскочил и выбежал Антонио. Его с трудом уложили в постель. У него блуждают глаза, он заговаривается. Врач сказал, что это начинается перитонит.

16 НОЯБРЯ

Случилось несчастье. Фашистам удалось-таки прорваться через Мансанарес.

Эх, каталонцы...

Дурутти хотел сегодня возобновить атаку на Каса дель Кампо, но, пока его штаб и батальоны сговаривались, как и кому первому итти, мятежники сами начали контратаковать. Каталонская колонна испугалась сильного огня и побежала. Мавры перебрались через реку и проникли в Университетский городок.

Туда тотчас же бросили Интернациональную бригаду, но поздно. Мавры овладели несколькими зданиями, они просачиваются дальше.

Начались рукопашные схватки. Люди дерутся штыками. Иногда даже прикладами.

Француз - боец Интернациональной бригады сцепился с огромным марокканцем, они не могли одолеть друг друга. Француз вытащил у мавра из-за пояса ручную гранату и стукнул ею мавра по голове. Граната взорвалась, погибли оба.

К заходу солнца удалось вышибить марокканцев из здания философского факультета. В остальных они держатся.

В это же время фашисты усилили атаки по всей линии своего наступления. Мадридцам приходится вести оборону на линии почти шестнадцати километров.

Весь день непрерывные ожесточенные воздушные бои. «Курносые» отважно сражаются против почти втрое превосходящей фашистской авиации. В шестнадцать часов, в четвертом по счету бою, республиканский истребитель, оторвавшись от своего звена, один храбро атаковал группу «юнкеров». За ним устремилась целая стая «хенкелей», подбила его. Он спрыгнул на парашюте и невредимым спустился на бульваре Кастильяна прямо на тротуар. Толпа в восторге понесла храбреца на руках к автомобилю. Через пять минут он уже в здании военного министерства. Генерал Миаха и члены Хунты обороны аплодируют герою, обнимают его. Пилот, капитан Пабло Паланкар, смущен этой

встречей. Волосы его всклокочены, в дерзких голубых глазах еще не потухло возбуждение борьбы и опасности. Он коротко рапортует и просит разрешения сейчас же уехать к себе в часть.

### 17 НОЯБРЯ

Кошмарная ночь. «Юнкеры» бесновались с одиннадцати вечера до пяти утра. Они громили полутонными бомбами весь центр города. Досталось больше всего госпиталям.

Беспрерывно дрожали стены, звенели разбитые стекла, истерически кричали раненые в «Паласе». Лазарет превратился в окровавленный сумасшедший дом. Я не мог никуда уйти, просидел до рассвета на кровати у Антонио, держа его большие, но уже слабые, влажные руки в своих руках, стараясь не вздрагивать вместе с ним, когда сотрясались своды, когда крошечную тьму пронизывали молнии взрывов и топот ног в коридоре вызывал стадное желание бежать вниз, укрыться в подвале. Ведь Антонио бежать не может, его перенести никуда нельзя!

— Мигэль, меня не бросят здесь?! Меня не оставят? Мне кажется, уже все ушли отсюда. Чего же мы остаемся?

— Никто не ушел, лежи спокойно. Над нами еще четыре этажа. Ведь и я с тобой тут рядом, значит ничего страшного нет, не так ли?

— Ни в коем случае не уходи. Иначе я тоже встану и пойду за тобой.

Он заснул, вернее, забылся, в пятом часу. Я вышел на улицу — кругом развалины, обломки, пожарища. «Палас» пострадал немного, зато рядом сгорел дотла большой великосветский отель «Савой», один из лучших в Мадриде. От бара в нижнем этаже почему-то осталась стойка с напитками. Ежась от утреннего холода, я смотрел, как два парня, посмеиваясь, пробовали содержимое бутылок.

В госпитале Сан Карлос полностью разрушены два верхних этажа. Тяжело пострадали мадридский провинциальный госпиталь санитарной федерации и госпиталь медицинского факультета мадридского университета. В Сан Карлосе — двадцать три убитых бомбами

и девяносто три раненых. В результате спешной ночной эвакуации из госпиталя умерло, сверх того, девяносто раненых.

Есть предположение, что бомбы упали на госпитали не случайно. Бомбардировщики сначала бросали вниз осветительные ракеты, разбирались в зданиях, а затем бомбили.

В Университетском городке идет страшное побоище. Фашисты продвинулись пока не очень глубоко, но у них дьявольская способность очень быстро закрепляться. Интернациональная бригада и испанские дружинники показывают чудеса героизма. Бойцы батальона имени Тельмана и Эдгара Андре шесть раз кидались на штурм. Очень много убитых. Мавры держатся цепко.

Какие люди — эти добровольцы-антифашисты! Комиссар тельмановского батальона Ганс Баймлер говорит мне: «Возьми любого на выбор — это плоть от плоти и кровь от крови революционного рабочего класса. Карл, подойди к нам, Расскажи о себе».

— Мне тридцать четыре года, — говорит Карл Крейн, — раньше я работал мастером на крупнейших германских металлических предприятиях, у Сименса, у Борзига, зарабатывал очень хорошо. Мой заработок, как мастера, был втрое больше, чем у рядовых рабочих моей бригады. Когда Гитлер пришел, я, как числившийся в списках неблагонадежных, был арестован, потом по ошибке освобожден и тотчас же бежал со своей семьей во Францию. Здесь я получил гораздо менее квалифицированную работу, и все-таки зарабатывал пятьдесят франков в день. Но, когда услышал, что сюда в Испанию пришли германские наци, я бросил все, поспешил сюда, чтобы добраться до их шкуры.

— Сколько детей у вас?

— Двое.

— А что сказала жена, когда вы захотели оставить ее и пойти воевать?

— У меня хорошая жена. Она — товарищ. У нее те же мысли, что у меня. Она сказала: иди, сражайся против фашизма. Помогите испанцам, а я как-нибудь здесь просуществую с детьми.

— Как вам дались эти первые дни?

— Тяжеловато, откровенно говоря. Я доволен и своим батальоном, и товарищами, и пулеметом. Но очень плохо с артиллерией. Они нас режут артиллерией. Все, чем они нас осыпают, — германской и итальянской фабрикации. Мне, как германскому металлсту, это яснее, чем другим. Я подобрал несколько гранат противника, на них выгравированы буквы «К» и «Э», то-есть Крупп, Эссен. Они стреляют пулями «дум-дум» итальянской фабрикации. Я присутствовал при допросе пленных, расспрашивал их сам. У них там хорошая техника, чорт подери!

— А с испанцами какие у вас отношения?

— Хорошие отношения. Ведь в нашем интернациональном батальоне — немало испанцев. Мы с ними дружим, как братья. Вы не думайте, ведь я все время изучаю испанский язык!

Он показал маленькую записную книжку в клеенчатой обложке.

19 НОЯБРЯ

Эти двое суток — самое страшное из того, что пока испытал несчастный город.

Мадрид горит. На улицах светло, на улицах жарко, но это не день, не лето, а ноябрьская ночь. Хожу по городу — огромное зарево освещает путь со всех сторон, куда ни повернешь.

Мадрид горит, его подожгла германская авиация.

Горят общественные здания, гостиницы, лазареты, институты. Горят без конца жилые дома.

Тушить все эти пожары невозможно, пожарные части сбились с ног. Если бы пожарных было в пять раз больше, они не справились бы. Они стараются, с помощью добровольцев, только предупредить осложнения — взрывы и гибель людей. Они спешат перерезать газопроводы, выносят бензин, изолируют соседние дома.

Соппротивление Мадрида привело фашистов в слепую ярость. Они решили стереть с лица земли столицу Испании, истребить ее обитателей или по крайней мере заставить защитников Мадрида сдать город ради сохранения миллио-

на человеческих жизней. То, что происходит сейчас, может вывести из равновесия даже стойкого человека. Не знаю, можно ли поручиться даже за взрослых мадридцев, что у них в порядке психика. В городе появилось много душевнобольных.

А ведь это испытание еще не кончилось. Фашистское командование ведет бомбардировку Мадрида с возрастающей силой. Сюда вызвана в основном вся авиация мятежников. Сегодня днем столицу бомбили двадцать «юнкеров» в сопровождении тридцати истребителей — всего сразу пятьдесят машин в воздухе. Республиканская авиация численно куда слабее. Ее отвага не всегда может возместить превосходство сил противника. Все-таки «курносые» сегодня сбили два «юнкера» и два истребителя.

Бомбардировка возобновляется каждые три-четыре часа. И после каждого налета все больше и больше пылающих развалин, все больше и больше окровавленного человеческого мяса. Плач, рыдания, вопли обезумевших людей разносятся по улицам. Старухи и дети падают на колени и в мольбе поднимают руки к небесам. Они просят пощадить их, а зоркие спокойные убийцы в темносерых стальных кораблях еще и еще кружат над городом, еще и еще обрушивают грохот смерти на беззащитных людей. Три-четыре часа проходят. С улиц едва успевают убрать жертвы; в комнатах веют холодные сквозняки — мало целых, неразбитых оконных стекол. И все опять начинается сначала. То, что казалось зловещей утопией, книжным прообразом будущей войны, — теперь стало фактом. На пороге 1937 года фашистский милитаризм, перед глазами всего мира, уничтожает громадный европейский столичный город.

Двухсоткилограммовая бомба при прямом попадании разрушает пятиэтажный дом. Она иногда проникает даже в подвал. Такие попадания встречаются в городе десятками. Но фашисты бьют и трехсоткилограммовыми и полутонными бомбами — разрушают восьмизэтажные здания. Чтобы уничтожить рабочий район, с его хрупкими тонко-

стенными домами, фашистам не нужны и такие затраты взрывчатых веществ. Несколько зажигательных бомб поднимают в десять минут пожар в любом окраинном квартале.

Поздно ночью мы пробираемся по улицам. Еще вчера фашистской авиации нужны были осветительные ракеты. Сегодня пылающий город сам себя освещает. Опыленные зрелищем пожаров, убиты все приходят и приходят, все кидают новые бомбы в новые и новые живые мишени.

Рынок на площади Кармен охвачен горячим, жадным огнем. Удушливый дым, прогорклый смрад оливкового масла, паленой рыбы. Сюда с таким трудом привезли продовольствие... Завтра большая часть города останется голодной. С грохотом падают бревна, балки перекрытий. Огромный столб пламени накаляет дома кругом. Сжав руки, тихо плача, смотрит Мария Тереса Леон на пожарище. Неподвижны, зеркальные, как фотообъективы, глаза Рафаэля Альберти. Мадрид горит — неужели возможно, что он сгорит дотла, что он будет уничтожен совсем? Да, сейчас это кажется возможным.

На холме, в красивом парке, пылает дворец герцогов Альба, сокровищница искусств, с библиотекой, с картинной галлерей. Я был здесь в конце октября, рабочая милиция с гордостью показывала, как она охраняет этот памятник искусства и старины — от огромных статуй, картин и гобеленов до мельчайших безделушек, до старых перчаток герцога. Хозяин дома удрал в Лондон, он оттуда вопил о вандализме красных — пока дружинники заботливо стирали пыль с книжных корешков. Германский бомбардировщик влепил в дворец зажигательную бомбу, да, видно, не одну. Теперь все корчится и обугливается в пламени. И опять рабочие дружинники, рискуя собой, вытаскивают из огня, складывают на траве картины, доспехи средневековых рыцарей, старинное оружие, драгоценные филианты из библиотеки. Вот картина для тех, кто добросовестно хочет разобраться в том, какой класс обороняет культуру и какой разрушает ее...

В это же время мятежники яростно штурмуют Университетский городок. Они подводят все больше подкреплений, артиллерии, минометов. Атаки даются им очень дорого, потери, особенно у марокканцев, огромные. Площадки между зданиями Университетского городка усеяны мертвыми телами.

Дурутти был очень подавлен тем, что именно его колонна допустила проникновение врага в город. Но он хочет возместить эту неудачу новой атакой, на том самом месте, где анархисты отступили. Бесперывные бомбардировки, убийства беззащитных жителей приводят его в слепую ярость. Большие кулаки сжимаются, высокая фигура как-то горбится, весь он принимает облик древнеримского гладиатора-раба, напрягающегося в отчаянном освободительном порыве...

Дипломатический корпус стал проявлять какие-то признаки жизни. Нельзя сказать, чтоб это было от любви к республиканскому правительству или к мадридскому народу. Просто, у господ дипломатов сдали нервы. Ведь бомбы с «юнкерсов» не очень разбираются. Они уничтожили в Университетском городке здание французского лицея, украшенное новеньким большим национальным флагом. Несколько бомб упало поблизости от британского посольства. Представители Франции и Англии осматривали разрушения в городе, особенно в госпиталях. Они опубликовали ноту протеста против бомбардировки. Все подобающие слова значатся в этой ноте: и «гуманность», и «беззащитное население», и «ужасы разрушения», и «принципы человечности». Нет только одной маленькой детали: нет адреса. Нота направлена почему-то только в редакции мадридских газет.

## 20 НОЯБРЯ

С утра проливной дождь. Это все-таки какое-то облегчение — авиация не появилась. Дружинники вместе с бойцами Интернациональной бригады атакуют здание Клинического госпиталя и богадельни Санта Кристина. Пока три атаки не дали результата.

21 НОЯБРЯ

Опять весь день дождь.

К полудню, вместе с штурмующими подразделениями Интернациональной бригады, мне удалось пробраться в Клинический госпиталь и богадельню Санта Кристина. Оба здания взяты лобовой атакой, ручными гранатами и штыками.

Марокканцы и «регулярес» отошли метров на двести, не больше. Они держат под огнем отнятые у них здания, надо подползать или перебегать — ходы сообщения еще не вырыты.

Рядом с недостроенным кирпичным корпусом — какое-то, совершенно разгромленное медицинское здание. Потолки и полы пробиты снарядами, оборудование разбито, изуродовано. Поставлены ребром кровати, полы сплошь покрыты осколками разбитой посуды.

Внизу, в морге, натолкнулся на старика сторожа, он ухитрился уцелеть здесь после троекратного штурма и перехода дома из рук в руки. Упрашивает юяющие стороны отдавать своих мертвецов в морг на сохранение и очень огорчается отказом. Видимо, рехнулся. Да и то сказать, разве мечтал скромный университетский морг о таком изобилии трупов. Кто мог думать, что самый тихий, ученый академический уголок станет ареной самых жестооченных, самых яростных боев.

Бедный Мадрид! Его считали таким беззаботным, таким безопасным, таким благополучным городом. Мировая война прошла мимо, вдалеке от него. Сейчас он испытал только за пятнадцать дней больше, чем все европейские столицы за все годы войны. Город сам стал полем битвы!

Уже когда мы, измученные, мокрые, грязные, ошалелые и довольные, переползли из Клинического назад во вторую линию, кто-то прибежал и рассказал, что на соседнем участке, в Западном парке, убит Дурутти.

Рано утром я его еще видел на площадке лестницы в военном министерстве. Приглашал поехать вместе на штурм Санта Кристина. Он покачал головой, сказал, что едет подготавливать

свой собственный участок и прежде всего укрыть часть бойцов от дождя.

Я пошутил:

— Разве они сахарные?

Он ответил хмуро:

— Да, они из сахара. Они тают от воды. Из двух становится один. Они портятся здесь в Мадриде.

Это были последние слова, которые я слышал от него. Он был в плохом настроении.

Шальная или, может быть, кем-нибудь направленная пуля смертельно ранила его при выходе из автомобиля, перед зданием его командного пункта.

Очень жаль Дурутти. Он был, несомненно, одним из самых ярких людей Каталонии и всего испанского рабочего движения.

Его анархистские ошибки и заблуждения не были злостны. Он пришел оборонять Мадрид с мыслями очень отличными от тех, с какими он стоял под Сарагосой.

Жаль Дурутти!

От имени коммунистической партии Хосе Диас отправил Гарсиа Оливеру сочувственное письмо.

Туман и слякоть приглушили борьбу. Стороны медленно перестреливаются. В Карабанчеле в некоторых местах линии расположены друг от друга на расстоянии не более тридцати шагов. В серых сумерках противники переключаются между собой:

— Эй вы, бандиты! Германofilы!

Молчание. Затем ответ:

— Долой большевизм!..

Я целый день на ногах, целый день двигаюсь, а поспеть повсюду не могу. При этом жизнь сузилась. Крупным планом, оттеснив все на свете, громоздятся, расположенные эллипсисом, фашистские позиции. Внутри этого овала — сектора, на них баррикады, у каждой — столько-то пушек, пулеметов, столько-то людей. Между этими секторами, в метании с одного на другой, мгновенно пролетают сутки. Множество вещей как-то совсем ушло вдаль, стало абстрактным, выключилось. Куда-то вдаль ушли и кажутся нереальными все политические партии, правительственные комбинации, все го-

сударственные сложности и оттенки, все характеры людей. Нет истории, литературы; нет географии, кроме плана Мадрида; на всем земном шаре уцелела Москва, особенно Ленинградское шоссе, улица «Правды», четвертый этаж... В самом Мадриде все живые люди делятся прежде всего на невредимых и раненых. Невредимые — на военных и штатских. Штатские — все те, у кого нет при себе оружия (это потому, что и на баррикадах, и в колоннах, и в штабах — очень много бойцов и командиров, одетых как попало, без всяких признаков военной формы). А ведь еще три недели тому назад Мадрид был нормальным большим, сложным столичным городом, у него множество разных ликов, категорий и формаций, человеческих, классовых типов. Конечно, все это есть и сейчас — но или уехало в Валенсию, или пока пряталось, притаилось, напряглось. Все дышит и пульсирует в ритм с трепетанием овального огненного кольца, все ждет, каждый час, каждую минуту, как изогнется кольцо. Прорвется, распрягнется ли оно или, напротив, затянется петлей, захлестнет огнем горло антифашистского Мадрида.

Мигэль Мартинес короткие промежутки между политработой на секторах проводит в комиссариате и штабе. Новых комиссаров прибавилось мало — их берут больше всего для резервных частей. «Старики», те что комиссарствуют по пятнадцать-двадцать дней, выуживают подходящих людей и направляют в комиссариат. В этот горячий период комиссары могли проявить себя единственно своим мужеством и оптимизмом — те, у которых оно было. Остальные — стусеивались, перешли на второстепенные, обслуживающие роли при командах колонн и секторов, на положение интендантов, толкачей по части боеприпасов и одежды.

Плохой комиссар — убогое, жалкое зрелище. Лучше пусть не будет никакого, надо тотчас же убрать его с глаз. Хороший, боевой комиссар еще раз оправдал здесь свое назначение. Я думаю — больше не встретится ни одной освободительной, народной, антифаши-

стской войны, в которой не будет играть роли оправдавший себя целиком институт революционных комиссаров.

## 22 НОЯБРЯ

Опять дождь и слякоть. Борьба все-таки продолжалась весь день. Фашисты пробовали отнять здание Клинического госпиталя. Это им не удалось. Сейчас только длинный, тонкий язык соединяет фашистские части с внутренностью городка.

Республиканские бойцы захватили горящие развалины Каса Веласкес. В верхнем этаже они нашли несколько убитых своих товарищей. Перед тем как расстрелять, фашисты раздели их до гола.

Немного поправилась наша артиллерия. На небоскребе телефонной станции установлено артиллерийское наблюдение. Оно обнаружило в Каса дель Кампо батарею противника, обстреливающую республиканскую пехоту. Тотчас же, по телефону, огонь мадридской артиллерии был направлен по этой батарее, одно орудие сразу уничтожено, другое замолчало. Дружинники, использовав этот успех, тотчас же рванулись вперед и заняли новый участок в парке.

Сегодня же артиллеристы обнаружили большую, около полутора тысяч человек, марокканскую колонну, которая сушилась на солнышке в промежутке между двумя дождями. Опять-таки во-время поданный огонь угодил в самый центр колонны и очень ее растрепал.

Вечером, когда немного притихает стрельба, когда после боя люди, завернувшись в сырые одеяла, отдыхают у скурых огней, — вечером оживают невидимые испанские радиопросторы.

«Ночной эфир струит эфир». В эфире с берегов Гвадалквивира, из Севильи, в девять с половиной часов несутся солдафонские остроты и грозные матюки генерала Кейпо де Льяно, пьяницы-наркомана, садиста и похабника.

Кейпо струит в эфир угрозы. Он напоминает генералу Миахе какие-то обиды тысяча девятьсот восьмого года, он обещает выпороть старика на конюшне, он смачно расписывает, как сотня



марокканцев будет по очереди управляться с Маргаритой Нелькен.

Миаха ужинает в это время со штабом. Подполковник Рохо устало смеется, Миаха же в отвращении стучит пальцами по радиоприемнику:

— Бандит! Ах, бандит!

Без четверти десять радио Саламанки начинает шифрованную передачу для мадридского фашистского подполья. Мадридские станции заглушают, милиция и домовые комитеты делают в этот час обходы и обыски по квартирам, стараясь накрыть слушателей, вернее, слушачей, из «пятой колонны».

В десять часов мадридское «Унионрадио» передает военные сводки и политические новости. Обыкновенно в это же время кто-нибудь из комиссаров или депутатов произносит речь.

После десяти начинают соревноваться передатчики из Тетуана, Тенериф и лиссабонский «радиоклуб».

Тетуан передает марокканские завывания и пляски под барабан. На арабском языке многословно объявляется, что Геринг-паша передал Франко-паше селям алейкум от шейха Гитлера и что марокканский полковник Магомет ибн Омар был вчера приглашен к столу Варела-паши и что все правоверные должны оценить эту великую честь.

Тенериф угощает слушателей сборной солянкой самых бредовых известий. Даже и фашисты считают, что этой станции терять нечего.

Из Тенерифа можно узнать, что Рузвельт провалился на президентских выборах. Что британский посол растерзан республиканской милицией на улицах Картахены. И даже, что «Испанская фаланга», войдя в Мадрид, организовала раздачу молока детям, которых республиканцы морили голодом.

Португальский «радиоклуб» обычно старается давать глубокий и прочувствованный анализ военного, политического и международного положения.

Например:

«Замедление в мадридской операции вовсе не есть замедление, а есть пауза, которая дает возможность национальным войскам подготовить все эффективные средства для нападения, а против-

нику — реорганизовать свои средства обороны».

Или другое:

«Марксистские лидеры стоят на своем и упорствуют в намерении защищать Мадрид в Мадриде».

Военный обозреватель «радиоклуба» в корне несогласен с такой тактикой. По его мнению, защитники Мадрида должны оставить город и драться с фашистской армией в каком-нибудь, по договоренности с ней, другом месте.

Посожалев о таком упрямстве «марксистских лидеров», докладчик приходит к признанию неизбежности факта: «Вполне логично, что они обороняют столицу. В конце-концов — это их долг».

Лучше всего — конечный вывод лиссабонского теоретика:

«Мадрид до сих пор не сдается. Военное дело — дело очень опасное и трудное. Мы в этом убеждаемся сейчас особенно ясно и четко».

Передатчик Бургоса начинает работать позже всех. Это орган самого верховного правителя, потому он напускает на себя солидность и серьезность:

«Япония и Германия уже покинули Лигу наций. Италия поддерживает с ней самые поверхностные отношения. Это три фашистских державы, которые начали священную борьбу с коммунизмом. Несомненно, первой страной, которая от этого больше всего пострадает, будет Великобритания. Что останется от этого огромного колониального государства, если Япония утвердит свое превосходство в Азии, а Италия в Средиземном море!».

Представитель Франко в эфире предлагает Англии не ломаться и, пока не поздно, присоединиться к дружному блоку Берлин — Токио — Рим — Бургос. Бедная Англия, до чего ты дожила, кто тебе угрожает!

В этой передаче с четвертого ноября был введен особый раздел: «Последние часы Мадрида». Сообщался порядок фашистского парада перед зданием военного министерства, имена капельмейстеров военных оркестров, разграничивались районы действия карательных отрядов «Испанской фаланги», излагался план

переезда бургосских учреждений в мадридские здания.

После пятнадцати дней раздел переименован. Теперь он называется уже не «Последние часы», а «Последние дни Мадрида». Диктор объявляет: «Глава государства высокопревосходительный синьор генерал Франко указал, что предстоящее взятие Эскориала и его монастыря Сан Лоренцо, являющихся главным историческим и религиозным центром Испании, будет равносильно взятию столицы. Что касается Мадрида, то синьор Франко не считает правильным овладение городом огнем и мечом и будет в этой операции избегать излишнего пролития крови».

Хорошие речи приятно слушать. Особенно, когда в это же время трехмоторные самолеты оратора сбрасывают фугасные и зажигательные бомбы на частные дома, на лазареты столицы.

### 23 НОЯБРЯ

Утром умер капитан Антонио.

До последних часов жизни он метался в бреду: садился в истребитель, атаковал фашистские бомбовозы, отдавал приказы. За четверть часа до смерти сознание вдруг прояснилось.

Он спросил, который час и как сражается его эскадрилья. Получив ответ, улыбнулся:

— Как я счастлив, что хоть перед смертью повел ребяток в бой. Ведь это мои ученики, мое семя, моя кровь!

Сейчас он больше не воюет. Он лежит без движения, большой, смиренный, с цветком на подушке.

Его положили сначала вниз, в гараж-морг, где был и танкист Симон. Потом мы отвезли его на кладбище в восточной части города. Красивое кладбище. Сюда непрерывно подвозят людей. Оно сейчас чуть ли не единственное. То кладбище, где мы раньше хоронили летчиков из интернациональной эскадрильи, на окраине Карабанчеля, теперь уже в руках врага.

Только пять человек идет за гробом Антонио, в том числе врач и сестра милосердия, ухаживавшая за ним. «Курносые» не смогли притти проводить командира. Погода ясная, они сражаются.

Вот, как-раз, они пролетели высоко-высоко над кладбищем; смелая стойка опять и опять кидается в новые битвы.

Гробы на этом кладбище не зарывают в землю, а вставляют в бетонные ниши, в два этажа.

Мы еще раз посмотрели на Антонио. Смотритель кладбища проверил документ из больницы, закрыл крышку и запер. Станный обычай в Испании: гроб запирают на ключ.

— Кто здесь самый близкий родственник? — спросил он.

— Я самый близкий родственник, — сказал я.

Он протянул мне маленький железный ключик на черной ленте. Мы подняли гроб до уровня плеч и вставили в верхний ряд ниш. Мы смотрели, как рабочий быстро, ловко лопаточкой замуровал отверстие.

— Какую надпись надо сделать? — спросил смотритель.

— Надписи не надо никакой, — ответил я: — он будет здесь лежать пока без надписи. Там, где надо, напишут о нем.

### 24 НОЯБРЯ

Около двух часов ночи молчаливая темнота прорвалась яростной перестрелкой, грохотом орудий, огненными змеями в небе — следами от трассирующих снарядов — как будто совсем в центре города. По проверке оказалось, что это в самом деле атака и попытка ночного прорыва, но пока на прежних линиях.

Ночью бой вообще кажется совсем за окном; днем стрельба все-таки заглушается шумом города.

Фашисты предприняли одну атаку с южной и другую — с юго-западной стороны города. Удар был хорошо подготовлен. Пехота шла с ручными гранатами, осветительными ракетами, предшествуемая танками.

Атаку отбили после двух часов борьбы. Нападающие понесли большие потери.

На трупах марокканцев нашли бумажные германские деньги ассигнациями по сто тысяч марок, напечатанные в

1923 году. Реальная ценность такого «стотысячного» дензнака была в то время равна коробке спичек. Какие бережливые люди — немцы! Они хранили где-то на складах горы этого бумажного мусора, чтобы через тринадцать лет цинически расплачиваться здесь с наемными убийцами, с несчастными, невежественными, обманутыми маврами!

При контратаках захвачен фашистский танк. Еще три танка мятежников застряли между боевыми линиями.

Третий удар противник направил в Университетский городок. По узкой полосе, которой он здесь пересекает республиканское расположение, он подвел части и попробовал прорваться в центральную часть города. Эту атаку полностью отбила двенадцатая (вторая) Интернациональная бригада.

Бой очень жестокий, весь день. В Университетском городке борьба идет за каждые десять метров. Интернационалисты сражаются, не щадя себя, но потери у фашистов куда более велики. Сейчас Франко предпринял новую тактику: вместо того, чтобы гнать в мясорубку свои поредевшие ударные части, мавров и иностранный легион, он смешивает этих лучших бойцов с обычными кадровыми и мобилизованными солдатами. Это и дает ему преимущество в массовости.

После совещания со своими помощниками в Леганес Франко объявил по радио, что завтра, двадцать пятого, окончательно вступит в Мадрид.

Командовать второй (она же двенадцатая) Интернациональной бригадой назначен Матэ Залка. Трудный пост он принял с решимостью и оптимизмом. За несколько дней он привлек к себе симпатии бойцов восемнадцати национальностей, соединившихся в бригаде. В нем нет жесткости и особой властности, однако влияние его на часть очень велико; это тип скорее командира-отца, командира-брата, храброго, сердечного, веселого, бодрого. Для всех он находит по несколько слов, иногда на весьма неопределенном наречии — испано-франко-немецко-венгерско-русском. Но никто не жалуется, что не

понимает его; послушав, даже строптивые люди, поворчав, делают именно то, чего хотел Залка, он же генерал Павел Лукач. После таких объяснений он оборачивается и лукаво подмигивает мне большим добрым голубым глазом:

— Будет дело! Будет дело, дорогой Михаил Ефимович!

Потери людей потрясают его. При посторонних он еще держится, но, запершись вдвоем, роняет голову на руки, плечи у него трясутся, уста роняют проклятия и стоны, проклятия и стоны.

## 25 НОЯБРЯ

И сегодня Франко не вступил в столицу, как обещал. Делось это мадридцам очень дорого. Драться надо было сразу на всех участках. С утра особенно свирепы были атаки с юга. Здесь мужественно отбивались части Листера и Прада. Вторая атака была направлена на Образцовую тюрьму. Ее поддерживал концентрированный артиллерийский огонь и девять танков. Эту атаку республиканцы отразили с большим искусством и мужеством. Они кинулись вперед, до самых артиллерийских позиций, разбили ручными гранатами орудия и вернулись назад. Здесь погибло сегодня два немца-антифашиста: Вилли Вилле, лейтенант батальона Тельмана, и Густав Керна. Эти дни — дни потерь множества отличных командиров, социалистов, коммунистов, анархистов, республиканцев. Они гибнут в бою, идя впереди своих атакующих частей. С тактической точки зрения, это безумие. Но обстановка создает, она даже требует этих актов самопожертвования и героизма. Формируется новая боевая мораль — мораль защитников Мадрида!

Вечером пробовал настроить приемник на Москву — никак не удалось. А ведь в Москве сегодня говорит Сталин!

«Тринадцатого ноября в городе Ухе, во дворце культуры, открылся десятый экстренный съезд Башкирской автономной советской республики. Конгресс обсудил доклад президента Башкирской Хунты о проекте новой конституции и единогласно одобрил его. Конгресс послал приветствия товарищам Сталину,

Молотову, Калинин и героической Испанской демократической республике».

Это написано в здешней газете «Эль Либераль», на ее едином, тускло отпечатанном листочке, единственном, потому что фашистская блокада лишила Мадрид газетной бумаги, а германские летчики сбросили на типографию «Либераль» бомбу в сто двадцать килограммов.

Не все в телеграмме формально точно. Но в Уфе я без труда узнал Уфу, в Башкирской Хунте — Башкирский ЦИК. Да и вообще — откуда еще из-за границы может сейчас государственная власть приветствовать Испанскую демократическую республику, если не из Уфы, не из Нальчика, не из Москвы?

Мадридские либералы знают это очень хорошо. Иностранная информация в их газете почти не выходит за рамки телеграмм из Уфы. Была Европа, был Ллойд-Джордж в Лондоне и Дельбос в Париже, ездили делегации, гремели речи на междупарламентских обедах, звенели бокалы в знак дружбы и верности, а когда генерал Франко с другими, с берлинскими, с римскими друзьями двинул в Испанию батальоны, чтобы в парламенте разместить свою комендатуру, тогда куда-то сразу исчезли все знатные друзья, пропали со стола бокалы, стихли разговоры о взаимной поддержке демократических стран. Зато мадридские либералы узнали о том, что есть Башкирская автономная республика и что она активно сочувствует Испанской демократической республике, узнали то, что до них давно было известно испанским рабочим.

Сезд собрался в эпоху разгрома в капиталистическом мире даже самых убогих демократических свобод, завоеванных полутора столетиями буржуазных революций и парламентской борьбы.

В эпоху, когда упразднены даже бумажные права, числившиеся за гражданами пролетарского и крестьянского сословия.

В эпоху, когда в ряде стран полностью проведена в жизнь теория Бенжамена Констана о различии между жи-

телями государства и членами его: полноправными членами государства считаются только те, кто обладает определенным образовательным цензом и досугом для своего образования и собственностью, капиталом, обеспечивающим этот досуг.

В эпоху, когда капиталистические государства откатились от демократического строя к строю римских патрициев, всадников, клиентов и рабов.

Буржуазная демократия опрокинута фашизмом навзничь в нескольких странах. Она должна либо кончать самоубийством, как в Германии, либо начинать подлинную вооруженную борьбу, найдя себе союзников в пролетариате и крестьянстве, как сегодня в Испании.

Но рабочий класс в таком союзе — не бедный и не бездомный родственник. У него есть силы и мужество, у него есть единство, у него есть свой идеал демократического строя, и этот идеал уже осуществлен, он предстанет, как факт, сегодня в Москве, в Большом Кремлевском дворце, в облике новой Сталинской Конституции.

Светло и тепло в ярком кругу у подножия сталинского маяка, но насколько еще сильнее и ослепительнее свет, насколько радостнее светит он, когда смотришь издали, из глубины темной ночи!

Трудно придумать ночь, более темную, чем сегодняшняя, здесь. Снаружи даже караулы прикрывают рукой маленькие фонарики, курят в рукав. Закрыты ставни, плотно занавешены окна. За стеной стонут раненые. Пушки громят Мадрид. Это пушки Круппа, старого оружейника кайзера Вильгельма и ныне — его наследника Адольфа Гитлера. Бомбовозы гудят над нашими крышами — это бомбовозы «юнкерс», хищные птицы германского империализма. Танки рвутся через мосты к сердцу Мадрида, это танки черного властелина Италии — Муссолини. Все силы мировой реакции обрушились на этот город и душат его железным, огненным кольцом — за что? Только за то, что он и вся страна хотят жить свободно, не насилуя человеческой личности и е-

прав, не пресмыкаясь перед угнетателями своими и чужих стран.

Перед этой страстной ночной вакханалией, перед диким вихрем темных сил в испуге присмирела Европа. Правительства, лидеры государств и партий, те, кому завтра грозит тот же фашистский ураган, — не борются, не спорят, не возражают, они трусливо укрыли головы в наивной надежде, что от фашизма можно отпроситься, откупиться, отделаться уступочками, подарками. Лишь пролетарии мира пришли в темную, холодную мадридскую ночь, они бодрствуют и зябнут на баррикадах и безустали сжимают мокрые винтовки, и без-устали глядят в крошечную мглу. Им ясно то, чего не могут или не хотят постигнуть знаменитые политики и министры на их родине. Обороняя Мадрид, они обороняют Париж, Лондон, Копенгаген, Женеву — потому что, расправившись сегодня с испанской демократией, с испанским народом, фашистские разбойники попытаются завтра взять за горло французский, английский, чехословацкий и другие народы Европы и мира, — как вчера они терзали абиссинский и китайский народ.

Издаലെка, сквозь мглу, светит нам сюда этот великий маяк — Москва в ожерелье бриллиантовых огней и высокий Кремль под самоцветными звездами на башнях. И белый зал дворца, и люди в нем. Только здесь, в этом дворце, в этом городе, в этой стране, не испугались фашистского шквала. Только здесь хладнокровно и уверенно готовятся к боевой встрече с ним. И здесь сегодня на трибуну взойдет самый спокойный, самый смелый, самый нескгибаемый человек эпохи, великий демократ нашего времени, великий гражданин мира, и перед страной, перед всем человечеством развернет хартию свобод и прав трудящегося народа.

Этот документ — единственный из существующих сейчас на земле, который может ободрить и успокоить людей, уставших и отчаявшихся в борьбе с империализмом. И не потому лишь, что документ этот показывает с предельной ясностью результаты, к которым приводит последовательная борьба за свобо-

ду, за счастье людей, против угнетения и эксплуатации. А потому еще, что этот документ — не только знамя и программа для осуществления, но и твердый список того, что сделано, что существует. Сделано все, существует все, что значит в новой советской Конституции. Прежде чем объявить о всех правах советского гражданина, Сталин во главе народа добыл и закрепил их. Прежде, чем провозгласить советскую демократию во всем ее размахе, Сталин создал, вырастил и воспитал ее в сознании своей храбрости и силы, вооружил ее против нападения врага.

— Значит, победить можно, — говорит себе рабочий, крестьянин, интеллигент, застигнутый один на один чудовищем фашизма. — Значит, все это существует. Значит, это — не только мечта.

Да, победить можно. Да, все это существует — и без разрешения, без спроса Гитлера и Муссолини. Это живет и дышит, все, что описано сталинскими словами в новой советской Конституции. Живет и цветет непобедимая сила — советская демократия. Она на виду у всех — можно приезжать, смотреть, слушать, изучать, трогать руками. Она думает, эта демократия, не только о себе. Башкиры говорили на своем съезде не только о своих, но и об испанских делах. Они послали приветствие в Мадрид — и не только приветствие. Мадридские матери и дети питаются хлебом, мясом и молоком, присланными башкирским и всеми советскими народами. Когда астурийские горняки, разбитые два года назад реакционной военщиной, должны были покинуть свою родину, они нашли и новое отечество, и хлеб, и труд под крылом советской сталинской демократии. Говорят, что это не нравится Гитлерам и генералам Франко. Может быть...

Одна радость есть у испанского, у германского, у китайского рабочего, но большая. Есть советская страна, есть советская демократия, и ей ничего не страшно, и с ней ничего не страшно, и ее ничто не сокрушит. Значит, можно и стоит бороться, значит, есть где-то победа и ее плоды. Один свет пронизи-

вает глухую, опасную, смертоносную мадридскую ночь. Но этот свет не меркнет, его никто, ничто никогда не сможет потушить.

## 26 НОЯБРЯ

Сегодня совершенно тихо. Очевидно, вчерашний день очень измотал фашистов. У них большие потери.

И авиация сегодня нас совсем не тревожит. Это, видимо, результат того, что вчера республиканские летчики напали на аэродром в Талавере и разгромили его.

Фашистские и сочувствующие им телеграфные агентства распространяют душераздирающие известия о будто бы захвате якобы германского посольства, будто бы анархистами, якобы народной милицией.

На самом деле произошло нечто совершенно другое.

После того, как германское правительство официально признало мятежную хунту Бургоса, республиканцы дали германскому посольству в Мадриде определенный срок на отъезд и эвакуацию.

Когда этот срок кончился, представители министерства напомнили об этом посольству. Днем посольские чиновники уехали из Мадрида целым караваном автомобилей и грузовиков. При выезде из города их не обыскивали, не досматривали, а только проверили документы.

После отъезда персонала посольства к зданию прибыли представители министерства внутренних дел и полиции — наложить печати на входные двери. Они изумились, увидев, что посольство еще населено и весьма.

На околки полиции из дома вышла целая толпа людей с поднятыми вверх руками — в знак сдачи. Здесь оказалось тридцать очень крупных и известных фашистов, которых или разыскивали, или считали давно сбежавшими в лагерь фашистов. Сегодня опубликованы их имена.

Перед эвакуацией посольство в автомобилях под дипломатическим флагом спешно распахало по городу, по другим миссиям, некоторых, самых крупных сво-

их постояльцев, в числе их — подполковника Авиа, маркиза Уркихо, графиню де лос Морилес и других почтенных личностей. Остальные так и застряли здесь.

Войдя вслед за фашистами в здание посольства, мадридцы увидели настоящую крепость. Входы, переходы, лестницы забаррикадированы мешками с песком, цементом с бойницами и брустверами для винтовок и пулеметов.

Большинство оружия посольство увезло с собой, но кое-что осталось: двадцать один револьвер, три ручных пулемета и еще семь прикладов к другим ручным пулеметам, автоматические пистолеты, семь винтовок, двенадцать охотничьих ружей, одна зенитная винтовка, один бомбомет, три ящика ручных гранат, противогазы, четыре кинжала, испанское монархическое знамя и куча всяких испанских фашистских эмблем. Мигэль Мартинес, бродивший вместе с полицией по комнатам, выпросил пистолеты и ручные пулеметы для своих комиссаров.

Во дворе посольства осталось семь автомобилей и один грузовик. В этих машинах полиция по целому ряду признаков опознала те самые «автомобили-привидения», которые по ночам обстреливали прохожих и патрули милиции, наводили панику в городе.

Германское посольство было пристанищем моторизованных ночных бандитов!

Арестованные показали, что чиновники посольства, офицеры резерва Мейер и Алесс, сформировали из них настоящую боевую единицу. За каждым было закреплено оружие, военные функции и точное место. Немецкие командиры производили здесь учения и тревоги!

Чтобы служить в полной мере копией «третьей империи», германское посольство устроило у себя и маленький концентрационный лагерь. Очень маленький, на одну персону. Посадили в него еврея. Старик Якоб Воос поставлял мясо к посольскому столу. Однажды он сказал на кухне, что сочувствует Испанской республике. Назавтра его задержали в посольстве, заперли в кладовке и продержали, под охраной двух испан-

ских фашистов, без допроса, но с издевательствами и битьем, сорок три дня — до самой эвакуации. Чем не Дахау! Сейчас он на свободе, вне себя от радости. Мигаль долго, со смешанными чувствами рассматривал его, простого, с рыжевато-седоватой обкусанной бородой, тощего, захудалого двинско-могилевско-мадридского старика, с которым никак не может ужиться на одной планете рейхсканцлер и фюрер Адольф Гитлер.

## 27 НОЯБРЯ

Наш разговор седьмого ноября с Рафаэлем Альберти и Марией Тересой Леон повторился на широкой базе. В доме Пятого полка собрались виднейшие ученые испанской столицы. Здесь доктор Рио Ортега, профессор мадридского университета Энрике Молес, писатель Антонио Мачадо, доктор Санчес Ковиса, дон Антонио Мадинавейтия, доктор Сакристан, Артуро Дюперье и еще много других. Седые головы окружены молодыми лицами коммунистов, дружинников и командиров народной милиции. Центральный Комитет коммунистической партии организовал эту встречу. Партия убеждает мадридскую интеллигенцию в лице ее виднейших представителей, знаменитых ученых, писателей, деятелей искусства временно покинуть Мадрид, чтобы продолжать свою работу в тылу, в более спокойной обстановке.

Предложение очень взволновало гостей. Начались прения: что правильнее и важнее — оставаться сейчас в Мадриде или эвакуироваться, пока не стихнут ужасы бомбардировки и пожаров.

Спорили долго. Антонио Мачадо сказал:

— Я не хотел уезжать. Я стар и болен. Но я хочу сражаться вместе с вами, хочу закончить свою жизнь с достоинством, хочу умереть с достоинством, продолжая свою работу. Именно это убеждает меня согласиться с вами. Я поеду, я буду бороться вместе с вами за наше общее дело, которое вы делаете.

Пятый полк принял на себя все заботы по эвакуации ученых, он предостав-

ляет автомобили для семей, грузовики для библиотек и лабораторий.

Беседа кончилась очень поздно, все были взволнованы, академики со слезами обнимали рабочих и благодарили рабочий класс за оборону испанской культуры.

Мы поехали оттуда с Рафаэлем Альберти и Марией Тересой к ним, в Альянсу. Сторож долго не отпирал.

— Кто там?! — кричал он.

В ответ мы запели «Веселых ребят».

— Не пушу, — ругался за дверью сторож. — Товарищ Альберти сказал не пускать никаких посторонних и особенно фашистов.

— Врешь, пустишь! Тот, кто с песней по жизни шагает, тот никогда и нигде не пропадет!

Наконец, он узнал и впустил. В холодном обеденном зале Мария Тереса расставила на столе фамильное серебро и хрусталь маркиза де Дуэро. Положила на маркизовы тарелки гарбансас — бобы на прогорклom, остывшем оливковом масле. Добавила хлеб и апельсины, которые мы схлопотали в Пятом полку. Получилось шикарно.

Теперь в Альянсе другая атмосфера. Стариков, больных и нытиков отправили в Валенсию и Барселону. Осталась молодежь, днем она на боевых участках, выступает перед бойцами, вечером сходится сюда, читать стихи и вместе мечтать.

Сторож присоединился к нашему небогатому, но аристократическому ужину, под портретами знатнейших грандов. Он сказал, что какие-то маркизовы родственники потихоньку справляются, цела ли серебряная посуда, не растащили ли ее писатели, не растащат ли до возвращения маркиза.

— Подождет возвращаться, — небрежно сказал Рафаэль, поливая уксусом и посыпая солью каждый отдельный боб: — подождет!

И я тоже подумал: подождет маркиз, трясца его маме.

## 28 НОЯБРЯ

Фронт образует глубокий выступ на юго-запад, почти до самой Талаверы. Это те места, где в сентябре застрял

и чуть не попал в плен к белым Мигэль Мартинес. Сюда направились колонны Бурильо и Уррибари, с артиллерией и броневиками. Расчет был — неожиданно переправиться через Тахо, прервать коммуникации мятежников и, если можно будет, захватить самую Талаверу. Македонец Ксанти пошел с колонной, чтобы организовать ночные партизанские вылазки и налеты.

Колонны двигались хорошо, но командование не имело терпения выждать ночи для своего продвижения. Днем почти у цели их заметила фашистская воздушная разведка, после этого авиация бомбила их семь или восемь часов под ряд. Это очень издергало группу, но не остановило маневра. Республиканцы подошли к самому берегу реки, взяли под артиллерийский огонь аэродром, кладбище и самый город Талаверу. Паника у мятежников была необычайная, они спешно сняли войска из-под Мадрида, около восьми батальонов, и бросили их на оборону Талаверы. Будь у республиканцев немножко больше решительности и опыта, они безусловно могли бы захватить город! Но даже и в таком виде маневр принес большую пользу, — он оттянул часть фашистских сил от Мадрида, ослабил натиск на столицу.

Как все-таки обидно, что мадридцам самим приходится делать отвлекающие маневры! Мы читаем сводки с других фронтов — и кулаки сжимаются от злости. Каталонское командование не стесняется писать в своих сводках, что «вчера происходил смотр нашим войскам и чистка орудий». Это сейчас, в дни величайшего напряжения у стен столицы! Те же каталонские командиры непрестанно загромождают мадридский телеграф приветствиями генералу Миахе и заявлениями, что они «с вторгом наблюдают несравненную героическую оборону Мадрида».

Сегодня двадцать дней этой обороны. Двадцать дней с того момента, как вооруженный фашизм пробрался к самому сердцу Испании и начал штурмовать столицу. Двадцать дней сопротивляется республиканский, народный Мадрид. Двадцать дней! Мало кому

верилось, что Мадрид будет так обороняться. Скажу честно: и мне не очень верилось.

Двадцать дней и ночей яростных боев, артиллерийского обстрела, воздушных бомбардировок, баррикадных схваток, танковых атак и контратак, пожаров, штыковой и рукопашной борьбы.

Тысячи бойцов пали смертью храбрых у ворот Мадрида. Погибли прекрасные командиры и комиссары, боевые руководители масс и рядовые бойцы-герои. Мертвы Дурутти, Эредия, Вилли Вилле, летчик Антонио, танкист Симон, антитанкист Коль, и еще и еще. Но Мадрид устоял, он обороняется и уже сам наносит удары.

В момент стремительного наступления фашистских войск, при появлении их у стен столицы фашистскому, да, если угодно, и республиканскому, командованию взятие Мадрида казалось неизбежным. Оно вообще воспринималось, скорее, как факт политический, чем военный: какая может быть битва здесь, у неукрепленного, беззащитного города! Обе стороны считали, что решающий поединок двух армий произойдет уже за Мадридом. Любители исторических параллелей вспоминали Бородино. Испанские горе-Кутузовы забывали, что у русского полководца было то, ради чего стоило временно пожертвовать столицей. Оставляя Москву, он сохранял для свободного маневра большую, хорошо организованную, объединенную патриотическим порывом армию. Здесь же, наоборот, с потерей Мадрида терялось все маломальски боеспособное и морально устойчивое, что имела республиканская армия, оставались разрозненные лохмотки частей плюс пять-шесть новых, наскоро сформированных, необстрелянных бригад.

Но народ, но рабочий класс с коммунистами во главе сам вмешался в борьбу, своей решимостью и ясно выраженной волей он исправил панические ошибки командования. Оборона Мадрида, во-первых, состоялась. Это вряд ли кто-нибудь возьмется теперь опровергать. Во-вторых, эта оборона раз-



вернулась в генеральное, а может быть, и решающее сражение гражданской войны. И сражение идет пока с хорошими для республиканцев результатами.

За двадцать дней до седьмого ноября фашисты прошли на путях к Мадриду около ста двадцати километров, в среднем по шести километров в день. В последние двадцать дней Франко продвинулся на два километра, то-есть совсем не продвинулся. Мадрид остановил фашистскую армию. И не только остановил. Обороняя свой город, мадридские части постепенно притянули к себе весь основной массив военных сил противника. Франко стоит здесь почти со всей армией. По логике борьбы он вынужден подтягивать сюда же все новые резервы и даже новые формирования. Защитники Мадрида, принимая на себя все удары осаждающих сил, наносят еще большие удары противнику.

Нигде Франко не имел таких больших, таких чувствительных потерь, как под Мадридом. Каса дель Кампо — настоящая мельница, тысячи и тысячи фашистов перемолоты здесь под республиканским огнем. Мятежникам приходится непрерывно менять войска, посылаемые в парк, — больше трех дней там никто не выдерживает.

Притянув к себе основные силы противника, держа их в постоянном напряжении, Мадрид сковывает их, лишает прежней мобильности, отрывает от других секторов и фронтов и тем самым поддерживает другие республиканские фронты и сектора. Оттого так обидно, что каталонцы отдыхают, занимаются смотрами вместо того, чтобы драться, помогать и Мадриду, и себе!

Здесь, в огне, в борьбе, перерождаются сами республиканские войска. Сейчас уже можно с основанием сказать, что это храбрые, стойкие, обстрелянные части. Посещаешь знакомые колонны — и изумляешься, как в них изменились и солдаты, и командиры. Батальон имени Маргариты Нелькен прекрасно сражается в Вильяверде. За четыре дня он имеет двадцать убитых и пятьдесят раненых — тот самый ба-

тальон, который так хулиганил и дерзничал в Аранхуэсе, пробовал захватить поезд, чтобы удрать с фронта! У бойцов появилось спокойствие, выдержка под огнем, инициатива и предприимчивость. Даже ночью, — о чем раньше речи не было, — ведутся поиски противника, боевая разведка, и, как правило, возвращаясь, бойцы приносят не только впечатления, но и что-нибудь вещественное: пулемет противника, винтовки, пленного.

Под Мадридом республиканцы освоили новые для них роды оружия — от истребителей и танков до простых минометов и волчьих ям. Здесь же они научились сопротивляться тем же видам оружия в руках у противника. В телеграмме от 25 ноября я в пяти строках сказал об атаках фашистов на Образцовую тюрьму, — а ведь это был большой штурм, с жестокой артиллерийской подготовкой, с десятью танками, пулеметами и ручными гранатами! Ее мужественно и умело отразила, не требуя подкреплений, одна колонна социалистической молодежи. Раньше такой бой был бы огромным событием. Сейчас он воспринимается, как нечто, само собой подразумевающееся.

Сопrotивление Мадрида уже вызвало головокружение от успехов, при чем не у самих мадридцев, которые каждую минуту чувствуют прикосновение вражеского меча к своей груди, а у людей, наблюдающих борьбу издали. Каталонские газеты объявляют, что Мадрид вне опасности. Это чепуха. Если город будет обороняться хоть два года, имея хоть полумиллионную армию, — все равно, нельзя будет сказать, что ему не угрожает захват; нельзя будет этого сказать, пока неприятель не будет отброшен на сто, полтора километра.

Очень красивые, но бессодержательные гипотезы строят военные обозреватели. Один автор изображает Франко в виде безрассудного игрока, который ведет свою операцию «ва-банк». «Клин, переставший двигаться вперед, — пишет обозреватель. — всегда и легко срезается фланговым ударом любого направления».

Не всегда и не легко! Автор статьи абсолютно уверен, что «соотношение сил таково, что лучшие части Франко могут быть в окрестностях Мадрида и на его западных окраинах захлопнуты, как в ловушке». Однако, это соотношение сил ему самому представляется очень смутно. Он думает, как и многие другие, что силы фашистов под Мадридом численно ничтожны по сравнению с республиканскими. Это неверно. Силы пехоты почти равны с обеих сторон. В артиллерии и в авиации фашисты имеют большое численное превосходство. Риску, да еще «огромному», никак Франко себя не подвергает. И в ловушку не обязательно ему попасть. Конечно, случаев неожиданного окружения и полного уничтожения атакующих армий в истории войн было не мало. Но, стремясь понять военную обстановку, надо не слепо перебирать военно-исторические примеры, а искать и находить в каждой обстановке все новое и поучительное. В данном случае Франко и его германские советники, тоже зная военную историю, зорко, я бы даже сказал, нервно, следят за своими флангами, укрепили их и свои коммуникации артиллерией, пулеметами, проволочными заграждениями. Они стараются не рисковать, не срывать, и именно это, боязнь окружения, тормозит войско, атакующее Мадрид. Именно это, отчасти, затянуло мадридское сражение. Республиканцы кое-что предпринимает для фланговых ударов. Но наивно думать, что Франко будет двадцать дней покорно дожидаться ловушки, которая предназначена ему учебником военной истории.

При всем этом оборона Мадрида уже стала большой победой в борьбе с фашизмом. Трудно судить обо всех отзвуках борьбы. Некоторые из них, расходясь по миру, повторным эхом возвращаются к нам. Друзья, уже оплакивавшие Мадрид, радуются его сопротивлению. Враги, уже видевшие триумфальный въезд фашистского диктатора в

покоренную столицу, разочарованы и удручены.

Ослабла угроза столице? Нет, не ослабла. Нисколько не ослабла. Но, с другой стороны, можно с полным основанием сказать, что сейчас фашистам брать Мадрид не легче, а намного труднее. И, если им даже удалось бы сейчас как-нибудь двигаться вперед, они будут еще страшнее ломать, крошить себе зубы о каждый квартал, о каждую улицу, о каждый дом.

Двадцать дней, кровавых, мучительных, напряженных и радостных. Никогда их не забыть!

## 29 НОЯБРЯ

В городе тихо. Слышна только артиллерийская стрельба — у баррикад и окопов перестрелка почти прекратилась. Воздушные бомбардировки тоже стали гораздо реже — «курносые», республиканские истребители, все больше вытесняют фашистов с мадридского неба.

Это показалось сначала отдыхом, передышкой. Но к концу дня секрет затихья раз'яснился. Крупные силы мятежников в сопровождении артиллерии и танков ринулись на северо-западные пригороды Мадрида, прорвали слабые, неплотные охранения колонны Барсело и атакуют район королевского парка Эль Пардо.

Удар ясен, — отчаявшись в любовых штурмах, мятежники решили охватить Мадрид с флангов и прежде всего отрезать его от Гвадарамы, задушить горные отряды, заставить их сдать, лишить Мадрид резервуаров питьевой воды и главных источников электрической энергии.

Они, кроме того, хотят вытащить мадридцев из городских стен в полевою обстановку, в которой они, фашисты, были до сих пор опытнее и сильнее.

Борьба принимает новую форму, нужны новые силы, новая выдержка, новая кровь, новые нервы.

*(Окончание второй книги следует)*

# Стихотворения

## ЭМИ СЯО

★

### ВСТАВАЙ, ПӨЭТ!

Вставай, поэт! Не время, тая,  
Вздыхать в краю красивых снов.  
Кровь льется на полях Китая —  
Кровь тысяч молодых бойцов.  
Быть в их строю — обязан каждый!

Пока не можешь ты стрелять,  
Ты можешь песню им создать:  
Поэт, ты утолишь их жажду!

### Я ПОМНЮ

Я помню старый дом и молодость былую:  
Всходили рядом мы на стену городскую,  
Сливался с небом голубой поток,  
Далекий парус плыл, как золотой листок.  
Отец мой говорил неторопливо:  
«Так наша жизнь течет — глубокая река.  
Взгляни, на берегу цветет большая ива —  
Я выходил ее из нежного ростка.  
И новая весна придет — еще чудесней,  
И долше будет звук высокой нашей песни».  
Я к голосу отца всей памятью прильну —  
И вижу: как живой, стоит старик на склоне...

Как можно допустить, чтоб вражеские кони  
Топтали в прах прекрасную страну!

*Перевел АЛЕКСАНДР РОММ*

★

### КРЕСТЬЯНИН

Зарево вечернее по небу пролетело,  
Солнце вечернее уходит в горы — спать.  
Рис в амбарах кончился, а жатва не поспела,  
Только южный ветер осталось нам глотать.

Деревня затихает, луна выходит в небо,  
Снуют рыбацьи лодки, река ровней стекла.  
Вся наша жизнь голодная, без риса и без хлеба,  
Японскими подковами растоптана дотла.

Убивают маленьких, жгут дома и всходы,  
Жаль несчастной родины, тяжело быть рабом...  
Вся надежда наша — придет звезда свободы.  
Она сожжет японцев и мир введет в наш дом.

### БОЕЦ

Заря цветами легкими играет на восходе,  
Звезды в небо спрятались, свет луны погас.  
Рыбацьи лодки — с песнями домой к утру приходят,  
Веселый южный ветер обдувает нас.

Эй, синяя гора моя, зеленая вода моя!  
За горами горы — высокие хребты.  
Младшая сестренка! За вершиной отдаленной  
На японской фабрике сегодня гнешься ты.

Смелее, сестры, братья! Поднимайте знамя,  
Распрямяйте спины — близится ваш час!  
Наш лес в глухое небо бросается ветвями,  
Мы самолеты вывели, мы выручаем вас!

*Перевел АЛЕКСАНДР РОММ*

# СЫН ТЫСЯЦНОГО

ПОВЕСТЬ ОБ АВТОРЕ «СЛОВА О ПОЛКУ ИГОРЕВЕ»

ИВ. НОВИКОВ



## I

Был год от сотворения мира шесть тысяч шестьсот девяносто третий, но мир не казался старым и дряхлым. Все в нем было в движении: времена года и полевые труды; набег кочевников и ратные подвиги; песня, любовь. Реки, полные рыбы, текли по дремучим лесам, испещренным тропами осторожных зверей, оглашаемым пением птиц. Они текли только к югу, к синему морю. Но люди ходили и за море. Оттуда была привезена и новая вера. Еще по-молодому дышала она, радуя глаз благолепием службы, пробуждая какие-то новые мысли и чувства. Только старые женщины потихоньку твердили еще слова обращения к старым богам и, напевая запретные гимны, чуть шевеля сухими губами, на полях — из колосьев — завивали Велесову бороду.

По торговым дорогам ходили караваны купцов. Это были полукупцы, полувоины, а к границам княжьих владений выходили навстречу тем караванам эскадры дружинников. Торговали с Востоком и Западом. Запад знал уже Русь, засылал и послов, и сватов: какая-то новая могучая сила росла по Днепру, пробивалась и к Дону, на великой Волгреке громила болгар. Эта «древняя Русь» была юною Русью, крепнувшей, наливавшейся соками, ищущей формы здорового и полноценного своего бытия.

Веселые города стояли уже по рекам. Храм на холме, узорчатый княжеский

терем, службы и погреб для привозного вина и для родимых медов, огороды, луг и конюшня. Впрочем, конюшен и конюхов было множество: жизнь не стояла на месте, и на седле было как-то ладней и уверенней, чем на скамье. За стеною кремля, ограждавшего княжьи постройки, домашние княжьи уголья, шумели базары, рынок с лотками; звонкоголосый шел говор от края до края, торговали с'естными припасами, тканями, колесами, кожею, салом и медом, изделиями мастеров и ремесленников. Со слюдяными оконцами избы, с крыльцом и двором, клались то в улицы, то в перебивку. Запах навоза и молока, шедший из-за плетней, смешивался с запахами буйной травы. Тропинки бежали под гору. Женщины брали там воду, полоскали рубахи мужьям и отцам; мужчины поили коней, купали коней, купаясь и сами. Носами на берег торчали ладьи — долбленные, узкие, с рыбацкою сетью; на пристанях плавно качались насады — большие, с крутою кормой и загнутым носом, что тебе корабли, — готовые в дальнее плаванье, хорошо просмоленные, с крепкою снастью.

Древняя себе добывала поля, корчуг лесную чащобу. Для дровосека топор сливался с рукой: без топора чего-то ему нехватало, и, как руку, ложась на покой, он закидывал его за голову, засовывая под изголовье. По ночам, когда ветер, огромный и черный, ходил на свободе, старая нечисть вылезала на во-

лю: не было ей угомону. Но дома были хоть стены, а вот не дай бог запоздать в эту пору в лесу! За каждой корягой кто-то подмигивал, в каждом овраге кто-то возился и гукал, сучья трещали и впереди, и позади, и над головой. Неуверенно путник крестился и подкреплял крестное знаменье возгласами: «Чур меня, чур!» — или ближе к церковному: «Аминь, аминь, рассыпся!». Но и крестное знамение, и стародавние заклинания эти хоть помогали, да не особенно. А ежели случалось, что рассыпался, то это бывало и того страшней.

Женщины часто видели огненных змеев. Эти летали бесшумно и невысоко над горизонтом, взрываясь, раскидываясь тучею блещущих искр. А коли это бывало над хатой и коли женщина в доме случалась одна, то змей непременно обертывался неким добрым молодцем с невыразимой улыбкой и прельстительной речью; тогда бывали последние.

Так в деревнях новая вера, несшая вместе с собою освобождение от страха первобытных стихий, пускала еще неглубокие корни. Стихии лежали под боком, ворчали, теснились немного, но вовсе не уходили.

Очаги христианства — блистали крестами монастыри. Жили они широко, у них были угодыя, стада, сады за оградой, пчелы в лесу. Там шла своя жизнь, для мирян лишь частично открытая. Между монахов были ученые люди, утверждавшие новую письменность. Народ через нее обретал то орудие, которое позже, уже за стенами монастырей, крепило образованность общегражданскую. По знаниям, грамоте тосковали люди таланта; получить просвещение можно было только в монастырях.

В Чернигове, в Новгороде-Северском, в стольном городе Киеве шла слава о знаменитом монахе — Кирилле из Турова, что, удалясь от общежития, уединился в затворе, в столпе. Туда же, в свою отрешенную башню, перенес он с собою множество книг для работы. Молитвы, которые он составлял, были тихи и сладкогласны: казалось — в них ангелы реют крылами, но в проповедях

и в поучениях билась, играла, сверкала жаркая кровь, образ теснился за образом, и поэтическая битва гремела подобием настоящих боев. В башне он, впрочем, и не усидел, с великою страстью отдавшись тем распрям, которые возникали не в редкость между князьями и духовенством: две эти силы крепили одна другую, но порой и соперничали.

Князей было много, племя их было многоветвисто: роды одни враждовали с другими; заключались союзы, целовались кресты, и крестное целование это нарушалось в обычай.

Одни из князей — те, что постарше, — были важны, строги, благочестивы; порой дипломаты, а то и ученые. Другие, сидевшие по городам значения среднего, были попроще. Эти больше клали в основу блага мирские: любили поесть, неумеренно выпить. Охота, церковные праздники, свадьбы, крестины и именины — были их красными днями. У них был задор друг перед другом, и чужое всегда манило, прельщало и снилось. Считались родами и старшинством, вотчинами: соседу не должно было дремать. Дружили с одними, а потом, глядишь, с ними же и враждовали, заключая союзы со вчерашними недругами. Князья, что помельче совсем, тонули в умеренной славе середних князей. Кровь играла у всех горячо; кони готовы к походу всегда; дружина отважна: бедовая дома — в походах славно дралась.

В этих княжьих домах особенно строго блюди — не благочиние, не домашний порядок, а блюди в них — права, следили наследование: каждому было в охоту — подвинуться выше. И когда умирал киевский князь или черниговский князь, или галицкий князь, то едва ли не каждый в думах своих почитал лишь себя самого настоящим, достойным преемником. Однако ж на деле выдвигали из близких кого повидней и кто посулил больше выгод. Два или три таких соискателя, домогаясь стола, билась уже между собою, а сторонники их скрещивали, идя стеною на стену, короткие копья, гремели большими мечами. Братняя кровь разливалась потоками, деревня стонала, гибли поля.

Правда, что с роздыхами, но усобицы эти налетали, как бури, как попускание божие. Искала порядка и лада земля, и не находила, точно покой был ей заказан.

Между князей бывали и умницы, светлые головы. Помнил народ Мономаха — Владимира, и про него пел сказания, как и про Владимира Красное Солнышко. У Мономаха отец разумел пять языков, мать его была дочерью византийского императора Константина. Через Владимира шла на Русь письменность, устанавливался порядок — и между князьями, и в торговых делах; заговорил закон о холопах и бедняках-наемниках — «закупах». Во времена Мономаховы же строились церкви, составлена наша первоначальная летопись, сам он писал Поучение детям.

При нем и извечным врагам, кочевникам-половцам, доставалось зело. С тех пор, как на Стугне-реке в сражении с половцами, при переправе через коварную речку, весной утонул его брат Ростислав, юноша нежного возраста, Владимир дал клятву: половцев бить; и бил их нещадно.

Были князья и другого размаха.

Олег Святославич большие морщины провел по Русской земле. Будучи вытеснен из города Владимира, что на Волыни, он удалился в Тмутаракань, к Азовскому морю. Раньше там жили хозары и много других полубродячих племен, вкраплены были угры и готы, поселялись и русские, издавна тяготевшие к Азовскому морю; так, уже при Владимире, Русь окрестившем, Тмутаракань совсем было стала русскою вольной землей. Часто туда направлялись князи-изгой, жили, княжили, набирали войска из кочевников и на родину шли — отыскивать правду неправдой. Так бушевал и Олег, и Мономаху приходилось его усмирять, когда он вторгался на Русь с половецкими ордами, уже прочно в ту пору взявшими власть в Тмутаракани: теплая зелень Азовского моря осталась у русских только в воспоминании.

На Нежатиной Ниве прохладною осенью, на третий день праздника Покрова богородицы, произошла боевая первая встреча Мономаховичей с Ольго-

вичами. С Олегом шел его двоюродный брат Борис Вячеславич; на стороне Мономаха — четверо старших князей.

Даже Олег испугался.

— Не выступим, — он говорил: — где стать против стольких? Пошлем к дядькам просьбу о мире.

Но Бориса манила бранная слава:

— Стой да гляди. Хочешь, я и один выйду противу всех.

Борис был убит в этой битве. Но также убит был и великий князь Изяслав. Довольное время спустя старший сын его Святополк распорядился из Новгорода отвезти тело отца в стольный город Киев, куда его и доставили, ко святой Софии, на золотом шитых понах между коней-иноходцев.

Так пали жертвы и с той, и с другой стороны. Битва с кочевниками, а князья русские, родичи, погибли — врагами. Память о прошлом живет, горечь от распрей не умирает. И внуки Олега, ныне живущие, помнят буйную жизнь беспокойного деда, которого молодой Тимофей, на язык подчас дерзкий, прозвал «Гориславичем».

Но у Игоря-князя сей Тимофей уже давно прижился и в княжьей семье будто как свой. Он многое знает, и с ним разговор — не пустой разговор.

## II

«А поганые жают и жают Русскую землю, как дикие пчелы, как ярые осы!» — так намедни все тот же сказал Тимофей, и так сейчас думает Игорь — теми самыми словами сына старого тысяцкого Рагуила, бывшего тысяцким же еще при отце его Святославе, когда всею семьей жили в Чернигове. Куда, однако ж, пропал Тимофей? Надо бы было послать его за отцом... Все было готово, и Игорь решал поход на сегодня.

Недавно пошел ему год тридцать пятый. На взгорье вступает жизнь Игоря Святославича, князя в Новгороде Северском. Можно взглянуть и назад, можно взглянуть и вперед. Год как женился, но жениться решился не сразу. В беспокойные ночи, после кончины первой жены, когда сон отлетал от несомкнутых глаз, не раз он, покряхтывая,

думал во тьме: а не старость ли стала у изголовья? Пробовал руку, как бы сжимая рукоятку меча: рука была крепкая. Телом он также не был тяжел: умеренно пил, умеренно ел. Жизнь проходила в походах; он крепко любил свое ратное дело: оно молодило. Нет, жизнь довольно еще впереди! И вот зазвенел — и в терему, и на дворе, и по саду — ясный, как колокольчик, девичий смех. Уже год, как жена, а смешлива, ровно дитя.

И, вспомнив свою молодую жену, Игорь потрогал рукою усы, мягко спадавшие в бороду; борода была русой, волнистой; аккуратно подстрижена. Жену его Евфросинию звали все Ярославной-княгиней. Где Ярослава? И где ж Тимофей? Никого не слышать. В хоромах, по-праздничному, после пиров была тишина.

Весеннее солнце играло в струях широкой Десны, катившей к Чернигову свои полные воды. Свежие, влажные ветры издалека лыли от Дона. Луга были зелены, но зелень сама еще не колыхалась, лишь на горизонте заметно над травами зыбился воздух, прогреваемый солнцем. Ноздри Игоря, как у коня, трепетали, ширясь, спадая: сиянье весны, близкий поход.

Терем стоит высоко над рекой, саженой, может быть; на сорок: даль. И с той высоты, как со взгорья собственной жизни, глядеть бы — только вперед. Эти слова о половцах, жалищих Русскую землю, прямо зовут, и, не медля, перекинуть ногу в седло, но они же и сами — жалят, как осы, напоминая кое-что в прошлом: таков он всегда — молодой сын Рагуилов!

Сын Рагуилов скор на слова, когда отвечает. Но вовсе не словоохотлив сам по себе: не спрашивай, так и молчит. Молчит он и с женщинами. Учтивное «да», учтивное «нет» — с Ярославной-княгиней. Слушает песни простонародные и любит читать. Хранит про себя какие-то длинные свитки. А зачем и к чему — это уж дело его!

Сын Рагуилов — хороший учитель, хоть было и не легко с таким сорванцом, как Владимир: с Владимиром было проказ — не перечить. Вот теперь во-

зится с младшим: Святослав подрастает как будто немного разумней. Но и ему ученым не быть. Не беда! Сам Игорь не слишком учен, а ему Тимофей в уме не отказывает; он же не льстит и не поклонничает.

Напротив того, Тимофей ничего не таит, когда спросишь, как если бы был у него талисман: никого не бояться! Такие глаза у него — прямые и ясные; голубые, должно быть, но умеют синеть, словно море. И разве не знал, когда так глядел и говорил о поганых, что Игорь и сам был не безгрешен, что Игорь и сам, как его дед, наводил на Русь половцев, дружил с Кончаком и сеял усобицы: вот и жалят теперь эти слова — совесть в груди.

Усобицы? Да. Не он ли на щит взял город Глебов у Переяславля? И сколько же крови безвинной было пролито в земле христианской! Отец отлучался от сыновей, дочери от матерей, брат от брата, друзья от друзей, жены от мужей своих. Как могло это быть? Все смятено было пленом и скорбью, мертвым живые завидовали... Да не будет отныне сего!

Жена молода, будет скучать. Но он к ней вернется со славой и с успокоенным духом. Довольно о прошлом. У Игоря крепились твердые мысли, и разгоралось мужеством сердце. В обжигающем, плавающим свете весны возникало одно: чем на слова эти ответить, чем ответить на чувства свои? — походом! — походом! Медлить довольно!

Горячие схватки с врагом идут давно. Игорь любил вспоминать, как Кобяка и Кончака громил он за Ворсклой. Но чаще потом русские князи бились друг с другом. И лишь когда в стольном Киеве укрепился князь Святослав, усобицы замерли и половцам туго пришлось. Еще в прошлом году, на Ерелереке Святослав поймал самого хана Кобяка с двумя сыновьями и с ним до семи тысяч нехристей. Ни Ярослав Черниговский, и ни Игорь в тот поход не ходили, но, услышав, что Святослав из Киева выступил, Игорь призвал тогда брата Всеволода да сыновца Святослава Ольговича, да сына Владимира, и решили ударить одни на половецкие ве-



жи. Поход был удачен, но с крупными половецкими силами встретиться не довелось, а Святославова слава гремела повсюду. Было обидно.

И вот в нынешний, от сотворения мира шесть тысяч шестьсот девяносто третий, год безбожный и треклятый Кончак со множеством воинов, еще до весны, стал на Русь наступать. Дивный один с ним шел басурманин, стрелявший живым огнем. И самострелы у половец были такие тугие, что их едва могли натянуть пятьдесят человек. Кончак был силен, но хитростью и лукавством еще крепил свою силу. Он обошел Святославова брата, Ярослава Черниговского, наказав своим послам говорить, что пришел просить мира. Тот поверил коварному хану и послал к ним боярина Ольстина Олексича, а когда обман разъяснился, Ярослав уже остерегся походом итти, боясь за судьбу посла.

Игорь хотел тогда ехать и думал с дружиной, как бы нагнать Святослава. Он говорил:

— Не дай бог отречься от помочи. Кончак и поганые такой же нам враг, как и им. Ты как, Тимофей, мыслишь об этом?

— Пусть живут у себя, — сказал Тимофей. — Пусть нас не трогают, тогда и мы их не тронем. Нам чужого не надо, но нашей земле нужен покой.

Дружина сказала:

— Князь! По-птичьню нельзя перелетать. Приехал к тебе боярин от Святослава в четверг, а сам он идет в воскресенье. Прикинь-ка путь наш до Киева.

— Тогда стегью поедем возле Сулыреки!

Но настала такая мокропогодица, что никуда ехать нельзя.

А Святослав вместе с Рюриком Ростиславичем и со всеми полками был уж в походе. Молодые князья Владимир Глебович и Мстислав Романович шли впереди. По дороге купцы, проезжавшие из земли Половецкой, указали, где стал со своею ордою Кончак. И опять Святослав покрыл себя славой. Грозный хан был разбит и едва успел убежать, а хитреца его, басурманина, что живым

огнем стрелял, к Святославу доставили со всем его снаряжением.

Тут Игорь решил, что нельзя дольше ждать, и все четверо родичей согласно сказали:

— Разве уже мы не князья? Добудем такую же и мы себе честь.

А еще на подмогу себе выпросил Игорь у Ярослава Черниговского ковуевский полк. Земли черниговские были богаты осевшими там своими погаными. В драке они были незаменимы, только надо глядеть, чтобы не изменили, не перекинули вести врагу. Коварный свой нрав они сберегли по наследству от дедов — в теле, в крови.

Как ходила когда-то четверка князей, так и теперь решено было не разлучаться.

Уже ратные стяги в Путивле стоят у сына Владимира, и к нему уже верно из Рыльска пришел сыновец Святослав Ольгович; да и Ольстин Олексич, Прохоров внук, должен туда же притти. А из Путивля — в поход! — навстречу со Всеволодом! Он подойдет через Курск! Праздники? Пасха? Довольно трех дней! Не лучший ли праздник для воина — быть на коне?

Игорь оперся ладонями рук о скамью. Под солнцем она была горяча. Так он помедлил мгновение и, быстро, легко оттолкнувшись, поднялся. Молодой и горячий огонь пробежал по крепкому телу. Почему тишина? Почему никого не видать? Не прилегла ль Ярославна? — уснула? А Святослав с Тимофеем, надо быть, на реке. Все эти трое останутся тут, ко всем к ним вернется с победой, со славой...

Истинно так: в тереме спали. Послепуденный праздничный сон одолел и мамок, и слуг. Ранние стайки тощих еще, по-весеннему легоньких мух быстро снимались, жужжа, со стола, с лужицы кваса. По стенам висели шитые рушники, кафтаны, тисненные золотом. В красном углу гоблескивал щит. В горнице дальше, свернувшись на лавке, на мягком ковре спал Святослав. Он разметался во сне. Губы полуоткрыты. Белевые волосенки кудрявятся по лбу. Руки запачканы глиной. Мелким бисером пот проступал на висках. Млад еще, млад!

Покой Ярославны. Но Ярославны постель и не примята. Она же одна никуда не выходит!

Игорь прошел по всем горницам. Птицы в клетках чирикали, купались в песке и, запрокинув шелковистые шейки, глотали неспешно каплю воды. И Тимофей нигде... Птиц он любил, и за ними ухаживал сам, никому не доверяя. У птиц все было как следует: значит, был и ушел. Нагретые теплые стены дышали смолой. В полутемных снях было прохладней. Кадки, налитые доверху, слабо светились водой. Пахло собаками, куриным пометом.

В раскрытые двери потянул сквознячок. Игорь вышел на волю, на двор. Тонкие, стройные вербы на нем давно отцвели, и, зацветая, кудрявились купы черемухи. Пчелы уже хлопотали над ее горьковато-душистыми прядями. Игорь помедлил на лесенке. Была тишина.

И вдруг он услышал, где-то рядом совсем, смех Ярославны. И смеялась она, не, как всегда, переливчато-звонко, а мягко и чуть приглушенно. Где же она затаилась? И с кем там из девушек радуется?

Смех повторился, и Игорь, тихо ступая, направился прямо к сарайчику, где недавно коза, туго надутая, как бурдюк молодого вина, наконец разрешилась от бремени тройней. Ворота в сарай были полуоткрыты, сквозь дыры плетня в него падало солнце, пестря и рябя сизую мягкую мглу.

Ярославна, присевши на корточки, забавлялась с козлятами. Те пресмешно играли друг с другом. Они угловато поводили плечами, головкой, дыбили ножки. Тут же стоял Тимофей, слегка наклонясь и согнув одну ногу в колене, чуть шевели узким мягким носком сапога по низкому краю кормушки. У старой козы морда была в отрубях, но, покончив с едой, сейчас она дастилась к человеку.

Игорь животных не бил, но любил по-настоящему только коней. Тимофей же, можно сказать, со всеми дружил: телята на улице скакали за ним, неуклюже взметая копыта; коровы, завидя его, глупо-любовно мычали, тараща глаза и

махая хвостом; собаки — те просто в сбнимку! Да и коза сейчас только что не говорила.

Говорил Тимофей. Это для Игоря было совершенною новостью. Он говорил очень складно старую сказку про козу и козлят и про серого волка. Он и шутил, мягко и ровно, от себя прибавляя нелепицы, сам не улыбаясь. Но зато Ярославна смеялась, все так же негромко, легко.

Тимофей слегка напевал:

И принес волк охапку  
Зеленой капусты —  
Зеленой, росистой:  
Зеленей, чем лягушки,  
И мокрей, чем лягушки.

Ярославна смеялась, а Тимофей продолжал:

И рече ей волк:  
«Коза моя! Кума моя!  
Покушай, лада, капусты,  
А я с детками твоими,  
С козлятками,  
Погуляю,  
Грибочков да ягодок  
Посбираю...».

Ярославна смеялась. Козлята играли. — Волк ничего ведь другого не ест, окромя свежих ягод да грибов мухоморов.

Тут Тимофей обернулся и увидел у входа стоявшего князя. На лице Игоря было раздумье, недоумение: как они здесь очутились вдвоем? Больше, однако, он был удивлен, нежели тронут или рассержен.

— Ты и сказки сказывать мастер, — сказал он негромко. — И давно ли княгиня стала дитятем?

Тимофей не смутился. Глаза его оставались ясны, как и всегда. Не сразу ушла разве только задумчивость, нежность.

— Кто долго дитя, тот богу угоден, — сказал он серьезно. — А жены, пожалуй, душу нам, князь, берегут.

— Верно затем, что и мы их должны зело оберегать от волков.

Игорю на Тимофея сердиться не мог, Рагуилова сына Игорь любил. К тому ж он и сам ответом своим был доволен.

Снизу, не поднимаясь, Ярославна взглянула на мужа. Он в воротах стоял, залитый светом, рослый, плечистый. Он на голову выше был Тимофея и на полторы головы самой Ярославны. А сейчас, как сидела она, казалось: князь Игорь как бы уже на коне.

Глаза его, серые, с большими ресницами, снова глядели ровно, достойно. Стройный и легкий, чернявый, с вьющимся волосом, рядом с ним Тимофей выглядел мальчиком. Вот они оба! Мужа немного боялась и крепко любила. С Тимофеем же было легко и пело в груди. Ужели — поход? — расставанье?

Игорь глядел на нее, круглолицую девочку — розовощекую, крепкую, как тугая калина, красная ягода, и ему расставанье каплею горькой росы пало на сердце. «Дотоле дитя — пока сама не с дитятем» — подумал он про себя, но, ничего не промолвив, повернулся, пошел. И Тимофей — следом за ним.

Ярославна осталась одна. Козлята один за другим, утомившись игрой, прилегли, подогнув под себя мохнатые ножки. Коза поглядела на них, на Ярославну, облизала детей, неспешно, внимательно, и, вдруг, отходя, мимоходом, вытянув узкую умную морду, в щеку лизнула и ее заодно.

Молодая княгиня разом вскочила и быстро рукою смахнула слезу.

### III

Тимофей, сын Игорев тысяцкого, хорошо знал историю многих князей, в подробностях знал все про Олегово племя. В последние годы отец стал молчалив, а раньше любил многое порассказать. Сын от него слышал не раз — и живо себе представлял — историю его встречи с молодой киевлянкой, ставшей впоследствии матерью Тимофея.

Великий князь Юрий неумеренно пил у осменика Петрила, ведавшего торговыми пошлинами, и в ту же ночь разболелся. Князю кровь отворяли, но хитрость врачевная не помогла, и через пять дней он скончался. Изяслав Давыдович шел брать Киевский стол. Киевляне послали ему сказать: «Поезжай, князь, в Киев: Юрий умер».

С Изяславовым войском, в дружине, в Киев вступил и молодой Рагуил. Шла троицына неделя, мая пятнадцатый день. В городе было веселье: смерть не любимого князя. Изукрашенный двор его был разграблен; Ра и й был разграблен: Ра е м он называл свои терема за Днепром.

Изяслава встречали с любовью, но он сам был не очень доволен столь шумною встречей. Отряды дружины раз езжали по городу, дабы беспорядок не возрастал.

Рагуил на коне ехал один. Вдруг он заметил дымок, тянувший из окон широкого отъединенного дома. Ближе под ехав, услышал и шум. Рагуил соскочил с коня у ворот и, переступив за порог, увидел, что в горнице происходила крепкая схватка. Красивая девушка, очень молоденькая, простоволосая, в разодранном летнике, стояла на лавке. В руке ее была головня, и она работала ею, как всадник мечом, не подпуская врага. От разлетавшихся угольев, искр убранство той горницы уже кое-где тлело; вот-вот займется огнем. Ярко пылали и щеки у девушки, горели глаза.

Насильник был рослым, плечистым, над дрожавшею верхней губой круто нависли усы. Время для нападения он выбрал удачно, когда никого не было дома. Рагуил кинулся к лавке и схватился за щеку: головня полетела в него. От боли он взвыл и на минуту крепко зажмурил глаза: в глазах было зелено. Однако же он перемог едва выносимую боль и, выхватив меч, между лопаток плашмя ударил сразмаху озверевшего парня. Тот отскочил. Девушка крепко прижалась к стене, раскинув руки, словно распятая; чернела ладонь ее правой руки.

(Знал Тимофей хорошо шрам на щеке у отца и ощупью помнил шершавость материнской ладони.)

— Чертовка богов не хотела отдать!

— Себя не хотела отдать, — сурово прервал Рагуил. — Уходи, пока цел!

Парень тот не заставил себя долго просить. Огонь был потушен, замят.

— Ты крещена? — спросил Рагуил.

— Крещена.

— Как тебя звать?

— Ольгою звать.

— А куда ты девала богов?

Ольга кивнула головой к очагу.

— Ты же их защищала?

После молчания, Ольга ответила:

— Не помогли!

Такая она была и во всем; такой в ней самой был огонь.

Все объяснилось. Старшие в доме вышли навстречу Изяславу Давыдовичу. Служилых людей она сама отослала: старая вера ее была для других скрытою верой, и одна в тишине хотела она помолиться древним богам. А этот все выследил и грозил донести, если она не станет покорной.

Ольга глядела на Рагуила: он ее спас, и как же она его встретила! Так в этот же час она про себя ему обручилась.

Свадьба была веселой и шумной. Но меньше чем через месяц князь Изяслав вышел с полками к Чернигову. Там он посадил Святослава, сына Олегова, и передал ему, в знак дружбы, любви, несколько лучших дружинников. Дружинники не возражали; был в их числе и Рагуил. Скоро он отличился и сделался тысяцким. Князь Игорь теперешний, сын Святослава, был тогда совсем еще мальчиком.

Жизнь молодых была дружной. Но всё до поры. Ждали ребенка. Год прошел, два, а Ольга ходила все легкой. Рагуил заскучал. И молодую черниговку бес подослал к Рагуилу. Он согрешил. Ну, казалось бы, что из того? Мало ли что бывает на свете! Но Ольга как-раз в эти дни ощутила, что долгожданное совершилось: она понесла. Мрачные мысли стали ее одолевать, себя отделила от мужа, ничего ему не открыв. И, промучившись месяц, переждав ледоход, прекрасная, дикая Ольга, что когда-то отвергла богов, не защитивших, — покинула мужа, ее обманувшего. Ночью, тайком — с рыбаками, в челнах — от плеса до плеса — по Десне и Днепру — бежала на родину в Киев к оставленным там девическим дням.

С нею — от плеса до плеса — первое свое путешествие совершил и Тимофей, тогда еще безымянный: было ему от зачатия едва ли три месяца. Таинственная жизнь существа, нераздельного с ма-

терью, и ни одним из поэтов она не воспета. Но не тогда ли еще, в этих сменяющихся ритмах речных струй, то высоких, коротких, то разлившато-плавных, родился в растущем младенце весь его будущий песенный лад? Не оттого ли потом так любил Тимофей реки и воду, и в них находил — и свое умиротворенье, и свой непокой?

Тимофей детские годы свои помнил отлично, но, когда предавался воспоминаниям, трудно бывало порой разграничить, что помнил он сам, что знал понаслышке.

Ольгин отец к тому времени умер. Дом захватили родные, отнесшиеся к ее возвращенью враждебно, грозили ее отослать обратно в Чернигов. Ей не под силу было с ними тягаться. Но она не сдалась и зажила бобылкой одна.

С маленьким было ей не легко. Была жена мужовая, стала вольной женой; хорошо, что не стала женкою полкою: ига работного, рабства она бы не вынесла. Работала дома, была мастерицей на вышивки, клала заплаты на старое платье, научилась плести невода. И наймиткой ходила: была мастерицей тесто заквасить, варила соседям меды, понимала и в солоде: ржаном и овсяном, и ячном. Юные годы ее протекали в довольстве, а теперь, на что раньше только глядела, — пригодилось в нужде.

Ольга в поселке шла за вдову, и Ольгу не обижали; привыкли. Мальчик рос шустрым, понятливым не по годам. Он не думал о бедности, его окружавшей. Мир был велик: княжий терем на горах, поселок торговый, поселок ремесленников; солнце и дали, за городом сразу — леса. Кажется, что Тимофей помнит первую ягоду, первую ящерицу; муравьиные кучи в лесу занимали все внимание мальчика, сам себя забывал; птицы в листве пели согласно и сладко: хоть и без слов, а понятнее слов! В церкви не все было можно понять, а щекот соловья на вечерней заре напоминал, как рокочет струна под искусной рукою певца, исполнявшего старую Боянову песнь.

Воду и птиц больше всего любил Тимофей. Белые гоголи ныряли на дно, степенно плавала чернядь, чайки крепи-

ли воздушные свои паруса. В заводы словно застыли, у княжьих дворов за рекой, гордые лебеди. Про них он слышал от одного старика, что перед смертью лебедь поет, да только не всякому из человек дано то пение слышать. Во сне Тимофей слышал это пение, но оно исчезало в блеске веселого утра.

Мальчик любил наблюдать, как выезжал князь на охоту. Сокольники ловчие ехали на тонконогих конях. У каждого на руке, защищенной перчаткой, ловчая птица. На глаза сокола надвинута шитая шапочка, клобучок; ее не снимают до выпуска. Благородная птица сидит в опутёнках, в них продевается должик, и она тем ремешком пристегнута крепко к перчатке.

Самой охоты Тимофей не видал, был еще мал. Но у него было множество взрослых приятелей. Были среди них два старика — соколиных кормильца, и от них он узнал многое множество интересных вещей. Когда-то и сами они были ловчими, и любили порассказать о соколиной охоте: есть выпуск в подлет, когда выпускают сокола издали и он летит низом; и есть выпуск в угон, если сокол летит за добычей прямо; и называется выпуском в верх, когда сокол перелезает добычу; и другие еще были выпуски.

Но и теперь старики на деле любимом. Помещение для птицы просторно, светло. Есть тут и гнездары, из гнезда добытые малыми птенчиками, и слетки — те, что с гнезда уж слетали, и дикомыты — на воле перелинявшие. Линяние, мыт — требует глаза в неволе и попечения. Кормежка для маленьких частая, для старых всего-навсего раз или два на день. Мальчик любил это зрелище, как смелые, крепкие птицы поодиночке сидят на низких и толстых обрубках: опутёнки и должик, кольцо. Чуть заметно навстречу двинут они головой, а то поведут просто глазом, и в глаза их глядеть — и страшно, и радостно вместе.

С матерью мальчик опять становился ребенком. Мать обрела в эти годы ровный характер. Она полюбила беседу с маленьким сыном. От сердца у нее от-

легло, и не вовсе забыла она старых богов. Хорс и Стрибог ходили по щеду, давая тепло и зарождая самую жизнь; грозный Перун рокотал на вышине; Велес, скотий бог, чаровал игрой на рожке. Так было в сумерки на пороге у входа — после рабочего Ольгина дня и после дня беготни у Тимофея. А вечером, когда мальчик ложился на лавку, мать ему сказывала. Это были то сказки, полные страхов, но со счастливым концом, то долгие песни, снова похожие на струи реки. Ночью и сам с чародеем Всеславом — два волка — Хорсу путь перерыскивали.

Возрастал и бродил Тимофей между ремесленников. Концы разделялись на улицы, и жили там целыми гнездами: кто чем занимался — ютились друг к другу. Там варили железо, делали гвозди, ковали коней; тут жили котельники, литейщики, медники, ножовники, игольники и замочники. Дальше — глину топтали и обжигали посуду; ткали сукно и ряднину, выдывали паруса, козким волосом простилали подушку седла; кожи кроили, шили порты; были сапожники, были особые чёботники; занимались мехами, овчинами, юфтью; мыло варили. К князьему терему ближе, в каменных крепких рядах работали тонкие в мастерстве своем люди: гранили алмазы и лалы — камень дорожное, цветное; серебрили и золотили одежды, посуду и украшения.

Киев велик, и Киев богат!

Рабочий народ голову гнул над работой, а после работы был не очень-то рад гнуть ее перед властью. Однако ж бывало и так.

Мальчику надо было в ученье, надо было к мастеру: можно выбрать любого, но иной путь для мальчика клада судьба. У святой Софии писцы иконные то образа поновляли, то клали новую роспись. Новое диво такое мальчика зачаровало. Рот его открывался, глаза неотступно глядели, забывал о еде. Хитрость иконная была завлекательна. Солнце лило сквозь окна, золоченые двери сияли, и — тишина. Живописец стоит на подмостках, от каменных плит веет прохладой, под кистью ложится лазурь. Мальчик тер краски, ему дове-

ряды. Краски снились и ночью: одна, рядом другая, он их не смешивал; краски тех снов были ясными, чистыми.

Художник повел Тимофея к монахам. И это была и погибель, и счастье. Ольга считала погибелью: как он на свете останется и чем будет жить? И она же гордилась, как мальчик ее начал, играючи, сам себе языком помогая, на белом обрывке папируса, одну за другой выводить замысловатые буквы. И Тимофея взяли монахи в работу, он проводил у них целые дни. Волшебство это было самым большим волшебством: как в закорючках и закруглениях пряталось слово. Мальчик откидывался и закрывал глаза, мокрая тросточка, которую только-что обмакнул, замирала в руке. Он говорил себе шопотом:

— Тот день весь и дошаоли до ночи...

И видел князей Изяслава Мстиславича и Володимира Давыдовича, до самой ночи идущих к Карачеву. «В тот день», — значит, был такой день. И откуда же мне это знать? Я их не видал, и я тогда не жил, а знаю. И открывал глаза и глядел. Перед ним была летопись — лист, залитый мелкими буквами. И перед ним был обрывок листа, где это же самое вывел и он. И теперь стало так, что и летописи можно не видеть, а кто разумеет да поглядит, что уже он написал, также и тот перед собою увидит идущих князей.

Но тогда что же: может ведь он не только писать у другого писавшего, но и сам?.. все, что захочется?..

У мальчика сердце забилось. Он встал со скамьи и больше в тот день не работал. Этот день был большой его день. Он еще полностью этого не признавал, но река его жизни сделала крутой поворот.

Ему было около десяти лет, когда столичный град Киев, мать городов русских, взят был на щит. Одиннадцать князей, во главе с сыном Андрея Юрьевича Боголюбского, Мстиславом, повели осаду. Своего Мстислава, Изяслова сына, киевляне любили и крепко за него бились. Одни лишь «свои поганые» — Черные Клобуки — верны остались себе и предательствовали. Через

три дня, восьмого марта, город был взят, и два дня победители грабили город.

Это были тяжелые, незабываемые дни. Горожан вязали и били, жен отторгали от их мужей и уводили в плен. Дети плакали, расставаясь со своими матерями. Жгли и грабили церкви. Были ограблены Трехсвятительская церковь, церковь Ильи на Подоле, Михайловский Златоверхский монастырь. Можно было подумать, что это владимирцы, вспоминая свою новую Успенскую церковь с ее позолотою и дорогим камнем, хотели, чтоб краше ее не оставалось на свете, и с особым усердием старались испортить драгоценную мусию; но, по счастью, мозаика эта была очень крепкой.

Опьяненные боем, пограбив Золотые ворота, и в них княжью казну, они громко хвастались:

— А у нас-то двое ворот: Золотые ворота да и Серебряные ворота! Был город Киев, а Володимир теперь перее его!

Мальчик с ужасом видел, как дикие толпы половцев поджигали Печерский монастырь на горе. Монахи с трудом потушили огонь.

Весь этот ужас и поругание города соединились с другим — горем непоправимым.

В числе наступавших князей был и северский — Игорь-князь. Ему было тогда всего восемнадцать лет, и, по молодому, был он буен, горяч; и дружину свою не удерживал. Рагуил, перешедший к нему от отца Святослава, теперь был при нем.

Грабить у Ольги совсем было нечего, но она перед дружиною Игоревой дерзко себя повела, обозвала их нехристями, ругала, стыдила, и получила в ответ хороший удар, сваливший ее. Сам Рагуил не был при этом, но, подехав, едва опознал свою Ольгу. У смертного ложа произошло их примирение. Мальчик тушил огонь вместе с монахами и, наконец, добравшись домой, застал эту сцену. Мать повела на него, прощаясь, глазами и указала взглядом отцу. Игорь-князь жестоко спросил, на сей раз, с виноватых и обещал Тимофею кров, пищу и покровительство.

Тимофей читал в книгах о затмениях солнца. Ныне ему показалось, что солнце погасло совсем. На несколько дней он онемел. Все было немилостиво, все было призрачно: мать отошла.

К отцу привыкал, но не привык. И, когда рать князя Игоря отбывала домой, он убежал в монастырь к знакомым монахам и несколько дней просидел там безвыходно. Рагуил почел его за погибшего.

Так и остался он при монастыре, учась, совершенствуясь в знаниях. Так прошло и еще несколько лет. Не раз Тимофея склоняли на постриг. Он не склонился. Он теперь уже многое знал. Книжки открыли ему разные страны, походы князей. Знал, что земля велика и где-то за морем живут чужие народы. Но все это знал он из книг и начинал томиться по жизни.

Киев он очень любил. Город оправился от потрясений. Но у Тимофея впечатление это—свой идет на своих!—задолго незаживаемым шрамом. Из записей монастырских он был осведомлен, что печерские монастырские церкви грабили половцы и разоряли уже не впервые.

Жизнь в монастыре протекала размеренно. Он отгорожен был частоколом. Странноприимный дом был полон убогих и нищих. Среди них были и певцы, исполнявшие старины. Умерших монахов клали в пещеры, как в усыпальницы. Тимофей не любил этот печальный обряд. Иногда удалялся он в принадлежавшее монастырю село Лесники и частенько посиживал там среди леса в прохладной Феодосиевой пещере. Лес был густой, со зверями и птицами: дятлы и полозни бороздили кору, ища насекомых; стрекотали сороки в листьях — неугомонно. Здесь он раздумывал о родной земле и о ее бедах. Главной из них были усобицы между князьями, навыводившие поганых на Русь. При Мономахе было не так. Другие князья его слушались, и горы в стольном городе Киеве были горою для всей Русской земли...

Брат Андрея Боголюбского, Глеб Юрьевич, прокняжил недолго, всего года два. Был темный слух, что его уби-

ли бояре. Новый князь Роман Ростиславич отказался выдать бояр, разгневав тем Боголюбского, и был отправлен в Смоленск. В Киев вернулся опять лишь после Андреевой смерти. Был он кроток и тих, войн не любил и был весьма сведущ во всяких науках. К себе он выписывал ученых людей, греческих и латынских. Они же учили и молодых киевлян, к тому понуждаемых князем.

Тимофея, сына Рагуилова, принуждать не приходилось. Князь отметил и полюбил этого тихого мальчика, одолевшего и латынь, и греческий сладкозвучный язык. Он не знал, как в голове у юнца пенне слепцов и картины древних троянских событий сливались в единое целое... Как родится поэт? В тишине, исполненной звуков; в тайных предчувствиях новой страны, куда и сам еще не ступал.

Думал Роман сделать из Тимофея ученого, и мальчик не редким был гостем в княжеском тереме.

Каждый раз книги, прибывавшие из Византии, а не то от ученых болгар, принимал и расценивал тот книжник-монах, который теперь Тимофея не отпускал от себя. В княжских хоромах, с их переходами, лестницей, крытой сукном, с дверью из меди, а на двери кольцо, с помостом для князя и балдахином, — имевший вид послушника мелодий Тимофей ничуть не терялся. Безвыездно пребывая в Киеве, сидя в монастыре за древними книгами, он побывал при дворе многих владык. Великолепием трудно его изумить.

Поначалу он отвечал односложно-учтиво то «да», а то «нет»: больше не требовалось. Но однажды спросили побольше, он и ответил побольше. А потом увидели, как уже много он знал. Как живая, история родины стояла пред ним, и он так же легко шагал по годам и владениям, как и по княжескому лощеному дубовому полу.

Романа сменил черниговский князь Святослав Всеволодович. Уходя снова в Смоленск, тихий Роман звал с собой Тимофея. Но тому было в ту пору уже восемнадцать лет, и именно тишина ему уж довольно наскучила. Святослав

хотел власти и мира в земле, хотел обуздать диких половцев. Нового князя узнал Тимофей хорошо и очень его оценил, но на него был и обижен: тот не хотел его брать с собою в походы и оставлял попрежнему с книгами. Сын Рагуила задумал уйти к отцу. Тот был у Игоря в Новгороде Северском, а Игорь уже ходил в Половецкую землю и бил Кончака и Кобяка.

Была и еще причина, ускорившая этот уход. Тимофей приглянулся княгине Марии Васильковне. Святослав ее взял из города Полоцка, и она много, при случае, говорила об этой земле и о ее древних князьях. Тимофей с детства помнил песенку матери о чародее Все-славе и с жадностью слушал подробности — о князе-оборотне, спутнике его детских снов. Но, когда лукавая Марья Васильковна стала, как бы невзначай, класть свою белую ручку на Тимофееву руку да склоняться к нему своим станом, от которого пышало жаром, он бежал от греха.

Отец его встретил, как из гроба вставшего. Игорь принял радушно. И Тимофей стал заниматься первою грамотой с сорванцом Володимиром.

Здесь было больше досуга, и не всем был Игорь неправ, когда полагал, что Тимофей не только читает... Но сам Тимофей держал это в тайне.

#### IV

Трубы. Поход. Полки изнаражены и изодеты оружием. Весеннее солнце играет на доспехах. Княжья дружина, дружина старейшая, дружина молодшая; копейники, мечники. Люди охочие, люди передовые, доброконики. Знаменщики и трубачи впереди.

Для Тимофея это первый настоящий поход. Игорь всегда относился с сомнением к его воинским навыкам. Но Тимофей на охоте не раз ему доказал, как он метко стреляет. Сестренка его — от второй жены Рагуила, недолго прожившей на свете, — не хотела его отпускать. Веселый, смешливый подросток, она горько заплакала, обняв горячими ручками Тимофееву шею. Он ей был ближе отца, сурового, молчаливого

воина, большого начальника, тысяцкого.

Обняла б Тимофея, пожалуй, и Ярославна, да не посмела. Она упросилась у мужа проводить его до Путивля, и колымага ее также стояла в упряжке. Игорь любил Ярославну. Он рад был с коня видеть ее розовый лик. И он согласился с большою охотой, — не спрашивая себя, почему это так, — чтоб Тимофей под началом отца своего испытал, наконец, настоящую бранную сечу.

Обоз из телег, груженных подвод выступил раньше. Там шел провиант, запасы сулиц и стрел, тулов протых, тулов бобровых, луков, щитов. Поход был обдуман надолго, запасы большие. Конюший неделю не спал. Но перед самым походом он выспался накрепко. Седла, чересседельники, узды и подпруги — всё было проверено, у лошадей все копыта осмотрены, колеса в обозе просалены: и сон его был перед дальним походом — богатырский и крепкий сон. Был боярин конюший несколько тучен, но в седле сидел ладно: прямая обора для Игоря.

Также тучны и сыты широкогрудые кони. Выступили полки тихо и не спеша, силы надо беречь. Путь был изрядный.

Ехали лесами, лугами, угодьями: родная земля, не половецкие степи! По земле неделанной бродили стада, по пашенной зелезела рожь, а в ней проглядывала уже и серая лебеда.

Средь бескрайных полей попадались селишки — у пруда, у реки. Избы были с дворами, с задворьями. На солнышке с веретенами сидели старухи, прялка жужжала им старушечью песню, потемневшую кожу грели лучи боже-ства, ходившего по небу. Ребята возлились в земле и утирали носы, подымая рубашки. Из клетки теленок мычал, и скрипел журавель у колодца. На рядне у амбара жито сушили. Овины стояли пустыми, а на гумне в потемневшей соломе шмыгали мыши. Под вечер тянуло в селишках дымком, суседы перекликались, завидя идущую рать.

Все это Русь. Всюду родная земля. Как ее не любить, не беречь! Как не за-



городить полю ворота, чтобы поганые не делали пакостей!

После Путивля рать увеличилась много. Князь Володимир уже перерос Тимофея. Его голос ломался, срывался, и сквозь грубые, взрослые ноты проскакивал крик — мальчишеский, звонкий. Он больше похож был на своего дядю Всеволода, чем на отца, только Всеволод был невысок, а Владимир уже догонял Игоря. Во всех же повадках, и как держался, — он подражал любимому дядюшке. Святослав Ольгович, его двоюродный брат, сидевший по соседству в городе Рыльске, был года на четыре постарше Владимира, которому было всего пятнадцать лет. Это был лихой ездок, забияка и весельчак, храбрец и торопыга. Игорю только что было в пору с ними обоими справиться.

Сейм разлился широко в этом году — верст на пятнадцать, но вода уже спала, лишь кое-где серебрились между крепнувшей зелени мелкие, нестрашные озера. Все склоны, овраги, расположенные книзу от «городка», обнесенного не слишком высокой стеной, были залиты воинской ратью.

У самой реки расположились в шатрах черниговские ковуи, шедшие в поход на своих степных «сватов» — половцев. Ольстин Олексич, плечистый, русобородый, ходил между этого воинства, смуглого и подвижного, как иноземный владыка, ставший вдруг ханом. Ольстин Олексич их крепко держал в своих честных руках, и Игорь большие надежды возлагал на сих черномазых. А Тимофею все мерещилось, как такие же точно поганые с криком и факелами взлетали, как на конях, к монастырскому частоколу в Киеве... Он им не доверял.

Княжье поместье в Путивле было проще, чем в Новгороде Северском, но погреба были богаты, был терем и теремец, хоромы для челяди. Для Ярославны в тереме дали ложницу особую. С мальчишечьей усмешечкой поглядывал Владимир на свою молодую мачеху, которая была лишь немногим старше его, а между собою два молодых двоюродных брата в словах не стеснялись. Сам город был невелик: немного боярских

домов и господских, и попросту — красивых, добрых домов, а остальное все — избы да хижины, где старики на завалинах бывшие денечки вспоминали.

В памяти у Тимофея крепко осталось: городок на горе, а на стене, на забрале, стоит Ярославна, и то помашет рукою, то приложит к глазам конец головного платка.

У Тимофея конь вороной, тонконогий, порой начинает плясать, требует крепкой узды. Но рука Тимофея, хоть и привыкла больше папирус чертить, все же довольно крепка. Натянет узду, и снова послушен конь. Молодой сын тысяцкого едет поодаль, и мысли, как пчелы, шумят в его голове, и чувства, как ветер, плещут в груди широко и привольно.

«Нет, уж как был на земле вещей Боян, а другого такого земле не сдержать!». Так или около этого слышать не раз приходилось, и он потихоньку, сам для себя, не раз принимался с Бояном соперничать. Но боги Бояна Тимофею приходят на ум, как только одно сладкогласие. Сказки волшебны, пленительны, и Боян умел петь — не хуже, чем пели когда-то сказания Трои, но можно ли петь о себе, об этом походе, об Игоре? А отчего бы не петь?

Уже подходили к Дону, как под вечер внезапно солнце затмилось и стало зелено, как месяц двурогий. В глазах было зелено. Кое-кто из дружинников потом уверял, что на рогах того месяца пламенели яркие угли. Кони остановились, люди многие спешились. Ропот смятения прошел по полкам. Суслики и сурки по степи подняли свист.

— Видите ль вы? — спросил Игорь. — Что это за знамение?

Мужики поникли глазами и отвечали:

— Князь, не на добро это знамение. Игорь, немного подумав, сказал:

— Во всем волен бог. Тайны божией не знает никто. А на добро это знамение или на зло, мы увидим. Садитесь на коней, да поглядим синего Дону.

У Тимофея легкий огонь пробежал по жилам, и холодок тронул корни волос у затылка. Он видел, как между собою ковуи, как чернобыльник под ветром, смешались в одно подвижное гнез-

до. Они коротко скидывали руками, кивали затылками. Безмолвный тот говор был пострашнее звериного свиста. С ними надобно быть zelo настороже! Он приблизился к Игорю и слышал, как князь продолжал говорить о походе на самый конец половецкого поля.

Мужи боялись несчастья, помянули о плене.

— Лучше убитым быть, нежели плененым быть! — сказал Игорь и поднялся в седле. — Едем вперед!

Он сказал это просто и сильно. Тимофей поглядел на него, и невольно блеснули глаза у самого: Игорь-князь ему открывался по-новому. Сейчас Тимофей князем гордился. Что судила судьба — удачу или неудачу, то поглядим, но мужество, честь не умирают!

А в голове записка Бояна, записка своя...

Бакаевой дорогою шли и пересекли Муравскую; перебрали Донец, и у Оскола ждали два дня. С небольшой передовою дружиною прискакал князь Всеволод. Братья нежно любил друг друга и крепко обнялись. Всеволод был очень курчав, коренаст и припадал на правую ногу. Он был лошадытник и немного любил прихвастнуть. Во хмелю его надо было бояться. Не боялась тогда одна лишь жена его Ольга Глебовна. Тимофей не раз замечал, как она еще больше, бывало, над ним начинала подшучивать, а буйный ее муженек хоть бы что! Две вещи любил он на свете: горячо любил он жену — красавицу Глебовну, и крепко любил город Чернигов, где протекло его привольное детство.

Но про коней и про ратников конных его хвастать было нельзя: как их ни хвали, они были лучше всяких похвал. И как только лавиной от Курска прихлынула эта знаменитая конница, всех потянуло вперед, да поскорей!

Степи шли дикие, леса были густы; рычало зверье и брехало зверье; угрюмо с дубов, клювы, как копыя, вонзив перед собою, глядели на всадников вóроны. Какие-то звуки раздавались по лесу, будто условные посвисты: то одного из ковуев не видно, то, следом, другой — как сквозь землю. Ольстин Оле-

книч порою темнел, как туча перед грозою.

Ночь была темная. Где-то далеко скрипели телеги, и казалась — телег было множество.

Ехали степью. Остановились. Враг близок. Готовиться к бою! Ночь стоит долгая. Степь застилают туманы. Полки изнаражены к битве. Слабо поблескивает в бледной заре багрец на щитах. Щиты и щиты: Русь огорожена — в земле неизвестной, среди половецких степей... А родная земля — уже позади! Уже за курганом родная земля!

Еще накануне можно было вернуться. К речке Сальнице приехали сторожа, добыв языка. Они заявили:

— Видели мы половецкую рать. Они ездят в доспехах. Или ступайте скорей, или ворочайтесь домой: время не наше теперь.

Игорь сказал, и другие князья следом за ним:

— Если, не бившись, вернемся, то будет нам стыд хуже смерти.

Теперь изготовились на берегу речки Сююрия. Шесть полков: Игорев полк стал посередине, по правую сторону — полк брата Всеволода, по левую — полк сыновца Святослава, наперед же — полк сына Владимира и полк ковуев черниговских, а шестым полком, всех впереди, стали стрельцы, выведенные из всех других полков. А поганые стояли по той стороне реки.

Игорь утром сказал:

— Братия, мы того сами искали. Пойдем!

Половцы первыми стали из луков стрелять. Но еще Русь не успела перейти через речку, как они побежали. Передовой русский полк погнался за ними. Игорь и Всеволод шли потихоньку, держа строй в порядке. Молодые князья поскакали за половцами. Какая-то сила за ними вослед подняла и Тимофея. Созрела теперь его крепкая, двадцатилетняя молодость. Коней пустили во весь опор. Половецкие вежи-кибитки были недалеко.

Русские воины налетели стремительно, как налетает градовая туча. Палатки взлетали, как пыль, что закружил порывистый вихрь. Тимофею казалось, что

оя как бы слился с конем, и это он сам, четырьмя копытами, яростно бил — землю, добро. Только одно было в памяти — не ударить бы женщину, не затоптать бы ребенка.

Половцы бежали по степи, как птицы, прибитые грозой к земле. Но порою тот или другой останавливался и пускал, припав на колено, злую стрелу. Тут его и приканчивали.

Полон был велик: красных дев половецких сажали к себе на седло; на шею коней и на крупы коней кидали богатые ткани; сыпали золото в сумки, а кожи, шитьем изукрашенные, просто валили под ноги коней.

Отбита хоругвь! Князю ее! Святослави вичу! Игорю!

Тимофей без вина захмелел.

Как вернулись с погони, хвалились:

— Пойдем теперь за Дон и там победим! А потом пойдем в Лукоморье, куда и деды не хаживали, и возьмем до конца славу и честь.

Игорь принял хоругвь и стал говорить:

— Бог дал нам победу. Мы видели полки половецкие, да все ли здесь они были? Не лучше ли выступить ныне же в ночь, а остальные за нами пусть идут поутру.

Но отвечал Святослав:

— Далече я гнался за половцами, и мои кони устали. Если поеду, отстану в дороге.

И Всеволод его поддержал. Решили заночевать.

Ратники скутали доспехи в сумы. Хоть и жестко, но все ж кое-что есть в головашках. Тихо. Как будто пустыня. Дозорные стерегут сон усталых бойцов. Тимофею не спится. Рассеялся жмень. Усталость забыл. В походной суме две любимые книги — о сечах троянских. Не читать же в боях... Так зачем он их взял? Неужто для плена?

Он поднялся на локте. Все была тишина. Дремлют хоробрые Ольговичи. Как далеко соколы залетели! Нет, да не будет ни поражения, ни плена!

Что это? Шопот? Точно бы там, в стоянке ковуев, промелькнула и скрылась зыбка тень. Но опять — тишина.

Может быть, так — показалось! Нет, черный ворон, половчанин поганый, не будет тебе на обиду отдана Русь!

А далека родная земля! Уже за курганом — родная земля!

## V

И уже за реками, и за степями родная земля... И голоса не достигнет человеческого, и птица с кровли родной не долетит!

Игорь в плену. Войско разбито. И Тимофей — со своим князем — в плену же. И горькие думы на сердце. И много дссуга для горьких тех дум. И на сердце вскипает любовь, и жжет его ненависть. И ненависть эта снова питает любовь — к далекой оставленной родине.

Плен!

Короткое слово, но едва ли есть более горькое слово.

И, однако же, жизнь не сдается. Мысли о будущем — кто их может у человека отнять?

Уже два минуло месяца после той ночи, как, опершись локтем о сумку и локтем чувствуя сумку, он сквозь тревогу и беспокойство ночное про себя утверждал, что не будет половцам на обиду отдана Русь, и вот обида — пришла!

Когда их везли — уцелевших, немногих, к великому Дону, к синему морю, куда так стремились притти победителями. злая поднялась обида в этой проклятой троянской стране. Родные места вспоминались с тоской. Отец был убит на поле сражения. Ольстин Олексич пропал: едва ль его не прикончат свои же ковуи. Игорь был ранен, и все четверо Ольговичей — чего так боялись! — настигнуты пленом.

Есть теперь время все вспомнить, памятью все перебрать. Ночью не спится. Жара. Но вот ветерок — с Дона или с моря. Рядно заколышется, в щель глянет звезда.

Вот он — конец половецкого поля! Вот завершение пути — постыдного, долгого, на рабьем седле! Где лихой Святослав? Где мужественный воин — умница Всеволод? Игорь в соседнем

шатре, и Владимир в другом соседнем шатре.

И нынче опять бессонная ночь. Тогда, в эту пору, полки еще спали. Коротким раздумчивым сном забылся и Тимофей. И услышал: тревога, рожок! Кони заржали. Рассвет был багрян. Черные тучи шли с моря, и погромыхи-вал гром. Надвигалась гроза. Половцев было несметное множество, и русских они обходили кругом. Еще можно бы было бежать: княжких коней ни одному не догнать из коней половецких!

Лагерь проснулся. Сон отлетел. Стояли князья и говорили:

— Ежели сами мы побежим, а черных людей тут оставим, так будет нам грех.

— Этих предавши, уйги — будет нам грех.

— Или вместе умрем, или живы останемся вместе!

И так порешили: в пешем строю идти до Донца. И пошли биться.

Так прошел день, суббота, но и ночью шли с боем. Не отступили. А на рассвете в воскресенье дрогнул ковуевский полк и побежал. Всеволод с кучкой дружины храбро стоял наперед бившихся русских.

Игорь еще накануне ранен был в руку, и потому был на коне. И на коне кинулся он за ковуями: вернуть побежавших! А как понял, что оторвался, тотчас назад поскакал: думая, вынесет конь!

Часто теперь вспоминают они эту битву в горьком плену половецком. Игорь недавно рассказывал, как в одной битве Андрей Боголюбский так же вот от своих отделился и окружен был врагами. Раненый конь вихрем пронес его мимо тучи камней, что сыпались на него с городской стены, и мимо рогатины, кою немец один хотел пронзить князя. А вынеса господина из битвы, тут же и пал тот конь. С честью его похоронил Андрей над рекой Стырем. Игорь, как мчался к своим, того коня вспомнил. Но бог на сей раз рассудил по-иному: не спас своего седока Игорев конь!

Тимофей, как сейчас, это видит. На всем скаку Игорь снял шлем, чтобы

свои не ошиблись, признали. А тут его, на расстоянии выстрела, и переняли, схватили.

Сын Рагуилов все помнит. Он помнит и сечу, и Всеволода на борони, забывшего все: и город Чернигов, детские годы свои, и красавицу жену свою Ольгу Глебовну. Тимофей бился и сам, но в голове его в звоне сечи, как встречный стремительный ветер, пронеслось видение: бой на Нежатиной Ниве, о котором не раз он размышлял: гибель князей и разорение мирных селишек — таких же, как те, что столь недавно они проезжали... Он помнит: закрыл на минуту глаза, и — свист копья половецкого, и самый тот свист как бы по коже провел борозду... Биться и биться! У Всеволода уже нехватало оружия, но бился и бился, идя кругом озера.

Безымянное озеро это было, как море, и в море том гибли, сжав зубы, без крика, полки. И безызвестная речка, такая ж проклятая, как эта река долгого плена, — Каяла-река! И в этой «Каяле» гибли и люди, и обоз, и добро...

Так пали знамена Игоревы. Немного людей уцелело. Ханы, осклабясь и запустив короткие пальцы в курчавые черные бороды, делили князей. Игорь простился со Всеволодом: его захватил Роман Кзыч. Хан Елдычук увел Святослава, Чилбук и Копти Игоря между собою делили и Володимира.

Но Кончак поручился за Игоря: и бился когда-то они, и дружили.

Игорь сказал:

— К тебе я пойду только с сыном. Без сына мне плен зело будет тяжел.

Кончак на решения скор:

— Можно и с сыном!

И грозен Кончак: никому его слова из ханов других не послушаться. А уж князья Всеволод и Святослав были далеко!

Долгой дорогою Игорь был мрачен. Владимир глядел по сторонам злыми глазами: обида горела на сердце за поражение. Владимир не слушал отца. А Игорь терзался и говорил, что не достоин он жить. И опять особенно мучился, теперь уже вслух вспоминая, как сам он жег Русскую землю. Вот они — осы!

Он говорил, что его бог наказал. Какова же теперь его жизнь?

— Где брат мой любимый, и другого брата где сын? Где мои дети? Где бояре думающие? Где мужи храбрые? Где порядок воинский? Где кони и оружие драгоценное?

Тимофей это слушал, но ему и самому было горько, а в голове рисовались виденья — одно другого черней. Какая теперь густая печаль течет по земле Русской!

Сын Рагуилов на минуту забылся. Но не прочен волнующий сон; тотчас же он и прервался. Заря. И что-то шумит и звенит издалека. Что это? Тот же все звон минувшей сечи... Вот, припадая на правую ногу, бьется, как буйный тур, Всеволод... вот Игорь стремится вернуть полки в бой...

Столько раз вспоминал, столько раз про себя нашептывал:

— Игорь полки заворочает, жадь бо ему мила брата Всеволода... Бишася день, бишася другой: третьяго дни к полуднию падоша стязи Игоревы...

Если бы это все записать... Но на чем?..

Время придет: будет записано! И так же прочтут, как и он мальчиком когда-то читал:

«Тот день весь идоша оли до ночи...».

До самой ночи шли те два князя к Карачеву. С тех пор, как увидел их, совершающих этот путь, так видит их и доньне. И так будут жить Игорь и Всеволод, и вся эта битва. Он все это помнит в тех самых словах, что в нем возникали, как песня, как музыка. В них было волнение, чувство, в них высказывал мысли, с которыми жил в бессонные долгие ночи. Вернется — запишет. А пока все твердит и твердит про себя...

Горсточка русских в чужом половецком плену, и как далека стратотерпица родина! Вернуться и спеть бы на воле...

Но затмение длится. Оба солнца померкли — Игорь и Всеволод, и молодые месяцы с ними — Володимир и Святослав. И вся отцовская слава и дедова слава тьмою поволоклись.

Но, странное дело: он часто слагал и доселе напевы, и часто они бывали шутивы, пел Ярославне про волка, козу и капусту, но над весельем и шуткой веяла грусть; теперь же все то, что твердил про себя, было печально, темно, но все это было ему — как опора. Слова и напевы подымали его. Он видел и знал, что гибель родной земли отвратима. Все устремление было — через затмение к солнцу! Казалось ему, что в руках его меч-кладенец, и мечом тем чудесным была его песнь.

Тимофей хорошо знал, что в летописях говорила нередко народная мудрость. Он любил их неторопливую речь, скупость и сжатость ее. Он очень ценил и летописную правду. Пусть и в бесстрастном повествовании бывали порою пристрастия, и летопись — дело рук человеческих! Но все это дышало движением жизни, за каждым событием — люди, дела.

Однако ж любил Тимофей и складную сказку. Журчала она, как вода, и мерно баюкала душу. Только качнуть головой, сделать движение пальцами, и сами собой размыкаются губы, льются слова.

Мальчик с детства запомнил, как на жестоком огне ковалась плавкая сталь и как ее холодом закаляли. Позже он думал: так и отвага крепит вскипающий пыл. И вот что-то подобное происходило теперь и в нем самом. Этот поход в нем разбудил нечто новое. Плавкая мягкость стиха обтекала суровую жизнь. Песенный лад, песенный жар закалялся неистребимую правдой. Он в себе ощутил судию, проповедника. Он по-иному теперь понимал творения Кирилла Туровского, отрывки из коих знал наизусть, ибо были они у него переписаны.

Но слова проповедника обращены к внимающим в церкви. С кем же ему говорить? Он обращался к своим, к дружине и братьям. Где они — братья, дружина? Их не было, но неутомимая воля, — высказать все, — как ветер, гнала вперед и вперед.

Да: и он «летописец». Не сказки, не вымыслы занимают его, а деяния сего времени, ратная повесть сегодняшних дней. И никак он — не летописец. Жар-

кая песня, крепкая лепка, вот что он делает: песню-историю. В ней и князья, и он сам с привычными сердцу полетами дум. Кто услышит его? Он верил: услышат! Бывают затмения, но после затмений еще горячее ясное солнце. И все равно, он не мог бы молчать! И в этом впервые его охватившем порыве была великая радость — радость художника.

Она состояла и в том, что он крепко владел душевным волнением. Не конь его нес, а он конем управлял. С детства в себя он впитал мудрый и точный расчет: неторопливой рукой — краска одна и краска другая! Он красок не смешивал, и получалась прозрачность и глубина. Закроет глаза, и строгая мусия встанет перед глазами. И радость найти переход: краска одна и краска другая.

И также искал равновесия повести. Конца еще нет, конец и не мыслится, но он уже есть: что сделано, то половина, и гармоничная ей может быть только единственная, никакая другая. Солнце взойдет, затмение кончится. Как это будет — не знает, но знает, что так это будет, а не иначе. И это крепило: пусть горы, но за горами — синее море, и пусть подземные ходы, но за выходом — солнце!

Нет, Тимофей не знал всего этого. Но он больше, чем знал: это пело в крови, это стучало в груди, это скользило в произвольных движениях пальцев, жаждущих музыки, это сияло порою в глазах, и это шепталось в словах о родимой далекой земле.

Это он плен сокрушал, это вздымал он могучую бурю: это слагалась — Поэма.

## VI

А жизнь шла своим чередом. В полOVEцких шатрах звенела гортанная речь, напоминавшая стрекотанье кузнечиков. Ханская жизнь — или поход, или пиры, простой же народ жил неприхотливо. Но скота было много: кони, коровы, верблюды. До скота были половцы жадны: разводили и свой, грабили в Русской земле. Молоко, мясо и просо; из напитков — кумыс.

Тимофей к ним приглядывался. Мало чем они отличались от хорошо знакомых ему ненавистных ковуев или от Черных Клобуков, живших в Поросье; бродячий инстинкт и тех заставлял — покидать летом селища и мастерить свои вежи.

На вечерней заре часто на горизонте мелькали наездники, согнувшись клюкою над шеею лошади. Потребность в движении была неутолима. Самую походку их не покидала настороженность, готовность к прыжку: настоящие охотничьи леопарды, те самые пардусы, что так были знакомы по книгам.

И пардусово это гнездо снова разлилось по Руси. Гза и Кончак помчались опять делать новые пакости Русской земле.

Поход был большой. Но у ханов был спор. Кончак звал на Киев:

— Там братья наши убиты, и убит наш великий князь Боняк.

А Гза ревновал Кончаку и говорил: — Пойдем на Посемье. Там остались одни жены и дети. Это готовые пленники. Там мы без страха займем города

Со стесненным сердцем слышал Игорь эти злые речи кровожадного и бесстыдного хана. Тот злобился и на Кончака, захватившего себе двух князей. Кончак не хотел итти в область Игореву, и сказал:

— Не пойду воевать жен и детей.

Из этих двоих — у Кончака была удаля, и был он могучее всех. О доброте говорить не приходится, но он бывал добродушен порою, и Игоря Святославича уважал. Кроме того, у него были какие-то свои мысли, как иногда вскидывал косым глазком на Владимира и на свою бедовую любимицу-дочку. А у Владимира глаза давно перестали быть злыми, молодость брала свое.

Ханы поссорились, и хоть выступили вместе, но каждый потом выбрал свой путь.

Вести о набеге их время от времени достигали Половецкой земли. Поход был удачен, и половцы радовались. В вежах теперь оставались женщины, дети и старики. Летний жар умерялся прохладой, идущей от моря. Да и степи были из-

резаны речками. Каяла-река, на-  
стоящая, текла в берегах, налитых  
до краев. Она шла, как канал, прямая,  
глубокая. Ни песку и ни глины.

Каяла славилась раками. Игорь лю-  
бил их ловить в камышах. Раки были  
огромные, чуть не до локтя. Тимофей  
поощрял эту страсть. Игорь был мра-  
чен в плену, думы его не покидали, а  
тут иногда возьмет да и пошутит:

— Криво рак выступает, да иначе не  
знает!

Но шутки такие были редкими шут-  
ками.

Порой Тимофею, когда он бродил по  
степи, уставленной каменными бабами,  
приходило на мысль: «А не бежать  
ли?». Но мысли той не сказывал он  
никому.

Молодость, жара и безделье. У Туг-  
ля-князя была молодая жена. Среди  
черных, хоть и хорошеньких, но с при-  
косью, половчанок она выделялась, как  
далекая дева севера. Волосы ее были бе-  
локуры, глаза голубые. Взята она была  
с моря из поселения готов, была вели-  
кой насмешницей и напевала веселые  
песенки о поражении русских. Впрочем,  
отчасти эта задира кокетничала. Тимо-  
фей ей понравился с первого разу, и  
Тимофей был христианин, как и она  
сама была христианкой.

Тимофей слышал однажды, как, раз-  
резая маленький хлебец, что-то она бы-  
стро говорила про себя, раза два повто-  
рив:

— Хлайб... Хлайб...

— Откуда ты знаешь русское сло-  
во? — спросил Тимофей.

— Это готское слово.

— Нет, наше!

— Тогда это вы от нас переняли.

Она побежала в палатку и вынесла  
древнюю книгу.

— Ты ученый и ты христианин. Ты  
помнишь, как Христос накормил пятью  
хлебами...

И она быстро нашла нужное место.  
Прочла.

— По-готски я не понимаю.

— Но ты слышал: хлайб, хлайб?

Она кое-что знала, молодая жена  
князя Туглия, и рассказала про Вуль-  
филу, давнего просветителя готов.

— А что значит: Вульфила?

— Молодой волчок, — сказала она,  
рассмеявшись. — Как ты: молодой  
дурачок! — И слегка, с озорством  
и кокетством, хлопнула его по ще-  
ке.

Князь Туглий с другими ханами  
уехал в поход. Молодость и жара. Же-  
на князя Туглия и Тимофей стали  
встречаться. Прошли времена, когда  
юный послушник сбежал от княгини  
Марии Васильковны.

Часто теперь по вечерам Игорь про-  
водил время с Тимофеем. Игорь печал-  
овался, что не обдумал поход, пона-  
деялись они на одних себя. Надо было  
ходить со Святославом. Он старший, он  
за отца. Часто, бывало, он говорил: «Я—  
старше Ярослава, а ты, Игорь, старше  
Всеволода, а теперь я вам остался вме-  
сто отца». И Игорь сам называл его  
батюшкой.

Князь Игорь и молодой сын тысяц-  
кого — оба судили-рядили, как будет  
на родине. Тимофей разгорался. Он  
слал упреки князьям, он говорил почти  
теми словами, как слагались они в его  
песни.

Игорь качал головой:

— Святослав теперь, знаю, собирает  
князей. Кабы ты был на Святославовом  
месте, ты бы их всех распугал. Ты, Ти-  
мофей, очень горяч.

И снова они перебирали князей, дру-  
жину их, славу их. Черниговский Яро-  
слав особенно любил пускать впереди  
своих войск толпы из бродников.  
Это были лихие бродячие шайки, гор-  
ланы и крикуны. Они не нуждались в  
щитах и работали только ножами, вы-  
хватывая их прямо из-за голенища. А  
великий князь Всеволод... Как он на  
Волге болгар разгромил! Да он же и  
по-суху мастер на ратное дело.

— Коли бы он там, — сказал  
Игорь, — рабы и рабыни шли б за  
бесценок!

Тут Тимофей крепко задумался: да,  
Святославу уж никого невместно ко-  
рить, когда сам зовет помогать...

Он ясно представил себе родной ему  
Киев, терем княжий на горах, концы,  
разделенные улицами, пристань, кишя-  
щую вороньем, самого Святослава с его

ранней склонностью к старости (частьенько он плакал), важных бояр, его скружающих. Да, он нашел бы слова от лица Святослава!

Ханы вернулись, шумели. Победа! Но вид у них был, как у бежавших. Кумыс и вино понемногу развязали<sup>1</sup> язык, и стало понятно, что от Переяславля Кончак отступил, убоявшись Святослава и Рюрика, двинувшихся по Днепру.

Гзы с Кончаком, по возвращении, не было. Ставка его была далеко. Так ни Игорь, ни Владимир, ни Тимофей, так ничего и не узнали они о пакостях, сотворенных Гзою в Путивле. Горькая дума брала их всех о судьбе Ярославны, о близких других, там остававшихся, о селах и городах.

Зато из Переяславльской земли в стан Кончака прибыло множество пленных. Вид их был убог. Скорбь и лютая кручина были написаны на изможденных их лицах.

То, что они говорили, со страхом, тайком, было ужасно. Пардусов стая рвала на части страну.

Владимир Глебович Переяславльский, брат красавицы Глебовны, отважный и крепкий в бою, с небольшою дружиной выехал из города и направился к полоцкому строю. Бой был жестокий, но половцы совсем окружили его. Тогда и остальные ринулись из города на подмогу и отняли князя, раненного тремя копьями. И уже в стенах города утер он мужественный пот за отчизну свою.

А когда, испугавшись встречи со Святославом, Кончак отступил от Переяславля, по пути его, в городе Римове, был переполох великий. Римовичи заворились в городе и влезли на заборы, как вдруг две городницы обрушились вместе с людьми прямо к половцам. Прочих же горожан обуял ужас и страх. Кто вышел из города и бился с врагами, тот плена избег, а кто остался в городе, все были взяты.

И Тимофею слышался стон раненого Владимира Глебовича и вопли у Римова.

Про Путивль ничего он не знал, но это — что слышал — легло в его «злато-слово» Святослава. Вот как бы он

говорил, призывая князей биться совместно за родину, за храброго Святославича — Игоря...

Острые мысли, столь же горячие, как и самые чувства, в нем созревали и рвались наружу. Игорь был прав, что этот отважный поход их был прямою ошибкой. Но на ошибках учатся люди, и повторять их преступно. Это ошибки, омытые кровью людей. В этих ошибках — гибель страны. Единенье князей на единой Русской земле! Весь этот поток расплавленной лавы томил его грудь и сушил его губы. Смага на них накопилась. Громким шопотом он призывал к единенью князей, глухо пробормотал о Владимире Глебовиче, о городе Римове. Порою он поднимался и делал движение кистью руки. Неожиданно в здании звуков и слов возник как бы главный центральный покой, увенчанный куполом. Сердце билось, какая-то крепость взята. Он не только художник, он зодчий. И горячая песнь его, ратная повесть близка к завершению.

## VII

Переезжали с места на место. Каяла оставлена. Уже позади и Кагальник. Но Тимофей как-то привык теперь, как увидит новые темные воды, называть их Каялой. И Владимир к тому же привык, и даже сам Игорь.

Реки любил Тимофей и, глядя на эти к а я л ы, представлял себе и Сулу-реку, что когда-то текла струями серебряными, а ныне кровава. И, вспоминая Марию Васильковну, вспомнил Двину, о которой она много ему говорила. И там не спокойно, и там не река, а болото, и там набегают поганые...

После под'ема недавнего он был грустно и мягко настроен. Движение было лучше сиденья на месте. И двигались к Дону, а в его берегах воды текут изда-лёка — родные... Как велики русские земли! Но разве не от поганых литовцев погиб и Изяслав, сын Васильков?

О Полоцкбй русской земле он помнит рассказы Марии Васильковны. И вспоминается детство, Всеслав-чародей. и как засыпал под материнский напев, и перерыскивал путь богу-солнцу... Кача-



ясь в седле, он напевад эти старые сказки, и журчали они, как струи реки...

Жена князя Туглия, белокурая готка; или жена Святослава, Мария Васильковна; или... жена князя Игоря, молоденькая, почти еще девочка, Ярославна? Да, именно ей, одной только ей спеть бы свою эту сказочку.

Но была она женой князя Игоря, значит, была, как картина, была, как видение. Всё.

Владимир-князь успел повозмужать. С Кончаковной он не расставался. Отец молодой половчанки, широколицей и розовой, очень смешливой, благосклонно глядел на возникавшую близость. Грозный Кончак умел быть веселым, приветливым.

Князю Игорю он оказывал внимание всяческое. Неприятностей ему не чинили. Даже напротив. К нему было приставлено пятнадцать человек сторожей и пять ханских сынов, но была свобода его — ездить, где хочет. Сторожа его слушались. Он посылал их, куда было надобно. И своих слуг у Игоря было пять человек. С ними ездил он и на охоту, хоть и не то было с ястребом, как с соколами. Сокол не станет ловить по кустам, он любит высь и простор, а ястреба хоть и именуют утятником, но он и зайчонка готов закогтить. Ловчая птица, да низок полет, и ловит всегда только в угон.

Шли разговоры о выкупе. Возгордившись победою, половцы засылали купцов к Святославу с таким объявлением, чтобы русские князи шли к ним выручать братьев своих, а не то они и за остальными придут. Прислали и роспись: цену несносную. У Игоря были деньги, он многих богато одаривал, но выкупа не мог одолеть. За него просили две тысячи гривен, за других князей по тысяче, а за прочих мужей по двести. Конюший, боярин расчетливый, только стплевывался.

Один Ярослав обменивал пленных половцев на пленников русских, да и Ольга Глебовна, как говорили, также многих выменивала.

Хотел было и Святослав Игоря выкупить, да Кончак погордился: не отда-

вал его прежде, чем выкупят прочих князей и мужей

Шло дело к зиме. Игорь уже и пообносился. Надежды вернуться обманывали. Тогда, отчаявшись наконец, дал знать на родину, чтобы выехал поп со всей службою: душа христианская затосковала между погаными. Поп же привез и одежду — для князя и для его близких.

С родины вести были невеселы. Только сейчас узнали все достоверно про пакости Гзы. Селишки пожгли, народ забрали. Предгородья Путивля разграбили. Внутренний город не взяли, а кромный — острог — подожгли.

— А что Ярославна-княгиня?

— А госпожа с самой зорьки выходит на стену да глядит в ту сторонку, где бедует наш Игорь-князь.

Тимофей закрывает глаза — и на путивльской стене, на забрале, стоит Ярославна, и то помашет рукою, то приложит к глазам конец головного платка. Но Евфросиния Ярославна — жена князя Игоря, Ярославна-княгиня. В этом и всё.

Перешли через Дон, спокойный, огромный. Тут зимовать. И зимовали. К весне стало невыносимо. Князь Игорь поблек. Борода отросла свыше меры. Замечал Тимофей, что к нему стал заходить половчанин Овлур. Овлура он знал. Тот был молчалив, но быстроход. Держался особняком. Что ему надо у князя? Но Игорь молчал. Тимофей не смел спрашивать. Так длилось с неделю. Уже лед верховой прошел на Дону. Тут Игорь не вытерпел. Без Володимира, чтобы не разболтал, призвал к себе Тимофея и конюшего.

— Я родился на страстной. Кормилица мне говорила: «Будешь много страдать». А может, проходит страстная неделя? Ведь и страданиям бывает конец.

Далее он рассказал, что Овлур предлагает бежать: «Если хочешь домой, обещаюсь доставить жива, здорова». Игорь сказал: «Охоты к тому не имею, и не хочу быть неверным порукам».

Так и своим подтвердил теперь Игорь:

— Я не хотел чести своей потерять. С боя мог бы уйти, да не бегал,

и ныне бесчестным путем — итти не хочу.

Но как не хотеть? Зачем бы тогда и рассказывал?

Посоветались, как вышли: а может, подослан Овлур? Надо узнать.

И узнали, удостоверились про того половчанина: человек он был твердый, но был оскорблен от некоторых половцев, а мать его была русская, из области Игоревой.

Узнав про все это, стали они понуждать князя Игоря, но Игорь не принял совета и запретил более о том говорить.

Но запретить запретил, а стали глаза его повеселее.

Весна пришла буйная. Все зацвело и затомилоса негой. Птицы в кустах распевали без-устали. Сердце добрело. И жена князя Туглия поведала маленькому своему «дурачку» великую тайну: Гза и Кончак снова задумали весенний набег, и Гза склонял Кончака, что, если в войне им не удастся, Игоря-князя убить.

Тимофей затаил про себя эти слова, но поведал про дело конюшему. Оба направились к Игорю. И, все рассказав, добавили так:

— Тогда что твоя гордость и славолюбие поможет? Не лучше ли быть на свободе и погубить жизнь со славою?

Игорь решилсa. Овлуру дано было знать. Но все не выпадало удобного времени. К Кончаку часто теперь Гза заезжал, что-то оба они замышляли.

Игоря стерегли и день, и ночь. Сторожа сменялись под вечер. Бегают ночью, но ночью все слышно, а сторожа на совесть следят. Днем же и думать нельзя: всё у всех на виду. В стоянке с каким-то решительным делом ждут хана Гзу. Медлить довольно. На завтра — побег.

Последняя ночь князя Игоря. Он спит и не спит. И так уж которую ночь. Через поля надо добратъся до Малого Донца и его перейти. Там с конем будет ждать Овлур, и — степью, через леса, через реки — домой!

В эту последнюю для Игоря ночь лишь на короткое время сомкнул глаза и Тимофей. Вся его жизнь, детство

и мать, князья, монастырь, сельская Русь, Русь городская, реки, леса, пение птиц, народная песня на торжищах, свадьбах, за зимнею прялкой, — все это встало в видениях, в звуках. Этот побег... Если бы он удался! Он верил в Игоря. Игорь в плену много обдумал, страдания плена его закалили. Он теперь многое знает, о чем раньше не мыслил. Тимофей ему все передал. Игорь одобрил и сон Святослава, и Святославу речь. Выслушав, после молчания, так он сказал, как бы к себе самому обращаясь:

— Быть по сему!

Быть по сему — это: кончить с усобицами; на землю родную так не глядеть: «Это — мое! А то — тоже мое!». И — бить врага в поле, загородить степные ворота острыми стрелами!

И вдруг выплывала деревенская песенка, что запала когда-то на память:

Не кукушечка кукует горегорькая,  
Горюет-то твоя да молода жена...

Князя Игоря Тимофей любил от души. Он любовался отвагой его, ценил его мужество, ум. Он возлагал на князя большие надежды. Он говорил себе: «Затмение кончится. Игорь на Русской земле — солнце на небе! Вот и конец моей повести. Последняя быть наступает...». Но эта кукушечка горегорькая — это она, Ярославна-княгиня... Как же ее, ни на минуту не забывая, он не воспел? Что же это за песнь без нее, без единого женского голоса?

Тимофей не раз уже думал, что если бы слух об осаде Путивля настиг его раньше, то Святослав в его злате-слове о том помянул бы. Как же, зовя заступиться за Игоря, не уронить горькой слезы о Путивле, не попечаловаться Галицкому князю Ярославу, отцу ее? «Коли сидел бы я при Святославе, так бы и сделал»...

И все ж Тимофея эти мысли томили. Так он и уснул, когда на востоке уже побелело. Так и уснул с давнею песенкой, слышанной в детстве:

Не кукушечка кукует горегорькая,  
Горюет-то твоя да молода жена...

Короток был сон. Снился Дунай, детская речка Ярославны-княгини. На Дунае сражение. Копья свистят. И свист этих копий, как музыка; копы поют. И этот Дунай — та же Каяла, и воды ее — воды скорби. И голос кукушки, горегорькой жены. Не Ярослава ль то плачет о муже на далекой путивльской стене? Да, ее голос... Дрогнули веки, ресницы открылись. На небе заря.

И вот в его здании нерукотворном, в поэме его, отворили окно, и, как дыхание ветра, долетевшего с родины, льются в него знакомые звуки — плач Ярославны.

### VIII

На море буря. С моря ползли туманы. Ветер их рвал и крутил. Сразу же после вечерней зари стало, как в полночь. Новая смена пришла, но Игорь задержал сторожей и всем им устроил веселье. Кому придет в голову, что сторожей обе смены, а тут-то как-раз князь и задумал бежать!

Пьяный кумыс заиграл в степной кровушке. Бубны, песни, зурна; певцы и плясцы.

Игорь тайно простился с Владимиром и наказал Тимофею его не покидать. Овлур, сам на коне и с конем в поводу, был уж за Малым Донцом. Уже Тимофей слышал тот свист. Из шатра не выходит никто: князя Игоря нет! Он подошел, князя окликнул. Дрожала земля под половецкими плясками. Колыхалась, шумела трава под порывами ветра. Но вот налетел почти вихрь, и зашатались половецкие вежи. Игорь-князь поднял стену шатра и вылез наружу. Тьма его поглотила. Тимофей остался на месте стоять. К нему подошел один из сторожей и спросил про Игоря.

— Князь почивает, — отвечал Тимофей. — Но сон его крепкий. Он рад, что вы веселитесь.

А Игорь дошел до Донца. Недаром Донец этот называется Малым: вброд перешел его мелкие воды и вскопчил на коня. Поехали тихо. По той стороне реки было немало еще веж половецких. Там все уже спали. Но вдруг Игорь заметил какие-то тени рядом с

собой. Он тихо окликнул. Ему ответали. Это были его личные слуги, пять человек.

Игорь тихо спросил:

— Откуда вы тут и зачем?

— Батюшка-князь, — отвечал ему пленник. — Коли кто остановит, мы при тебе: князь наш изволит гулять! А коли что до чего доведется, так мы за тебя рады и главу свою положить.

Когда миновали последние вежи, простились. Коней рванули. Галоп!

Утром, гардуя на рыжем коне, со свитой на становище прибыл хан Гза. У Кончака держал он совет. Послали за Игорем.

— Князь еще почивает, — ответили стражи.

Еще подождали. Князь Игорь все спал. Заглянули в палатку: князя Игоря нет!

Гза и Кончак поскакали в погоню. За ними поодаль целый отряд половецких мужей.

Володимир в шатре. В отдельной палатке и Тимофей. К обоим приставлена стража. А Игоревы сторожа ждали в страхе расплаты.

Ханы не возвращались три дня. Три дня просидел Тимофей в одиночестве. Князь Туглий был дома. Жена его Тимофея не навещала. Но он не скучал. В мыслях он следовал князю. Реки, как ленты, лежали в степи. Русский Донец разговаривал с князем. Только бы им доскакать до Донца!.. И снова тревожился, и вспоминал, как бывают реки опасны. Как Мономах едва не погиб, при переправе через беспокойную Стугну-реку, пытаясь помочь Ростиславу — юноше-брату, что также бежал, спасаясь от половецв. А то представлялись леса и пение птиц, коих и сам так любил он послушать, в Феодосиевой сидя пещере в монастырском селе Лесниках. И старые думы по-новому в нем оживали.

Сидя в полупотемках, Тимофей думал об Игоре. Но он не забывал и об Овлуре. С Овлуром в последние дни даже он подружился. Скрытный был человек, но в глазах была радость, что возвращается на материнскую родину. Тимофей даже звать его стал по-простому, короче:

— Влур, — говорил он ему. — При- скачешь в Путивль, смотри в мою се- стру не влюбись! Она же теперь си- рота.

Овлур скалил зубы, смеялся.

Если кони падут, волком один добе- жал бы! Но нет, никогда Игоря-князя он не оставит! Игорь, как едет, так и доедет прямо до Киева! И какой же у богородицы Пирогощей веселый звон!

О себе Тимофей не беспокоился. Это чувство и в битве не покидало его. Он всегда о себе мало думал. А в думах не о себе — большая есть крепость. Столько событий и лиц проходило пред ним, и во стольких местах, и все это было, как в половодье река, — народная жизнь!

Вернувшись назад, ни слова не гово- ря, Кончак пошел к веже Владимира. Он был суров. Перед ним расступились, откинули полог. Кончак вступил к кня- зю и при самом входе остановился: он увидел свою дочь. Кончаковна и Воло- димир стояли, обнявшись... Гневно на них нельзя и глядеть.

— Я вижу, что красная девица со- кольца уж опутала!

И смех его, громкий, раскатистый, испугал Владимира больше, чем испугал бы самый гнев его.

Кончак широко раскинул полы ши- того золотом своего кожуха, подперся руками в бока, и черная борода его со- трясалась от смеха.

Позже узнали от сопровождавших, как Гза, кровожадный из кровожадных, требовал смерти Владимиру, а Кончак ему отвечал почти теми самыми слова- ми, что сказал своей дочери: «Ну, еже- ли сокол к гнезду летит, так мы со- кольца опутаем красною девицей!».

Смех Кончака стал понятен. Но те же сопровождавшие рассказали, что в дре- мучем лесу ими найдены были два пав- ших коня, которых признали; надорва- ли, видимо, беглецы своих борзых ко- ней!

Тимофей, впрочем, сильно теперь не тревожился. Главное минуло благопо- лучно: беглецов не нашли, с Владими- ром все обошлось, а новых коней най- дут, и Игорю путь прямо на Киев! Вот и еще одна быль: как между собою су-

дили в погоне половецкие ханы... По- следняя быль, завершение.

Но Игорь коня не нашел. Погоня бы- ла очень близка, да отсиделись они в камышах. Шли теперь пешие одинна- дцать ден, и шли только ночью, пока наконец не добрались до города Донца. Там снова взяли коней и ехали с вели- кою радостью в сердце.

Верст за двадцать до Новгорода Се- верского Игорев конь повредил себе ногу. Час был уже поздний, и, как ни хотелось домой, решили заночевать в селишке Михайловском. Хозяин избы побежал однако же в город и добился княгини. В княжьих палатах долго не верили. Но Ярославна не захотела тер- петь. Села сама на коня и поехала к мужу.

Горожане услышали топот коней. Весть пробудила весь город. Много на- рода за княгиней поехали, а еще того больше пошли просто пешком.

Было самое раннее утро. Игорь толь- ко-что встал и, как был, в легкой оде- жде, выскочил навстречу жене. Народ глядел со слезами, как обнялись они и говорить не могли от радостных слез.

Игорь целовал и вельмож своих, и не- медля весь поезд направился в город. По дороге все время встречался народ. Люди с женами и детьми вышли на- встречу, по домам оставались одни раз- ве больные. В городе ударили красным, малиновым звоном. Лица у всех были светлы.

Тотчас по приезде, едва отдохнув, Игорь оповестил всех князей о своем возвращении, особливо же Ярослава Черниговского и Святослава в стольном его городе Киеве. Игорь благодарил за охрану земель, напоминал и о пленных, чтобы их выручать. И говорил о новом походе. Как Святослав, в песне у Тимо- фея, так и Игорь, сам по себе, распоря- дился: с князьями вел разговор.

Еще погода, как окреп, поехал в Чер- нигов к Ярославу сам — просить его помощи. Потом к Святославу в Киев и в Белград к Рюрику. Везде обещали. Везде принимали с великою радостью. Святослав, как всегда, прослезился, а Мария Васильковна обиняками все ста- ралась проведать что-либо о Тимофее.

Игорь подробно и все рассказал про побег. Ученый монах, уже ранее слышавший про несчастную битву, слушал особо внимательно. Название Каяла ему сильно понравилось, и, воротившись к себе в монастырь, он помянул и ее в описании битвы: «В радости место — наведе на ны плач, и во веселье место — желю на реце Каялы» — и далее дал покаяние Игоря.

Игорь вернулся домой умиротворенный. Овлур при дворе уже прижился, и Игорю был он, как друг. Тимофеева шутка обернулась былью. Игорь Овлура крестил, назвав его Лавром, сделал вельможею и выдал за него сестру Тимофея, Рагуилова сына. Он наградил молодых многим именем, и дети их позже славными были в той земле Северной.

## IX

И еще год прошел, или два года прошло. Умер отважный князь Владимир Глебович, умер Галицкий князь Ярослав Осмомысл — могучий владыка. Ярослава поплакала дома, у нее как-раз родился ребенок. Игорь давно мечтал о ребенке от Ярославны, но все же отчасти был недоволен, что родился не мальчик, а девочка.

Вести о похоронах Ярослава пришли в Новгород Северский подробные. Князь был одет в черное платье, черная шапка на голове. Перед гробом вели коня и месли стяг, у гроба стояло копье. Чувствуя приближение смерти, он собрал бояр и священников, монахов и нищих, и три дня плакался перед ними, и велел раздавать все именье свое нищим и монастырям; и три дня раздавали по нему Галичу, и не могли раздать.

Схватки с половцами продолжались, но поход для освобождения Владимира так и не состоялся.

Жизнь в общем шла тихо. У Игоря было много забот: о строе земском, о ратях, о земском уставе. Вставал он до солнца, чисто-начисто мылся, следовал в церковь. После отдыха — или охота, или выезжал на полюдь, суды рядить.

Кое-когда отбывал, как хозяин, и в собственные свои володенья, населенные челядью. Там были дворы, где складывалось различного рода добро. Как-то теперь всего этого было поменьше. А с детства он помнит: у отца его, Святослава Ольговича, на путивльском дворе было несколько сотен рабов, кладовые и погреба, в которых стояло пятьсот берковцев меду, восемьсот корчаг вина. И тогда ж ему сказывали, что у дяди — Игоря Ольговича, умершего еще до рождения Игоря, в селишке его одном был двор добрый, где, помимо меду-вина, было много и всякого тяжелого товара, железа и меди. А на гумнах стояло стогов без малого тысяча.

Большие стада Игоревы под Новгородом Северским также поредели изрядно: целые табуны коней и кобылиц были расхищены половцами. Во многих местах жито сжигали не раз и всю прочую жизнь губили.

В княжких хоромах за стол садились три раза: завтрак, обед — до полудня, и ужин — очень ранний, летом — далеко засветло.

Часто бывало много народу. Пирывались на сеннице — дружине, священникам. По постным дням звали монахов — на утешенье.

С дружиною Игорь жил запросто, в дружбе, согласии, и во всем держал совет.

Выезжал и сам на празднества в гости: на именины, на постриги. Пострига — было веселое празднество. Приглашали священника, и с его благословения младенцу мужеска пола, лет двух или трех, стригли в первый раз волосы. Случалось, что пострига совпадала с крещением, с которым обычно не любил спешить. Младенец давно носил уже имя славянское, которое давали ему при рождении и которое так и шло как настоящее имя на всю жизнь. Остриженный младенец уже переставал быть младенцем, его выводили на двор и сажали на коня. Конь делал несколько шагов, и нового всадника-богатыря снимали с седла.

Много в ту осень было свадеб в округе и далеко за пределами. Самой маленькой невесте, дочери Всеволода Суз-

дальского, было всего восемь лет, а самому старшему жениху, самому Всеволоду, было уже шестьдесят!

Сватовство Верхуславы началось еще с пасхи, когда князь Рюрик в Суздаль послал целый поезд сватов: шурина своего князя Глеба и многих бояр с женами их. Жениху Ростиславу шел уже пятнадцатый год: хоть и отрок, а все ж почти вдвое старше невесты!

Целое лето шел сговор и сватовство. Только в Борисов день, на исходе июля, отпустил отец Верхуславу, и, дав без числа золота и серебра, одарив всех сватов, сам ее провожал в дальний путь на «замужнюю» жизнь. А на самую свадьбу послал своего сестрича Якова с женою и других бояр с женами. Поезд еще увеличился и следовал неспеша, от города к городу.

Игорь и Ярославна ждали уже в Белгороде. И как-раз в день ее именин, в Офросинин день, невеста приехала. Венчал ее в деревянной церкви Апостолов епископ Максим. Свадьба была «вельми сильная», одних князей перевалило за двадцать! Был на ней и великий князь Святослав. Пировали три дня.

— Такой на Руси свадьбы и не бывало! — говорили гости в подпитии.

В веселый час тут же Игорь и Рюрик ударили по рукам и на новую свадьбу. У Игоря уже и Святослав подрастал: двенадцатый год! Что ему делать без Тимофея? Чем не жених! Так состоялась невдолге и эта веселая свадьба.

Но не за горами было и еще одно торжество, коему суждено было стать еще более знаменитым, нежели свадебный пир Верхуславы.

Владимир вернулся из плена. Вернулся с Кончаковной. С ними и Тимофей. Кончак отпустил их на родину.

Сердце у Тимофея билось, как никогда. Только сейчас он понимал, что на всю его жизнь одна любовь и отпущена — к Ярославне-княгине.

Оба они этой первой встрече после разлуки так сильно обрадовались, что не могли промолвить ни слова.

Владимир с Кончаковной у себя задержался на день, в Путивле, и Тимо-

фей в Новгород Северский примчался один. Игоря не было дома. Няньки и мамки, всплеснувши руками, заголосивши на все голоса, кинулись оповестить молодую княгиню. Она побежала, как девочка, но, увидав Тимофея, остановилась на отдалении. Он еще возмужал, загорел, бороды его прибыло и закурчавилась будто сильнее, а в глазах было синее море.

У Тимофея дрожали колени, язык онемел. Няньки и мамки по сторонам глядели с открытыми ртами. Он двинул губами, но не издал ни единого звука. Еще раз: опять ничего. Тогда он сказал, махнув про себя рукой, — сказал самое первое, что пришло ему в голову, и самое простое: о чижиках!

— А как... чижики? Все ли чижики живы, княгиня?

У Ярославны дрогнули губы, и с этой улыбкой — в груди все понеслось, как в ледоход.

И все стало просто, легко, и — радость какая!

— Идемте смотреть!

Тимофей каждую птичку помнил и знал. О себе они не говорили. Можно теперь не говорить. Нет таких слов. Да если б и были, они не нужны.

Новая жизнь пошла в княжеском доме. Овлур через двор прибежал, «отряхая студеную росу», с такой быстротой, с какой не бежал и из плена. Сестренка повисла на шею и не отпускала сомкнутых рук.

— Вот кого ты прислал! — шепнула она и метнула лукавым глазком на Овлура, ставшего Лавром.

По его ответному взгляду Тимофей понял все.

Когда на другой день прибыл Владимир с Кончаковной, все и для Игоря стало окончательно ясно:

— Вот когда кончился плен, и свобода пришла!

— Это она, батюшка, — сказал Владимир. — Это она отца своего уговорила.

— Так мы окрестим ее, и назовем, уж как хочешь, Свободой!

Тимофей понемножку дружил и с Кончаковной. Он от нее записал кое-какие половецкие песенки.

Не сразу открылось, что у Владимира и у Кончаковны есть уж младенец. Но, когда и открылось, Игорь сердиться не стал, он окрестил ее со дитятем. Так Кончаковна стала Свободой.

А потом была и самая эта свадьба, опразднованная «с веселием многим».

Это был пир с весельем народным. В город Путивль снова понаехало много князей, но и на улицах всюду были столы, мед, квас и вино, и всякие брашна. Меды были разные: господский и кислый, пресный и сильный, сыта; квасы — тоже: житные, кислые, медвяный был квас; вино было простенькое. Баранины, мяса было в избытке. Хлеб, пироги, мяснцы, кисели. Пели, играли, плясали. Бубны и гусли, свирель. Прошлись скоморохи, сопельники. Боролись, толкались, свистели, а под шумок кое-кто и обнимался.

А в княжьих хоромах почестен шел пир. Столы ломились от яств. В расписных кувшинах вино было разное: белое, красное, сахарное. Кто любил, подавали горячим. Кроме говядины, была и свинина, птица с'естная. Была и уха, и рыба отдельно: жареная и отварная — осетрина, стерляжина, щучина. Давали орехи, винные ягоды, мак.

Шел разговор, пили здоровье. Молодые сидели под образами.

Владимир был в шапке, как и все остальные мужчины. Шапка была не так высока, желтого цвета, с красной опушкой. Он пил, не пьянея, только раскинул кафтан и раздвинул колена. Кафтан был малиновый, и пояс малиновый, с золотыми кистями. Воротник, рукава, шитые золотом. Свобода Кончаковна была в красном платье, тоже золотом шитом. Множество украшений звенело на ней.

На пиру была и княгиня Ольга Глебовна. Не было мужа, над которым бы ей посмеяться. Она похудела, сделалась строже. О Всеволоде ничего не известно. Был темный слух, что он ушел на Кавказ и помогал там грузинской царице Тамаре в войне ее с мужем, русским князем Юрием, сыном Андрея Боголюбского. «Куда ни забросит судьба, вернется ль домой?» — думала кра-

савица Глебовна. На ней было платье темносинего цвета с желтой обшивкой и кружевами, купленными у иноземцев; ожерелье из лалов; башмачки золотые.

И Ярославна-княгиня была молчалива. Но на душе у нее было светло, и весь этот пир для нее — светлый был пир. Порой раздавался ее серебряный смех. Щеки ее горели румянцем. По знаку Игоря, понявшего, как ей было жарко, она развязала у подбородка и откинула с головы покрывало. Золотые сережки с жемчужными зернами закачались, как капли росы на березовой ветке. Из-под зеленой верхней одежды с широкими рукавами видны были рукавчики нижней одежды с золотыми поручами. Вина она не пила, но мед перед нею стоял в хрустале.

Она не глядела туда, где на конце стола сидел Тимофей. Но один раз туда все взглянули. Владимир, облокотясь и перегнувшись вперед, закричал:

— А ну, Тимофей, выпьем с тобой кумысу!

Знать, и кумыс был приготовлен!

Все рассмеялись, и пленникам бывшим — на серебряном блюде всем поднесли кумысу. Отпила и Свобода Кончаковна. Чуть-чуть косые глазки ее заиграли от удовольствия.

Кое-кто, не стесняясь ее присутствием, начал клясть половцев. Да, впрочем, и мало она еще понимала по-русски.

Сидели князья. Золото шапок блестяло над хмелевшими их головами. Русь! Игорь окинул глазами сидевших. Горечь от плена, тревога, — что все еще медлят с походами, а уж пора бы! — все это в нем поднялось столь внезапно и сильно, что он поник головой. Все это заметили, и шум понемногу стал утихать.

Вдруг Игорь рукою дал знак и поднялся. Он еще раз оглядел круг гостей. Много было соратников. Все храбры, все одно племя.

— Братья, — сказал он — мы слушали песню про старую Русь...

А уже спели певцы три песни Бояна: про старого Ярослава, про Мстислава Храброго, про красного Романа Святославича.

— А не послушать ли нам новую песнь?

И поглядел на Тимофея.

Молодой сын Рагуилов встал, поклонился, чуть побледнел.

— Я, князь, все уж спою, как есть.

— Пой все, как было.

Сказывать после Бояновых песней было не так-то легко. Песнь начиналась прямо с похода, с затмения, и не было в ней умолчаний, и не хотел ничего уступать: что на пиру было прилично, и что неприлично. Минута настала. Пусть это слышит вся братия!

Тимофею подали гусли. Он их потрогал, оставил... Как же начать?

И сказал это вслух; и продолжал. Слова его слушались. Чуть нараспев он говорил про Бояна, воздавал ему честь и все ж собирался начать свою песню по-новому, так, как сложилась она у него в голове — в походе, в плену, и как теперь дома ее записал: все эти картины войны, народной разрухи, усобиц, призывы к князьям, к единению их, к отпору врагу... Он думал когда-то: «Это мой меч-кладенец — эта песня!». И вот он его обнажил из ножен. Он никого уже не видел сейчас. Родная земля! Возьми этот меч!

Все слушали тихо. Начало, слова — все было необычайно и просто. Кое-когда Тимофей касался и гуслей. Лицо его стало бледно, серьезно. У слушателей хмель уходил из головы, яснили глаза. Широкая Русь постепенно расстилалась пред ними. Стен как бы не стало. Порою рука искала меча. Красавица Глебовна сидела, застыв, и была она, как

восковая свеча. Ярославна-княгиня, как сжала ладони, так и осталась. Она не спускала глаз с Тимофея.

Но когда она вдруг услышала о себе, и голос, слова, кукушку, Дунай, — частые слезы закапали в ее мед в хрустале. Она их не замечала. Сердце сжималось сладкою болью, и растоплялась душа.

Игорь слушал, откинувши голову. Рот его был полуоткрыт, и высоко вздымалась могучая грудь.

Под песни Бояна тихонько шутили, смеялись, не нарушая пристойности. Тут же никто не промолвил ни слова.

Эта песня была как бы о каждом из них, и в то же самое время сразу о всех: песня о Русской земле.

Слов было немного. Слова были коротки, сжаты, но каждое слово ложилось на сердце, каждая мысль трогала ум.

Надо было кончать. Время для здравницы. И Тимофей полной рукой тронул струны.

Так в эту ночь получила поэма начало и получила конец. И так она вся родилась для людей.

Когда Тимофей возглашал последнюю славу князьям с дружиной, за христиан бившимся в поле с полками погаными, остро его пронизало: князи—герои, но все они живы и все побывали в плену, дружина же вся — в поле легла белою костью... И он дал ей аминь — подлинно славу!

Рука оторвалась от гуслей и прижалась к груди... Вот оно — сердце, что трепещет, как птица; вот она — жизнь человека!

Москва, 1938.



# Челюскиниана

ЭПОПЕЯ

ИЛЬЯ СЕЛЬВИНСКИЙ

★

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Иосиф Виссарионович Сталин  
Родился в семидесятых.

Стояли —  
Дни Александра.

На мостовых,  
Составив берданки, жили вояки.  
У перекрестка на бивуаке  
Шпик засыпает, как крестовик;  
Гарь парадов, салютом дымя,  
Махая вороной по улочке острой,  
Чумно прокуривается в дома,  
Ест глаза, выжигает ноздри —  
И, только зажмурясь до слез, до огней,  
Можно было подняться над ней.

Горы! Они в джигитском учении  
Неслись от Дербента до Хосты!  
Из полных шума и чада ущелий  
Днем видны были звезды,  
А выше звезд — над полянкою русой,  
Над рыбаками на берегу —  
Вспышкой магния полюс Эльбруса  
Сдувает серебряную пургу, —  
И та алмазным прахом звезды  
Собой осыпала по-барски  
Облитые Арктикою хребты  
В змеях, орлах и барсах.

Горы... Они, загораясь льдом,  
Били горячие воды.  
Горы! Они говорили о том,  
Что высота — свобода!  
И к ним тянулись из тины чернил,  
Бредя про молнии, про метели...

Был по-русски угрюм и уныл  
Уезд в горах Прометей.

Там, как и всюду, сгибали выи,  
Драли с теленка золотого тельца  
Нижегородские городовые,  
Письмоводители из Ельца;  
Казенные лужи на площади стыли,  
В прахе и порохе каждый дом,  
Грузинская церковь в эльбрусском стиле  
Действительность осеняла крестом.

Там-то, покрытый загаром и пылью,  
Гоня по улицам колесо,  
Со всем нетерпеньем детского пыла  
Из курточек вырастал Сосо<sup>1</sup>.

Еще его память была чиста  
От всяческой хронологии,  
Еще колесу была не чета  
Проблема класса, рента, налоги —  
Но ветер эпохи катал свинец  
Все звонче... все обаятельней...  
Но пафос истории в пальцах звенел,  
Как ярость лепки в ваятеле.

Как занимается алое чувство  
В семидесяти из ста?  
Одних зажжет баррикадный бруствер,  
Уличный бой, боевая звезда;  
Других иступленная степень измора,  
Третьих «Утопия» Томаса Мора,  
Пярых — яды и газы дна,  
Десятых — прирост рабочего дня.  
Иных влекла как бы тайна  
«каморры»,  
Иных наука вела под стяг...

<sup>1</sup> Сосо — по-грузински Иосиф.

Сталин  
 грядущее  
                   чувствовал  
   так,  
 Как дыханье  
                   предчувствует  
   море.

И вот, в пропитанной благостью бурсе,  
 Где салом текли золотые божки,  
 К Энгельсу совершал экскурсии,  
 Вел политические кружки.  
 Колокола все шире и шире  
 Семью голосами ковали вязь —  
 А он, для молитвы задуманный мщери,  
 Налаживал нелегальную связь.  
 Монахи, грачи.. Но, гудом об'ятый,  
 В каждом сердце подслушивал он  
 Жаркой слезы капнувший звон,  
           Годный в литье набата.  
 И он придавал ей закал и звук —  
 И этим развил какой-то зеркальный,  
 Абсолютнейший политический слух,  
           Как бывает слух музыкальный.

Тогда в Баку, а затем в Кутайсе  
 Появился неизвестный молодой  
   человек,  
 И сразу волнения сотен и тысяч  
 Вскинули гребень высоко вверх!

О, душевные ночи революционера,  
 Глаза, горящие из-за углов,  
 Актерский багаж, чужие манеры,  
 В кафе, в музее, повсюду — лэв!  
 То «Нижерадзе», то «Иванович»,  
 «Чижиков», «Коба», «Давид» —  
 Он каждый раз возникал,  
   как новость,

Предками двойников родовит.  
 Но, если рабочий рискнет сражаться,  
 Стражник летит, не жалея удил:  
 Тут несомненно прошел Нижерадзе,  
 Здесь  
                   безусловно  
   барс

  проходил...  
 И Коба кружился без передышки,  
 Забыв — закат золотист или ал...  
 И только однажды беспечно  
   с книжкой  
 Зеленой улицею гулял.  
 Шла эта улица сдвоенным строем  
 Вооруженных ветвями солдат.

Солдаты были не в пору героям:  
 Выстроили — ну, и стоят.  
 Пред ними белела военная церковь,  
 Лишенная даже убогих прикрас.  
 Кто-то из маленьких офицериков  
 Громко без точек читал приказ.  
 Тут же и врач. Должно быть,  
   из вольных.

Он явно нервничал. Зябко зевал.  
 Но батюшка, солнечный,  
   как подсолнух,  
 Бытие с господом согласовал.

Было то в девятьсот девятом  
 В Сольвычегодской острожной тюрьме.  
 И Кобу вывели. Гонят к солдатам.  
 Вдруг — стал!

  Что на уме?  
 Побег? Рванулась конвойная стая...  
 Но Сталин спокойно раскрыл  
   «Капитал»

И, бережным жестом страницы листая,  
 Побрел перед строем. Он просто... читал.  
 Все обомлели. Даже священник,  
 Знавший толк в патетических чтеньях.  
 И вообще — но даже и тот  
 Полоткрыл созерцательно рот.  
 А что арестанту? Он чуял восстанье,  
 Как сердце чуёт большую любовь...  
 И вдруг — по команде — на шорох  
   листанья

Хлынула барабанная дробь!  
 Рота—вдрогнула. Свистнул крутень.  
 Черные брызги зелень кропят.  
 С осенним воем вьется шпицрутен,  
 Желчью охваченный листопад.  
 Глядят мужики из-за изб и вала,  
 Глядят и не вмешиваются пока:  
 Это «политику» избивала  
 Первая рота Сальянского полка.  
 Забитые люди из самых пропащих  
 По счету шумели в несколько пар.  
 Поп стоял. Стоял барабанщик.  
 Стояли носилки. Стоял. Пар.  
 А Коба, шатаясь, двигался за лес.  
 Двигался. С книжкой. Не отступать!  
 Так революция продвигалась  
 В годы реакций за пядью пядь.

Пускай солдаты жгут его тело,  
 Работают, честно сопя ноздрей. —  
 А он деловитейше делал дело,  
 Безмолвьем своим содрогая строй, —  
 И меркли медали, и блекли канты,

И Коба сквозь каждый хищный ужал  
Орудие пытки преображал  
В оружие пропаганды...

Какою огромной внутренней жизнью  
Надо было, товарищи, жить,  
Чтоб дикой боли увертку лисью  
Стиснуть под жабры, заставить служить,  
Заставить шпицрутена не касаться,  
Бессилье империи вскрыть дотла —  
Ему самому начинало казаться,  
Что книжка... его... увлекла...

И он шагал, непомерный видом,  
Сверкая по ликам нагрудных монет—  
Был «Ивановичем»,

«Кобой»,

«Давидом»,

Целым народом — в этот момент!

Где ж эта книжка? Буквы ли, ядра  
Прыгали из нее под уклон?  
О ней я вспомнил в Большом театре  
Меж электрических колонн,  
Когда на Первом Колхозном с'езде,  
Пахнушем свежестью овощей,  
Сталин сидел, читая «Известья», —  
Скромнейший из скромных. Вождь  
вождей.

Казалось, он видел истории ритм:  
Паденье Трои, борьбу за мечеть;  
Железные рыцари таборитам  
Рабство ковали при свете мечей;  
Взвивающий знамя бурный чартизм,  
Кронштадт, зарывшийся в черный  
залп, —

Он все это видел, продумал. Он знал!  
И лоб его выморщен нотным эскизом,  
Как будто стенания всех веков  
В его душе, по-горному дымной,  
Слагались в октавы могучего гимна,  
В великую хартию большевиков.

Есть вожаки — приживалки народа,  
Этим — только рвануть бы куш;  
Есть вожаки волчиного рода,  
Поработители тел и душ;  
Но есть вожди — поэты у власти!  
Всем рыданиям раскрывши грудь,  
Они, возбуждая грезы о счастье,  
Ищут для них проходимый путь.  
Но, если путь этот твердо найден,  
Если класс это понял сам,  
Они не позволят замешкаться на день  
И уж не внемлют ничьим слезам.

Тогда их нервы протянуты сталью,  
Тогда их росчерк свищет, как бич!  
Таким вождем был Владимир Ильич,  
Таков товарищ Сталин.

И вот голов белокурая волость  
Колышется в зале, как от струи.  
Деревня с трибуны услышала голос—  
Теплый голос своей страны.  
Такой простой, без ученых дебрей,  
Такой отечески-деловой,  
Домашний голос мудрого тембра,  
Где каждое слово зовет за собой...  
Толпа задышала: «Сталин...», «Сталин!»  
И стала грузить на плечи его  
Все, о чем старики мечтали,  
Маялась молодость из-за чего.  
Они сквозь вождя — увидели нивы...  
Гусиные стаи над нивой летят...  
Милыоны глаз его холят ревниво  
И видят таким, каким хотят, —  
Пожалуй, не только вождем революций.  
А братом, что ли... сыном... отцом...  
Как трудно

ему

просто так

вернуться

Историей,

как битвой,

обдымленным

лицом,

Чтоб не всдугнуть мимолетного сходства  
С любимым человеком любой семьи,  
Будь это Митрич, будь это Коста  
Из города Хоста  
Или Сумы.

А сверху и снизу, и с дальних ступеней,

И там, и оттуда, и здесь —

Льется к нему ликованье и пенье,

Гулы и звоны сердец!

И в этом огромном одушевлении,  
Словно одна золотистая нить,  
Звенело «Сталин!», как выраженье  
Любви к вселенной и жажды жить!  
Оттого его образ, как правда, кристален.  
(Я запах морей в этой правде ловлю.)  
Оттого

и эпоха

зывается

«СТАЛИН»,

Как дают

название

кораблю.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

Когда позвонили о катастрофе —  
 Сталина не было. Он пришел,  
 Прервав заседание. «Как их здоровье?  
 Где телеграмма? Так. Хорошо».

Дела в государстве шли хорошо.  
 По ряду отраслей даже отлично.  
 На случай войны — он мог под ружье  
 Выставить икс миллионов наличных  
 Политически грамотных, страстных  
 бойцов,  
 Готовых к победе без хмеля и вальса.  
 О том, что за ними на первый же  
 зов

Встанет страна, он не сомневался.  
 Враг на Востоке? Но мощен тыл.  
 Кузбасс, дороги, колхозное племя;  
 Вдобавок враг вовсе не устранил  
 Облачко тихоокеанской проблемы.  
 Что же касается Запада — что ж:  
 Берлин опьянел, громяхая громами,  
 Но фюрер никак не массовый вождь,  
 Фашизм — отнюдь не Германия.

И, как ни клейми революцию  
 «гидрой»,  
 Каждая щель — митингующий рот!  
 Страна — не частная собственность  
 Гитлера, —

Это — народ!

К тому же атака на красный стан  
 Еще не снимает идеи реванша:  
 Едва ли Франция станет, как раньше,  
 Сама себя подводить под Седан.

Все это так. И все же война  
 День ото дня становится ближе.  
 Либералистская каша в Париже  
 Никак не может найти звена;  
 Для Англии также неясен экран:  
 Она сорвалась в абиссинском  
 вопросе.

Меж тем Берлин боевою дип-прозой  
 Военные действия разыграл.  
 Он подчинил уже Вену и Пешт,  
 Варшаву связал, угрожает Праге,  
 В бескровных победах полный надежд  
 Социализм увидеть во прахе.  
 Но нас, брат, не запугаешь. Мы  
 Ведем свои оборонные сметы  
 С таким расчетом, как если бы  
 смертью

Стал бы нам угрожать весь мир;  
 (Т.-е., когда капитал остудит  
 Жар конкуренций в общую нить,  
 Чего в природе, конечно, не будет,  
 Не было и не может быть.)  
 Отсюда ясно, что наша земля,  
 Рассчитанная на тяжесть планеты,  
 Любую державу — ту или эту —  
 Отбросит, блеснув шишаком Кремля.

Итак — мы к бою готовы! Итак,  
 На нас ползут грозовые тени!  
 Какое же могут иметь значенье  
 Сто человек в арктических льдах?..

Но Сталин, подставив под карту колено,  
 Меряет море за пядью пядь:  
 Сто сорок четыре от Уэллена,  
 От мыса Рыркайпий — сто пятьдесят пять.  
 Вот она — точка! Здесь они... Лдына.  
 Белая гибель. Палатки легки.  
 По горизонту гул орудийный...  
 Дым... Передувы... Литые клыки...  
 И Сталин, вызвав секретаря,  
 Дает распоряжок. Из мыслей, как будто,  
 Явился Куйбышев. Благодаря  
 Ночным передачам, через минуту  
 Вся страна задышала горой,  
 Словно стремясь утеплить заполярье...  
 Над Бугом, над Волгою, над Курой  
 Горе летало черною гарью.

Я слушаю радио. В окнах синий  
 Зимующий вечер. В столовой — мать.  
 Я так мечтал, когда шел по льдине  
 Глядеть в окошко и вспоминать.  
 И вот гляжу, ничего не видя,  
 Не ощущая ни горечь, ни сладость:  
 Магнитная буря полярных событий  
 По голым нервам моим пронеслась...  
 Так для солдата в разгаре войны,  
 Когда его струнки оглохли в канаты,  
 Черный гром огневой канонады  
 Вдруг подымается до... тишины.

И я машинально спускаюсь гулять  
 В почти механической жажде  
 пространства:  
 Это на улиц асфальтную гладь  
 В кепке и галстук вышла протрация.  
 Так. Налево. Оттуда вниз.  
 Пересекаю площадь Арбата.

Какие-то люди зачем-то неслись,  
 Меня собой увлекая куда-то...  
 И я безразлично поплыл на зюйд,  
 Мысы обтекая, струясь в неизвестное;  
 Силы течения массу несут  
 Под серый массив небоскреба

«Известья».

Стоп! Трамвай в толпу не могли.  
 Ночь. Сквозь вьюгу крыльев и карка  
 Я увидел цветные огни  
 И молнии географической карты:  
 Там и тут зажигались гнезда  
 Радиостанций, зимовок, баз;  
 Красный пунктир бежал, изгибаясь,  
 На норд-норд-вест от Чукотского Носа;  
 Вспыхнули цифры: один пять пять,  
 Навстречу: один четыре четыре...  
 Скрестились—и вдруг угасают опять,  
 Предоставляя в огромном мире  
 Крошечной точечке трепетать.

Если б я был на «Челюскине» в час  
 Краха, — я тоже подставил бы плечи;  
 Если б я жил на льдине сейчас,  
 Знаю — мне бы дышалось легче.  
 Но пережить катастрофу семьи,  
 Школы, полка, корабля—в отдалении,  
 Это — как призраки преступленья  
 У огражденной конвоем скамьи.

И свищут в заносах за вьюгами вьюги...  
 Уносит! Смотрите: уносит... Струя!..  
 А там, далеко, далеко на юге,  
 В 160.000.000 страна.  
 Москва, Москва! Это наша клятва!  
 Это железа и сердца вихрь!  
 Там руки, носившие прах стратонавта,  
 Шарят по карте, спасая живых;  
 И морщя на лбу трехмачтовым бригам  
 Вздвухается в боевых парусах,  
 И росчерк приказывает комбригам  
 Арктику захватить впросак!

Тогда из полярных радиостанций,  
 Тогда из факторий, из стойбищ—на пак  
 По снежным увалам белых дистанций  
 Запели стаи чукотских собак;  
 За ними, сплошь вымпелами украшен,  
 Цветным девизом окрасив тьму,  
 Из жерла «Северостали»—«К р а с и н»  
 Пальбой прокатился в тяжелом дыму!  
 А с неба сквозь бурю, в градовых пулях,  
 Страшной трассой Москва—Наукан  
 Семь самолетов, как семь республик,  
 Пали крылами на океан!

«Да здравствует Сталин!»,  
 «Родной наш...»  
 «Сталин!».  
 Из тысячной глотки рванулся вздох,  
 Когда по рупору передали  
 О первом ударе на Дальний Восток.

И масса дышала... Пушкинская  
 площадь...  
 Улица Горького...  
 Бронная...

Вокзал...

Народу бы льдину облапить наощупь—  
 Уж он бы ей, матушке, показал!  
 Уж он разнес бы ее по сосулькам!  
 Уж он по шепоткам ее бы, как соль!  
 Уж он бы... он... Ис дрожанием гулким  
 Ревела в душе разъяренная боль,  
 Как если б, закрыв железные шторы,  
 К больному брату проник злодей.  
 Такие дни превращают людей  
 В подлинных граждан истории.  
 И ярость накатами зычного гонга  
 Звенела над картою белых берлог...

Меж тем какая-то старушонка  
 Очень бойко локтями в бок!  
 «Эй бабуня! Пожалей прочих!».  
 «Стой!». «Куда она прет?».  
 «Нишкни, касатка. Ништо, сыночек...  
 Пустите старенькую вперед.  
 Сами видите: я-то без шуму...  
 Балуй мне еще тут! Тюлень!  
 Колхозницы мы! Не фунт изюму!  
 А вам и подвинуться лень.  
 Дозвольте, граждане... И! золотая —  
 Не обессудь уж: нешто со зла?  
 Сыночек-то мой на льдину летает...  
 Я и пришла.  
 Како-такое место? Ай-яй-яй...  
 Вишь ты, куда забрался!  
 И то сказать: не зря собирался,  
 Стало быть, понимай!

Бывают старухи, что глупой любовью  
 Только мешают не в меру;  
 А есть и другие. Да вот к примеру—  
 Димитрова Парасковья.  
 Года ей немалые. В роде моих.  
 А как говорила по радиву?  
 «Ты стой, говорит, сынок, напрямик!  
 Борис, говорит, за правду!».  
 Слышал, небось? Ну, то-то же. Вот.

Взывает, а по щеке-то струйка...  
 Вот кака, брат, пошла старуха:  
 Нынче и старость живет!  
 Это большое дело, ребята,  
 Когда и старухи жить хотят.  
 Жить хотят—значит время богатое,  
 Бодрое время, чат.  
 Ты что смеешься? Экой срамник!  
 А еще шляпу надел на капусту.  
 Подь-поди, будь те пусто,  
 Я вот рассказываю для них!

Стало быть, синее—это роща?  
 Так. А белое как понимать?  
 Спасибо, касатик. Чего уж проще.  
 Да. Так я ему мать.  
 Большая гордыня во мне, старухе,  
 Что вырастила сына.  
 Бывают какие—а мой без струка!  
 Скажут—сделает наверняка.  
 Как все—и он тоже. Страдает за дело,  
 Свою натуру не бережет.  
 А коли чего знаменитого сделал —  
 Молчит.

Однажды на бережок  
 Летал зачем-то. Ну, ясно — велели.  
 Ну, и летал. Чего ж?  
 Были тут ветры, были метели  
 Всяки-развсяки, какие хошь.  
 «Ну, как, Василий Сергеич, дорога?  
 Трудного было чего?»  
 «Трудная, — отвечает, — дорога»,  
 Только и всего.  
 Вот он какой у меня. Молчковый.  
 Дело-то знает: пропельщик, вал...  
 А слов не любитель. Уж скажет  
 слово —

Ровно бы гвоздь вогнал.  
 Но только один бы он в люди не  
 вышел, —

Спасибо советская власть!  
 Как помер сам-то — я осталась  
 Вот с этакими. Не выше.  
 А в доме, касатка, ни пачки спичек.  
 Добытчиков нет. Обиходов нет.  
 Какой, ну, скажите, Вася добытчик,  
 Когда ему восемь лет?  
 Вот я и пошла по людям: стирала,  
 Окучивала, бралась за шитье.  
 Конечно, хорошего видели мало;  
 Худое житье.  
 Всего и богатства—из дырок монисто.  
 Вдовья доля тяжка.

Однако мальчонки ходили чисто:  
 Одна рубашка — а все с утюжка!  
 И вот, золотая моя, уходит  
 Старшенький мой на завод.  
 Это еще на десятом годе,  
 Десятый, стало быть, год...  
 Был он сперва какой-то небойкий.  
 Но через месяц — гляди, каков!  
 Попался ему сосед по койке.  
 Безверный. Из моряков.  
 Так тот его сразу читать заставил.  
 И так это, барышня, вдруг,  
 Что он, вы поверите, у заставы  
 Листки запрещенные — вслух!  
 Вот, прости господи, как обернулось.  
 Что ж. Обрили его наголо.  
 Я уж просила. Я уж тянула.  
 Выла — не помогло.

Так и пропал. Война подоспела,  
 Революция, — нет как нет...  
 Хоть бы увидеть, думаю, тело,  
 Хоть бы зарыть... И вдруг на коне  
 Под самым окошком сидит-восседает,  
 Кто бы, ты думал?»  
 «Сынок?».

«Сынок!!  
 Черный... худущий... прическа седая...  
 Спрыгнул — валится с ног.  
 Ах, ты, батюшки.. Это он-то!  
 Я ему чаю в постель...  
 «Откуда, Васенька?»—«С белого  
 фронта!».  
 (А этому верст полтыщи отсель.)  
 Да... Ну, прожил дня три-четыре.  
 Стал собираться. «Куда ж ты,  
 Ивась?»

Молчит. Сенца подвалил пошире.  
 Потом сказал: «Покидаю вас.  
 Простите. Да. Уж теперь не приеду».  
 Вот-те и на: почему?  
 «Мне от буржуя пощады нету».  
 «Что ж,—говорю,—не давай и ему!»  
 Как засмеется! Обнял меня:  
 «Золотко вы, говорит, мамаша».  
 Светлый стал. Вскочил на коня,  
 Мчится и все фуражкой машет...  
 А я стою и гляжу-гляжу  
 На пыль, на дорогу, на клячу,  
 На васину голову, на межу,  
 Стою — и от радости плачу...  
 А теперь я хочу сказать и про вас:  
 Сыночки! Будьте бойцами!  
 Берегите, сыночки, советскую власть:

Спасибо скажете сами.  
Наша власть — наилучшая власть.

Такой не бывало от веку:  
Она никогда не даст пропасть  
Трудящему человеку.

Так ты говоришь, касатик, что здесь он?  
Ну-ну... А край-то, видать,  
безлесен —  
Вишь, белизна! Ну и леший с ней:  
Полям, небось, сыночку ясней...».

### ГЛАВА ТРЕТЬЯ

«Фигура Амундсена! Монумент  
На тему — гений и капитализм.

К началу века в ореолах лент  
Чуть серебристым и немного лысым,  
Открыв северо-западный проход  
По линии Гренландия — Аляска,  
Он говорил, что это лишь завязка,  
Что это лишь маневренный поход.  
В истории заняв чугунный цоколь,  
Где рядом величавый Норденшельд,  
Крутить бы ему желтый гоголь-моголь,  
Курить бы трубку и солить бы сельдь,  
Да в пахнущем брусникою коттедже,  
Построенном по типу корабля,  
Слегка грустить о юности ушедшей,  
Перед камином сердце пепеля».

Откладываю книгу. В кафе «Москва» —  
Полно иностранцев. Вот этого длинного  
Я где-то видел: плечи — доска,  
Рыжие брови... Рот резиновый...  
Ах, да, это Симпсон — капитан  
с «Альционы»!  
Мы завтракали как-то на пушном  
аукционе.

«...  
Но Амундсен еще не начал жить!  
Склонив над картой облик соколиный,  
Он думает: какою же из линий  
Ледовый дрейф сквозь полюс проложить?  
Вот здесь трехлетье поистратил Нансен,  
А он кладет не менее семи.  
Но надо ж откупиться от семьи,  
Найти фрегат, людей. Нужны финансы  
И Амундсен банкиров теребит  
И шлет петицию в норвежский стортинг:  
«Вопрос идет не о полярном спорте:  
Исследованье Арктики — мой быт.  
И я прошу в научных интересах,  
Я требую — вы слышите? — помочь!  
(Быть может, мой язык немного резок,  
Но я не сплю двенадцатую ночь...)  
Однако, дети, намекаю тонко  
Во избежанье всяких ахинея,

Что к полюсу отъявленная гонка  
Не явится задачей моей.  
Его пересеку в процессе дрейфа  
В Гренландию. Он будет по пути.  
Итак, нужны: сосновые деревья,  
А лучше бревна футов по пяти,  
Желательно, конечно, без синюхи,  
Янтарные, здоровые вполне,  
Которые могли бы шторм и вьюги  
Выдерживать на льду и в полынье».  
Что? Пожалуйста: чашку кофе.  
«И стортинг, посмеявшись благодушно  
Чудачествам Руала своего,  
Постановил: короны торжество  
Поддерживать и выдать все, что нужно.  
Пуускай во льдах полярный великан  
Свирепствует в своем научном трансе:  
Мы — викинги! Невелика  
пространством,  
Норвегия отвагой велика!

И вот звенят по дебрям лесорубы,  
Жестяники паяют котелки;  
Уж Амундсен...».

Как серебряный поезд, врывается джаз.  
Свистя, шипя, отдуваясь и лязгая...  
Мертвые пары с бесстрастной маскою  
Вьются меж столиков, чинно держась.  
Скрипач улетает под газы сифона,  
И квакает туба в раструб саксофона:  
«Там — на Аляске  
Живет мой *«boy»*;  
Там пенится в пляске  
Прибой, при-бой;  
Там дивно, как в сказке,  
Там синие глазки  
Мечтают о ласке  
С тобой».

Да, пожалуйста, — это мне?  
Я заказывал кофе? Ах, так. Ну, ладно.  
Благодарю вас. Все равно.

«...  
И вот звенят по дебрям лесорубы,

Жестяники паяют котелки;  
 Уж Амундсен то вежливо, то грубо  
 У граждан беспокоит кошельки —  
 И доктор Штокман и строитель Сольнес,  
 Виктория и чуть ли не Пер Гюнт,  
 Национальной гордостью наполняясь,  
 Официальный закрепляли грунт.

И вдруг меж тостов на прощальном  
 пире  
 Привез известье капонир «Феллах»,  
 Что водрузил американец Пири  
 На полюсе американский флаг.  
 Напрасно Свердруп, Амундсен и Тессем  
 Доказывали, что земля кругла,  
 Что дважды два четыре, мир не тесен,  
 И тайны не раскрыты догола;  
 Что пафосно величие земное;  
 Что полюса открытие одно,  
 А семилетний дрейф совсем иное —  
 Сражение с арктической волною  
 Категорически отведено!

И доктор Штокман, потирая пролысь,  
 Просителям солидно говорит:  
 «Я, господа, уплачивал на полюс,  
 А полюс, к сожалению, открыт».  
 И слово в слово повторяет Сольнес:  
 «У нас теперь плохая полоса...  
 Конечно, если б это бы на полюс,  
 А то ведь это не на полюс, а?».  
 И даже стортинг, повышая голос,  
 Авторитетно порывает связь:  
 «Норвегию интересуется полюс,  
 А дрейф интересуется только вас».  
 «Так что мне делать? Убираться  
 в Кюнгс?»

Исследовать температуру змей?  
 Ведь я писал, что бешеная гонка  
 Не явится задачей моей!».

Но все ворчали с огорченным сердцем.  
 Над королевством раздраженный гул...  
 И чуть ли не почудилось норвежцам,  
 Что Амундсен их просто обманул.  
 И так сильна ревнивая подточка,  
 Империалистический продукт...».

Что? Да-да. Место свободно.  
 М? Простите, не взял часов.  
 Должно быть, час или около.  
 «...  
 Что и математическая точка  
 У хищников захватывала дух.

Стяжательства дремучее томление,  
 Захватничества боевая дрожь,  
 Сведенные в национальный гений,  
 Дразнили стариков и молодежь.  
 Когда же в довершение несчастья  
 Пронес по свету телеграфный код,  
 Что набирает кадровые части  
 На Южный полюс англичанин Скотт,—  
 Тогда едва перенесла удар свой,  
 Заплакав водопадами, страна —  
 Ведь полюс — это орден государства,  
 И вот Норвегия отстранена...

А «сплетни становились языкатей,  
 Со всех сторон тянуло хлодком.  
 Хоть Амундсен отчалил на закате,  
 Но город не махал ему платком.  
 И, выбросив какие нужно флаги  
 И взмылив пену белого белей,  
 Полярный ботик, выбирая лаги,  
 Пошел аллеей сонных кораблей.  
 Просушивая оперенье крыл,  
 Сбирались шхуны невода забросить;  
 Овеянный величием броненосец  
 Над бухтою мечтательно курил;  
 Блеснул маяк на северной косе;  
 Уходят доки, фабрики и домны...  
 И моря шар косее и косей,  
 И небо одичалое огромней!

Что ожидает их в дали,  
 Заваленной пургой и тьмами?  
 Какие образы, какой земли,  
 Какого облика туманы?  
 Все мягче и синее материк;  
 Уж он почти полиловел, как дымка,  
 И улетучился, оставя штрих  
 Угадываемую невидимкой...  
 Но только слился с горизонтом берег,  
 Как Амундсен,—нежданно, вдруг,—  
 В чудовищных волнуясь фанаберьях,  
 Решительно поворотил на юг.  
 Его наука призывала ввысь  
 Для плаванья по дрейфу год за годом,  
 Но нации овации и свист  
 Несли на битву с капитаном Скоттом,  
 И Амундсен, присевши на кровать,  
 Писал письмо своим друзьям о шефе:  
 «Безумие! Чтобы итти на север,  
 Я должен Южный полюс открывать!  
 Но так спесивы наши лилипуты —  
 Приходится из флага делать шлейф:



Иначе ведь не выклянчить валюты  
на дрейф.  
И, в точку эту чортову упялясь,  
Я чувствую, что скован каждый палец,

Что жизнь моя — лишь черный  
черновик...». —  
Так был открыт когда-то Южный полюс,  
И так работал этот человек.

#### ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Там, где погиб ледакол, — яма.  
В саже и снеге торчит из нее  
То дном,  
    то крышей,  
    то косо,  
    то прямо  
Со дна вылезавшее былье.  
Оно примерзает, но рушится быстро...  
Тут и тесины, и бочки, и гак.  
А над могилой стынет убийца —  
Огромный.  
    Белый.  
    В мехах.

И все-таки трагический пейзаж  
Уже смягчен рукою человека;  
Попрежнему багряный вымпел наш  
Восставлен историческою вехой.  
Гудит радиостанция. Аврал  
Возводит полотняную ярангу  
(На ней уж написали спозаранку:  
«Одесса-мама» и «Ура, Урал!»).  
Бригада стирки с Нюрой и Наташей  
Выносит бак. За айсбергом поют.  
Дымится камбуз пригорелой кашей  
И даже претендует на уют.  
Но что действительно уютно — это  
Полярной ночью, на крае света,  
Когда пурга засыплет *brik-à-brak* —  
Все эти склады, штабеля да кладки,  
Огнем зеленым брезжущий барак  
И красными глазастые палатки.  
В них трогательно-домовитый стиль,  
Особенно, когда забыть учтиво,  
Что в окна дома впаяна бутылка,  
А в дыры чумов — фотонегативы.

Уже стемнело. Подсыпает снег.  
По лагерю шагает человек.  
Седую бороду заносит вправо  
Прозрачными туманностями звезд.  
Вот лагерь кончился. Пред ним кроваво  
Над хаосом пылает лисий хвост.

Так значит как же: «быть или не  
    быть»?  
Итти на берег или оставаться?

История арктических походов  
Не знает выбора: сойдя на лед —  
Ищите берег. «Ганза» ли,  
    «Жаннетта»,  
«Святая Анна», «Карлук» —  
    все они,  
Как одержимые, как в лихорадке,  
Стремилась к берегу. Чего им ждать?  
Заморской стаей их тянуло к югу.

Конечно, Амундсен на месте Шмидта  
Немедленно пошел бы. Это так.  
Но что же, что б им оставалось делать?  
Откуда ждать спасенья? Кто поможет?  
Кружок друзей или норвежский  
    стортинг?  
Нет, Амундсен не тратил бы огней!  
Себя гремучей славой покрывая,  
Шагая через трупы, великан  
Прорвался бы к таинственной Чукотке  
И был бы прав.

Но Шмидт? Товарищ Шмидт?  
У Шмидта выбор. Он стоит среди ночи  
Один, как перст. Но это лишь мираж!  
Вглядитесь глубже: то, что было  
    мраком,  
Слоением тумана и паров,  
Ведь это — это дышащая масса!  
За ним стоит республика! Такая,  
Какой не знает хроника земли!  
Она его охватывает небом,  
И партии испытанный обычай  
Не даст ему метаться. Будь отважен,  
Но осторожен. Взвесь свои пути,  
Обдумай время, средства и преграды,  
Затем хоть так, хоть этак, но решай!  
Республика скрепит твое решение.

Мороз звенел. Но Отто Шмидт опять,  
Покашливая, огибает падь.

Итак, итти нельзя. Пускай де-Лонг  
И Барлетт и Альбанов уходили:  
Безвыходность есть выход' как-никак.  
Но Шмидт имеет выбор. В этом факте  
Сказалась революция. Он может  
Остаться. Но ведь это — грозный план.

Как очертить ответственность, какую  
Ты этим принимаешь на себя?

Огни дробятся. Выгруженный трюм  
Окутан паром. Шмидт следит по биркам  
И вновь отходит. Вот огромный чум  
Соперничает с захолустным цирком.  
Оттуда рвется перебор гитар;  
Там кто-то пляшет, каблуком ударив,  
Над притолокой вывеска: «Бич-бар»...  
Ах, да, здесь общежитие кочегаров.  
И он с улыбкой думает о том,  
Что, в сущности, где песня, там и дом.

Ну, и отлично, товарищ начальник!  
Очень прошу вас: идите домой.  
Ведь вот вы опять, Отто Юльич,  
без валенок —  
Этакой стужей, этакой тьмой...  
А сами кашляете. Обидно!  
И что вам тут делать — никак  
не пойму:  
Все равно ничего ж не видно —  
Весь кругозор в дыму.

Но Шмидт, совсем не замечая вьюгу,  
Все яростней покашливает в руку.  
«Когда пред командиром нет путей,  
Легко решать судьбу своих отрядов.  
Я знаю, вы бы, Амундсен, пошли.  
Кто вам поможет — стортинг  
или церковь?»  
Вы не замешкались бы ни минуты  
И правильно бы сделали. Весь мир  
Следил бы с воспаленным нетерпением  
За каждым вашим шагом. Все газеты  
Шумели бы о подвиге. Все уши  
Наполнились бы именем моим.  
Но я не смею. Страшная боязнь  
За каждую из мне врученных жизней—  
Таков мой героизм. Пусть века  
Клеймят меня позором—я не тронусь.

Нет, будь, что будет! Если только  
выбор  
Зависит от меня — то я решил:  
Аэродром начнем мы строить завтра».

Милый друг мой, товарищ начальник!  
Как бы мне передать вас так,  
Чтоб даже дети в школах начальных  
Могли разобраться в ваших чертах?  
Чтоб океанское ваше сердце,  
Познанное в необычный час,

Образ полярного громовержца  
Делало недостойным вас;  
Чтоб голос ваш, достигая слуха,  
Отсутствием грома не удивлял;  
Чтоб сдержанность не сошла за сухость.  
А в лирике видела идеал...

Обычно, изображая героев,  
Особенно — северного образца,  
Ваятель, простые масштабы утروив,  
Работает грубым ударом резца.  
Он врубит жестокие складки у носа,  
Угрюмую морщю громоздит чередой,  
Как будто бы торосы и утесы  
Слагаются в облик черта за чертой.  
И вот, вознесенное каменной одой,  
Живое лицо заколдовано в лик.  
Оно подавляет самой породой,  
Чуждой стихией граней своих...  
И ты с уважением к миру диковин  
Поставишь лепку на книжный шкаф.  
Но жить с таким? умирать за такого?  
Мечтать о таком? Едва ли. Ты прав.  
Мы в человеке ценим героя.  
Но, если бы Шмидт был только герой,  
Музы, пожалуй, просто киркою  
Могли б заменить золотое перо.  
К тому же и внешность нашего друга,  
Его олимпийская голова  
Сама дает эскизы в руку  
И как бы подсказывает слова:  
Две льдины—очи; туман поразвейте —  
И вот знаменитая борода...  
Не вся ли халтура кинулась в эти  
Настежь открытые ворота?  
Не снова ли архаизм в силе?  
Казенный амбир опять налицо?  
Не просто ли бороду наклеили  
На бритое Амундсена лицо?

Взгляните, как он ведет экспедицию:  
Он не командует. Просто—живет.  
Но руки матросов летают птицей,  
Будто к работе — рупор зовет!  
Он никогда не повысит тона.  
Шмидт не прикажет—лишь намекнет!  
Но сами собой сдвигаются тонны,  
Возводятся стены, вспыхнет окно;  
И каждому кажется, будто авралы  
Пред ним раскрываются, точно Сезам:  
Никто ж не будил, никому ж  
не орали —  
Сам захотел — и работаешь сам.  
Так, должно быть, медная нота,

Вспыхивая в груди трубача,  
Вдруг сама и как будто без счета  
Пеночкой вспархивает трепеща —  
И дирижер, не взглянув на «удава»,  
Отметит сквозь струнные и гобой,  
Что в *forte* — маленькая октава  
Вместе со всеми вступила в бой.

В чем же секрет обаяния Шмидта?  
Чем он умеет очаровать?  
Тем ли, что не подаст и вида,  
Будто в отваге заметил червя?  
Тою ли школой полковожденья,  
Которая строй воспитала так,  
Что командир не затмит своей тенью  
Ни одного из своих рубак?  
Может быть, тактикой, тонкой и гибкой,  
Дающей простор в дисциплинном  
кольце?  
Может быть, этой женской улыбкой  
На полном мужества строгом лице?  
Кто нам ответит прямым ответом —  
Эта отметинка или та?  
И все же, мне кажется, в облике этом  
Есть одна такая черта.

Лирика знала четыре темы:  
Годы, природа, бой и любовь.  
В эти простые шахматы все мы  
Дуемся исстари сызнава вновь.  
Но чахнет алгебра комбинаций;  
Все уж разыграно в обе руки —  
Реже и реже поэту снятся  
Энные липы над иксом реки.  
Всюду — и в дубрах, и на опушке  
Росчерки, надписи, готика, вязь:  
«Здесь был Данте».

«Здесь был Пушкин».

Но что же, голуба, осталось для вас?  
Новая сцена из «Дон Жуана»?  
Вместо «Полтавы» — «Бородино»?  
Знамя поэзии через ажана  
Под расписку передано.  
И вдруг — матросы на Зимний  
верхами!

И вдруг—Керенский бегом... Го-го!!  
Огонь!!!—и сыплется «был Верхарн»,  
Дым... — и тает «бывал Гюго».

И тут-то среди «бирюзы» и «опала»  
Сквозь электричество белых гроз  
В поле поэзии с неба упала

Пятая тема — рост!

Сначала думали — дело в плакатах...  
В рифме — на «май»,

«буржуй», «этажи»...

Но люди росли из нищих —

в богатых,

В рокфеллеров золотиносной души!  
И пусть Гомера венчанное темя  
Оржавленной листвою гремит —  
Вот она ходит, пятая тема,  
Друг мой—Отто Юльевич Шмидт.

Вас некогда звали Фома Кампанелла!  
(А я не зря в это имя влюблен.)  
Вы «Город Солнца» в Арктике белой  
Открыли трагическим кораблем.  
И ваша улыбка—на самом кануне,  
Быть может, гибели в этой мгле —  
Вносила

сиянье

грядущей Коммуны —

Бессмертие мужества на земле!

Кого ж ты пугаешь, соловая вьюга?  
Все твои призраки — до поры.  
Не видно ни норда, не видно  
ни юга —

Высоко идут водяные пары...  
Но выше паров и вьюги соловой  
Родное, близкое имя — «Шмидт»!  
И если он тихо скажет слово,  
Кажется — родина говорит...  
Вот почему мы нежно и просто  
Возносим людей, ведущих вперед.  
Чем выше полет их душевного роста,  
Тем больше похожи они на народ.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

Аэродром за три-четыре мили  
От лагеря. Двенадцать человек  
Его взрывали, рыли и громили,  
Накатывали, гладили и мыли  
И, понаставив два десятка вех,

Ушли на лыжах.

Он лежал в сугробах  
Иссиня-серый и литой, как сталь.  
По нем играл муар. Над ним свистал  
Широкий ветер. Две палатки о бок

Присели, отражаясь глубоко  
 В его слюде. Они держались прямо.  
 Из них валил дымок. Седой бугор  
 Раскуривался, точно Фузияма.  
 Аэродром! Он был задуман впрок.  
 Его сквозь веки наблюдает дрема.  
 Его лелеет вдоль и поперек  
 Настасья, комендант аэродрома.

Вот кстати и она. Суровый мех  
 Ее штанов и куртки был просолен.  
 Трещали флаги низкорослых вех.  
 Синело небо. Словно с колоколен,  
 Срывались звоны ветра с высоты.  
 Одна минута осталась до чая,  
 Но Настя мчится на коньках, качая  
 У пояса нашитые хвосты.

Ей все казалось праздничным: и взмах  
 Седых ветров, и снег, и этот пост,  
 И новая одежда не под рост  
 Из дюжины пыжей и росомахи,  
 И двадцать лет, и вековая темь,  
 И вьюги исторических событий...  
 Она скользит и ножкою в копыте,  
 Не думая, выписывает «М».  
 Звездинками оснежены ресницы,  
 Глаза переливают синеву...  
 Она летит. Ей ничего не снится!  
 Она летит... Все это наяву!  
 Она летит. Она полным-полна.  
 Ей стало жарко. Обнимает ветер.  
 Раскинув руки, кружится она  
 И шепчет, шепчет: «Я живу на свете...».  
 И вдруг — упала. Но в душе возник  
 Какой-то луч, как ожиданье страсти...  
 И Настенька, зажмурившись от счастья,  
 Лежит, боясь нарушить этот миг.

Вы знаете, читатель? — так бывает:  
 Вы, верно, сами ощущали вдруг,  
 Как будто стало призрачно вокруг  
 И в сердце что-то упоенно тает...  
 И вы на миг заслушались... И вы  
 Стоите, освежаясь и светая...  
 Оно как бы предчувствие свиданья,  
 Как обещанье силы и любви.

Но тут с горы, описывая круг,  
 На куцых лыжах вылетает банда  
 И, креслице составивши из рук,  
 Под хохот умыкает коменданта.  
 Они взлетают в ногу. Ветер суч.  
 Аэродром течет, змеясь и блеща,

И Настя, обнимая их за плечи,  
 С грудною негой засмеялась вслух.  
 И первый, открывая было дверь,  
 Оглядывается... И тот, с усами...  
 И все глядят влюбленными глазами  
 На девушку, одетую, как зверь.

Ну, вот они в палатке. Свысока  
 Спускается, как скатерть-самобранка,  
 Уставленная чашками доска.  
 Уже Пашинский кокает баранки;  
 Орет Валавин, кипятку хватив;  
 Над паром зашипели свинобобы...  
 Веселье, шум! Багровые сугробы  
 Видны в окно сквозь фотонегатив.

Потом она отряхивает крошки  
 С пушных колен. Прощается. Встает  
 И медленно выходит. Серый лед  
 Уж синее. За далекой «кошкой»,  
 За торосами — с вышки на крестах  
 Волнуется широкошумный стяг...  
 И девушка, потягиваясь сладко,  
 Лисицею ползет в свою палатку.

Улыбка замечталась на лице...  
 Был день, кажда день. Не дата —  
 просто датца.

Но, не переставая улыбаться,  
 Она легла в огарочьем кольце.  
 Потом раскрыла книжку. Может  
 быть —

Мои стихи? (Вы знаете—бывает!)  
 Она глядит и тихо отбывает...  
 Но я прошу ей это извинить:  
 Она так мило дышит из-под карих  
 Своих мехов. В палатке — полумгла.  
 Лишь снег, как соль. Лишь золотом  
 огарок

Описывает скулы от угла.

А правда — мне девчонка удалась?  
 Я это знаю по тому томленью,  
 С каким ее пишу; по этой лени,  
 В которой я угадываю власть;  
 По множеству намеков—ну, хотя бы  
 Уж по тому, что я лечу стремглав,  
 Минуя за этапами этапы,  
 Через поляны и нагорья глав,  
 Чтобы, давая чувствам перелиться  
 В могучей жажде своего пути,  
 Личины, лики, личности и лица  
 К большому подлежащему свести...  
 Но встреча с Настей—и прощай полет!

Мне хочется быть вежливым и чутким,  
Немного пушкинистом, склонным к  
шуткам

И словарю: «уста», «младая», «плод»...  
Я этого себе не разрешаю,  
Но хочется... Я сам себя корю!  
Впишу строку — прихлебываю чаю,  
Перечеркну ее — и закурю.  
Подумать только: что за имя «Настя»?  
Но в мире нет прелестнее имен.  
Не правда ли? Должно быть, я  
влюблен...

Да нет... А вдруг? Но это уж  
несчастье.

Что может быть печальнее судьбы  
Творца, влюбленного в свое творенье?  
Я говорю не о стихотвореньи,  
Где он за каждый образ на дыбы!  
Я говорю о линиях и красках,  
Которые, в портрет соединясь,  
Незримо отделяются от нас,  
От наших исправлений панибратских,  
И грубо дышат собственной жизнью  
В своих движениях, чувствах и мечтах,  
В то время, как создавший их чудак  
Терзается в бессильной укоризне.

Друзья-поэты! Слушайте меня:  
Не доводите труд до совершенства,  
Особенно, когда строка, звеня,  
Охватит негой женственного жеста.  
Тогда уж лучше вперевой — труба!  
Всем опытом я вас уверить смею —  
Почудится, что девушка тебя  
Своей рукою обняла за шею...  
И ты погиб. Ты будешь вечно ждать,  
Не явится ли кто-нибудь похожий,  
Как сыщик, озираясь на прохожих,  
Заглядывая в окна, словно тать,  
Скрываясь за деревья у скамей,  
Чтобы подслушать слившиеся тени...  
Ты дочерна обуглишься в мученьи,  
Как я, бывало, в юности моей.

Уже совсем темно. Взошла луна.  
Стремнины, крижи, сопки и отроги.  
По еле-еле видимой дороге  
Струится лыжник. Черная волна  
Шумит на мачте за его плечами,  
А далеко в долине огонек,  
И Болеслав кружит, не чуя ног,  
Веселой точкой в хаосе печальном.  
Он мчится на свиданье. Он жужжит,

Ныряет с воем, свищет без оттенка...  
Он дышит и хохочет.

«Всюду жизнь!» —  
Совсем, как на картине Ярошенко.  
За ним сверкает голубая пыль.  
Он ямы перемахивает птицей.  
Он мчится на свиданье за пять миль —  
И в лагере поэтому не спится.

Тревожно открывается «Би ч-бар»:  
Сначала тучей выпирает пар,  
Потом выходят люди. Молча курят  
И крикают. Никто не балагурит.  
Он думает, что он ушел тайком,  
Но может провалиться и не вззоет.  
Да и палатка спутает — чего ей?  
Мираж на расстоянии таком!  
Зудит сквозняк каким-то нудным зудом,  
Такой норд-ост не одного запек.  
Но кто-то вынес валеный сапог,  
Надел на шест и напитал мазутом,  
И снова молча повалил народ;  
Залез на вышку, там курил и крикал;  
И вот — во тьму, на 10 миль вперед,  
Перекатилась капля солнца—факел!  
Тогда товарищ Зверев подошел  
К тому, который вынес им буток:  
«Прикажете его на восемь суток?».  
«Мы не покажем вида».

«Хорошо».

Но лыжник понял. Он увидел снег,  
Светающий огнистым трепетаньем,  
И оглянулся. Так... Невинным тайнам  
Теперь конец. Он густо покраснел.  
Но все-таки ему приятно стало,  
Что так о нем заботились. За что?  
Он снова пробегает метров сто  
И снова оглянулся... Грудь устала.  
Колени, руки, плечи — ничего,  
А вот дышу как будто грубовато.  
Но ехать, ехать! Милые ребята...  
Какое закатили торжество!  
Ну, просто — свадьба! Ехать-ехать-  
ехать!!

А как она чудесно сложена!  
Он громко крикнул: «На-астя!». Но  
эхо —

Молчит. Была пустая тишина.  
Ну и чихать! Под ним зевнула яма.  
Он в гору, в гору... Сдался, превозмог.  
Тогда ему открылась Фузияма,  
И у подошвы — красный огонек.  
Тогда он понял, что он молод! Счастливи!

Что он внучонок мировой страны!  
 Как трогательно, темноту умаслив,  
 Пылал плакат с восточной стороны...  
 И в честь своей земли, во имя этой  
 Полярной дружбы! ради этих звезд!  
 Он вынул из-за пазухи ракету  
 И выпалил цветами тост!

От выстрела она проснулась, Настя...  
 Открыла полог — видит: он стоит.  
 Они ведь не уславливались? Стыд!  
 Ребята засмеют.

«Скорее влезьте!  
 Никто вас не заметил?» — «Нет,  
 а что?».—  
 «Так... ничего». «Подумаешь!» —  
 смеется.

Но все же опустился на плато  
 И влился в нору: «Здравствуй!».

Настя мнется,  
 Не знает, как принять его и чем.  
 Она должна сердиться — между тем  
 Мальчишка мчался три-четыре мили  
 Уже усталый... Ночью... Без пути...  
 А ведь еще домой! Какой он милый.  
 Простить, пожалуй, а? (Прости,  
 прости!)

Быть может, он почувствовал решенье,  
 А может быть — об'ятья на борту  
 В чудесной драме кораблекрушенья  
 Его любви придали правоту,  
 Но только парень очень  
 хладнокровно  
 Привлек ее на грудь — и в этот  
 миг...

Он отлетел по курсу напрямик,  
 Но выстоял, ударившись о бревна.  
 «Ты очень груб!»—сказала Настя.—  
 Груб!

В особенности с нами. Это гадко».  
 «Простите! Тут какая-то загадка...  
 Ведь я уже касался ваших губ?».  
 И Настя вновь почувствовала стыд  
 И, покрасневши, собралась ответить,  
 Как вдруг они услышали: хрустит!  
 Чтоб успокоиться — решили: ветер.  
 Но уж покоя не было. Стоят,  
 Обнявшись, но не чувствуя об'ятий;  
 Стучится сердце в меховое платье...  
 А может, это ходики стучат?  
 Их вправду как-то бешено несло.  
 Но вот опять, как будто бы с оглядкой,  
 Неведомое тронуло палатку...

Они застыли — и оно ушло.  
 Но тут же сбоку что-то захрустело...  
 Вот нюхает... Вот выдых духовой...  
 И вдруг—прыжок! И вмиг над головой  
 Вогнулись паруса под грузом тела.  
 От чума еле остается треть:  
 Все вдавлено — материя и щепки...  
 А в выеме великолепной лепкой,  
 Барахтаясь, оттиснулся медведь.  
 Она не растерялась. С нею нож.  
 Нашупав снизу сердце, как анатом,  
 Блеснула взмахом!

Вой, провал, громеж!  
 Студент успел подумать:  
 «Как она там?» —  
 И увидел зверюгу. Тот упал  
 На грудь ее передними ногами.  
 Полубезумный крик... Но — бой  
 нагана!—  
 И ухо зачало, словно пал.  
 На том же самом месте через час—  
 В отлично восстановленной палатке  
 Она глотала слезы и облатки...  
 Над ней сидел Погос. Облокотясь,  
 Стоит Валавин. Далее Пашинский  
 И Малиновский, желтый, как старик.  
 Она, вздохнув, устается на миг  
 И снова плачет. Грудью. По-русски.  
 Попрежнему за свечкою темно,  
 По швам и латкам изморозь сверкала,  
 И лишь над головой свежо и ало  
 Просвечивалось мокрое пятно...  
 То был потомок желтоватой расы,  
 Седой золотолапый сибиряк,  
 Но пушь его в тяжелых серебрах  
 Плыла водою сизого окраса.  
 Его меха полчума обнесли,  
 Их блеск пошел на освещение дома.  
 Еще деталь: в кишках его нашли  
 Кроваво-красный флаг аэродрома.

Студент глядел. Потом опять прилег.  
 «Ну, что ж. Благодаря такой напасти  
 Мы сделаем двуспальный кукулек<sup>1</sup>  
 Получится отлично—правда, Настя?».  
 Валавин крикнул. Федя как-то сник.  
 Погос от неожиданности замер.  
 А Настя виноватыми глазами  
 Смотрела в очи каждому из них.

Они ушли, сказавши «до свиданья»—  
 И опустела черная нора...

<sup>1</sup> Кукулек — спальный мешок. ●

«Мальцы однако гордые. Видала?  
 Так-так... Ну, что ж... Ни пуха, ни пера!».

Студент сидел, растерянный и жалкий...  
 Позвольте: чем он лучше остальных?  
 А вышло что? Из-за медвежьей свалки  
 Он Настю как бы выиграл у них.  
 Но мы-то не какая-нибудь падаль,  
 Не на Юкоffe золотого гребем!  
 Что может быть противнее, не правда ль,  
 Любовь из шапки вынуть жеребьем!?  
 И фразочка-то сказана бестактно.  
 Да как он смел? Кто право ему дал?  
 Он поглядел в окно: дорогой тракта  
 Следы от лыж укатывали вдаль.  
 Нет, он уйдет — и пусть она решает  
 По снам... тоске... по тысяче примет!  
 «Я, Настенька, пойду». Не отвечает.  
 «Ты будешь в лагере?». Ответа нет.  
 Он будто ничего не замечал.  
 Он встал, поохал, приготовил лыжи.  
 Уж полушубок серебристо-рыжий  
 Был подпоясан и имел причал.  
 Сейчас уйдет... В норе она да полюс.  
 Опять Татьяна Ларина? *L'âme slave?*  
 И девушка шепнула: «Болеслав!».  
 И уж совсем одним дыханьем:  
     «Болесь...».

Он замер... Это чудится ему?..  
 Пахнуло счастьем из ее печали...  
 Гудела печка. Ходики бежали.  
 Метель палила в пушечном дыму.

Потом они лежали на медведе.  
 Она заснула на его плече,  
 А он курил. Никто на целом свете  
 Не знал сонаты в нордовом ключе.  
 Она плывет недвижимым безумьем,  
 Пропитывая тающую тьму...  
 Табачный лист попахивал изюмом  
 И им казалось, что они в Крыму.  
 Ей это снилось, а ему мечталось —  
 Вода, как воздух, обтекает риф...  
 И вдруг в окне, сквозь фотонегатив  
 Забрезжила томительная алость.  
 Он сразу вспомнил факел на крестах,  
 И миг очнулся. Женщина дышала...  
 Ей надо голову пониже. Так.  
 Теперь сюда. Поправить одеяло.  
 Студент мелькал бесшумно, точно волк,  
 Боясь зажечь попавшиеся свечи,  
 Зевая с дрожью, ежась, шаря вещи,  
 Впервые в жизни выполняя долг.

Вот выехал. Спускается в лошину.

Тут осторожнее... Теперь правей...  
 Он стискивает кожу меж бровей  
 И три секунды чувствует морщину.  
 Пошел на палках. Дышит горячо.  
 А память руки и колена лепит..  
 Еще головку чувствует плечо,  
 Но ухо позабыло милый лепет,  
 И он не в силах, связывая нить,  
 Очарование возобновить...

Уж не вернуться ль? Горы пред тобою...  
 Тупая боль в запястьях и крестце —  
 А там ее дыханье голубое  
 Осядет тучкой на твоём лице...  
 Вернуться... М? Но что же ты нейдешь?  
 Вчера ведь в этом не было вопроса:  
 Хочу — и точка. Очень просто.  
 А что ж!

Однако этот факел надо льдами,  
 Когда зияли голубые ямы...  
 Его восторг... Его цветистый тост...  
 Нет-нет, сейчас он не покинет пост.  
 Потом когда-нибудь. То-есть—потом  
 Он к ней вернется на аэродром.

А Настя смотрит на свечное пламя,  
 Насвистывая тихо «*Ases Tod*»<sup>1</sup>  
 И думая свое. Потом встает  
 И зябко умывается снегами.

Она не выйдет замуж за него.  
 Он будто хочет, но она не выйдет.  
 Ну, да, глаза... Но что за синевой?  
 Ведь этого он все равно не видит.  
 Он пил ее дыхание, как пьют  
 От жажды апельсины. Сочно, плотно.  
 За что ж ему она навяжет пут?  
 Да это попросту неблагородно!  
 Ведь если бы за все, что нам дает  
 Мгновенье счастья,  
     радости,  
     отрады,  
 Неволёю расплачиваться надо,  
 Тогда и жизнь—пошлейший анекдот.

Вы с ней согласны? С вами то же  
     было?  
 Не родственны ль ее сомненья всем?  
 Однако если б Настенька любила,  
 Не рассуждала б Настенька совсем.

Итак, она подвинчивает сталь  
 И едет с горки. Пурпурная даль

<sup>1</sup> «Смерть Азы» Грига.

Поблескивала краем солнца.. Полдень!  
С аэродрома хлопали флажки.  
Довольно вяло парубки в снежки  
Играли у бугра—и... (дамский пол-де!)  
Ее не приглашали. Ни один  
Не повернул к ней голову. Настюша  
Поплакала тихонько. Ныла стужа.  
Она одна в огромном мире льдин.

А впрочем... то-есть как это одна?  
«Товарищ Гаевой! Проверить флаги!»  
За голосом угадывался лагерь,  
За лагерем — великая страна...  
Но кочегар—ни с места. Он стыдится...  
Все знают: Федя — кореш боевой.  
«Я вам приказываю, Гаевой,  
Проверить флаги!».

Сумрачные лица,  
Заросшие кустарником.. Полезть  
С такими в битву? Что ж! Большая  
честь.

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

Зверев читал Уильяма Джемса  
И раздражался. Философ писал  
С глубокой практичностью русского  
земца,

Он не был ни истеричен, ни шал,  
О господа-бога не терся, каясь;  
Напротив — как истый американец,  
Он утверждал, что наш интеллект  
Определен реальною пользой;  
Что труд «О строении глаза»

Гельмгольца  
Отверг философию за сто лет,  
Что мы не сосем бытие, как губки.  
А чувствуем так, как диктуют  
поступки.

Все это было неверно. И все же  
Аргументация строилась так,  
Что в авторских золотых устах  
Мысль казалась на что-то похожей.  
Во всяком случае Зверев не мог  
Ее опровергнуть своей эрудицией.  
Видимо, здорово надо трудиться,  
Чтоб разобрать этот хитрый замок.  
Вот вам и Котя, будь он здоров!  
Дернуло ж лезть в такую атаку...  
Пусть бы уж выдумал автотягу  
Прямо к топкам из бункеров —  
Это вполне кочегарское дело,  
Хотя кочегар и не инженер.

Мы сами не наметками прошиты.  
«Товарищ Гаевой! Ступайте к Шмидту  
И доложите!» — «Ну??!» —  
«Погосов!». — «Есть». —  
«Проверьте флаги!». — «Слушаюсь». —  
«Пашинский». —  
«Я слушаю, товарищ комендант».  
«Мы с вами, кажется, знакомы, да? —  
Спросила, интонируя по-женски, —  
Пожмите руку. Крепче! Ничего...  
Как вам не стыдно, мальчики?  
Серьезно».

Она дышала дымчатою розой,  
И это видел даже Гаевой.  
Заметила. Кивнула головой.  
Он подошел. Без лишней, впрочем,  
прыти.  
«Ну, как нам быть, товарищ Гаевой?  
Отправить вас или простить?» —  
«Простите».

А то — философия! Что за идея?  
Был ли когда подобный пример?

Но тут он вспомнил, что Яков Бём  
Начал сапожником. Стало быть, можно?  
Жизнь молодежи становится сложной,  
Молодость нынче гордится лбом!  
(Недаром и мода такая пошла,  
Чтоб волоса зачесывать кверху.)  
Что ж он — не видит? Что ж он —  
со зла?

Ведь этак недолго людей исковеркать...  
Каждой. Проблеме. Своей. Черед.  
Время не смотрит. Время-то мчится.  
Котя — ведь это только частица  
Огромной страсти, об'явшей народ.  
А он-то сперва испугался. Не понял.  
Сам поотстал маленько. А что ж?  
Если так растить молодежь —  
Кто ж это вырастут? Пони?  
И вообще, дорогой Петрович,  
Надо прямо поставить вопрос —  
По-большевистски! Ведь это не новость,  
Что Константин тебя перерос.  
Не в смысле знаний или умений,  
А кругозором.

Что ж... Пусть...  
Ему стало грустно... Но тем не менее  
Это была не обидная грусть.  
Он вынул платочек, моргая глазами,



Высморкался, протер очки.  
Он вспомнил себя молодым под  
Казанью,  
Вспомнил работу самарской Чеки,  
Глянул в окошко — увидел вал,  
Вспомнил Чонгар и подумал честно:  
«Может, я для того воевал,  
Чтоб Котя читал Уилльяма  
Джемса».

Но сам-то Джемс! Этот серенький  
том...  
Котя же с ним наплачется!  
Зверев чувствовал верхним чутьем,  
Что тут не простое делячество.

И снова он думает про курок,  
Он явно поймал не нашего.  
Он смотрит в книгу, как прокурор,  
И продолжает допрашивать:  
«Что есть высший авторитет?».  
«Жизнь» — говорят ему. (Нате-ка!)  
«Где критерий? Дайте ответ!».  
Тот отвечает: «Практика».  
Ах, ты эдакий... Стой и дивись!  
Милый Зверев никак не думал.  
Джемс увернулся, хищный, как пума,  
Словно ловкий рецидивист.  
Вот он уселся на край стола,  
В черных перчатках и полумаске,  
И голос его, не лишенный ласки,  
Душу бойца прожигал дотла:

«Слушайте, Зверев! Мы с вами не баре.  
На нас традиции не висят.  
Что есть понятия? Розовый сад?  
Нет, это только мертвый гербарий.  
Ибо понять — значит отсесть!  
Значит убийством окрасить праздник.  
Философы вечно пируют на казнях,  
А гильотиной им служит речь.  
Речь! Тебя бы простить я не мог!  
Нет ничего фальшивее речи!  
Она закрепляет противоречье  
И мир превращает в морг!  
Однако в гробах изучать бытие —  
Значит нарушить его течение.  
Не есть ли, Зверев, такое ученье  
Падалью травленное питье?  
Трупом пахнет весь Аристотель!  
Гленьем Гегель! Куда ж вы?  
Постойте...».

И Джемс, на льду серея за ним,  
Плечами уносится, словно дым...

Но долго в ветрах плыло, как мычанье:  
«Мир познается через молчанье».

Фадееч бы с этим спорить не стал.  
Он как-то последнее время устал.  
С утра уходил в бригаде на склад,  
Покорно делал все, что велют,  
К Насте шагал с набором зубил,  
А о бычке и думать забыл...

Сейчас по березам проходит Влас,  
Идет — подымает коровью власть;  
Сейчас по дорогам идет Прокоп,  
Святой Прокоп — под снег подкоп;  
Сазан хвостом разбивает лед,  
Запел жеребенок из теплых закут,  
С Василья Капельника парится пот  
Да 40 жаворонков пекут;  
Приходит Марья Зажги Снега,  
И слушать гармонь выходит сноха.

Но кто-то в притолоку стучит  
И входит, как будто шествуя:  
«Вы будете плотник Фадеев Тит?».  
«Ну?».  
«Я над вами шефствую».  
И Гриб под локоть его берет,  
Дверь открывает и просит вперед.

Потом, отбивая чечеткой такт,  
Плясом-пляшет в чью-то палатку:  
«Хмызников здесь?» (Молчанье).  
«Пустяк».

Он приглашает сесть на полати;  
Он угощает чужим табаком,  
Шарит на полках, ищет детали,  
Строит, ладит — пальцы летали.  
Откуда такое в парне таком?  
И вот перед плотником на столе  
После минутного звяка и клепа,  
Точно колумбовый пистолет,  
Ствол и тамбур микроскопа.  
А Гриб болтает, а Гриб семенит,  
Свищет, щелкает, чуть не потеет...  
«А имячко, дядя, придется сменить:  
Заместо Фадеева — Фарадеев!».  
Потом булавкой ладонь проколол  
И, выжав кровинку на зеркальце скрепа:  
«На! Гляди,—говорит,—да не в небо!  
Наоборот: в пол».

Все мог понять на свете Фарадеев.  
Но чтоб, от личной пользы отступя,  
А только лишь к товарищу радея,  
Хоть каплю крови выжать из себя —

Таких поступков он понять не мог,  
 А может быть, и более: одобрить.  
 Ну, что ему во мне-то? Невдомек.  
 Уж не хитрит ли? Эх, нехорошо, брат.  
 Я у него, пожалуй, что в руке.  
 Сейчас он петушится, ровно кочет,  
 А может, дома, на материке  
 За эту каплю чорт те что захочет!?  
 А мне — на кой? Да будь я даже  
граф,
 И то за это не дал бы ни копу!  
 И Агафоныч, жалко, проморгав,  
 Со вздохом приникает к микроскопу.

Сейчас на Большой земле весна,  
 Идет соловьиный час!  
 Чирик. Молчок. Чирик. Возня.  
 И снова безмолвие чащ.  
 И вдруг почин: вот так—гъивить!  
 Нежно, как пушок...  
 И сразу ударит, чтоб удивить!  
 Как жемчугом, обожжет...  
 Перехватил — перекатил,  
 Кругом — по всей полосе,  
 Словно бы сам себя прокатил  
 На огненном колесе;  
 Словно огнистое «О» загнал  
 В мир алмазных верст;  
 Словно взревел огневой сигнал,  
 Звездой опадая на хвост.  
 И вновь полет музыкальных пуль  
 (Так бы и плыл в плен).  
 Пулканье: пуль-пуль-пуль-пуль-пуль,  
 Пленьканье: плень-плень.  
 Лешевой дудочкой бьет в луга  
 Бой барабанных дробей...  
 Потом гусачком, гусачком: га-га!  
 И даже, как воробей.  
 Всех обретет! Все перельет  
 В чистую песню свюю:  
 Слышите? Вот «кукушкин пролет»,  
 А вот юла: фиу-ю...

Но Гриб никогда романтиком не был.  
 На кой себя растревать!  
 Ему не сулите синицу в небе,  
 А в руки подай журавля.  
 Зачем ему думать про солнце и лето,  
 Которым надолго — капут,  
 Когда культурная личность все это  
 Может иметь и тут?

Он входит в «Бич-бар», как всегда  
 беспечный,

И ставит на бочку морс.  
 Фадеев медведем навис над печкой,  
 Топчется. Видимо, смерз.  
 «Танцуешь, дядя?—«Да, уж  
попляшешь!». —  
 «Эге, ты, я вижу, грустишь?» —  
«Грушу». —  
 «Ладно, давай посидим на пляже,  
 Так и быть.— угощу!».

Фадеев глядит. Ему стало жутко.  
 Он пожимает плечом...  
 Парень сходит с ума не на шутку.  
 Ну, и чудесно. Мы-то при чем?  
 И он отворачивается, и он  
 Опять погружается в тину и сон...

Он видит пруд, похожий на сад,  
 С глазастой икрой лягушек.  
 Надувши свои пузыри подле ушек,  
 Они оголтело друг друга чествят:  
 «Сама-то какая! Сама-то какая!».  
 «А ты какова! А ты какова!».  
 Бурый берег сливает какао,  
 И сад зажигается, точно Москва,  
 И вот в золотистый этот затон  
 Черно-оранжевый прыгнул тритон.

Но Зверев слоняется как-то понуро  
 Взад-вперед мимо красных огней,  
 Покуда не вышла уборщица Ньюра,  
 А он, ей-ей, и не думал о ней...  
 Он смотрит, как будто не видел ни  
разу;

Он странно шагает через сугроб...  
 На что в ответ раздается фраза:  
 «Не чмокайте руку, я вам не поп».

И что ж? Ничего ж. Наваждение смыто.  
 Зверев уносится в сторону Шмидта.

Но Гриб уж ни в коем разе не поп:  
 Он Ньюру смачно целует в шею;  
 Он устанавливает телескоп  
 И зычно кричит в окно: «Фарадеев!».  
 Тот нелюдимо вылазит: «Ну?».  
 Гриб его свистиком, как Трезорку;  
 И вот мужик сквозь большую подзорку  
 На ледовитую смотрит луну.

Он видит пушки темное жерло.  
 Толщено остекленное у дула.  
 Налево — мрак. Оттуда явно дуло,  
 Но справа—жарким золотом ожгло.  
 Он не узнал его. Он видел край  
 С какой-то жидкой маслянистой гушей,  
 Облитой солнцем, тающей, текущей—

Как будто изливалась через край;  
 Как будто бы раскололи яйцо,  
 И желтое выкатывалось масло...  
 Фадеич оглянулся — все погасло.  
 Он молча Грибу поглядел в лицо...  
 Тот улыбался. Улыбнулись оба.  
 И, поискавши льдистую луну,  
 Фадеев к окуляру телескопа,  
 Поеживаясь, сызнова прильнул.

И снова дядя по лучу несется,  
 Нырря в жижу,—аж круги пошли...  
 В Луну, как в зеркало, гляделось  
 Солнце,  
 Наскучив древней дружбою Земли.  
 И это было вправду, как на пляже:  
 У океана берег золотой.  
 И человеку показалось даже,  
 Что он в носках уселся над плитой.

«Ох, и морозец! Благодарю...».  
 Гриб топтался и так, и всяко;  
 Зажавши пальцем одну ноздрю,  
 Сморгался по способу Гэ-Люсака...  
 «Ну, ладно, хозяин, ладно: домой!».  
 Фадей с луча слезает, будто с рельса:  
 «Хотя б сложили сказку:

«Как зимой  
 Мужик на самой на луне  
 согрелся».  
 «Да, как бы не так! Им все по  
 обряду:

Чтобы арабы или паши...  
 (Не любят нас, научного брата!)  
 На! Забирай вот это. Пошли».

Фадеев молча выступает рядом,  
 Заиндевший, впору бы луню.  
 Его слегка обстреливает градом,  
 Но он, не отрываясь, — на луну...  
 Он ее помнит с детства из окна,  
 Когда еще покачивался в зыбке;  
 Он видел ее в облачности зыбкой,  
 Когда в ночное уводил коня;  
 Она коптилась в дыме над избою,  
 Она сквозь ветлы золотила двор  
 И, обливаясь кровью, как из боя,  
 Войной грозила в ночь под рождество;  
 Она бывала сонной и глазастой,  
 Горела то чадилкой, то светло;  
 Она вошла в крестьянское хозяйство  
 С избенкой, с клячей, с тыном и с  
 ветлой;

Родимая... В своем сиянии мирном  
 Кому землячкой не была она?  
 И вдруг Луна открылась чуждым  
 миром —  
 Она как будто вовсе не луна.  
 И то, что с детства чудилось пейзажем  
 И пребывало как бы для земли —  
 Само дышало и видало, скажем,  
 Звездю — села русские вдали...  
 И это было так огромно! Так  
 Пронзало душу в самую-то мякоть,  
 Что человеку захотелось плакать  
 От зрелища миров на их путях.  
 Недаром он всю жизнь мечтал о небе—  
 А неба, оказалось, и нет:  
 Где верх, где низ — все это просто  
 небыль,  
 Мы сами небо для чужих планет.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

*(Радиостанция в лагере Шмидта. Начальник экспедиции лежит в полузабытьи.  
 Кренкель возится у радиоприемника).*

Ш м и д т.  
 Когда пред командиром нет путей,  
 Легко решать судьбу своих отрядов...  
 Какое адское удушье... М?  
 Который час?

И часовой у будки...  
 Но там, где три окна освещены,  
 Проходят тени... Узнаю вторую:  
 Да это он: сутулый... шевелюра...  
 А первая? И первую узнал —  
 С характерным поглаживаньем уса  
 И угловым движением плеча...  
 Так что же: есть ли что-нибудь, радист?

К р е н к е л ь.  
 Ничего нет, Отто Юльич.  
 Ш м и д т.  
 Но ведь вы там что-то такое принимаете..

К р е н к е л ь.  
 Больше из любопытства, чем из любо-  
 знательности.

Ш м и д т (устало).  
 А-а... Понимаю. Любезничаете с ра-  
 дисткой из Литгл-Америки? Вам  
 нравятся ее тире-тире-точки?

К р е н к е л ь.

Нет, Отто Юльич, в эфире пахнет чем-то международным.

Ш м и д т.

Вот как? Интересно.

К р е н к е л ь.

Да пока еще ничего интересного — все так бессвязно.

Пауза.

Ш м и д т (снова забываясь).

Полярный опыт говорит одно,

Романтика большевика другое...

Ну, что же — это слабое звено

В цепи моих расчетов, но оно

Не раскрошится ржавою трухою.

Напротив — как другие ни крепи,

Оно надежней всей моей цепи.

О чем же я тоскую? Я решил.

Зачем же возвращаться вновь и вновь

Все к тем же мыслям? Бедный человек,

Он слишком мало счастьем избалован...

Радист, ну, как там?

К р е н к е л ь.

Да пока все то же, Отто Юльич. Впрочем... сейчас, сейчас...

Ш м и д т.

Что такое?

К р е н к е л ь.

Сейчас, сию минуту. Сообщение о баррикадах...

Ш м и д т.

Где?

К р е н к е л ь.

Сейчас скажу...

О баррикадах... в Австрии.

Ш м и д т.

Откуда?

К р е н к е л ь.

Еще не знаю. Слышимость ни к чорту.

Ш м и д т.

Передают по-русски?

К р е н к е л ь.

По-немецки.

Ш м и д т.

Читайте же! Хотя бы по складам!

К р е н к е л ь.

Но только вы, начальник, не волнуйтесь.

Ш м и д т.

Читайте! Умоляю вас, читайте!

К р е н к е л ь.

«В доме имени Карла Маркса

во Флоридсдорфе

второго числа...».

Ну, тут идет какой-то пропуск.

Ш м и д т.

Дальше!

К р е н к е л ь.

«Отряд шуцбунда... битва с полицией.

Гуттингер, инвалид войны,

один удерживал целый патруль,

когда же пожар окутал

дымом его окошко,

он сунул жене сберегательный ордер,

а сам на глазах фашистов спустился вниз и исчез...».

Ш м и д т.

Дальше! Ну!

К р е н к е л ь.

К сожалению, все.

Ш м и д т.

Оборвалось?

К р е н к е л ь.

Верней, оборвали.

Ш м и д т.

Так. Спасибо хотя бы за это.

Эрнест, вы вот что! Забыл... Ах да!

В срочном порядке пришлите сюда

Редактора стенгазеты.

Если б он все это описал...

Входит Зверев.

З в е р е в.

Здравствуйте!

Ш м и д т.

Здравствуйте, комиссар!

Слышали новость? В Австрии, а?

Шуцбундовцы показали зубы!

Дом Карла Маркса горит, как Везувий,

По нем пулеметная бьет струя,

А Гуттингер, фронтовой солдат...

Да вы прочитайте в нашей «Вечерке»!

Держите ленты: они слетят!!

Но вы, я вижу, не в большом восторге?

Зверев.

Нет, я, конечно, рад. Но сознаюсь,  
Что для восторга слишком мало  
данных.

Вот если бы у них не Отто Бауэр,  
А, скажем, Отто Шмидт руководил...

Шмидт (смеясь).

Да уж не Зверев ли?

Зверев (улыбаясь).

А хоть и Зверев!

Шмидт.

Нет, дорогой мой,—пусть даже Бауэр!  
Но если толпа валит и валит  
И видит фашистов, берущих  
брандмауэр,

Где в слуховом окне инвалид, —  
То это, Зверев, такой пейзажик,  
Который запомнится не на час!

Пауза.

А как дела у вас?

Зверев.

Да ничего.

Шмидт.

Но вы ко мне по делу или в гости?

Зверев.

Я, Отто Юльич, думал получить  
У вас совет. Но, видно, не придется.  
Вы нездоровы, да и час не тот.  
Я сам взволнован этой телеграммой:  
Ведь продадут же! Ясно, продадут!!

Шмидт.

Какого рода совет вам необходим? Я  
слушаю вас, Иван Петрович.

Зверев.

Мне, право, неудобно перед вами,  
Тем более, что тема вне режима...

Шмидт.

Оставьте это. Говорите, прошу вас. Я  
вам приказываю, наконец!

Зверев.

Вопрос о... Джемсе. Уильяме Джемсе.  
Вы знаете? — мыслитель есть такой.

Ну, вот. Его читает кочегар.

Позвольте я поправлю вашу свечку!  
Способный малый. Котя. Не слышали?

Но чувствую — ему не одолеть:

Запутается, понаестся каши...

Но вот не знаю, чем и как помочь.  
Не отбирать же книжку? Я пытался  
Освоить сам, но некогда: дела,  
Ну и, сказать по правде,—не философ.

Шмидт.

Джемс? Ну, как же — конечно, помню.  
Едкий старик был, покойник.  
Впрочем, он, кажется, еще жив. Во  
всяком случае можете быть уверены:  
он вашему кочегару логически  
докажет, что логика бессильна.

Входит Гаевой.

Зверев.

Вот то-то и оно-то.

Шмидт (Гаевому).

Вы ко мне?

Гаевой.

Так точно. Я, Феодор Гаевой,  
Ослушался приказа коменданта  
Аэродрома.

Шмидт.

Так..., Он был неправ?

Гаевой.

Да нет. И вообще — мы помирились:  
Она меня простила.

Шмидт.

В чем же дело?

Гаевой.

Да вот. Считаю долгом довести  
До сведения начальства.

Шмидт (улыбаясь).

Совесьть мучит?

Гаевой (твердо).

Считаю долгом.

Шмидт.

Выговоры есть?

Гаевой.

Ни одного.

Шмидт.

А замечанья?

Гаевой.

Нету.

Пауза.

Шмидт.

Ввиду того, что вы сознались сами,  
Уж так и быть: на первый раз прошу.

Зверев.  
Но Насте я поставил бы на вид.  
Гаевой.  
Настя тут не при чем!  
Зверев.

Молчи!

Туда же мне, рыцарь печального образа...  
Но Насте я поставил бы на вид  
Дешевенький либерализм!  
Шмидт (Гаевому).

Все?

Гаевой.  
Еще одно есть дело.  
Зверев.

Вот те на!

Зазря простили, кажется...

Гаевой.

Постойте.

И вообще — я про другое.  
Тут, понимаешь, дело такое:  
Мы вот заметили—вся молодежь:  
Гриб, Котя, ну, скажем, я тоже,  
Что «кэп» страдает!

Зверев.

Ага... Ну, и что ж?

Гаевой.  
Заметили, стало быть. Всей молодежью.

Зверев.

По ком страдает?

Гаевой.

Да как сказать...

Сам понимаешь, Иван Петрович:  
Корабль, конечно, не брат и не зять,  
А все же какой-то родич.  
Для вас пароход это что? Транспорт.  
Тонет — убыток. Только всего.  
А для души океанских странствий—  
Самое пламенное родство!

Зверев.

Ладно, ладно! Умерь свою прыть.  
Тут понимают. Не ясли.

Шмидт.

Вы пробовали с ним поговорить?

Гаевой.

Котя пробовал.

Зверев.  
Выгнал?

Гаевой.

Ну, ясно.

Пауза.

Шмидт.

Так. Ну, вот что. Вы, Гаевой,  
Никому ничего! Ни в каком то-есть  
виде!

Попробую сам повлиять на него.  
Может быть, что-нибудь выйдет.  
А вы заходите ко мне через час —  
Я обо всем информирую вас.

Гаевой.

Благодарю. Я могу идти?

Шмидт.

Пожалуйста.

Гаевой уходит.

Да. Так вот, Иван Петрович,  
В конце концов, мне наплевать на  
Джемса.  
Случись бы дома—всей этой проблеме  
Цена пятак. Но в лагере, на льду  
Здесь может человек записывать  
От пустяка.

Зверев.

Допустим. Но поймите,  
Что я не в состоянии одолеть  
Всю эту чертовщину, что у Джемса.  
Не так я образован.

Шмидт.

Че-пу-ха!

Не лекцию же в философском вузе  
Я вас обязываю прочитать,  
Раз'яснить — понятно? —  
кочегару,  
Что значит Джемс и почему он  
Джемс.

Зверев.

Я снова, Отто Юльич, повторяю,  
Что я...

Шмидт.

Все учишь-учишь...

Зверев.

...не философ!

Шмидт.

И все без толку.

Зверев.

Думаю, что ясно!

Пауза.

Шмидт.

Был в Англии такой политик Стэнли.  
Так вот сей муж всегда гордился

тем,

Что все на свете делал хорошо,

Но ничего не сделает отлично.

А нам такой стэнлизм не к лицу!

Ну, что это у вас за оправданье:

«Я — не философ». Выпалил —

и все!

А почему, позвольте вас спросить,

Вы в пятьдесят два года не философ?

Жаль. Очень жаль, товарищ

комиссар,

Тогда бы вы, товарищ комиссар,

Читали Джемса, не вдаваясь в дебри,

А, так сказать, на нюх. Тогда бы вы

Нашупали, чего философ хочет!

Они всегда чего-нибудь хотят...

Где торбоза?.. чего-нибудь хотят.

Сейчас вот тут стояли торбоза!

Гнедые в белых крапинках. Гне-ды-е!

И стало бы вам ясно, что призыв

К познанию в торжественном молчаньи...

При ярком практицизме — это,

Зверев, —

Практичное молчанье!

Финансисты

Хотят царить, не думая о том,

Что ожидает их систему завтра.

Познай, что хочешь! Только бы

никто

Не объявлял своих прозрений миру.

Уйди в себя! От'единись от всех!

Помалкивай да думай шопоточком.

Зверев.

Да-да.. Вы правы... Я теперь и сам...

Фашизм просто рывкает: «Молчать!».

Шмидт.

Вот-вот. Так вы мне Котю-то пришлите

И... извините, если нагрубил.

Вы знаете — я очень вас ценю,

Но через год, когда пойдем на полюс,

Вам надо будет сдать обширный

курс...

Зверев.

На полюс? Через год?

Шмидт.

Ну, через два.

(Иван Петрович поглядел на

Шмидта

С невыразимым любопытством. Ишь ты!

Пред ним стоял великий человек...)

А между тем Шмидт уже надел свои торбоза, влез в меховую парку и учтивым жестом раскрыл перед Зверевым полог палатки.

Шмидт.

Прошу вперед.

Зверев.

Позвольте: вы куда?

Шмидт.

А к капитану.

Зверев (*улыбаясь*).

То-есть как? Без спросу?

Шмидт (*улыбаясь*).

Но я ведь только-что сказал: «Прошу».

Зверев.

У вас был жар!

Шмидт (*успокоительно*).

Наоборот: озноб.

Зверев.

На улице смертельный холодина.

Шмидт.

А сколько градусов?

Зверев.

Да верных сорок!

Шмидт (*подтрунивая*).

Ах, так! Включая месяц и число?

Зверев.

Я чрезвычайно, Отто Юльич, рад, что вы в таком прекрасном настроении,

Но все-таки, послушайте: останьтесь!

Ну, сделайте вы это для меня...

Хотите — я заранее скажу,

Чем кончится беседа с капитаном?

Ну, вот. Ну, вы придете.

«Здрате?» — «Здрате».

Вы будете стоять к нему в анфас,

А он к вам в профиль. Вы начнете сразу,

Что партия, правительство, народ

Гордятся им, ледовым капитаном...

Ш м и д т (улыбаясь).

Похоже. Ну!

З в е р е в.

Что 'Арктика — задача,  
Которую мы сразу не решим!  
(Тут ссылочка на Амундсена. Верно?)

Ш м и д т.

Хо-хо... На Норденшельда...

З в е р е в.

Виноват-с!

А что касается до корабля,  
То жаль, конечно, — но его Эпрон  
Когда-нибудь подымет на поверхность.  
Ведь так?

Ш м и д т (хохочет).

Почти.

З в е р е в.

А в результате — нуль!  
Он все это слышал уже от Коти.

Ш м и д т.

Допустим. Но угодно вам пари,  
Что через час — от капитанской  
грусти

И дыма не останется?

З в е р е в.

Ого!

Ш м и д т.

Не верите? Секрет же очень прост:  
Все то, о чем сейчас вы говорили,  
Не я ему — а он изложит мне.

З в е р е в.

Каким же образом?

Ш м и д т.

А очень просто:  
Я сам скажусь унылым, захандрю,  
Проямлю, что в спасение не верю,—  
И мой Владим Иванович непременно  
Подымет плечи, грянет кулаком,  
Начнет покрикивать, распетушится!  
Типичная советская черта.

З в е р е в (восхищенно).

А ведь пожалуй. Это может выйти.

Ш м и д т.

Не правда ли?

З в е р е в.

Боюсь, что проиграл.

Ш м и д т.

Ну, то-то. Одевайтесь же скорее.  
Ну, одевайтесь. Некогда. Пошли!  
Пошли-пошли...

З в е р е в.

Постойте: вызывают!!

Ш м и д т.

Где?

З в е р е в.

Вот.

Ш м и д т.

Да-да.

З в е р е в.

Вы не радист?

Ш м и д т.

А вы?

З в е р е в.

Немного.

Ш м и д т (взглянув на ленту)

Ваня!! Это из Москвы!

«R-A-E-M R-A-E-M R-A-E-M R-A-E-M  
лагерь Шмидта лагерь Шмидта  
шлем героям горячий привет  
восхищенно следим за борьбой  
со стихией

приняты срочные меры  
вашему освобождению

верим счастливый исход экспедиции  
в то, что в анналы истории Арктики  
впишет свои боевые страницы  
орлиное ваше перо

двадцать два семнадцать тридцать  
Кремль Политбюро».

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

«Контакт?».—«Есть». Винт закосил —  
И формулой окружностей и линий  
Цельнометаллический кольчуг-алюминий  
Стронул 1.200 сил.

Они заскользили по снежной грязи  
Вприпрыжку на торос... Ближе, ближе—  
И вот голенастые фермы шасси  
Несут над землею хищные лыжи.



И сразу упала крестатая тень...  
 День был синий. Мороз за тридцать.  
 В очки и крылья закованный рыцарь  
 Слушает музыку всех статей:  
 Она, как всегда, — труба и гобой.  
 Все, Анатолий Васильич, исправно:  
 Ровный рокот мотора справа,  
 Слева слегка позолоченный вой.  
 Но авиатор дает им газ.  
 Тонус повышен. Бурей запеть ли?  
 Седой металл переблеском глаз  
 Чует видение мертвой петли...  
 Вот у невидимого кольца  
 Машина заваливается на носе...  
 Губы, щека и кончик носа  
 Отстали от свиснувшего лица;  
 Рот набит океанским ветром,  
 Таким, что можно его жевать!  
 Но крен скользит в голубую падь  
 С выси, забравшейся к двум километрам.  
 И вы подбираетесь в мощный клубок...  
 Крыло опускается шторой навеса.  
 Первое чувство — откинуться вбок!  
 Не допустить! Уравновесить!  
 Но это беспечно. Сиди, как пласт!  
 С ногами, будто вбитыми в донце.  
 Тут все по-иному. Ожегши глаз,  
 По страшной стреле прожужжало солнце.  
 И вас подминает. Вас гнет дугой.  
 На вас навалилась — 1.200.  
 И вдруг—все кончилось. Тишь да покой.  
 Вокруг — все те же знакомые вещи.  
 Вы вновь господин своего костяка.  
 Ожили снова привычные связи.  
 Кончик носа, губа и щека  
 Опять водворяются во-свои.  
 Под вами—крыла гофрированный тент,  
 Снизу пространство горит синевою...  
*Именно в этот самый момент*  
*Вы и находитесь вниз головой.*  
 Сверху и вкось—полукружим сивым,  
 По ямам и кряжам пургою пыля,  
 Как в телескопе, огромным массивом  
 Блистало небесное тело — Земля.  
 На ней обитают воспомианья,  
 К заветной двери проступает след...  
 Но парень, в «петле» вися на биплане,  
 Летит сквозь вихри идей и лет.  
 Он позабыл о друзьях, о милой,  
 О самом понятии высоты.  
 В нем прорастает с космической силой  
 Чувство падающей звезды.

Но вот самолет на полном газу

Взмывает над снежной старухой —  
 И снова льды скалят внизу  
 Седые свои заструги.  
 И снова из космоса—четко и метко—  
 Включилась в режим обыденных дней  
 Самостоятельная планетка  
 С тремя обитателями на ней.

Выпуклой червой, облитой снегами,  
 Выносятся с берега—Сердце-Камень,  
 Но летчик с движения одного  
 Крутым разворотом ушел от него.  
 Небо сереет. Иней покрыл  
 Волнистую кровлю огромных крыл;  
 Оперились подмоторные рамы —  
 Но линия лета проложена прямо.  
 Тогда — налетает дождик и дым,  
 Запах бензина — в'ехали в тучу.  
 Снова пилот виражем крутым  
 Ее рассекает звездю падучей.  
 Земля начинает куриться во мгле.  
 Туман прижимает машину к земле.  
 Все ниже и ниже орлиное судно —  
 Но море безлюдно. Море безлюдно.  
 Снежные перья стали мехами,  
 Но море безлюдно. Вернуться домой?  
 Уже вечереет. И вдруг — механик  
 Как-раз под собой замечает дымок:  
 Зеленая капля и красные точки,  
 Темная жилка и сизый квадрат.  
 Туда, туда! Воздушные кочки  
 Подкидывают раз пять подряд.  
 На льдине заметили. В темноте  
 Костры заносятся боком, боком...  
 Сигнал, окрашенный клюквенным соком,  
 На снеге выложен буквой «Т».  
 Аэроплан, снижаясь спиралью,  
 Взял направление прямо на шлиф.  
 «Настя, Настя!». Дыханье спирало...  
 «Ура! Товарищи! Нас нашли!».  
 Машина проехала, как по смазке.  
 Люди к штурвальному колесу.  
 Тогда вылезает чудовище в маске  
 Из пыжьего меха — пухом к лицу.  
 «Я—Ляпидевский». — «Очень приятно.  
 А я—Незлобина. Саша! Скорей!  
 Прошу вас, товарищи, к этой горе.  
 Но только—чур!—обходите пятна,  
 Под ними вода... Ну, как полет?  
 А мы уж думали — не найдете.  
 Это Валавин. А это Котя.  
 Здесь осторожней. Прошу на лед».

Из лагеря уже бежал народ,

Таша с собою лодку для разводий.  
У носа—песенники. В первом взводе  
Хромали лыжники. Вперед, вперед!  
Вот шуба Ольги, вот камлейка Зины;  
Шагает Шмидт, удушье затая;  
Вот маленькая Аллочка в корзине  
Восторженно кричит: «Туа, туа...»  
Упала Нюра. Как же не бежать ей?  
Народ бежит по льдинам, по реке,  
Чтобы страны своей рукопожатье  
Почувствовать в пилотовой руке.

Малиновский приехал с лыжною частью.  
«Настенька... Ты сейчас летишь...  
Я останусь один... Понимаешь, Настя?  
Безлюдье... Тишь...  
Умоляю, поженимся! К капитану!  
У него судовой журнал!».

Она подумала: «К чему я мучить стану  
Несчастливого мальчишку? Он устал...».

Взяла его за руку. Где Воронин?  
«Владимир Иванович! Минутку! (Ась?)  
Да-да... Вещи сложить у воронки.)  
Владимир Ива... Обвенчайте нас!».

Владимир Иванович хотел удивиться,  
Но времени было в обрез.  
Он только взглянул разок на девицу  
И молча в палатку полез.  
Сел на кукуль. Журнал раскрыл.  
Ничего не выдать от пара.  
А те стоят благоговейной парой,  
Как ангелочки,—только, что без крыл...  
Капитан подумал, что просто так  
Внести в журнал эпизод  
Уж больно грубо. А впрочем—пустяк!  
Минута их не спасет.  
Но он ощутил уже с ними родство,  
Какая-то бережность в нем всплыла...  
А пара жадно глядит на него  
И требует тепла.  
И он. Он встал. Он отряхнул совик.  
«Товарищи! Большое дело брак.  
Живите дружно. А детей своих  
Воспитывайте грозно. Чтобы враг  
Не смел и думать! (Далее чего?  
Ну, далее как будто ничего).  
Да! Еще вот что: слухай, старуха!  
И ты, брат, слушай. Взрослый. Пора.  
Как глаз, берегите, ребятки, друг друга,  
Потому вы сами еще детвора».

Он обнял охапкой обоих сразу  
И трижды поцеловал. С душой.

Настя заплакала. Так хорошо  
Ей не было еще ни разу.  
А капитан растрогался и сам...  
Ей-богу же конфузная минута!  
Но ухо прислушивается к голосам:  
Ого! Нагружают как будто!  
Скорей, скорей... Успеем едва...  
Придется еще отдуваться...  
«Сего числа сочтатися браком  
Болеслав Малиновский от роду 20  
С Анастасией Незлобиной — 22».  
Но вдруг вспоминает мой капитан  
Как будто бы чуждое вовсе  
И, взяв их росчерки, записал:  
«Температура 38».

Спешно вышли. У самолета  
Женщины кутают двух детей;  
Мужчины кутают женщин — «Эй!  
Без малицы не отпускать! Ну, то-то».  
«Возьми порошок, у ребенка резь».  
«Девушки, бросьте: не нужно усилий—  
Мы вас подыдем сами».

«Василий!»  
«Настя! Где Настя?» «Ау! Я здесь».  
«На вот—накройся шкурой медведя!  
Слышишь?». «Ладно». «Корзинка чья?».  
«Товарищ начальник: шалит свеча!»  
«Давайте! Первая... Вторая... Третья...».  
«Скорей целуйтесь, некогда!».  
«Шесть...»  
«Седьмая, восьмая...» «Накройся  
шкурой!»  
«Девятая Зина... десятая Шура...».  
«Все?» «Все!» «К о н т а к т?» «Есть».  
«Постойте! Одну минуту!».  
Шмидт  
Подходит к студенту при всем народе:  
«Вот что. Воронин мне говорит,  
Что он поженит вас. Так?» «Ну,  
в роде».

«Значит нелепо вас разлучать.  
На самолете имеется место.  
Садитесь к жене и легите вместе».  
«Нет, вы серьезно? Подпись, печать?».  
«Но только быстрее, голубчик, быстрее!»  
Товарищи! С вами летит студент!».  
Студент оглянулся, ныряя и рея,  
Далеко знамя всплывало над реей...  
Он стиснул руки и крикнул: «Нет!».

«Прощай! До свиданья! Счастливый  
путь!».

Но где же ее лицо?  
 Блеснуло совсем, совсем чуть-чуть  
 Легкое серебрецо...  
 Сивый буран из-под лыж задул...  
 В окне улыбки слились...  
 Парни без шапок стояли на льду,  
 В лицо им летела слизь.  
 А тот вприпрыжку—и вдруг круги!  
 И вынес крылатый жест  
 Двенадцать самых дорогих,  
 Самых любимых существ...

Но вот жужжанье в тонкий плач.  
 И тот заглох. Буран сильней.  
 Но туча начала пылать  
 От бортовых огней.  
 И вот опять его взнесло,  
 И снова он течет сквозь дым,  
 Напоминающая чем-то им  
 Латинское число.  
 И то число вошло в виски

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

По радио получивши погоду,  
 Пилот уселся, проверил пути,  
 Затем покатился вперед и по ходу,  
 Как бы раздвоившись, начал ползти  
 Снизу — гигантскою тенью орлана,  
 Сверху — комнатой на плавниках...  
 Белым огнем снеговая поляна  
 Била в глаза и валялась в ногах.  
 Казалось бы, летчик горит или вроде!  
 Казалось бы, на крутом развороте,  
 Который и штопору чем-то не  
 чужд,  
 Машина ждала обостренных чувств.  
 Но Леваневский, взглянув на окрестность  
 И видя сплошной арктический дым,  
 Встает и отходит. Широкое кресло  
 Перед штурвалом стоит пустым.

Проходит минута... Другая проходит...  
 Ветер меняется.

Вест  
 рвал!

Но летчик небрежно кричит о погоде,  
 Искося взглядывая на штурвал.  
 А там—никого. Но невидимый призрак  
 Менял рычаги—то в раз, то под ряд  
 И, мокрый от облака, в пене и брызгах  
 Слепым полетом вел аппарат,  
 И тот, кружась по туманным кольцам,

И стало датой их тоски,  
 И хоть его уж днем с огнем —  
 Все помнили о нем.  
 А самолет  
 В последний раз  
 Приветом шлет  
 Горючий газ;  
 И, разгораясь,  
 Багряный глаз  
 Зарделся и —  
 Угас.

И люди снова побрели назад,  
 Таща с собою лодки для  
 разводий,  
 Опять гидролог лыжников уводит  
 Военным строем, как и час назад.  
 Но уж теперь широкий их разлет  
 Утратил юношеское веселье —  
 И льдина стала, точно дикий лед,  
 Где дышит зверь, но птицы улетели.

Как будто опутывал весь гарнизон,  
 Но, словно даль, под овальным  
 стекольцем  
 Пылал искусственный горизонт.  
 И летчик спокойно кричит сквозь ропот:  
 «Сейчас проходим над мысом Инцо в». —  
 Большой работник и маленький робот  
 Давно понимали друг друга без слов.

Слепнев, не видя своих же колен,  
 Ища сквозь дымку хотя бы кляски,  
 По пояс в туче плыл из Аляски,  
 Тщетно прощупывая Уэллен.  
 Но вон по курсу, почти по дороге  
 Крылатый туманится силуэт.  
 Он подогнал. Неужели Доронин?  
 Дорониц и есть. А за ними вслед —  
 Чадит Водопьянов. Но ветер стихает.  
 Батальные дымы редуют — и вот,  
 Будто оттаянный чым-то дыханьем,  
 Глубоко внизу зажигается лед.  
 Ура! Открылась земля! Дом!  
 И тут уж вовсе не важно, что это  
 Море, покрытое диким льдом, —  
 Важно, что наша планета!

Военный «Р-5», сбитый метелью,  
 Рванул из пике... Ослепший пилот  
 Охнул от боли — и еле-еле

Вывел машину в обычный полет,  
 Но голова его, словно от лени,  
 Медленно клонится в сторону дверц...  
 И самолет, утратив твердь,  
 Вмиг потерял управление.  
 Упал! — на слом голенастые сани...  
 Вот-вот взорвется стальной метеор...  
 И вдруг—руки! Без памяти! Сами—  
 Железной службой рванули мотор  
 И, катастрофу сквозь сон погася,  
 Опали двумя ударами...  
 В этом жесте сказалась вся  
 Красная наша армия.

Каманин храпит. Кровь из ушей.  
 Запрокинулся бобрик.  
 Сверхка крыльями в тяжелых гофрах  
 Спустились Молоков и Пивенштейн.  
 Метелицу послал ко всем шаманам,  
 Они бегут... С трудом открыли дверь.  
 «Где нашатырка? Николай! Каманин!!  
 Теперь вам легче? Легче вам теперь?»  
 Но он молчит. Он смотрит диковато.  
 Он начал постепенно прозревать:  
 Сначала видит, как кружится вата,  
 А в ней торчит какая-то кровать...  
 Потом, ногами отодравши пот,  
 Осознает подраненную птицу.  
 «Вот что, ребята: летите вперед.  
 Летите. Я буду чиниться».

Он отвернулся, чтоб никто не видел,  
 Как через душу пробегает тень.

Так... Зачеркнут... В чистом виде...  
 Молчание.

Говорит Пивенштейн:  
 «Коля... то-есть, товарищ начальник!  
 Разрешите доложить: за полярный полет  
 Отвечаете вы. Остальное частность.  
 Возьмите мой самолет».

Говорит Молоков: «С а м-то в ключьях...  
 Но как откажешь? Военный рейд.  
 Возьми у меня. Я — гражданский  
 летчик.  
 Как говорится — рей!».

Тогда, помолчав, отвечает Каманин  
 (И те за губами его следят):  
 «Что ж. Предложение принимаю.  
 Делать нечего. Я — солдат.  
 Ты, брат, Молоков,—садь на место.  
 Садись, садись — не качай головой,

Мы ведь с Борисом красноармейцы:  
 У нас на все обычай свой.  
 Спасибо за службу, товарищ  
 летчик».

«Служу революции!».  
 «Есть».  
 «Конта-акт?».

«Есть контакт». Заревела площадь  
 И двое всплывают в раскосых путях...

А ветер за тучи, за льды, за канал  
 Дует, от зверства пьяный;  
 Он иглы под ногти им загонял,  
 В слуховые бил барабаны.  
 Но казалось, что то барабаны вдали,  
 Градовый бой похода;  
 И чудилось — в пороховой пыли  
 Под «ура» наступает пехота:  
 Фронтальной колонной ползет на дне,  
 А хвост ее в атмосфере;  
 Знамена косматой метелью над ней,  
 За ней косолапые звери...  
 Но вот с поземки вздыбился вихрь,  
 Крутясь и взвивая перья,  
 И кажется—сотнею сабель на них  
 В султанах летит кавалерия!  
 Над ней. Сквозь сосульки. Хрипит.  
 Труба.

Теряя. На рейд. Ноты.  
 И айсберги, океан дробя,  
 Поворачиваются, как дредноуты.  
 И с гербами поморников серых на лбу  
 Подъемом непроходимым  
 От сжатия открывают пальбу,  
 Покрываясь седым дымом.

У семи матерей было семь сыновей,  
 Были сбиты они не из воска.  
 Задувай, норд-ост! Сухой, повеи!  
 Высылай свои призраки-войско.  
 А они, пролетая в белом бреду,  
 Москвичи, туляки, вятцы,  
 Сквозь самую смерть—с боем пройдут  
 Штурмовую своей авиацией.  
 И блещет крылами орлиный клин,  
 Прорывая небо жестокое...  
 Вот так,

если нужно,  
 блеснем  
 на Берлин!

Вот так  
 закружим  
 над Токио...

Не суйся же за погран-стрелу,  
Любая

белая

Польша:

Здесь наша страна! И свою страну  
Отобьем мы даже у полюса!!

Взгляните, от холода млея,  
На торос, овитый пылью:  
Не правда ли, стало милее  
Седое его лицо?

Становится человечней

Полярная сторона

Оттого, что нежностью внешней

Дохнула наша страна.

Мы здесь теперь, как дома!

Мы строим небесный мост!

На белом аэродроме

Поднимем за полюс тост!

Пройдем сквозь тучи да «каши»,

Сквозь беломедвежью клычь...

Арктика будет нашей!

Таков. Наш. Клич.

О счастья мечтали поэты —

И мы воплотили его.

Но счастье, товарищи, это

Загадочное вещество:

Душа, лучом облитая,

Утратит его совсем,

Если, им обладая,

Себя не раздарит всем!

Боями добыла радость

Великая наша страна —

Народ с охапкою радуг

На норд посылает она,

Чтоб там, где на ножках слабых

Собаки форсируют вал —

Сталепрокатный слябинг

Рельсы бы отливал;

Чтоб там, где гнилые отроги,

Заросли да кутки —

Зеркальной прошлись дорогой

Грейдеры и катки;

Чтоб залежи вечной мерзлоты

Пронзил электрический бой;

Чтоб серебряный ворон на взлете

Хохотал бы сам над собой,

Подчас принимая за утро

В роеньи пуржистой муки

Среди парниковой тундры —

Авиомайки.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Она желтеет, как осенний лист.  
С утра до ночи головные боли  
И тошнота. Ну, что ж... Чего вам боле?  
К тому же явно кровью налились  
Ее казачьи ноздри и запухли.  
В глазах не то раскаянье, испуг ли,  
Но в то же время бережность. Она —  
Решительно собой поглощена.

На Уэллене шумно. Семь моторов,  
В разительных тональностях гудя,  
Звучали струнной музыкой, хотя  
Кой-кто срывался в пулеметный норов.  
Тогда к нему бежали проверять —  
И вновь жужжанье плавало над  
«кошкой»,

И авиаторы, как повара,  
По фабрике своей ходили с ложкой.  
Но панцырные плиты у котла  
Рыча вскипают варевом полета,  
И фабрика срывается с оплота  
В парение железного орла.  
Не так ли, поэзия, и ты,  
В техническом жужжа словопрении,

Недалеко отходишь от плиты —  
И вдруг парит стальное оперенье!

Но Настенька, стараясь не дышать,  
Чтоб не стошнило запахом бензина,  
Бегом проносит будущего сына  
За «кошку», за строения, за падь.  
Течение нефти в воздухе редееет...  
Еще жужжит аэропланнй пляж,  
Но перед нею и вокруг седеет  
Уже доисторический пейзаж.  
Теперь идут яранги. Словно риф,  
Китовьи позвонки с седой коростой  
Оберегают чумы от норд-оста,  
Их кожаные скальпы заземлив;  
А рядом возвышается стояк —  
Ребро кита или обломок ели,  
На коиx (дабы псы его не с'ели)  
Висит четырехвёсельный каяк.  
Он пахнет рыбьим жиром! И противно!  
Она в платочек дышит как-нибудь...  
Но вдруг  
ей рычаньем

отрезал путь

Вожак «Четыре Бивня».

Была его грива глубокой и колкой,  
И шел его хвост, от снега рябой,  
Не вверх, как у пса, не вниз, как  
у волка,

А выгнутою трубой,

Но, обличая военную мощь,  
Ярость, инициативу, —  
Зверь, на лбу подымая морщью,  
Словно давался диву.

Что его волновало в ней?

Облик? Меха? Походка?  
Память ли корабельных огней?  
Зов ледяного похода?

Она протянула руку украдкой —  
Он зарычал на все голоса.  
Тогда Настюша сняла перчатку —  
Он, слабо оскалясь, закрыл глаза.  
И вот ее пальчики нежно прощлись  
По треугольной башке и шее...  
И снова, как девушка, хорошея,  
Настя забыла про желтый лист:  
«Ах, ты... Ах, ты... Мы дружим...  
дружим...».

Она причитала над волком владысь.  
А он, слащаво осклабив пасть,  
Нежно пощелкивает оружием.

Она пошла. И он поскакал,  
Нырять под руку, требуя ласки, —  
И ярко сверкает сладкий оскал,  
Не прерывая скелетного ляска.  
Он с ней, звериный ее атташе!..  
Они побежали лощинкою снежной —  
И снова стало светло на душе:  
Ей просто нужна была нежность.

Но, пережив ее, она легко  
Освобождается, как от помехи.  
Ее рука еще играет змейкой,  
Но мысли улетели далеко...

Ей кажется, что никому на свете  
Не удалось как следует понять  
Во всей громаде, под углом столетий  
Чудовищное, как пучина, — «м а т ь»!  
Покуда сын еще не стал ей милым,  
И шею лапушки не оплели —  
Она себя переживает миром,  
Кратчайшею историей земли.

Ее зародыша ползучий рост  
Растением простерся под горою.

Он весь еще, как виногражья гроздь,  
Клубится захмелевшею икрою.  
Пускай цивилизованней его  
Какая-нибудь спаржа или жабрий —  
Смотрите: огневое существо  
Просоленные обнажает жабры!  
Сперва — как будто бы морской конек  
С-стрючком членораздельного охвостья,  
Он вдруг, как саламандра, изовьется,  
Выбрасывая в бой две пары ног,  
Чтоб, наконец, одетый в рыжий мех,  
Еще враждебен и стихам и прозе,  
Задумчиво согнулся человек  
В своей привычной философской позе.  
За триста дней, веками проносясь,  
Он был растеньем, рыбою и гадом  
Горел в эпохах! долетел до нас —  
И стал Платоном или Ксенократом.

Какая потрясающая жизнь!  
Хоть век ее в миллионы преуменьшен,  
Но всю ее по каплям пережить  
Дано трагической природе женщин.  
И в Насте демоническая гордость  
Охватывает пламенем лицо...  
Одета краснобурою лисой,  
Она меха распаивает борду.  
От вдохновенья! От приборя сил!  
И даже воротник... Ей просто душно!  
А пес визжит... А Настя простодушно  
Хочет с ним, как будто это сын.

Но вдруг она становится серьезней.  
Да-да... Не ограничила ль она  
Материю материей? Не поздно  
Еще проверить. Только ли вольна  
Она в созданьи своего подобию?  
Ведь не Платоны населяют мир!  
Иной привносит некоторой дробью  
Черты зверья сквозь блузу и мундир.  
Вот в Малиновском, подымаясь дыбой,  
Икра хмельная вьется и томит.  
Вот вечно полусонный дядя Тит  
В каком-то счете остается рыбой.  
Иные в саламандровой броне  
В воде не тонут, не горят в огне,  
Идеей пресмыкательства налиты,  
Благочестивые незуйты.

И общество усиливает их  
Или, напротив, — обминает, сводит,  
А то и вовсе, в буднях трудовых,  
Махнет рукой — потом-де, ничего-де...  
Но матерям ли их не понимать?

Хоть и молчат из боли и приличья...  
 Но счастлив мир, когда страна и мать  
 Сливаются в единое обличье!  
 Тогда обычай величав и прост,  
 И нет сирот — и, каменную стыня,  
 Родная мать клеймит позором сына,  
 Из трусости покинувшего пост.

И Настя задержалась на-бегу...  
 Не схема ли? Не проще ли задача?  
 А если нет — постигнет ли удача?  
 Смогу ли я? Создам ли? Сберегу?

Уж на девчонку сумрак набежал...  
 И вдруг вдали, где торосы курили,  
 Взошли из океана к небесам  
 Семь точек большевистской эскадрильи.  
 Они Большой Медведицей парят,  
 Сразившей полюс и подмявшей книзу.  
 И величав их маленький парад,  
 Где человек преобразился в птицу.  
 Заглохший воздух рокотом зыбя,  
 Они летят все выше, выше, выше...  
 И Настя смутно чувствует себя  
 Могучею землею, их родившей.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

И в лагере осталось шесть человек...  
 А так недавно — какая братва!  
 Всего-то осталось шестеро всех:  
 Один да один плюс дважды два.  
 Они перешли в самый маленький чум,  
 Чтобы сдышаться на общих парах.  
 В пустых палатках гуляет шум,  
 Зимним гнездом остывает барак;  
 Ржавая печка снегу полна,  
 Крыша на стол осыпала тлен;  
 Меж спальней и детской — прошла  
 полынья,

И вот на ковер вылезает тюлень.  
 Он прыгает, нюхая по пятам,  
 Он удивляется так и сяк.  
 Он лезет в кроватку и видит там  
 Куклу с улыбкою на устах.

Но поразительно было не то,  
 Что нерпа куклу пришла навестить,  
 А то, что где-то кафе, авто,  
 И запах смол и одурь гвоздик...  
 И это казалось религией сна,  
 Какою-то верой в загробную жизнь!  
 Как будто слова «Москва» и «весна»  
 Только мистические этажи.  
 Но кукла... Кукла! Это она!  
 Значит, где-то и дети есть?  
 Значит, должна быть где-то жена,  
 И дом № 8 и трам «26».  
 И это легендой очнулось в груди —  
 И вновь Малиновский лыжи берет:  
 Двенадцать ночи, а впереди  
 Четыре мили пустыни вброд.

Поставив лыжи и надев коньки  
 Да наскоро хлебнув немного рому,  
 Он покатился по аэродрому,  
 Не отдыхая. По льду огоньки

То тут, то там попыхивали робко  
 И замирали. Пушечный удар  
 Взволнует море снеговых отар  
 И унесется в беспредельность...

(Пробка!)

Но флаги плещут с четырех сторон:  
 Стальной квадрат в игре булатных пятен  
 Почти гигиенически опрятен —  
 И Малиновский удовлетворен.

Последняя трагическая ночь...  
 Над белой мутью мрачные наплывы  
 Во тьму валились гущей прихотливой  
 И, отекая, уползали прочь.  
 Но он утратил ощущение драмы.  
 Он знал в лицо все холмики, все ямы;  
 На этих льдах — рубцы его зубил,  
 Он здесь мужал, учился... Здесь любил.

Кому из нас не дороги места,  
 Где жило наше детство, где впервые  
 Услышали мы зовы боевые,  
 Где в скверике под шелканье клеста  
 Вот подле этой золотой осины,  
 Сойдя в конце-концов на колдовство,  
 Часами ждали появления Зины,  
 Чтоб не сказать ей ровно ничего.  
 Кто был настолько скучен и жесток,  
 Чтобы, трясаясь в кибитке по уздам,  
 Не завернуть на родину проездом,  
 Не повидать один особнячок  
 С крыльцом, полутерраскою да пихтой,  
 Не позвонить — и, понижая тон,  
 Конфузливо не справиться о том,  
 Куда уехала семья таких-то?

Но Малиновский знает: он навек  
 Лишается страны воспоминаний:  
 Вон та стамуха, вылезшая вверх,  
 Его не встретит седенькою няней;

Вон тот ропак уже меняет крен,  
 Как этот кекур или этот торос,  
 И Фузияма с буквами «А. Н.»  
 Не даст ему прочесть себя еще раз.  
 Загадочна природа наших чувств:  
 Он завтра будет выпущен на волю,  
 А между тем грустит! Седое поле  
 Уйдет без нас, и север станет пуст.

Он возвращается. Его яранга,  
 Вернее, Настина, — как и была:  
 На потолке попрежнему плыла  
 Чернеющая пежина подранка;  
 Над их постелью знаменитый нож;  
 Углы, заваленные антрацитом;  
 Бежали ходики. Поспешный ритм  
 На человечка чем-то был похож.  
 И этот человечек заменял  
 Ему Настасью. Поминутно воя,  
 Он звал, будил, опять напоминал...  
 Во всяком случае — их было двое.  
 И он глядел на карликову прыть  
 И чувствовал себя по-детски ранним...  
 Давно ль еще ему казалось странным,  
 Что женщина умеет говорить?..  
 А то, что можно с девушкой дружить,  
 Что женственность — воинственная сила,  
 Ему и в голову не приходило.  
 Но как он мог без этого прожить?

Зато сегодня в Насте он обрел  
 Жену и брата... Даже больше: детство!  
 Он завтра к ней сорвется, как орел.  
 Но только надо как-то придеться.  
 Рубахи, что ли, выстирать? Пора.  
 Хоть бритвенную пастой вместо мыла.  
 А о курносенькой, об этой милой,  
 О Настеньке — не думать до утра!

И он сурово на часы взглянул,  
 Отбросил мех с бирючьей опушкой,  
 Поднес запал — и цинковая пушка,  
 Пылая жаром, завела свой гул.  
 Яранга озарилась. Языки  
 Пустили блики на стеной пергамент.  
 Шипит яичница. Снаружи мамонт  
 Чесался о дверные косяки.

Последняя трагическая ночь...  
 О чем он думал? Юность пробежала...  
 Он шумно ел яичницу с кинжала,  
 Полумечтая: мальчик или дочь?  
 Потом убрал посуду, а кинжал  
 Засунул в углы, чтобы зашипело,

Нет, все-таки он явно возмужал.  
 Но не в отцовстве, очевидно, дело.

Кто он такой? Он снял кипящий бак  
 И осторожно опустил на ящик;  
 Потом достал одну из двух звенящих,  
 Негнувшихся от холода рубах.  
 Она в руках ломалась, как стекло,  
 Но парню стало за нее тепло,  
 Когда рубаха, разминая плечи,  
 В пару закапала весенней течью.

Кто он такой? Какие голоса  
 Неистовствуют сквозь его рычанье?  
 Вот этого-то он не знал и сам.  
 Но, может быть, он человек случайный?  
 Возьмем крестьянина. Ну, скажем, Тит.  
 За ним встанут коровы и березы.  
 Ведь это же литературный тип,  
 Ведь это же тургеневская проза.  
 Ну, скажем, Зверев. Чем не большевик?  
 Не тот, который выдуман, как повесть,  
 Не чудо-юдо, а Иван Петрович,  
 Молчановка 17, из живых.  
 А Малиновскому не довелось —  
 Его не скажешь философской строчкой...  
 И он, намылив щетку для волос,  
 Терзает непокорную сорочку.

Он русский? Да. Но, может быть, и грек.  
 Его отец, возможно, был рабочим,  
 Но кто поручится, что не банкиром?

Впрочем,  
 К чему гадать? Он просто... человек.  
 Он вырос, как и пращур, в пещере.  
 Он крался к жизни, челюсти ощеря;  
 Но, как и всех, будя и торопя,  
 Его зовет октябрьская труба.  
 И то, что он, приморский беспризорник,  
 Рванулся от страстей своих позорных  
 И устоял пред ними на ногах —  
 Случайность ли все это или как?  
 Того, кто долго мыкался окольной,—  
 И чортово не сбросит колесо.  
 Он сын народа — и с него довольно!  
 Он образ человеческий — и все!  
 И пусть его углы заострены —  
 Он понял то, над чем томился годы:  
 «В границах

свободы

моей

страны

Мера моей свободы».

И сразу стало на душе спокойней.



(Так музыка находит свой размер.)  
Он обеспечил грошик свой на кòне  
Всем достоянием СССР.

Утром встал ни свет, ни заря;  
Волнуясь, разжег сигнальный костер.  
В четыре — дал из нагана заряд:  
Военный «Р-5» свои перья простер,  
И люди молча пришли на плац  
И сели в кабине у самых окон.  
В черных клубах плясал огонь —  
Это был старый знакомый пляс.  
Но море стало плыть в глубину —  
И неожиданно под крылом  
Мертвый лагерь, шуму хлебнув,  
Сбоку вынырнул за рулем.  
Аэродром прижимался к нему  
Осиротелой своею душой.  
За поворотом в черном дыму  
Лагерь к товарищу сам подошел

И, полный следов, жил, как живой,  
Красным флагом кивая вслед...  
Все оглушительней свист и вой,  
«Море падало все веселей!  
Вот уж наплывом белых болот  
Прямо под крылья катится даль...  
Но с удивленьем видит пилот,  
Что пассажирам чего-то жаль:  
Один на другого в окне оперся,  
И каждый по-своему к стеклам приник:  
Маленький цирк раздувал паруса  
С трепетной стенгазеткой на них...  
А в самый снайперский, что ли, бинокль  
В пене, рвущейся из-под ног,  
На Фузияме вдоль южных стен  
С болью угадывалось: «А. Н.».  
И лагерь дышал своей дымовой  
Жизнью памяти — в мире льда.  
Ты никогда не увидишь его,  
Но не забудешь его никогда...

## ЭПИЛОГ

Осыпанные лепестковою пылью,  
Похожие на тропический сквер,  
Милей цветочных автомобилей  
Челюскинцы двигались по Москве.  
А всякие бабушки, всякие дедушки  
«Да поглядите, кричат, на меня!»  
Девушки, девушки, девушки, девушки  
Пели их имена...

И звоны имен по зубам пробегали,  
Точно толпа целовала их...  
Пернатые розы, как попугай,  
В зеленых лапах летали в вихрь!  
Тогда и герои тюльпаны срезали —  
И фейерверк опадал в пуху...  
Цветною милей огромный розарий  
Розовую подымал пургу.

Вот Леваневский, подстреленный фото,  
Жадно здоровается с Москвой;  
Вот кивает взволнованный Отто  
Осыпанной конфетти головой...  
«Ура Водопьянову!». «Браво,  
Каманин!»

Волосы в листьях, как парики...  
Толпа плыла в золотом тумане  
По берегам цветочной реки.

И вдруг — железной звездой пронесло  
Пониже церквей и отелей  
И, вызвав по улице медь и стекло,  
Бумажной решилось метелью.

На крыши, на плечи, на провода  
Знакомой повадкою вьюжиц ледовых,  
Порхая и ветер с собой приведа,  
Падает, падает снег листовок.  
В буране Доронин, кожей облитый  
Раевский, Незлобина, Копусов...  
«Письмо Ллойд-Джорджа»,  
«Письмо Буллита».

«Приветствие членов дипкорпуса».  
Н о р в е г и я : Вы победили полюс!».  
Ф р а н ц и я : «Доблесть — верный  
щит».

А н г л и я : «Лучшая высотная  
скорость».

Я п о н и я (молчит).

«Бойцы краснознаменной дивизии  
«Ч а п а е в»  
просят к себе в приуральскую ширь».  
Рабочие завода «К р а с н ы й  
б о г а т ы р ь»  
вас приглашают на чашку чая».  
«Л е т ч и к и ! В е т е р о в а с  
ш у м и т !».  
«Да здравствуют челюскинцы!».  
«Vivat Schmidt!».

И снова клики всплывают в гору,  
И люди сливаются как бы в одно...  
И радость была тяжела, как горе:  
Вздыхали и плакали от нее.

На площади уже стоят войска,  
Оркестр и Академия Генштаба.  
Врачи — у санитарного возка,  
Средь публики—шпионы из Гестапо.  
Войска стоят, как рощи. Ни один  
Шумок не развлекает ваше ухо.  
Средь атташе какой-то господин  
Волнуется, как на кино: без звука.  
На Спасской башне, заворчав от сна,  
Сквозь мох, куранты звякали по  
лютям —

И вновь стоит такая тишина,  
Что весь плацдарм кажется безлюдным.  
Тогда настала странная минута —  
И даже тишь почудилась другой:  
Дыхание истории как будто  
Недвижно охватило ваш покой:  
Отсюда мир величьем озарял,  
Об'ятый дрожью серебристых елей,  
В аквариуме гробовых зеркал  
Как в океане задышавший Ленин!  
И все стоят и слушают гранит  
И чувствуют воздушное движенье...  
Войска застыли в позе уваженья,  
Держа штыки у меловых границ.

И вдруг от Исторического вкось  
По всем мундирам, пиджакам и блузкам  
Как бы единым вздохом пронеслось  
Могучее воззвание: «Челюскин!».  
И славные товарищи мои  
Прошли под ели. Повернулись. Стали.  
Тогда с курантов грянули бои —  
И на трибуне показался Сталин.  
Тогда

аллюром,  
годным

для рубки,

Влетает,

коня

нажилив,

Первый маршал Советской Республики  
«Смир-рно!!»

— Клим Ворошилов!

За ним летит боевой эскорт  
(Кони — по серому крапат).  
Навстречу наркому скачет комкор  
И отдает рапорт.

С минуту всадники на плацу  
Обмениваются ритуалом;

Багряные стяги заревом алым  
Восходят у них по лицу.

Но вот гнедой принимает вспять  
Под тень лошадиных яблок —

Комкор выступает. Комкор — ать!  
Сверкнул перед фронтом саблей:  
«К торжественному маршу... поррот-  
но-о... на полуротную дистанцию ша-  
агом... —

Четыре фанфары в красных штандартах  
Запели тревогу —  
...аррш!»

И сводный оркестр, ударив, как фары,  
Грянул «По л я р н ы й м а р ш».

1

Журавлей труба пролетела вкось,  
Шопоток пошел низом по лесу,  
Самолеты шли на земную ось,  
Самолеты шли прямо к полюсу.

2

Рокотала сталь на свои лады,  
Вот ушла земля чернопарная,  
А за ней зажглись молодые льды,  
Открывалась даль заполярная.

Смотрите, смотрите: первой идет  
Академия. Вот она — хроника граждан-  
ской войны. Городовиков, Апанасенко,  
Кныга, Чуб... Вот они, дорогие, обвет-  
ренные славой лица... Живые даты Ка-  
ховки, Егорлыцкой, Турецкого вала...  
Они идут рядовыми в пехотном строю —  
и каждый из них, как дымом, одет ле-  
гендой...

3

Табуны моржей заскользили врозь,  
Под водой медведь тянет полосу.  
Самолеты шли на земную ось,  
Самолеты шли прямо к полюсу.

За всем тем — кепки и шляпы, са-  
поги и штиблеты, пиджаки и блузы —  
грозное ополчение штатских бойцов.  
Они идут, линия в линию, бородачи и  
лысачи, — и за ними туманятся мил-  
лионы.

4

Не робей, друзья! Водрузите флаг!  
На крылах лети, греза прадеда!  
И они дошли. Захватили фланг,  
И зарывал морж перед радио.

## 5

...Ты, буран-пурга, этот рев неси  
Высоко вьюгой, пеной низкою.  
Красный флаг надет на земной оси—  
Как земле не стать коммунисткою?»

Вынеся вперед 20 стягов, марширует  
корпус комсомольцев. Все в галстуках  
и обмотках.

Фадееч впервой попал на парад.  
Его уж засняли раз двадцать под ряд.  
Огромный плакат с его ликом на нем  
Вдали парусился желтым огнем.  
У сердца—пиджак проколола игла,  
И орден глядит, как заморский коралл.  
Но тяжко на душу слава легла,  
Словно бы он эту славу украл.  
Но как бы там ни было, а пока  
Он уж по ярмаркам свалится с ног!  
Но странное дело: мужик быка  
Вообразить бы теперь не смог.  
Он смутно пытался его увидеть  
Рублей на полтыщи (не очень худым);  
Вот его ноздри... Под ними вода...  
Но сам бычок растекался в дым.  
Он жалобно глядит теперь на площадь  
И видит — пред колонной молодых,  
Как жирный чад, развеялись на клочья,  
Бычки его мечтаний золотых!

Здесь белогубый с черною звездой,  
И чернопегий с белыми очками —  
И он, срываясь, прошептал: «Постой!»,  
Военный ритм про себя чеканя.  
Он вспомнил кочегара с микроскопом,  
И каплю крови и замерзший вал;  
Он вспомнил всех, кого огульно, скопом  
Во всех семи грехах подозревал;  
Он вспомнил женку, сыпавшую просо,  
Да стадо кур, побитое на треть, —  
И понял, что не все на свете просто,  
Что надо многое пересмотреть.

И вдруг — хор трубачей угрюмых,  
Не переставший греметь,  
В валторнах и трубах похожий на  
блуминг,

Извергающий медь,  
Вмиг слетел с ураганного балла  
На безмятежный штиль —  
И вот разлился забытый стиль  
Нежной лирики бала...  
Кони, кони! Зубы в лягзе...  
Льдинкой блещут удила;

Заиграли в легкой пляске  
Танцовальные тела.  
Эскадроны эскадрон  
Загоняют за кордон;  
Опьяняюще звенит  
Бальной музыкой звон копыт.  
Счастью некуда деваться,  
Прыщет сабельный огонь...  
И летит под гром оваций  
Боевой — товарищ Конь!  
Кони, кони, кони, кони  
Золотые вы мои...  
Не забыли мы погони  
У ковыльной у земли,  
Где от нашей от бригады  
Открывая левый бок,  
Улепетывали гады  
Впереди своих сапог.  
Вы гоняли их дорогой  
В ароматах чебреца;  
Протрубили вы широко  
Славу красного бойца:  
А теперь, качая знамя,  
Всех любимее зверей,  
Вы пронеситесь пред нами  
В женской грации своей.  
Эскадроны эскадрон  
Загоняет за кордон.  
Глохнут трубы, но кипит  
Ливнем золота — звон копыт.

Но вот под челюстно-железный марш,  
Размалывая звонкие остатки,  
Всползает друг на друга, как кошмар,  
Сама фантастика убийства — танки!  
Без всякого сознания вины,  
Средь самых лютых, среди страшных  
самых  
Пронесся сквозь туман железный замок,  
Где жили привидения войны.  
За ним вокзалы в боевой потехе  
Друг друга обгоняют, заблистав;  
Стальное здание библиотеки  
Прокатывает в броневых листах;  
Буддийский храм вымахивает вдруг,  
Раскинув десять дальнобойных рук;  
Театр ужасов программу нес  
Колоннами, проложенными вкось.  
Острожницы средневековых мыз ли,  
Обсерватории ли, шапито —  
Все поле на минуту занято  
Бегущим городом военной мысли,  
Как будто бы с Землею сшибся Марс.  
И на столицу высыпали гулко

Провинции архитектурных масс,  
 Проспекты, улицы и переулки.

Тогда сверкнуло по небу крыло,  
 Воронью стаю на сады отбросив, —  
 И жаркое жужжанье бомбовозов  
 Уютным варом душу обдало.  
 И этой музыки родной басок  
 Зажег виденье легендарной льдины...  
 И снова радость прорвала плотины!  
 Победный дух был до того высок,  
 Что все оглядывались друг на друга  
 С улыбкою, подобною лучу,  
 И в шутку тычили соседа в брюхо  
 И хлопали друг друга по плечу...  
 (А льдина тает, полная следов,  
 На бревна стен обрушив балку бимса,  
 Но лозунгом пылает среди льдов  
 Обрывок стенгазеты —

*«Не сдадимся»...).*

И сразу все голоса и звуки  
 Поглощаются океанским шумом:  
 На площадь вступает первый  
 миллион!

Знамена, стяги, штандарты, флаги,  
 красные, багряные, багровые, вишневые...

## ПЛАКАТЫ!!

*Ленин, Сталин, Ленин, Калинин,  
 Молотов, Молоков, Сталин, Ленин. В  
 ответ на происки классовых... Смерть,  
 смерть фашизму!! Да здравствует ле-  
 нинизм. Смерть, смерть фашизму!!  
 Выше знамя Ленина—Сталина... Смерть  
 фашизму!.. Смерть, смерть фашизму!!*

*«Ударник тот, кто в массы несет  
 Уменье свое боевое.  
 Дали Панкратовой 900,  
 Она ответила вдвое.  
 Так и надо за план  
 Ратовать  
 Как работница Пан-  
 кратова».*

Рупора воют, свищут, орут... Ноты  
 влетают в чужие оркестры: русские.

Часть первую—см. «Новый мир», 1938 г.,  
 кн. 1.

немецкие, мордовские, ненецкие—сплы-  
 ваются в то обаяние шума, когда он  
 рождается в вашей груди... шумящий,  
 дышащий, текущий, поющий — с огром-  
 ными залежами солнечной энергии, с  
 могучими пластами исторического опы-  
 та, с тончайшей геологией сложнейших  
 культур — вот он плывет, живой мате-  
 рик! Эпос труда? Свиданье народов?  
 Так будьте же священны, челюсти тан-  
 ков, и ты, о, звон кавалерийской лиры:

*«Любая победа социализма  
 Есть уменьшение зла на земле».*

*«Помните: участь нашей страны —  
 Это судьба мира!».*

А массы идут, шагают, бегут—и чудит-  
 ся: эти вот миллионы шагом своим  
 свершают работу: и поворачивается Зе-  
 мля, и массы гонят ее на юг, вздымая  
 стяги миллионами рук, любого растапты-  
 вая проходимца...

Я с новой силой почувствовал вдруг,  
 Что мы  
 никогда!  
 никому!  
 не сдадимся.

★

Post scriptum.

Поэма кончена. И если труд,  
 Который мерить можно бы на тонны,  
 В пороховом затмении затонет,  
 Да танки его сжатием затрут,  
 То и тогда я духом не паду:  
 Она дала мне все, что обещала, —  
 Я пережил историю сначала  
 В ее норе и в беге, и в следу!  
 Я жил народом — и в меня проник  
 Его могучий дух преодоления,  
 Который так же не впитать из книг,  
 Как на кино не изловить оленя.  
 Я жил народом! И пою в дыму  
 Всей силою своей поэтской меди,  
 Что, все пределы посвятив ему,  
 Мы обретаем мир в его бессмертьи.

# Дикий рейс

В. БИЛЛЬ-БЕЛОЦЕРКОВСКИЙ

★

Море встретило нас ревом надвигающегося шторма. На горизонте злое вышло кроваво-красное солнце.

Пароход «Англия» только-что вышел из порта и направляется в дальнейшее плавание к берегам Австралии и Африки. На палубе еще следы погрузки. Всюду разбросаны бревна, доски, люки, концы, тросы, брезенты, мусор. Все это надо убрать, закрепить, «задрать» на-ходу. А волны, падая через борт, мешают работе. Скользят ноги. Непромокаемая одежда и тяжелые сапоги стесняют движения. Я бросаю взор на окружающий мир — на мостик, на людей, работающих на палубе, и смутная тревога, предчувствие чего-то тяжелого, недоброго закрадывается в сердце. Среди матросов нет ни одного знакомого. Лица их со следами бурно проведенного в порту времени мало привлекательны. С этими людьми мне придется в напряженной работе бок-о-бок провести долгие месяцы. Но не они меня смущают и не начальствующий состав. Меня беспокоит один только человек, вот этот коренастый парень, который распоряжается нами.

Мы, матросы, больше зависим от него, чем от штурманов и капитана. Вся работа, ее распределение, идет от него. Он может эксплуатировать нас как ему угодно — избавлять нас от излишней работы и, наоборот, нагружать, надоедать всякой мелочью; а если этот человек свиреп и к тому же физически силен — не избежать его кулаков. Вся наша

жизнь, замкнутая бортами парохода, в руках этого человека. Человек этот — боцман. И вот этот боцман вызывает во мне недоброе предчувствие, хотя основной для этого как будто еще нет. Обыкновенный тип моряка средних лет. Каштанового цвета волосы. Зеленовато-серые глаза. Темножелтые жесткие усы на бритом лице. Говорит спокойно... Но что же в нем неприятно, что вызывает во мне тревогу? Усмешка. Какая-то странная, кривая, нехорошая усмешка с оскалом зубов. Что-то затаенное, звериное в ней. С такой усмешкой, хищно облизываясь, подкрадывается к овце волк... Нет, не нравится мне этот боцман! Не быть добру... А может, я ошибаюсь. Может, первое мое впечатление неверно, ведь и так в жизни бывает... Да и, наконец, впервые, что лл, в жизни встречаю я дурных боцманов?

... Словно почувствовав на себе мой взгляд, он резко обернулся. Мы встретились взглядами. На миг как бы застыли в недоумении. Усмешка сошла с его лица. Я первый отвел глаза... «Коман» (двигайся) — услышал я его голос, и в тоне послышалась угроза... Я нагнулся и с силой рванул тяжелый люк.

На таком большом океанском пароходе, как «Англия», палубной команды всего-навсего шесть человек матросов, боцман, плотник и юнга. Начальство (капитан, три помощника штурмана и боцман) — англичане. Из матросов один только англичанин; все остальные

представляют собой «интернационал». Точно такой же пестрый национальный состав и в подпалубном мире, в кочегарке и в машинном отделении. И там начальство—механики—англичане. Из палубной команды вахту несут только матросы. Сменяются каждые четыре часа, вечером же, от четырех до восьми, смена происходит через два часа. Вахта означает работу, подвахта—отдых. Если вычесть завтрак и обед (ужин входит в вечернюю двучасовую вахту), времени для сна остается не больше трех часов. Такой короткий, прерывающийся сон предстоял нам на все время нашего плавания по океану до первого порта, в данном случае до берегов Австралии.

Наша вахта состоит из трех человек: Франсуа, черноусый, пожилой француз, с огромным туловищем на коротких ногах, швед Питер, рослый блондин, двадцати семи лет, и я — представитель России, еще наивный парень двадцати лет, невысокого роста, но коренастый и проворный... Пройдет еще несколько дней, пока мы ближе узнаем друг друга. Тогда каждый из нас сочтет своим долгом ровным и бесстрастным голосом сделать отчет о своей деятельности в порту; о заработке, полученном за весь предыдущий вояж на другом судне; о количестве и качестве выпитого виски; о девушках и прочих прелестях портовой жизни, а также о лишениях и мытарствах после израсходования всех денег. Но в настоящий момент — не до разговоров. Мы жадно пьем холодный чай и воду — наши внутренности обожжены спиртом. Завтрак — рис с какой-то зеленой, густо наперченной, подливкой — никак не подходит к состоянию наших желудков. Молча набиваем трубки, закуривали, задыхались.

— Что вы думаете, ребята, насчет нашего судна? — прервал я молчание.

Швед пожал плечами. Прошла вечность, пока раскачался француз.

— Судно как судно... Солонина, картошка в мундире, рис, каша с телячьей кровью, — проворчал он.

— Бурый песочный сахар, который дают свиньям, галеты и маргарин, — добавил швед.

— А работа? — снова спросил я.

— Работа как работа, — в том же тоне продолжал Франсуа. — Скучать не будешь.

— Матросская доля, как собачья воля, — мрачно подтвердил швед словами из песни.

— А боцман? — настойчиво продолжал я.

— Боцман, как боцман... Давай! Давай! — передразнивая боцманов, ответил Франсуа.

На этом беседа закончилась. Облокотившись о стол, тупо уставившись в одну точку, запыхтели трубками.

Я вышел на палубу докурить свою трубку. Вылез из своей каюты и боцман. Прислонившись к двери, рассеянным взором оглядел он море, капитанский мостик, остановился на мне. Вынув изо рта трубку, усмехнулся.

— Русс? — спросил он. (Сокращенное от «русский», это слово звучало иронически.)

— Да, русский, — подчеркнуто ответил я.

Последовала короткая пауза.

— А русска Машка добра, добра! — Эту фразу произнес он по-русски, хитро подмигивая. — А вот с Японией русским не повезло, всыпала она вам, здорово всыпала.

Насмешки по поводу поражения русской армии я слышал неоднократно и от других, и мне это чертовски надоело.

— Маленькая Япония нокаутировала русского великана, — продолжал боцман.

Я молчал, сдерживая накипавшую злобу.

— Небось, обидно?

— А тебе не обидно, что буры помяли Англии бока? — в тон ответил я.

— Но Англия их побилала!

— Побила, да только вся морда в крови.

Боцман злобно уставился на меня.

— Полегче! Англия кормит тебя.

— Я сам себя кормлю, работаю...

Он грозно посмотрел на меня, сердито выбил пепел из трубки и грубо отвернулся. Так началось наше знакомство.

Прошла неделя, другая. В общем мои подозрения как будто неосновательны. Боцман как боцман. Мне только не нравится частое напоминание о Японии и кличка «Русс». В этом слове звучала явная насмешка.

— У меня есть имя, — не вытерпел я однажды.

— А мне так больше нравится, — по-волчьи усмехнувшись, ответил он.

— А я прошу называть меня по имени.

— А если я не желаю?

— Тогда я не стану отвечать, — решительно заметил я.

— Попробуй... — угрожающе произнес он.

Я попробовал... Это произошло спустя несколько минут.

— Русс! — крикнул он, стоя на баке.

Я не отвечал.

— Русс! Русс!

Я молчал.

— Русс! Гоодем! Ступай сюда, тебе говорят!

Я даже не повернулся. Тогда он подбежал ко мне и толкнул кулаком.

— Ты почему не отзываешься?

— Потому, что я не русс, а русский, и у меня есть имя.

— Наплевать мне на твоё имя. Когда зову, должен отвечать!

Слово «наплевать» считалось большим оскорблением.

— Хоть кровью плюй, не отзывись! — вспыхнул я.

— Смотри! — пригрозил он пальцем. — Я шутить не люблю.

— А я и не прошу тебя шутить.

— Молчать! — заорал он, потемнев от ярости. — Ступай на бак!

«Началось...» — подумал я и с щемящей тоской посмотрел вперед.

И все же я решил настоять на своем, но, повидимому, и боцман решил не уступать. Более того, к слову «Русс» он прибавлял еще нецензурные выражения. — Берегись! — угрожал он, — я из тебя выбью эту дурь. — Угроза не действовала. Матросы сочувствовали мне.

— Правильно! — подбадривал меня Франсуа.

— Правильно! — поддакивал Питер.

Но боцман счел мое упорство нарушением дисциплины и пожаловался старшему штурману.

— Ты почему молчишь, когда тебя боцман зовет? — сурово спросил штурман. — Ты знаешь, чем это пахнет?

Я объяснил ему всю суть нашего спора.

— Ладно, — недовольно нахмурился он и, обратившись к боцману, велел называть меня по имени. Боцман подчинился приказу штурмана, но победа обошлась мне дорого.

Пароход, как взбесившийся конь, становится на дыбы и стремглав с оглушительным плеском и шумом ныряет в клочущий океан. На поверхность воды всплывает бочка. Боцман велит мне выловить ее. Я возражаю:

— Стоит ли из-за дрянной бочки барахтаться в холодной воде?!

— Не разговаривай! — отвечает боцман.

Как назло, в этот момент на спардеке показался капитан. Боцман что-то говорит ему, указывая на меня. Капитан, резко повернувшись, категорическим жестом указывает на бочку. Стиснув зубы, бросаюсь в воду, хватаюсь за что попало, чтобы самому не смыться за борт. Бочка кругла. Она уплывает из рук. Измученный, задыхающийся, подымаюсь на палубу. Бочка — за бортом. Капитан с особым оттенком в голосе произносит: ол райт! (отлично). Это звучит, как угроза. На лице боцмана волчья усмешка.

Боцман заставляет меня чаще других мыть стены кают известковой паклей, смоченной в растворе каустика. От каустика, известки и ветра глубоко, до крови, трескаются руки. И всякий раз, когда опускаешь руку с паклей в ведро с каустиковой водой, кажется, будто опускаешь ее в кипятки. Боцман заставляет меня отбивать и очищать ржавчину с железной палубы стоя, согнувшись втрипогибели, а не сидя, как это делают другие, и торопит, торопит. После двух часов такой работы

лицо так наливается кровью, что кажется, вот-вот лопнут сосуды. Вместо «Русс» я слышу свое имя или «Русский», но произносится это с подчеркнутой насмешкой. Работы на английском судне и без того много, но боцман ухитряется нагружать меня сверх предела. Чем дальше в океан, тем больше издевается боцман. Самую тяжелую, грязную и противную работу он оставляет для меня. Крики и понукания: «Коман! Коман!» действуют на меня, как удар бича... К концу вахты я дышу, как загнанная лошадь... Питер смотрит на меня участливо и уступает мне первому мешок с охлажденной водой... Я пью жадно и долго.

— Этак он тебя совсем заездит... — говорит Питер.

— А ты не гони, — советует мне Франсуа, хмуря густые, черные брови. — Не бегай... Работай обыкновенным темпом.

— Правильно! — горячо подхватывает Питер, — обыкновенным темпом.

— И чего это он, собственно, к тебе пристал? Не понимаю, — удивляется Франсуа.

Я пожимаю плечами.

— Должно, глаза твои ему не нравятся... — смеется швед.

Я слушаюсь совета, не гоню, но это бесит боцмана. Он неистово ругается. Меня вызывают к штурману. Никакие доводы и оправдания не убеждают штурмана. Он свирепо распекает меня и угрожает:

— Каждое заявление боцмана — это вычет из твоего жалования. Если и это не подействует, мы поставим на твоей матросской книжке черную печать, и ни один капитан не возьмет тебя к себе на судно. Понятно?..

Я ухожу, как побитый. Бесконечен наш путь. Мы не прошли еще и четверти рейса...

Душно, как только может быть в тропиках. Я уже отстоял свои два часа, но мне предстоит еще отстоять столько же за большого товарища, за шведа. Четыре часа в духоте, не отрывая глаз от компаса, держать руль на курсе — работа напряженная. Но вот, наконец,

пробили склянки, спускаюсь по трапу. В этот момент судно качнулось, и потная рука скользнула по поручням... Я потерял равновесие, сорвался с мостика, ударился животом и головой о палубу. Вышибло дыхание. Я мычал от боли, корчился от мук, щекой растирая по палубе кровь. Грохот падения всполошил капитана.

— Что случилось? Что там упало? — крикнул он.

Штурман мигом спустился в рубку.

— Все на месте, сэр! — ответил он.

— Но ведь что-то грохнуло?!

Штурман спустился на палубу. Увидев меня, не задав ни единого вопроса, он спокойно стал взбираться на мостик.

— Все в порядке, сэр. Этот русс сорвался.

— Дурак! — уже спокойно прорвчал капитан.

Боцман приказывает мне перенести огромную бухту стального троса с кормы на бак. Обычно ее перетаскивают двое, а у меня к тому же еще боль в боку.

— Боцман, — пытаюсь я возразить, — мне одному не под силу. От вчерашнего падения с мостика вот здесь, в боку, больно.

— Коман! — последовал ответ.

Кряхтя, я с трудом взвалил себе на спину бухту и, пошатываясь, донес ее до трапа, но подняться по нему оказалось выше моих сил. Разозлившись, с проклятием и грохотом сбросил бухту на палубу. Боцман, услышав шум, подбежал.

— Это что такое?! — заорал он.

Выведенный из терпения, я послал его... но за это получил такой удар в челюсть, от которого помутилось в голове. Едва устоял на ногах. Потеряв рассудок, я вырвал из ножен матросский нож и ринулся на боцмана. Он ловко увернулся. Нож скользнул по его руке. В тот же миг он выхватил свой нож и, зверски оскалив зубы, захрипел: — Коман! Коман!... Ну!...

С минуту мы стояли пригнувшись, дико тараща глаза, нервно сжимая рукоятки. Я первый убрал свой нож, но бухту с тросом все же не поднял...



С волнением ожидал я вызова к капитану. Я знал, что за нож, поднятый против боцмана во время несения службы, на английском судне не милуют. Прошел день, другой. Никто не звал меня, но на роже боцмана загадочная усмешка. Это казалось мне настолько подозрительным и так угнетало, что я готов был принять любую кару, лишь бы не находиться в мучительной неизвестности. Боясь огласки, я скрыл этот инцидент и от товарищей по вахте. На третий день все стало мне ясно. По окончании вахты, когда я только приготовился лечь на свою койку, боцман позвал меня к себе. Засучив рукава, он указал на кривой шрам от моего ножа.

— Стоит мне только сообщить об этом капитану, чтобы засадить тебя на два года в тюрьму или дать «волчий билет».

На минуту замолк, пытливо наблюдая за мною, наслаждаясь моей тревогой.

— Но я еще погожу, — продолжал он, — посмотрю, как будешь себя вести. Для начала убери мою каюту, завтра — воскресенье.

Я вздрогнул и, вероятно, побледнел. Такого унижительного предложения я никак не ожидал. Убирать каюту боцмана не входит в обязанности не только матроса, но и юнги. Это было явное издевательство над моей профессиональной гордостью и человеческим достоинством. Какой позор! Что скажут товарищи?!

— Нет! Не могу! — воскликнул я...

— Ну что ж... Тогда пеняй на себя. Даю пять минут на размышление...

Через пять минут я убирал его каюту...

Но этим дело не ограничивается. Боцман заставляет меня приносить ему воду, мыть посуду и даже... стирать белье.

Об этом знает уже вся команда и даже кочегары. Не зная, в чем дело, они считают мою роль добровольной. Проходя мимо, каждый считает своим долгом бросить на меня насмешливый взор или наградить крепким словом...

— Что с тобой? — презрительно морща лицо, спрашивает Франсуа. — Ты с ума сошел или думаешь своим хоульством заслужить любовь боцмана?

— Совершенно верно, он с ума спятил, — говорит Питер.

Припертый к стене, я не знаю, что ответить. Краснею. Бледнею.

— Я вынужден... он заставляет меня... — лепечу я.

— Не подчиняйся! — почти кричит Франсуа.

— Но тогда он меня совсем заест, — говорю я.

— Но я не вижу, чтобы твое хоульство избавило тебя от этого, — продолжает Франсуа.

— Наоборот, у тебя еще прибавилась сверхурочная работа — стирать белье, — весело хохочет Питер.

Я окончательно теряюсь... Открыть им истину? Но тогда надо открыть ее всем. Слух дойдет до капитана, и мне не сдобровать. Тюрьма или «волчий билет» мне, иностранцу, заброшенному на край света...

— Если ты не в состоянии себя защитить и тебе нужна нянька, — говорит Франсуа, — я готов, на свой риск и страх, взять на себя эту роль.

— И я! Мы вместе!... — горячо подхватывает Питер.

— Но только в том случае, если ты изменишь свое поведение.

Нет... Заступничество не избавит меня от кары, только ускорит ее. Да и боцман не робкого десятка... Нет! Надо молчать... Старый матрос с презрением отворачивается. Его примеру следует и швед. Я невыносимо страдаю. А впереди — бесконечен простор океана и бесконечен путь корабля...

Как в горячке, мечусь и ворочаюсь я на своей койке и, несмотря на усталость, не смыкаю глаз. Я не вижу конца своим мукам. Стыд и злорада разедают мою душу, отравляют кровь.

Нет сил! Что-то надо предпринять... Что-то решить, сделать... Но что? Мозг мой, одурманенный злобой, отказывается мыслить.

Обычно подобные истории на английском судне разрешаются физической силой: это значит в нерабочее время вызвать боцмана на кулачный бой, сделав так, чтобы инициатива исходила от него. Независимо от победы или поражения, я рискую штрафом. Наплевать! Ну, а если боцман сообщит капитану об инциденте с ножом? Эта мысль меня страшит... Но тут же, внезапно, счастливая мысль озаряет меня: «А что если я стану все отрицать? Ведь свидетелей нет, да и времени прошло больше месяца, и шрам у него на руке зажил».

— Почему, — спросят боцмана, — ты до сего времени молчал?

— Правильно! — шепчу я. — Правильно! Отрицать! Отрицать! — И как это я раньше не дошел до этой мысли? Конечно! Больше я унижаться не стану... И в диком восторге я смеюсь и скрежещу зубами... Чуть успокоившись, я продолжаю думать: итак, драться, драться по-джентльменски, но без перчаток, драться так, чтобы у боцмана отпала охота преследовать меня. Ну, а если боцман победит?... Боцман значительно сильнее меня, хотя и я не считаюсь слабым. Кулачной дракой его не смутишь. И боксирует, вероятно, не плохо... Я же едва постигаю это «искусство». Все шансы на его стороне, он не только меня одолеет, но, что хуже всего, изуродует меня, так как бокс будет хоть и джентльменский, но без перчаток. А я молод... Люблю девушек. Мечтаю о любви... девушки кажутся мне главным, если не единственным, стимулом жизни. Я недурен... Пользуюсь успехом. Что скажет моя хорошенькая полу-индианка Тоби, когда я вернусь из рейса с расплюснутым носом, выбитыми зубами и подбитым глазом? Я, как сейчас, вижу ее смущенное, растерянное личико... Она отворачивается от меня. При одной мысли об этом я вздрагиваю. Ведь точно так же будут отворачиваться от меня и другие... Какой же смысл терять лучшую радость жизни? О дьявол! Кой чорт столкнул меня с этим выродком — боцманом! С каким наслаждением уничтожил бы я его...

Нет, из бокса ничего, кроме неприятностей, не выйдет. Единственное и реальное, что я вынес из этого напряженного размышления, — это твердое решение избавиться от своей холуйской роли, хотя за это меня ожидает месть. Правда, есть еще один способ, но он так унизителен, что я не решаюсь даже мыслью остановиться на нем.

И все же я пытаюсь осуществить его. Я вошел в каюту боцмана, когда тот закончил свой ужин и набивал трубку.

— Всполосни-ка мне посуду, — встретил он меня.

— Я не за тем пришел, — ответил я. — Мне нужно поговорить с тобой.

Боцман удивленно вскинул на меня свои зеленоватые глаза.

— Я хочу тебя спросить, как долго ты будешь издеваться надо мной?! Вот уже четвертый месяц, как ты, пользуясь своим положением и силой, выматываешь из меня все жилы. Впереди еще много месяцев плавания. Неужели ты думаешь все это время меня терзать? Что это тебе дает и чем я это заслужил?

— Ты русс... — ответил он.

— Так что из того?! — недоуменно спросил я. — Ведь, кроме меня, на этом судне имеются и другие национальности.

— Русские в Одессе едва не отправили меня на тот свет. Однажды, гуляя с Машкой, я подвергся нападению двух оборванцев. Я легко расквасил им рожки. Тогда один из них полоснул меня ножом. Вот след, — он обнажил грудь и указал на глубокий шрам. — Я потерял много крови и с тех пор ненавижу русских.

— Хорошо, но с какой стати я должен отвечать за каких-то оборванцев? Я в этом столько же повинен, как и в войне царя с микадо. Я...

— Хватит! — резко прервал он, стукнув трубкой по столу. — С первой встречи ты мне противен, и я не успокоюсь, пока не выживу тебя отсюда. Тебе не место на английском судне.

— Но ведь не ты хозяин судна, — возразил я. — В одинаковой степени он может и тебя прогнать, если не понра-

вишься ему. И потом: куда мне итти? Кругом океан!

— Хоть за борт! — последовал ответ.

Я едва не задохся от приступа ярости, но сдержался. Остается испытать последнее средство, осуществить свою дрянную мысль. Я чувствовал, как краска стыда заливает мне лицо, как противно звучит мой голос.

— Тогда вот что... — начал я. — Я готов искупить вину оборванцев перед тобою частью своего жалованья...

Боцман пристально посмотрел на меня, промолчал, вытряхнул пепел из трубки. На лице его, наконец, появилась обычная усмешка.

— Взятка?

— Да!

— Часть заработка... Гм... Мало даешь, мало...

— А сколько хочешь?

— Все! За весь вояж! — воскликнул он, расхохотавшись.

Я понял, что он издевается, торг не состоялся.

— Стану я пачкаться твоими грошами, — презрительным тоном продолжал он. — Я и свои в два счета пропью! Ты лучше пойди к помпе и хорошенько вымой эту посуду, — указал он на кастрюлю.

— Плевать! — вспыхнул я. — Плевать я хочу в твою посуду! Лучше тюрьма, волчий билет! Пойди, жалуйся капитану. Пойди!..

Боцман удивленно вытаращил глаза. Я хлопнул дверью.

Облокотившись о борт, долго не мог притти в себя, подавленный, растерянный. Тупо уставился в темную пучину вод. Она манила, тянула к себе...

Я уже не холуй и этим в некоторой степени вернул себе расположение товарищей, но боцман еще больше бесится.

— Ты перехитрил меня, чортов русс! Выждал, пока зажил след ножа и прошло время... Ол райт!... Но это не избавит тебя от каторги. Здесь ты ее получишь!... Здесь будет тебе Сибирь!

Он глядел на меня неистово помутневшим взором удава, его лицо так ис-

кажало, что я едва выдерживал его взгляд и робел.

— Я уничтожу тебя! — этой фразой он преследовал меня, гипнотизировал.

Со мной творилось что-то странное. Я осунулся, опустился, потерял сон и аппетит. Двигаюсь в каком-то полусне. В работе рассеян и так путаю, что вызываю насмешки даже у юнги и обратился на себя внимание начальства.

— Я попытался поговорить с боцманом о тебе, — говорит Франсуа, — но он отшил меня. Это какой-то сумасшедший выродок.

— Может дать ему по носу? А? — спрашивает Питер.

— Потом не отделаешься. Дисциплина.

— Тогда в порту с ним расправимся. Заманим в кабак и там...

— До порта еще далеко. Да и заманишь ли? Такого зверя я редко встречал.

— Вот именно, зверь.

Через несколько минут оба уже храпят на своих койках, а я ворочаюсь и не могу заснуть. Моя бессильная злоба доводит меня до бреда. Отвратительная усмешка боцмана причиняет мне острую физическую боль. Мысленно я расправляюсь с ним жестоко, но только мысленно, — в действительности, когда он шипит: «Уничтожу!», я идиотски улыбаюсь. Он парализовал мою волю, уничтожил во мне лихого моряка, вызывавшего своей смелостью на парусных судах одобрение даже у старых шкиперов, этих морских волков. Боцман отлично видит и понимает мою дикую ненависть к нему, и мое бессилие доставляет ему большое удовольствие. Пожаловаться самому капитану — безнадёжное и рискованное дело: боцман узнает... Но что я теряю?!

Капитан — безмолвная личность, с глубокомысленным видом жующая табак, — выплюнул жвачку и, не глядя на меня, изрек:

— Сочиняешь...

Словно в тумане, прошел для меня путь до самых берегов Австралии. И когда в яркий, солнечный день с бака донесся звонкий, радостный крик:

«Земля! Земля!», я не ощутил этой радости.

Теплая ночь. Тишина в порту, на палубе. Мрак и сон. Один я уныло брожу по палубе. Где-то далеко, далеко... на севере, в снегах, моя родина. Я ночной вахтенный. Сплю днем, когда идет погрузка. Над самой головой, по железному потолку кубрика, стук, топот, грохот, лязг, крики, будто находишься в железном котле, по которому стучат десятки молотков. Команда вечером, после работы, уходит на берег, мне же приходится это делать днем, отрывая время от сна. Конечно, назначение меня ночным вахтенным—дело рук боцмана.

В ночную вахту сон неумолимо преследует меня, а заснуть рискованно. Поэтому я стараюсь вздремнуть стоя, прислонившись спиной к борту или мачте; когда сон одолевает, ноги подкашиваются, я пробуждаюсь...

Но в эту ночь меня не мучает дремота, я даже возбужден. Мозг мой снова упорно ищет выхода. Итак, что предпринять? В настоящий момент, в обстановке порта, самый простой выход — это перед отплытием судна сбегать на берег. Это просто и выполнимо, но имеет свое «но»... Во-первых, это означает очутиться в глухом порту, без денег, ибо все жалованье, во избежание бегства команды с судна, выплачивается только по возвращении в Европу; во-вторых, это значило потерять заработок за несколько месяцев рейса, выбросить весь свой тяжелый труд «за борт» в угоду боцману; и, в-третьих, слово «бежать» звучит позорно. Да, я трус! Трус! Но решиться на такой шаг — не могу. Такой поступок не достоин моряка. Я молод, но опыт мой говорит, что, если я решусь на такой шаг, это погубит меня. Нет! Будь я проклят, если я на это решусь! Лучше остаться уродом, лучше смерть! Сегодня же, вот в эту ночь, я должен притти к иному решению. Надо только подумать... Я прошелся по палубе. Покачав рукоятку помпы, подставил голову под холодную струю воды... Так! Решение есть... Пусть изуродует меня, пусть убьет, но я буду драться с ним до последнего

вздоха. Драться так, чтобы у него навсегда отпала охота преследовать меня. Завтра я схвачусь с ним?.. А хватит ли пороху? Надо проверить себя, испытать... Как? Чем?.. А очень просто... Вот, скажем, бетонная стена мола. К ней бортом пришвартован наш пароход. Борт разгруженного судна почти на одном уровне с поверхностью мола. Пароход то отступает от мола, то прижимается к нему с такой силой, что пробковые кранцы, смягчающие удары, сжимаются в лепешки. Попади в этот момент шлюпка — и от нее останутся только щепки. Прыгнуть с борта на берег, на мол, днем не представляет усилий, пустяки, но ночью, во мраке, когда борт отходит от берега на расстояние метра в полтора, этот промежуток кажется черной, зияющей пропастью, и промахнуться, не рассчитать прыжка — значит сорваться. Вынырнешь, а в этот момент борт снова прижимается к молу, и от тебя остается только кровавое пятно. Так вот: если у меня хватит духу прыгнуть с борта на берег, когда борт от него отойдет, тогда можно надеяться, что у меня завтра хватит воли схватиться с боцманом. Только такая проверка нервов может дать мне гарантию, что завтра я не «сдрейфлю».

Ну что ж... Попробуем... Я подошел, взобрался на борт, встал. Берег покрыт мраком и кажется темной полосой. Глянул вниз, в черную бездну, и почувствовал легкую дрожь в ногах, как это было, когда впервые ночью взобрался на брам-рею шхуны. Выждав момент, когда борт снова отошел от берега, я приготовился, пригнулся, вскрикнул и... ни с места. Ноги приросли к борту. Сердце забилось, выступил пот. О черт! Выждав момент, я снова пригнулся, и снова то же самое. И так в третий, четвертый и пятый раз. Не могу оторвать ног от борта. Я соскочил с борта, прошелся по палубе. Передохнул. И опять... И опять... Прошел, вероятно, час. Я уже весь мокрый от пота. Устал. Спустился на палубу, и если бы не стыд — заплакал бы. Вяло, пошатываясь, тяжело и неохотно снова взобрался на борт и вдруг неожиданно для себя, словно кто толкнул меня в спину,

глухо вскрикнул и... прыгнул. Ослабевшие ноги скользнули по стене мола, но я успел ухватиться руками, повис... Вмиг взобравшись на берег, круто повернулся и уже оттуда прыгнул обратно на борт. Покачнулся... Сорвался на палубу. Без передышки удачно повторил свой прыжок туда и обратно... Хватит. Ура! Гордый, счастливый, я зашагал по палубе.

В этот день, несмотря на обычный шум на палубе, я спал крепким сном, но проснулся раньше времени. Обычно будил меня боцман. Будить меня доставляло ему большое удовольствие: своей широкой, жесткой ладонью он крепко зажимал мне нос и рот. Задышав, я просыпался, дико тараща глаза. Боцман улыбался... Пробуждение мое на этот раз явилось, вероятно, следствием рефлекса. Но боцмана не было. Затихал грохот лебедки. Кончался рабочий день. На железной печке стоял котелок с водой. Котелок принадлежал боцману. В нем он варил крабов.

— И так душно, — заворчал я, — а он завел моду зажигать печь в нашем кубрике. У себя бы зажег, мерзавец! — Я решил ждать боцмана, таков был мой план.

«А вдруг он на этот раз не придет, — подумал я со страхом. — Весь мой план будет нарушен...».

Здесь в кубрике один-на-один должна произойти схватка. Нож я предварительно убрал от себя подальше, чтобы сгоряча не воспользоваться им. Драка будет без перчаток и не поджентльменски, а как придется...

Послышались шаги... Он!... Я чаще задышал. Приготовился. Закрыл глаза, притворился спящим. До боли стиснул челюсти, сдерживая дыхание, весь напряжился. Вот он ближе... ближе... Сквозь ресницы вижу невыносимо-отвратительную усмешку. Вот он занес свою здоровенную лапу. Я сразу открыл глаза и глянул на него в упор, в зрачки... Боцман отшатнулся. Рука его повисла в воздухе. Он стоял, идиотски выпучив глаза, а я, не сводя с него взора, подымался на койке во весь рост, торопливо застегиваясь. И

вдруг, с глухим криком, как тогда, когда прыгал с борта на мол, всем своим телом с высоты своего роста и койки обрушился прямо ему на голову. Боцман грохнулся на палубу, как подкошенный, и не успел он притти в себя, как я уже сидел на его спине, мертвой хваткой сдавив его горло. Боцман захрипел, извиваясь, заворчался подомной. В таком положении он никак уже не мог применить свой бокс. Он перевернулся на спину. Перевернулся раз, другой, придавив меня своим телом. Напрасно... Я не выпускал его горла. Тогда в отчаянии, напрягшись, он поднялся на ноги и, как безумный, заметался по кубрику. Он пытался стряхнуть меня со спины, разорвать петлю моих рук. Тщетно.

Вдруг он бросается к стене и с силой ударяет в нее моей спиной. От удара в посудный шкаф треснули дверцы, посыпалась посуда. Удар о железную стойку пришелся мне по позвонку. Невыносимая острая боль. Руки мои против воли, сами собой, слабеют, разжимаются, и я сползаю, сползаю. Он пытается воспользоваться моментом и повторить свой удар о стойку, но промахнулся, и мы оба падаем. Голова моя ударяется о железо пола, кружится... Темнеет свет. Боцман подымается на ноги. В помутившемся сознании вспыхнула мысль: неужели нокаут?! Нет! Нет! И, подброшенный не силой, а какой-то внутренней конвульсией, вскакиваю на ноги и первый, лицом к лицу, стремительно бросаюсь на врага... О, черт! Сразбега натыкаюсь на встречный удар. Он пришелся прямо по носу. Кажется, будто треснул череп. Мутная волна подкатывает к горлу. Сломан нос... Я урод... Обезумел... Нет! Еще не все кончено. Прикрыв лицо рукой, изогнувшись, снова бросаюсь вперед и снова встречный удар. Но я прыгнул, и удар пронесся мимо. Теперь я вплотную вцепился и, подпрыгнув, всем своим весом и силой наношу удар головой в лицо. Раз! Другой. Боцман покачнулся, тяжело задышал. Я повис на нем, как бульдог. Удушье в начале схватки ослабило его, но ему удается одной рукой обхватить мою шею, а другой глушить

жулаком снизу по лицу, по носу... Я слышу удары, но не чувствую их... Не в силах вырвать свою голову, я пытаюсь пустить в ход свои крепкие зубы... Боцман взвыл и выпустил мою голову. Быстро, молниеносно, обхватив его прямым поясом, сразмаху швыряю его на горящую печь, на котелок. Я слышу его звериный, панический вой...

И, когда на этот вой и грохот с шумом вбегают люди, они застают картину: в дыму и копоти два окровавленных зверя, воя и рыча, катаются по полу, по битому стеклу и горящим угольям...

Я лежу на своей койке, не могу двинуть ни рукой, ни ногой. Они крепко связаны. Я хочу поднять голову и не могу...

— Эй, кто здесь! — зову я и не узнаю своего голоса. Глухой, тяжелый, сильный. С нижней койки кто-то встает.

— Что такое?

— Развяжи.

— Не велено, — говорит матрос-швед. Он как будто смущен.

— Развяжи! — угрожающе настаиваю я.

— Развяжи, — повторяет француз.

Швед развязывает.

— А здорово он тебя расквасил, — говорит он.

— А я его?

— Родная мать его не узнает, — смеется швед.

Я доволен... Он подает мне зеркало... Я плохо вижу. Чтобы посмотреть на себя в зеркало, я должен раздвинуть пальцами веки. Что такое?! Кто это?! Из глубины зеркала на меня глядит страшная, окровавленная маска. Вместо глаз — черные, огромные опухоли. Бесформенная, кровавая масса на месте, где должен быть нос. Неужели это я? Как ни был я готов к такому финалу, но в натуре это оказалось страшней... Я выпускаю из рук зеркало. Я урод... Представляю себе девушек, хохочущих над моей рожой, Тоби, с отвращением отшатывающуюся от меня... Тоска! Да, дорого мне досталась моя победа. Нет, я не удовлетворен... За что, собственно говоря, я дол-

жен был так пострадать?! Кто дал право этому выродку в течение стольких месяцев так истязать меня? Тяжелым трудом я честно зарабатываю свой хлеб. За что?! За что?! Я безмерно возмущен. Я готов снова вцепиться в боцмана.

— Спокойно! Спокойно! — удерживает меня Франсуа. — Теперь он тебя не тронет. Кончено... кончено!...

— Кончено, — повторяет швед.

— Нет, не кончено! Нет! — силно кричу я.

Ночную вахту несет другой. Утром меня будят на работу, но чувствую себя неважно; ноет тело, острая боль в позвоночнике. С трудом сдерживая стон, поднимаюсь, моюсь, с трудом глотаю чашку цикория, но жевать ничего не могу, ноют челюсти, зубы. Матросы смущенно молчаливы, по-своему деликатны и предупредительны. Выхожу на палубу. Глубоко вдыхаю свежий утренний воздух. На мостике штурман. Из каюты боцмана кряхтя, тяжело ступая, выходит человек. Я ахнул... Человек без головы... Какая-то бесформенная масса вместо головы... Где-то высоко, на макушке, торчит кепка, из-под нее видна марля. Да это же боцман!

— Гелло, красавчик! — злорадно хохочу я, наступая. — Продолжаем! Я еще не рассчитался с тобой!

— Но, но!.. — кричит боцман, отступая. — Но, но!.. — Резкий свист с мостика. Штурман машет рукой, зовет.

— Я тебя уничтожу! — говорю я боцману. — Уничтожу! — и, повернувшись, нарочито медленно, направляюсь к штурману. Ни капли смущения или подобия робости; мне теперь наплевать не только на штурмана, но и на самого короля.

— В чем дело? — грубо спрашиваю, не прибавляя, как это полагается, слово «сэр».

— Капитан зовет, — отвечает штурман, отвернувшись.

Капитан сидел на корме, в откидном кресле, и сосредоточенно жевал табак. При виде моей физиономии он скорчил было гримасу, означающую улыбку, но моментально убрал ее: по выражению

моего лица он понял, что улыбка неуместна. Приняв обычный холодно-суровый вид, глядя в сторону, он выплюнул жвачку. Для пушей важности насупил брови, выдерживая паузу.

«Ладно, — подумал я. — Сейчас я сбавлю с тебя эту спесь».

Наконец он произнес:

— Твое счастье, что вся эта бойня произошла в порту, где действуют уже законы суши, иначе тебе бы не сдобровать.

Я шагнул вперед.

— Ваше счастье, — ответил я в тон, — что и законы суши на вашей стороне, иначе и вам бы не сдобровать.

Капитан грозно вскинул голову.

— Вы это видите? — указал я на свое лицо. — Это дело ваших рук!

Спесь быстро сошла с лица капитана.

— Вы виноваты в этом! Вы! — наступал я. — Вы и ответите за это!

— Почему я? — промычал капитан.

— Потому, что вы не изволили обратить внимание, когда я жаловался вам. Этим вы дали право боцману издеваться надо мною. Вы, вероятно, думаете, что командуете галерой, и держите ее порядков. Кто дал вам право так думать?! — запальчиво кричал я. — Кто?!

Капитан растерялся.

— Ладно. На обратном пути этого не будет, — сказал он. — Я приму меры.

— Не извольте беспокоиться, сэр, — иронически ухмыльнулся я. — Меры уже приняты! — И, круто повернувшись, я стремглав сбежал с трапа.

Я рассказал об этом разговоре товарищам.

— Начальство бережет свой авторитет, как куртизанка свое лицо, — изрек Франсуа. — Твое счастье, что тебя не кем заменить в этом глухом порту, но в Англии тебе об этом напомнят.

— Напоминай, напоминай, — повторяет Питер.

— Наплевать! — говорю я.

Портовой врач, бритоголовый, молодой человек с наглыми глазами, встретил меня очень весело.

— Какой национальности?

— Русский.

— Русс! А кто это вас так разукрасил?

— Боцман.

— А он кто по национальности?

— Англичанин.

— Англичанин! Здорово! Мой соотечественник... — И он весело захохотал.

— Погодите смеяться, — прервал я его. — Вот увидите своего соотечественника, тогда посмеетесь.

Доктор сомневается и продолжает хотеть.

— Если вы сомневаетесь, — глухо говорю я, перегнувшись через стол, — я могу это подтвердить на вашем лице. Это будет точная копия с рожи боцмана.

— Но! Но! — отшатывается доктор. — Это не обязательно... Я вам верю! Верю! Я пошутил, извиняюсь... Я вам дам лекарство, — заторопился он, — которое быстро приведет ваше лицо в натуральный вид. — И, фальшиво улыбаясь, он сунул руку в один из ящиков своей аптечки и протянул мне горсть каких-то белых таблеток...

— Прекрасное средство, исключительное.

— Что я с ним должен делать?

— Растворять одну таблетку в рюмке с водой...

— И выпить?

— Но, но! Полоскать нос, т.-е. влить в нос, а потом вылить.

— И это выправит мой нос?

— Обязательно! Будете благодарить...

Я благодарю его на своем матросском лексиконе, швыряю о пол таблетки и, хлопнув дверью, выхожу на улицу. Я с любопытством наблюдаю жизнь маленького города. Но женщины, один вид которых так сладостно волнует меня, каким-то особенным теплом и истомой согривает мою ожесточенную душу, женщины смущают меня. Они смотрят на меня с испугом, усмешкой, с удивлением, словно на диковину какую. Я сгораю от стыда. Я отворачиваю лицо. Подхожу к витринам магазинов и с проклятием отшатываюсь. Оттуда в стекло, как в зеркале, на меня глядит отвратительная рожа... Эх! выпить бы! да денег нет... Мрачный вернулся я на судно

и, столкнувшись с боцманом, зловеще шепчу: «Я с тобой еще рассчитаюсь...».

И снова океан. Идем в Африку. С иным чувством хожу я теперь по палубе. Давящий груз унижения и бессилия я сорвал с своей груди... Теперь команда относится ко мне с уважением. Резко изменилось и отношение начальства. Я дышу свободней, но далеко не весел.

— Ты резко изменился, как будто постарел, и глаза у тебя злые, — говорит Франсуа.

Да, француз прав. Причиной этому мой нос. Уже сошла опухоль, зажили кровоподтеки, ссадины и раны, но нос, принявший свою нормальную величину, потерял свою естественную форму. Он у меня кривой, лежит «на борту». И всякий раз, когда я бреюсь или смотрю в зеркало, этот нос, как хроническая болезнь, отравляет настроение, и я не могу простить этого боцману. Правда, ему не лучше, даже значительно хуже, он и сейчас дергается и все еще похож на гиппопотама. Давно исчезла его волчья усмешка, но меня это мало радует. Не могу примириться с мыслью: «За что?! Кто дал ему право уродовать, истязать меня?».

Нет! Я не удовлетворен. При виде боцмана с дикой яростью шепчу: «Убью!». Или же ребром ладони провожу по своему горлу. А ночью, на вахте, стоя на баке, я нагибаюсь к вентилятору его каюты, прислушиваюсь. Боцман ворочается на своей койке. Тогда я тихо поворачиваю рупор вентилятора к ветру, всовываю в рупор голову, и до ушей боцмана ветер доносит зловещий, воющий шопот: «Убью!...».

Боцман, как говорят англичане, «потерял свой нерв». Он с трудом скрывает свое состояние. Отдает распоряжения торопливо, не глядя мне в глаза. Мы поменялись ролями. Теперь он потерял себя. Нервничает, фальшиво льстит команде, льстит мне. Теперь боцман служит предметом насмешек.

— До капитана дошел слух, что ты угрожаешь боцману, — говорит мне старший штурман.

— Передайте капитану, что боцман

сочиняет, — дерзко отвечаю я и поворачиваюсь спиной... В другое время штурман за такую дерзость спихнул бы меня с мостика, но у меня на поясе нож, в руке молоток, и дерусь я не поджентльменски — лучше не связываться. «Русские — народ добродушный, но отчаянный, когда его разозлишь...» — подслушал Питер разговор двух штурманов... Да, лучше им со мной не связываться... В своих переживаниях, в уродстве своего лица я виню не только боцмана...

В этой части океана самые сильные штормы. Пароход наш с трудом, делая не более 3 узлов в час, грудью пробивает себе дорогу сквозь огромные горы волн. Наша вахта, отработав свои часы, спустилась в кубрик. Не успели стащить сапоги, как раздалась команда: «Все руки на палубу!».

Стремглав рванулись из кубрика...

— На корму! — кричит и машет рукой штурман. На корме волной разбило навес для австралийских овец. Обезумев от страха и шума волн, овцы отчаянно вырывались, с диким ревом и блеяньем прыгали за борт, принимая почерневшую поверхность океана за землю. Капитан орет, ругается, топает ногой...

Но что мы, шестеро матросов, можем сделать, когда овец 120 штук, а палуба уходит из-под ног? Вода швыряет и нас, и овец от борта к борту. Крики, проклятья, блеянье, шум, грохот и канонада — все это смешалось в какой-то адский концерт. Но я быстро прихожу в себя.

«Ага, гад! — злорадствую я. — Это тебе за бочку. Теперь тебе влетит от дирекции парохода». — Мне удалось поймать за задние ноги двух овец, несмотря на их отчаянное брыканье, но в этот момент палуба так круто накренилась, что, казалось, еще несколько градусов крена — и судно перевернется килем вверх. Меня с овцами понесло к борту...

— Берегись! — услышал я крик боцмана.

— Пускай их! Пускай!...

Я, разумеется, выпустил овец (стану я из-за них жизнь терять), но меня



удивило внимание боцмана. И вообще в продолжение всей этой кутерьмы он неоднократно жестами сдерживал мои и без того сдержанные порывы.

«Странно! Странно! — подумал я.— Тут что-то неладно...».

С овцами было покончено. Из 120 овец с трудом спасли 18. Боцман велит мне и шведу направиться на носовую часть судна «поставить кливер». Ветер и волны, ударяя в корму, сбивают «нос» судна к ветру. Задача кливера — выровнять ход судна. Но здесь, на носу, значительно хуже, чем на корме... Сюда-то всей силой рушатся обвалы вод. Горе тому, кто в этот момент не уцепится за что-либо прочное и надежное. Его смоеет за борт... Бак закрывает нам вид впереди, поэтому с мостика приближение водяных гор предупреждается тревожным криком: берегись!

Трижды пытаемся мы поставить бешено бьющийся парус, и всякий раз крик «берегись!» вынуждает нас выпускать фал и цепляться, спасаться. Мы мокры насквозь. От тяжести обвалов забивает дыхание. Сердце надрывается от напряжения. Легким нехватает воздуха. В четвертый раз... Балансируя, скользя по палубе, как по льду, мчит боцман. Втроем, со всей поспешностью, с криком и гиком, тянем фал...

— Берегись!

О будь ты проклят!.. Осталось так мало, только закрепить...

— Крепи! — ору я.

За спиной зловеший, быстро надвигающийся, все усиливающийся рокот...

— Скорей! Скорей! — кричат с мостика.—Берегись!

Оглушительный удар, как из орудия. Шипение... Исчезло небо, померк свет. Холод воды. Правая рука схватилась за лебедку, но крен и напор воды так силен, что, кажется, оторвет мне плечо. Вдруг толчок и удар по руке. Пальцы разжались. Меня несет, несет... Пропал! Тщетно пытаюсь за что-либо ухватиться. Уже задыхаюсь. Глотнул соленой воды. Стукнулся больно головой о железо. Когда волна скатывается за борт, я вижу себя висящим в воздухе над палубой, застрявшим меж вант. Я падаю на палубу. Боцман спешит ко мне, но

в глазах его вижу недобрый огонек. Это он толкнул меня. Он! Боцман воровато отводит свой взор. Мы понимаем друг друга... Ладно!..

Франсуа успокаивает меня:

— В Европе обратись к костоправу. Он тебе в два счета выправит нос.

Но я вспоминаю встречу с портовым врачом, его таблетки, разговор... и отвергаю эту мысль.

Нет! Я лучше обращусь за помощью к товарищам. Однако Франсуа отказывается от операции. Но швед охотно берется за нее. Я сажусь на скамью. Швед засучивает рукава, ставит ведро морской воды, на стол кладет паклю и самодельный бинт из старой парусины. Потом, для солидности, надувает щеки, левой рукой берет меня за шею, а правой, ущемив пальцем мой нос, начинает осторожно отгибать его. Я сразу закричал, из глаз посыпались искры и потекли слезы. Холодный пот выступил на лбу, но я вспоминаю Тоби и, сдерживая стон, подбадриваю шведа: «Давай! Давай!». Швед еще более надувает щеки, на лбу от усердия у него тоже пот. Окружающие серьезно и страстно консультируют. Но увы! Нос все в том же положении, «на борту». Шведа сменяет кочегар-грек, выскочивший из кочегарки. От его закопченных рук изменился только цвет моего носа, не более... Хватит!.. Я тяжело отдуваюсь. Франсуа намоченной в воде паклей смывает кровь и паклей же вместо ваты, с помощью парусного бинта, делает перевязку. Вид у меня неважный... и настроение тоже. Все из-за боцмана! Неужели это ему так и пройдет?! Но о мести и говорить теперь не приходится. Боцман что-то замышляет. Замышляю и я, но виду оба не подаем. Весь вопрос в том, кто кого раньше, воспользовавшись случаем, отправит «на тот свет».

Игра становится напряженной... Следить за каждым движением врага — не легкое дело, утомительно. Сон напряжен, тревожен. Подозрительный шорох, звук заставляет вскакивать ночью с койки, на вахте оглядываться — не стоит ли он за мачтой или за бухтой канатов. Спускаясь в трюм, инстинк-

тивно задираешь голову кверху: не летит ли оттуда тебе на голову люк, железный блок или бревно. Высоко на стене, вися на подвеске во время покраски мачты, невольно поглядываешь вниз: не отдан ли конец, который держит тебя на блоке. Шагаешь ли по борту, по бимсам открытого трюма, толкаешь о том, что ведь достаточно думка, чтобы сорваться. Вообще, при желании можно найти момент для расправы. Вот, взять хотя бы случай с лебедкой. Я и Франсуа стаскивали с люков, покрывавших трюм, ручную лебедку с намотанным на барабане тросом. Лебедка тяжелая, громоздкая, весом пудов в двенадцать. Килевая качка усложняла эту работу.

— Боцман! — крикнул я, увидя его шагающим по спардеку. — Иди, помоги нам.

Боцман охотно подбежал, чего раньше никогда бы не сделал. Втроем мы стзли ворочать лебедку. Получилось так, что я очутился посередине между ними, и центр тяжести оказался на моей груди, но, пока с обеих сторон лебедку поддерживали, тяжесть ее была для меня терпима. Но вот боцман неожиданно выпускает из рук лебедку, и она с такой силой валится мне на грудь, что я не в силах вздохнуть. Тяжесть гнет меня назад, ломает спину. Я не в силах сдержать ее и не могу вырваться из-под нее. Она давит сверху, раздавливая грудь, выгибает дугой. Вот-вот хрустнет позвоночник. Из моего широко раскрытого рта вырывается харкающий стон. Я почти слепну от прилива крови к голове. Франсуа бешено мечется, но не в силах мне помочь.

— Боцман! Сакраменто! Боцман! — яростно ругается он.

Боцман выскакивает, берется за лебедку, но так порывисто, что от толчка я еще более выгибаюсь, и не догадайся Франсуа за миг до этого подставить свое плечо под мою спину, я был бы сломан надвое. Лебедка сброшена на палубу. Я слышу, как оправдывается боцман: «Качнуло... Оступился...». Из носу и на губах у меня выступает кровь. Франсуа поддерживает меня... Еще не вполне отды-

шавшись, пошатываясь, подхожу в упор к насторожившемуся боцману и ножом, плашмя, как саблей, наношу удар по невыносимой роже. Боцман едва успевает отшатнуться. От второго удара, накрест, меня удерживает Франсуа.

— Брось! Сакраменто! Спокойно! — хрипит он от натуги. — С ума сошел?!

— Пусти!.. Я начерчу крест на его роже. Он убить меня хотел...

Боцман поспешно отступал.

— Да, подозрительно... — покачивает головой Франсуа. — Вам, я вижу, вдвоем тесно на палубе.

Тоби! Тоби! Моя славная девочка! За тысячу миль я ощущаю твою горячую ласку. Но как встретишь ты меня на этот раз? Ведь твой друг вернется к тебе уродом: нос «на борту»... Неужели ты отвернешься от меня? Нет... Я не могу допустить! Я должен выравнять свой нос... Во что бы то ни стало! Попробую сам проделать эту операцию... Приподымаюсь на койке. Не взирая на боль, обеими ладонями, сверху вниз усердно массирую свой нос. Из глаз искры, слезы. Холодный пот на лбу, но я упорно, методично продолжаю свой массаж! О! Хруст... Что это? Совсем сломал?! Какой ужас!.. Трепетной рукой ищущу зеркало... — Сакраменто! Дэм! Сатана! Где зеркало! — Вот оно... Волнуясь, осторожно, с опаской всматриваюсь. Из глубины его на меня глядит красное, возбужденное лицо, дико расширенные глаза, и... нет, этого быть не может! Это бред, мираж! Протираю глаза и снова вглядываюсь. На этот раз на меня смотрят смеющиеся глаза и улыбающееся лицо. Улыбка расплывается все шире и шире... Я счастлив. У меня прямой, почти прямой нос!.. Ура! Все в порядке... Правда, не совсем в порядке. Если внимательно приглядеться, нос все же имеет несколько изогнутую форму; если пощупать пальцами — ощущаешь перебитую и вогнутую кость на правой стороне; если зажать левую ноздрю, то правая совсем не дышит, брак... Но все это не так уж страшно. Пустяки! С таким носом жить можно!..

А через час, на вахте, вою в вентилятор боцману: «Убью! убью!..».

Боцман отзывает меня в сторону.

— Я предлагаю мир, — бормочет он. — Мой заработок намного больше твоего, и я обязуюсь по возвращении в Европу дать тебе треть своего жалования со всего рейса.

— Треть? — усмехнулся я. — Ты слишком дешево ценишь свою жизнь.

— Могу дать больше.

— Нет! Никакие деньги в мире не искупят тех мук, которые ты мне причинил! Ты едва не убил во мне человека. Ты слишком туп, чтобы это понять. Никакие блага в мире не искупят твоей вины...

Я произношу эти слова с болью, со скрежетом... Боцман инстинктивно отступает на шаг.

— Но что я должен делать? Что хочешь от меня?

— Я хочу, чтоб ты очистил палубу, — четко говорю я.

— Но куда мне сейчас итти? Куда?

— Туда, куда ты мне предлагал... За борт!..

Боцман вздрагивает, нервно кривит рот и быстро уходит.

Тихо, тихо... На малом ходу, словно боясь встревожить таинственную сень африканских лесов, входим мы в широкое устье реки. С вершины мачты, за мохнатой зеленью лесов вдали видим горы, прикрытые легкой дымкой. Позади синее море. В застывшей тишине лесов лишь изредка слышен писк птиц или визг обезьян. Там в глубине таится целый мир. Грохотом якоря нарушается безмолвие природы, и лес встревоженно шумит, как от порыва ветра. И снова тихо, тихо... Какая-то особенная тишина, словно вступаешь в необитаемый край. Из всех нор корабля на палубу выползли люди.

Узкая пирога с двумя чернокожими неожиданно вынырнула из темной тени зарослей. У одного из них в руке мелькнул сайган (метательное копье), у другого весло. Мех вокруг бедер — весь наряд. Пирога мелькнула в освещенной части реки и вновь скрылась на другом берегу. Вот две женщи-

ны. Одна молода и очень стройна, словно выточена из черного мрамора. У другой, постарше, на спине годовалый ребенок. Она кормит его грудью, закинутой на плечо. Вокруг бедер у женщин что-то вроде юбок. Женщины испуганно уставились на пароход и вмиг скрылись.

А на другой день палуба покрывается темнокоричневыми телами кафров, черными до блеска зулусами. Это — грузчики. У некоторых из них в ушах и губах кольца, иногда и в носу. На руках у запястья и на ногах у ступней браслеты. У зулусов (их всего несколько человек) волосы короткие и курчавые; у кафров — длинные, собранные на голове огромной шапкой и насквозь проткнутые длинными иглами.

С утра до сумерек на палубе, подгоняемые «белым» надсмотрщиком, мечутся негры. Обнаженные тела их лоснятся под раскаленными лучами солнца. Туземцы выгружают, нагружают. Мужчины, женщины и дети с корзинами угля на головах, вереницей, как непрерывно движущаяся цепь, понуро шагают с баржи на палубу. Надсмотрщик ускоряет темп их работы пинками, проклятием, кулаками и чаще всего ударами веревки по обнаженному телу. Силой пригнали их на палубу, силой заставляют работать за гроши, за фунт хлеба в день. А ведь негры, если к ним внимательно присмотреться, ничем не отличаются от белых, разве только цветом кожи и своеобразным благородством, которым никак не могут похвалиться цивилизованные господа в белых костюмах и белых касках, пришедшие с берега принимать груз.

Вот, например, этот высокий зулус. В последние дни он обратил на себя внимание своим усталым видом, работает, видимо, через силу, и уже дважды подвергся порке. Во время перерыва на обед он подошел ко мне и тихим голосом, на ломаном английском языке попросил у меня закурить:

— Моя два дня не кушал, хлеб не хватил на трех, — как бы оправдывался он. — Масса (надсмотрщик) сердит, а я сил мало.

Я поспешно вынес ему несколько галет с маргарином из своего пайка. Зу-

лус не поблагодарил меня, он только посмотрел на меня тем умным и глубоким взором, который сильнее всяких слов, и тут же, отвернувшись, он издал звук: — Няма! Чау!

Двое кафров подбежали к нему. Зулус поровну на троих разделил пищу. Это получилось так просто и трогательно, что я почувствовал смущение и от-вернулся.

Молодой, краснощекий господин, сидя под тентом с группой приятелей, забавы ради метко швырял кусками угля в старика-негра, стоящего к нему спиной. Старик подпрыгивал на своих необычайно тонких ногах и этим смешил до слез молодого повесу. Хохотали и его приятели.

— Нельзя ли прекратить эту забаву? — крикнул я с вант.

Молодой человек не удостоил меня ответом и снова, когда старик нагнулся, запустил в него новым куском угля. Уголь попал в намеченную цель. Произошло что-то жуткое и постыдное. Старик опустился на палубу и, лоя воздух руками и широко раскрывая рот, завыл от боли... Это было уж слишком. С трехметровой вышины я спрыгнул на палубу и, подбежав к белому, оглушил его по уху затрещиной, прозвучавшей, как удар бича. Молодой человек юлой завертелся на палубе. Его белая каска отлетела на несколько шагов. На минуту прервалась работа. Негры изумленно смотрели на нас. Но вот на помощь белому ринулись его приятели. С вант и бака ко мне бежали матросы, но прежде, чем те и другие столкнулись, раздался визг. Это зулус с группой негров набросились на белых господ. Нам, матросам, с трудом удалось удержать негров; им пришлось бы плохо, белые пустили бы в ход револьверы.

Отвратительно ругаясь, ястребом налетел на негров надсмотрщик, но тут же поперхнулся: Питер кулаком заткнул ему рот.

Разумеется, дело не обошлось без скандала, вызова к штурману и выговора.

— Твое счастье, — сказал за обе-

дом Франсуа, — что тебя некем здесь заменить, но в Англии тебе об этом на-помним.

— Плевать! — сказал я.

— Плевать! — повторил Питер.

А в своих селениях, окруженных чащей лесов, жители, видя наши добрые намерения, встречают нас добродушной улыбкой.

— Няма! Няма! (Кушать, кушать)— умоляюще просят их дети.

Безмолвно, затаив злобу, влачили свое существование негры, и только в песне изливали они горе свое. Поют они страстно, горячо, надрывно и долго, запрокинув голову, закрыв глаза. И никакие пинки, проклятья, удары, никакая сила не остановит их. Не эту ли песнь, «песнь отчаяния», пели предки их, когда в трюме, душном и темном, как гроб, в цепях везли их невольниками на американский рынок?

С тяжелым чувством смотрю я на удаляющийся берег и горы Африки, страны интересной и жуткой. Вот скрылись и горы... Открытый океан. Штиль... Палящий, ослепительно сверкающий диск солнца на яркосинем небе. Океан бесконечно широк и синий, как небо... В штиль океан еще более могуч, чем в шторм. Неизмеримая сила таится в его величавом спокойствии, в его чуть вздымающейся необъятной груди...

Но что за тревога на палубе?! Что за шум?! Тревожные голоса. Бегают штурман, матросы. Ищут, рыщут. Зовущие голоса: «Боцман! Боцман!...». Доносится ругань с мостика. Все ясно. Боцмана нет! Боцман остался на берегу. На малом ходу он незаметно спрыгнул в баржу.

Из груди моей произвольно вырвался глубокий вздох облегчения.

В душе я был рад, что победа моя обошлась без крови. Я знаю: впереди меня ждет коварное возмездие капитана, но это не омрачит радости моей победы. Смело смотрю я вперед, в ясную даль океана.

# Стихотворения

Л. КВИТКО

★

ВАСИЛИСА

У изгороди низкой подожду я  
Болгарку—Василису молодую.  
И, если нам поговорить придется,  
Спрошу ее как шерсть у них прядется,  
Спрошу ее о крупном винограде,  
Спрошу ее о тонкорунном стаде  
И о колхозе, где теперь она  
Заведывать телятником должна...

Василиса! Если захотите,  
Собачку за костями приводите!  
Мне виноград ее других приятней:  
Он всех сортов свежей и ароматней.  
Я ей скажу про кисти налитые,  
Про ягоды янтарно-золотые.  
Еще скажу о глаз любимом цвете.  
Спрошу — к лицу ли ей кораллы эти,  
И любит ли она свой дом и сад,  
И долго ль сохранится виноград?

Василиса! Если захотите,  
С собачкой за костями приходите!  
Она меня в свой тихий дом ввела

И, ярко улыбаясь, показала  
Ковер чудесный, что сама ткала,  
И шаль, которую сама вязала.  
И шаль была, как первый снег, бела,  
А на ковре земная жизнь цвела,  
Как будто листья, птицы и плоды  
Покинули долины и сады.  
Ах, Василисы бронзовая грудь  
От гордости приподнялась чуть-чуть!  
Василиса, правда, заходите —  
Собачку за костями приводите!  
Сегодня домик белит Василиса.  
Я издали — ей в спину поклонился.  
Она кладет мазки одной рукою,  
А держится за лесенку — другую,  
Одно бедро ее другого ниже...  
...Я осмелел, я подошел поближе,  
Собаку глажу, на траве сижу,  
А с Василисы взора не свожу.  
Ах, Василиса! Вы тут не скучайте!  
Нас к вечеру с собачкою встречайте!

*Перевела с еврейского*

*Е. БЛАГИНИНА*

★

## РАЗЛУКА

1

Любимая! Моя, моя!  
 Поток твоей горячей крови  
 И волосы твои, и брови,  
 И всю тебя — придумал я.  
 Я своему большому счастью  
 Из мрака выбиться помог.  
 Я тело создал часть за частью,  
 Зрачки чудесные зажег.  
 И я сказал:  
 — Ты будешь жить,  
 Любимая, чтобы любить!

2

Я мчусь к тебе. Мне больно  
   разлучиться!  
 Так преданно по рельсам поезд  
   мчится,  
 Так и орел в грозовых тучах вьется,  
 А все-таки в свое гнездо вернется.  
 И я лечу путями грозовыми —  
 За молниями! Даже рядом с ними!  
 А все-таки и я вернусь к родному  
 Из дерева построенному дому.  
 Я, как орел, люблю гнездо свое —  
 Пристанище веселое мое.

3

Вместе мы, вместе —  
                     счет ведем годам,  
 Радуемся вместе  
                     досугу и трудам,  
 Бродим по садам,  
                     плоды срываем вместе  
 И горести преодолеваем вместе!

Вместе мы, вместе —  
                     идем в далекий путь,  
 Вместе мы, вместе  
                     садимся отдохнуть.  
 Ночью где-нибудь  
 Приюта просим вместе.  
 Мы даже боли переносим вместе.

Едино, общно, слитно, цельно...  
 Но смерть войдет, не постучась, —  
 И к каждому из нас отдельно,  
 И в разный день, и в разный час.  
 И разомкнет сомкнувшиеся руки...  
 Любимая, я не хочу разлуки!

*Перевела с еврейского  
 Е. БЛАГИНИН*

## ПОРОСЕНОК

(Шутка)

Вышла хозяйка, меня позвала,  
Мне — поросенку—полопать дала:

Крошек моченых,  
Картошек толченых,  
Очистков сочных,  
Помоев молочных.

Я чавкаю, я хрюкаю,  
Копытцем об пол стучаю.

Хозяйка чешет щепкою  
Мою щетину крепкую

И говорит:

нельзя худеть,  
нельзя худеть!

Куда тебя, худого, деть?

Вот как меня покамест холят!

А срок настанет —  
поймать велят.

Меня поймают,  
меня заколют,

Меня заколют  
и опалят.

Вот как меня покамест холят!

А срок настанет —  
не поглядят!

Меня разрежут,  
меня посолят,

Меня зажарят... и... —  
ам! — с'дят.

*Вольный перевод с еврейского*

*Е. БЛАГИНИНОЙ*

## РАЗГОВОР

Так дуб сказал:  
«Я от вершины до корней  
Всех выше, крепче и сильнее,  
Но я мечтаю об одном —  
Стать быстроногим скакуном,  
Тогда узнал бы я просторы,  
Луга, леса, поля и горы!..».

А конь сказал:  
«Когда на воле я скачу,  
Мне кажется, что я лечу,  
Но я мечтаю об одном:  
Стать птицей — соколом, орлом,  
Увидеть под собой просторы,  
Луга, леса, поля и горы!».

Орел сказал:  
«Я вью гнездо в ущельях скал,  
И где я только не летал!  
Но я завидую тому,  
Кто—человек. Его уму.  
Ему подвластны все просторы,  
Луга, леса, поля и горы.

*Вольный перевод с еврейского*  
*СЕРГЕЯ МИХАЛКОВА*

★



# РСФСР

И. РАНЕВСКИЙ

★

Первая советская конституция была утверждена на V Всероссийском съезде советов в июле 1918 г. Российская республика советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, утвержденная «на основе свободного союза свободных наций, как федерация советских национальных республик»,<sup>1</sup> начертала на своих красных знаменах эти пять золотых букв:

## РСФСР

Это произошло в момент, когда все контрреволюционные силы, начиная от крайних правых монархических группировок и кончая «левыми» эсерами и «левыми» коммунистами, при активной поддержке английского и французского империализма, организовали серию заговоров, восстаний, мятежей против молодой советской республики.

Это произошло через несколько дней после провокационного убийства в Москве германского посла графа Мирбаха, организованного «левыми» эсерами с целью сорвать послебрестскую переделку.

На Волге в это время бунтовали чехословацкие эшелоны, во Владивостоке хозяйничали японские интервенгты, на Украине — германские оккупанты, меньшевистская Грузия объявила свою «независимость» от Советской России, на Северном Кавказе и на других окраинах формировались белогвардейские «национальные» полки. «Национальные правительства» на окраинах

объявили войну центральному социалистическому правительству.

В этот момент наивысшего распада бывшей Российской империи, когда контрреволюционная воронья на всех углах каркало: «конец России», «погибла Россия», как-раз в этот момент сложился социалистический союз рабочих и крестьян всей России против националистической контрреволюции, и символом этого союза стало красное знамя с надписью — РСФСР.

Это был лозунг, это был боевой клич к объединению на основах действительной национальной свободы, действительной национальной независимости.

Вопрос стоял так:

«л и б о вместе с Россией, и тогда — освобождение трудовых масс окраин от империалистического гнета;

«л и б о вместе с Антантой, и тогда — неминуемое империалистическое ярмо.

Третьего выхода нет» (Сталин)<sup>1</sup>.

Принципы федерации, положенные в основу советской власти с момента ее возникновения, побеждали. В первый период, когда угроза иностранной интервенции еще не представляла реальной опасности для освобожденных национальностей, сотрудничество между ними и центральной властью не имело строго определенных форм. Оно допускало самые разнообразные формы и степени развития — от узкой административной автономии до высших ее форм — договорных отношений. В дальнейшем, в период гражданской войны и интервенции, это сотрудничество приняло форму

<sup>1</sup> См. «Декларацию прав трудящегося и эксплуатируемого народа», принятую 24 (11) января 1918 г. на III Всер. Съезде Советов.

<sup>1</sup> И. Сталин, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», стр. 59.

военно-политического союза между центральной российской властью Советов и национальными окраинами, боровшимися за советскую власть. Российская федерация играла в этом союзе ведущую роль.

Российская советская федерация, под руководством партии большевиков, организовала решительный отпор контрреволюции, ее молодая Красная Армия на острие своих штыков несла освобождение ранее угнетенным народам, политический и моральный авторитет РСФСР рос с каждым днем, и по мере освобождения национальных окраин из цепких лап белогвардейщины и иностранной интервенции новые, возникавшие в огне гражданской войны советские республики примыкали к РСФСР, как равноправные члены братской семьи народов.

С окончанием гражданской войны и переходом к мирному строительству эта форма сотрудничества стала недостаточной, ее нужно было заменить более тесным объединением — военным, хозяйственным и политическим.

К концу пятого года революции четыре советских республики — РСФСР, УССР, БССР и ЭСФСР договорились об образовании крепкого и нерушимого союза, основанного на принципе добровольности и равноправия с сохранением за каждой из объединившихся республик права свободного выхода из Союза.

Новое союзное государство, созданное гениями пролетарской революции — Лениным и Сталиным, получило название СССР.

Теперь Союз Советских Социалистических Республик объединяет уже 11 союзных республик, и среди них, как первая среди равных, овеянная легендарной славой, окруженная любовью всех народов, — Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика.

Двадцать четыре года тому назад Ленин, отвечая клеветникам из буржуазно-либерального лагеря, написал в статье «О национальной гордости великороссов» слова, которые и сейчас нельзя читать без волнения:

«Чуждо ли нам, великорусским сознательным пролетариям, чувство национальной гордости? Конечно, нет! Мы любим свой язык и свою родину, мы больше всего работаем над тем, чтобы ее трудящиеся массы (т.-е.  $\frac{1}{10}$  ее населения) поднять до сознательной жизни демократов и социалистов. Нам больнее всего видеть и чувствовать, каким насильем, гнету и издевательствам подвергают нашу прекрасную родину царские палачи, дворяне и капиталисты. Мы гордимся тем, что эти насилья вызвали отпор из нашей среды, из среды великороссов, что эта среда выдвинула Радищева, декабристов, революционеров-разночинцев 70-х годов, что великорусский рабочий класс создал в 1905 г. могучую революционную партию масс, что великорусский мужик начал в то же время становиться демократом, начал свергать попа и помещика.

Мы помним, как полвека тому назад великорусский демократ Чернышевский, отдавая свою жизнь делу революции, сказал: «жалкая нация, нация рабов, сверху донизу — все рабы». Откровенные и прикровенные рабы-великороссы (рабы по отношению к царской монархии) не любят вспоминать об этих словах. А, по нашему, это были слова настоящей любви к родине, любви, тоскующей вследствие отсутствия революционности в массах великорусского населения. Тогда ее не было. Теперь ее мало, но она уже есть. Мы полны чувства национальной гордости, ибо великорусская нация тоже создала революционный класс, тоже доказала, что она способна дать человечеству великие образцы борьбы за свободу и за социализм...».

«... И мы, великорусские рабочие, — продолжал Ленин, — полные чувства национальной гордости, хотим во что бы то ни стало свободной и независимой, самостоятельной, демократической, республиканской, гордой Великой России, строящей свои отношения к соседям на человеческом принципе равенства, а не на унижающем великую нацию простонародном принципе привилегий»<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> В. И. Ленин, Соч., т. XVIII, стр. 81—82.

Такая свободная, независимая, самостоятельная, демократическая, республиканская, гордая Россия существует и носит имя РСФСР.

Под прежнюю национальную гордость «великорусских сознательных пролетариев» подведено новое основание. Героический русский рабочий класс может гордиться тем, что он первый в октябре 1917 года поднял знамя социалистической революции, сбросил в мусорный ящик истории эксплуататорские классы помещиков и капиталистов и призвал все другие народы к братскому сотрудничеству в борьбе за счастье народов, за их независимость, за построение нового, социалистического общества. Русский народ гордится тем, что он дал миру Ленина — гениального вождя социалистической революции, создателя советской власти.

Много препятствий нужно было преодолеть русскому рабочему классу, чтобы сломать стену недоверия к центру, которая существовала на окраинах как наследие зверской политики царизма. Русский народ к моменту создания советского социалистического государства далеко ушел вперед в своем хозяйственном и культурном развитии от других национальностей Советского Союза. Советская власть уничтожила правовое неравенство между нациями. Но этого было недостаточно. Задача состояла в том, чтобы добиться устранения фактического неравенства — «основы всех недовольств и всех трений». Для этого нужна была «... действительная, систематическая, искренняя, настоящая пролетарская помощь с нашей стороны трудящимся массам отсталых в культурном и хозяйственном отношении национальностей» (Сталин)<sup>1</sup>. Нужно было создать в этих отсталых республиках свои очаги промышленности, свой промышленный рабочий класс, свои национальные кадры хозяйственников, интеллигенции, государственных деятелей.

И, оглядываясь теперь на пройденный путь, мы видим, с каким энтузиазмом, с

каким размахом, с какой большевистской настойчивостью великий русский народ, и, в первую очередь, его героический рабочий класс, выполнил эту историческую миссию. Ленинско-Сталинская национальная политика партии одержала победу всемирно-исторического значения.

★

Живительным циклоном пронеслась социалистическая революция через необозримые пространства РСФСР, стряхнула пыль веков, вдохнула новую жизнь в самые глухие, медвежьи углы.

Неузнаваемой стала русская земля. Изменился внешний вид великой русской равнины, изменились ее поля, ее села, ее города.

Взглянем, например, что стало с прежней так называемой потребляющей полосой. К этой полосе относилась вся западная часть бывшей Российской империи, начиная от Московской промышленной области и кончая берегами Финского залива. Вся эта полоса жила когда-то на привозном хлебе, на привозном мясе и других привозных продуктах питания.

Весь этот район волею большевиков давно превращен в производящий. При помощи тракторов подняты миллионы гектаров целины. Обширные пространства бросовой земли превращены в цветущие пашни и пастбища. На них сеют не только рожь, но и пшеницу. Сотни тысяч гектаров заняты под картофель и огородные культуры.

Западная часть России была центром промышленности. Здесь была сосредоточена почти вся текстильная промышленность, почти вся металлообрабатывающая промышленность, машиностроение. Москва, Ленинград, Горький, Тула, Иваново — вот старые центры российской индустрии. Как неузнаваемо изменился их промышленный облик в наши дни! Старые ленинградские заводы, все эти Лесскеры, Парвизыны, Людвиги Нобели и др., кажутся кустарными предприятиями по сравнению с теми гигантами, которые сейчас выросли в городе Ленина. Кировский завод (бывший Путиловский), металлический завод

<sup>1</sup> И. Сталин, «Марксизм и национально-колониальный вопрос», стр. 117.

имени Сталина, «Электросила», завод имени Карла Маркса, завод имени Макса Гельца, Балтийский судостроительный — это гиганты, собравшие в своих цехах все лучшее, что создала современная техника.

Реконструированная промышленность Ленинграда дает сейчас в 10 раз больше продукции, чем до революции. Ленинград — город крупного машиностроения, судостроения, электростроения, оптики, точной механики. Нет ни одного уголка в Советском Союзе, куда бы не шла продукция ленинградской промышленности.

Город Ленина — мощная кузница кадров для всех социалистических строев и научно-исследовательских учреждений. Ленинградский рабочий класс — застрельщик трех революций, хранитель славных революционных традиций российского пролетариата — остается передовым отрядом рабочего класса всего СССР.

При переименовании Петрограда в Ленинград второй Всесоюзный Съезд Советов так охарактеризовал роль петроградского пролетариата в победе социалистической революции:

«В Петрограде великая пролетарская революция одержала первую решающую победу. Здесь создавались первые отряды пролетарской Красной гвардии и здесь заложена была основа Красной Армии. Ни голод, ни холод, ни блокада, ни десятки других бедствий не сломили духа пролетарского Петрограда. Как неприступная скала, выстоял все эти годы красный Петроград, оставшийся поныне первой цитаделью советской власти».

Эта характеристика целиком должна быть отнесена и к настоящему времени.

Москва стала центром станкостроительной, машиностроительной, автомобильной, инструментальной, электротехнической, шарикоподшипниковой промышленности. В Ярославле вырос гигант резино-асбестовой промышленности. На берегах реки Оки у города Горького раскинулся автомобильный завод, не уступающий по мощности и оборудованию знаменитому фордовскому заводу в Америке. Под Москвой воз-

ник огромный центр химической промышленности — Сталиногорск. Во много раз увеличили свою мощность ивановские текстильные предприятия.

Крупнейшие электростанции, работающие на угольной пыли и на торфу, выросли в западных районах РСФСР: перенец ленинской идеи электрификации — Волховская гидроэлектростанция, гидроэлектростанции на реке Свири, Сталиногорская под Москвой, Шатурская, Балахнинская и многие другие. Линии высоковольтных электропередач соединяют между собой все крупные промышленные комбинаты и города этой части России.

Старые промышленные центры зажили новой жизнью. К ним можно отнести меткую характеристику, данную С. М. Кировым городу Ленина: от старого тут остались только революционные традиции, все остальное — новое. Реорганизуя свое хозяйство, они в то же время помогали создать новые центры промышленности, новые очаги индустрии в районах и областях, где раньше не было никакой промышленности. Металлисты Ленинграда, машиностроители Москвы, гор. Горького, Тулы, текстильщики Иваново-Вознесенска строили и создавали новую промышленность на севере Ленинградской области, в Сибири и на Дальнем Востоке, на Северном Кавказе и в Крыму и в республиках Средней Азии.

★

Еще более разительные перемены произошли в другом промышленном районе старой России — на Урале. «Урал представляет такую комбинацию богатств, какой нельзя найти ни в одной стране» (Сталин). С необычайной щедростью природа разбросала здесь свои сокровища — железную руду, уголь, нефть, драгоценные металлы, руды цветных и редких металлов, самоцветные камни, разные виды мрамора и строительных материалов. Капиталисты, захватившие в свои руки старый крепостнический демидовский Урал, сумели только разворовать эти богатства, хищнически разграбить то, что лежало ближе к поверхности.

Советская власть подняла промышленность Урала на ту высоту, которая соответствует богатейшим природным данным этого края. Здесь создана вторая металлургическая база Советского Союза. Здесь положено начало единственному в своем роде индустриальному комплексу — Урало-Кузбассу — соединению уральской (магнитогорской) руды с сибирскими (кузнецкими) коксующимися углями. Урало-Кузбасс — гордость Советской страны. Основа этого комбината — самый большой в Европе Магнитогорский металлургический завод имени Сталина. В 1936 году один Магнитогорский комбинат выплавил чугуна в два раза больше, чем вся Польша, вдвое больше всей Италии, а Магнитогорский и Кузнецкий заводы вместе дали на 30 процентов больше чугуна, чем вся Япония.

Реконструированы и старые металлургические заводы Урала, работающие на древесном угле. Сейчас они служат базой производства высококачественных сталей.

Свердловск стал центром машиностроительной промышленности Урала. Уральский завод тяжелого машиностроения им. Серго Орджоникидзе дает оборудование для горной и металлургической промышленности. Челябинский тракторный завод выпускает 60-силльные гусеничные тракторы, сыгравшие колоссальную роль в социалистической реконструкции сельского хозяйства, в укреплении колхозного строя.

В Нижнем Тагиле вырос один из крупнейших в мире вагоностроительных заводов.

Урал снабжает страну цветными металлами. Здесь расположены крупнейшие медеплавильные заводы — Красноуральский, Кировградский, Среднеуральский.

Монополистом калийной промышленности до недавнего времени была Германия. Пущенный в эксплуатацию Соликамский калийный рудник теперь по размерам добычи первый в мире. В верхнем течении реки Камы вырос Березниковский химический комбинат, производящий высококачественные мине-

ральные удобрения и другие химические продукты.

Капиталисты в свое время приложили немало усилий для того, чтобы найти нефть на Урале, но все их попытки неизменно кончались неудачей. Промышленная нефть на Урале впервые стала добываться в РСФСР. На территории Башкирской республики вырос огромный промысел — Ишимбаевский, соединенный нефтепроводом с Уфой. Этот промысел дает сейчас около миллиона тонн нефти в год. Разведано новое месторождение в той же республике — Туймазинское, которое обещает стать одним из крупнейших в СССР. Нефть добывается и в Краснокамске и в других районах Урала.

Граничащая с Уралом Башкирия дает Советской стране не только нефть, но и металл и машины. В столице Башкирии — Уфе построен большой моторный завод. Уфа становится индустриальным городом. По сравнению с 1913 годом валовая продукция крупной промышленности Башкирской республики выросла в 1936 году почти в семь раз.

Уралу и Западной Сибири (Кузнецкому бассейну) партия и правительство в течение двух сталинских пятилеток уделяли исключительное внимание и заботу. Здесь пафос строительства нашел свое наиболее яркое выражение. На гигантских стройках — Магнитке, Кузнецке, Кемерове, Прокопьевске — встретились старые рабочие кадры с рабочей молодежью разных национальностей, только что оторванной от сохи. Уральские и сибирские стройки, производившиеся в суровых климатических условиях, вдали от старых промышленных центров, в далекой тайге, среди болот и лесов, стали огромной кузницей новых кадров. Здесь познакомились, сблизились и сроднились ленинградские и московские металлурги, машиностроители, электрики и монтажники, рязанские плотники, донецкие угольщики и металлурги с татарскими, башкирскими, калмыцкими землекопами. Здесь они получили квалификацию бетонщиков, монтажников, электриков, водопроводчиков — они стали кадровыми рабочими.

Здесь они научились грамоте, превратились в культурных, сознательных строителей социализма.

В пафосе строительства, а затем в пафосе освоения новой техники росла и крепла дружба народов, уважение и любовь ранее угнетенных национальностей к героическому русскому рабочему классу.

★

Из 17 автономных республик, входящих в состав РСФСР, шесть расположены вдоль Волги — Чувашская, Марийская, Мордовская, Татарская, немцев Поволжья и Калмыцкая, и одна на Каме — Удмуртская.

Что на великой русской реке, на берегах «матушки Волги» живет много разных национальностей, об этом знали все, но вряд ли кто-нибудь разбирался в том, что это за народы, как и чем они живут. А между тем матушка Волга не балоувала своих исконных поселенцев. Лучшие земли были у них отняты капиталистами, помещиками, монастырями и церквями. И чувашаи, и марийцы, и мордва, и татары были низведены на положение париев. Недаром над великой русской рекой стоял дым пожарищ от народных восстаний и крестьянских бунтов. Знаменитая «поволжская вольница», о которой народ сложил столько поэтических легенд и сказаний, повстанческие полки Степана Разина и Емельяна Пугачева имели в своих рядах немало представителей этих задушенных царизмом национальностей. И уже после того, как Волга была окончательно замирена, в XIX веке и в до-революционные годы, печать безысходного народного горя легла на весь замечательный волжский край. Грустные, заунывные песни оглашали берега великой реки, нищета и отчаяние выглядывали из-за каждого ее поворота. Бурлаки на канатах тянули тяжелые баржи, грузчики переносили на своих спинах многопудовые тяжести, бездомные крестьянские дети на волжских пристанях жалобно вымаливали «копеечку», нигде не было столько нищего, голодного, оборванного народа, как на пристанях Ва-

сильсурска, Казани, Симбирска, Самара, Саратова.

Советское Поволжье — богатейший район РСФСР, край крупного колхозного сельского хозяйства, мощной социалистической индустрии.

Волжские города сбросили свое старое купеческое обличье, расстались с вековой грязью, темнотой и некультурностью. Богаче и разнообразнее стал волжский пейзаж. Раньше одни маковки церквей выделялись на тусклом фоне бедных деревушек. Теперь тянутся кверху огромные фабричные трубы индустриальных гигантов г. Горького. Саратова, Куйбышева, Сталинграда. Нефтяные вышки подходят к самому берегу Волги у Самарской луки, Сызрани и выше — у Ставрополя.

Дальше других городов ушел в своем росте старый провинциальный Царицын. Он превратился в замечательную столицу всего нижнего Поволжья — Сталинград. С каждым годом этот город становится все более достойным того высокого имени, которое он носит.

Сталинград — город сталинских тракторов, качественной стали, электрифицированных лесных бирж, крупного судостроения. Сталинград дорог каждому советскому гражданину своей исторической ролью в гражданской войне. Здесь силы контрреволюции Севера и Юга предполагали соединиться, отрезать центральную советскую Россию от хлеба и нефти, задушить ее в объятиях голода. Отсюда предполагался объединенный поход колчаковских и денкинских офицерских полчищ на Москву.

Революция послала в Царицын Сталина. Сталин превратил Царицын в несокрушимый оплот советской власти.

Героическая оборона Царицына под руководством лучшего стратега революции — товарища Сталина, при участии лучшего ее боевого командира — Клина Ворошилова вошла в историю гражданской войны одной из самых блестящих страниц большевистской организованности, стойкости и непоколебимости.

Нынешний Сталинград — гордость Поволжья, один из красивейших городов РСФСР. Он знаменит сейчас не только своими социалистическими фа-

бриками и заводами, но и музеем об-  
ройны Царицына—замечательным памят-  
ником гражданской войны.

Большая социалистическая революция  
не только освободила живущие на бере-  
гах Волги народы от капиталистиче-  
ской и помещичьей кабалы, — она воз-  
родила их, пробудила их националь-  
ное самосознание, отдала им их зем-  
ли, создала их государственность. Ма-  
ленькие приволжские национальные ав-  
тономные социалистические респуб-  
лики живут и расцветают под благода-  
тным солнцем Сталинской Конституции.  
Некоторые из них стали образцовыми  
социалистическими республиками. На-  
пример, Татария.

Эта республика имеет сейчас свою  
крупную промышленность, которая дает  
продукции почти на 700 миллионов руб-  
лей в год (в семь с половиной раза боль-  
ше, чем в 1913 году). Свыше 84 тысяч  
рабочих занято на ее фабриках и заво-  
дах (в три с половиной раза больше,  
чем в 1913 г.). 99,4 процента ее посе-  
вной площади принадлежит колхозам.  
Посевная площадь увеличилась с 1913 г.  
на 716 тысяч гектаров. На колхозной  
татарской земле работает свыше 4.200  
тракторов. Почти 1.900 комбайнов  
убирали летом 1937 года урожай ее по-  
лей.

Татарская республика превратилась в  
аграрно-индустриальный район с мощ-  
ным механизированным сельским хозяй-  
ством, крупной индустрией, дающей  
стране сложные машины, химические  
продукты, пищевые, коженые и това-  
ры широкого потребления.

Татарская республика высоко подня-  
ла свою культуру. Она имеет в два ра-  
за больше общеобразовательных школ,  
чем до революции. 13 высших учебных  
заведений вместо трех в 1914 г., 12 те-  
атров вместо двух, 178 газет на рус-  
ском и татарском языках, 1.691 библио-  
теку вместо 193 в 1914 г.

Так использовал татарский народ  
возможности, которые предоставила  
советская власть. Но и другие нацио-  
нальности, каждая в своем масштабе  
и в зависимости от уровня своего раз-  
вития до революции, значительно про-  
двинулись вперед. Марийцы, где около

половины населения до революции было  
поражено трахомой, зобом, туберкуле-  
зом и сифилисом, почти ликвидировали  
у себя эти болезни, развили различные  
отрасли кустарной промышленности и  
заново создали крупную деревообра-  
тывающую и целлюлозно-бумажную ин-  
дустрию. Чуваши на своей маленькой  
территории назвали образцовый порядок,  
проложили дороги, считающиеся луч-  
шими в РСФСР, вылечились от трахо-  
мы, которой было поражено до 80 про-  
центов населения, построили прекрасные  
школы и другие культурные учрежде-  
ния и создали у себя некоторые отрасли  
тяжелой индустрии. То же можно ска-  
зать и о мордвинах, и об удмуртах, и о  
полукочевых калмыках, перешедших на  
оседлость и построивших в степи свою  
столицу — город Элиста.

Новые песни раздаются над Волгой.

★

Другая группа автономных советских  
республик и национальных автономных  
областей расположилась у подножия  
Главного Кавказского хребта — Даге-  
станская, Чечено-Ингушская, Северо-  
Осетинская и Кабардино-Балкарская и  
автономные области — Адыгейская, Ка-  
рачаевская и Черкесская.

Благодатный солнечный край. Здесь  
живут чеченцы, осетины, ингуши, ка-  
бардинцы, лезгины, черкесы, адыгейцы,  
авары, лаки... Царизм использовал осо-  
бенности горских народов с точки зре-  
ния империалистического принципа:  
«разделяй и властвуй». Искусственно  
разжигалась вражда между националь-  
ностями, они натравливались друг на  
друга. Так легче было держать их в  
состоянии покорности, так легче было  
грабить их по одиночке:

Нас было много, но адат  
Тысячелетья плел разлад.  
Ты — лакец, я — лезгин, он — тат, —  
Друг друга мы кляли, товарищ!

Был враг хитер, как лисий хвост,  
Он поджигал меж нами мост,  
И вместо дружбы рос погост  
Твоих, моих костей, товарищ.

(Сулейман Стальский).

Октябрьскую социалистическую революцию свободолюбивые горские народы встретили восторженно. Они ненавидели царских генералов и палачей, но чтобы внести мир между народами, спаять их в тесной дружбе, повернуть их на путь социализма, научить жить по новым законам, — только методами ленинско-сталинской национальной политики можно было осуществить эту гигантскую задачу. Немало поработал над разрешением этой задачи еще в разгар гражданской войны пламенный большевик Сергей Орджоникидзе, ставший национальным героем горских народов.

Теперь горские народы живут в своих республиках, и между ними идет творческое соревнование в создании новых социалистических форм своего общественного уклада.

Горцы спустились из своих горных ущелий, куда их загнал царизм, в равнину, которую обрабатывают тракторами и сложными сельскохозяйственными машинами. В борьбе за сталинские урожаи зерна, плодов, овощей, фруктов горские народы играют не последнюю роль.

Но и промышленность здесь двинулась далеко вперед. В Дагестане, на берегу Каспия, открыт богатейший нефтеносный район. За один-два года вырос большой нефтяной промысел Избербаш, дающий уже сейчас четыреста-пятьсот тонн нефти в сутки. Идет большое строительство вышек, нефтепроводов и резервуаров. Свои богатые рыбные ресурсы, плоды и овощи Дагестан перерабатывает на крупных предприятиях пищевой промышленности и поставляет консервы на всю страну.

Но Дагестан славится не только этим. Дагестан выдвинул замечательно народного певца — «Гомера XX века», как его назвал А. М. Горький. — Сулеймана Стальского, который погиб бы для культуры, если бы не советская власть.

Чечено-ингушская республика известна своими нефтяными месторождениями и грозненскими нефтеперегонными заводами. В горах Северной Осетии разрабатываются полиметаллические руды. Расцвела Кабардино-Балкария — ма-

ленькая республика с мощным механизированным сельским хозяйством, крупной пищевой индустрией, благоустроенными колхозами. Продукция Кабардино-Балкарии за годы советской власти увеличилась в 59,6 раза по сравнению с 1913 г.

На всех своих языках и наречиях горские народы воспевают сталинскую дружбу народов. Свое доверие и уважение русскому народу они выразили во время выборов в Верховный Совет СССР. Горцы Дагестана, для которых раньше самое слово «русский» было символом угнетения и насилия, послали своим депутатом в Совет Национальностей русского военного летчика — Героя Советского Союза Георгия Байдукова.

★

За Уральским хребтом начинается азиатская часть Российской Федерации. Пограничный столб с надписью «Европа — Азия» в дореволюционное время был не только географическим знаком, отмечающим условную границу между двумя материками. За этим столбом начиналась «азиатчина» — царство патриархальщины, полудикости и самой настоящей дикости. К югу от Омска, к северу от Томска легли необъятные пространства, на которых уместились бы десятки громадных культурных государств» (Ленин). Но это была глухая таежная Сибирь, места ссылки и каторги. Сотни и тысячи километров бездорожья отделяли сибирскую деревню от железной дороги, от материальной связи с культурой, от крупной промышленности, от города.

То, что за годы советской власти сделано в азиатской части страны, можно назвать вторым завоеванием Сибири и Дальнего Востока.

Мы уже видели, как Западная Сибирь с ее несметными угольными богатствами включилась в индустриальный комплекс Урало-Кузбасса. Здесь тайга отступила на сотни километров, и на новых просторах возникли гигантские предприятия черной и цветной металлургии, химической промышленности. Южнее, в горах Алтая, разме-



стилась Ойротская автономная область, а восточнее, в пределах Красноярского края, — Хакасская автономная область. Промышленное освоение этих богатейших областей еще только начинается. Проложены и прокладываются железные дороги, автомобильные и гужевые дороги, воздвигаются фабрики и заводы, закладываются шахты и рудники.

Далее идет Восточная Сибирь — сказочно богатый край. Необъятные леса, колоссальные гидро-энергетические ресурсы, уголь, золото, цветные металлы. В крае идут большие геолого-разведочные работы, открывающие все новые и новые богатства. Перемены, происшедшие здесь, особенно резко отразились на характере золотой промышленности. Исчезла былая недоступность золотоносных районов. К ним не приходится теперь пробираться по таежным тропинкам. К прииску Незаметному на советском Алдане (Якутская АССР), отстоящему от железной дороги на сотни километров, можно добраться за сутки на легковой машине. К Ленским золотым приискам, где 26 лет назад разыгралась известная трагедия, ведет автомагистраль, соединяющая Бодайбо с Великой Сибирской магистралью. Сюда можно долететь и на самолетах. На золотых приисках работают не старые хищники, искатели счастья, — здесь работают горняки, шахтеры. Добывают не только рассыпное, но и рудное золото, а для этого нужна техника. Золотые прииски насыщены сейчас высокой техникой — драгами, отбойными молотками. Техника родила на приисках стахановское движение. А там, где стахановцы, где есть квалифицированный труд, — там появляются очаги культуры. На самых отдаленных сибирских приисках выросли рабочие поселки с хорошими домами, клубами, театрами, своими газетами, магазинами, ресторанами.

На берегах озера Байкал расположена Бурят-Монгольская автономная республика. Бурят-монголы, вчерашние скотоводы-кочевники, претерпевшие при царской власти всю меру издевательств и унижений, не имевшие ни общей территории, ни общности культуры, ни общ-

ности экономики, добились за годы советской власти огромных успехов. Достаточно сказать, что промышленность Бурят-Монголии увеличилась в 1937 г. по сравнению с 1913 г., больше, чем в 12 раз. В столице Бурят-Монголии Улан-Удэ работает один из крупнейших паровозоремонтных заводов в Союзе. Здесь функционирует и вольфрамовый комбинат. Скотоводы-кочевники осели на земле и сменили свои войлочные юрты на хорошие дома. 99 процентов посевной площади принадлежит колхозам, на полях работают сотни тракторов и комбайнов.

До революции в Бурят-Монголии было не более 8 процентов грамотных среди населения, теперь грамотность среди мужчин доходит до 90 процентов и выше, в школах преподавание ведется на родном языке, выходят 32 газеты на бурят-монгольском и русском языках, имеются национальные театры, артисты, писатели, художники.

На приеме делегации трудящихся Бурят-Монгольской АССР в Кремле 27 января 1936 г. товарищ Молотов отметил, что Бурят-Монголия «по своей настойчивости в создании новой социалистической жизни, по работе колхозов и развитию культурных начинаний относится к передовым советским республикам».

Полгода назад весь Советский Союз отметил 15-летие освобождения Приморья от интервентов.

Когда в октябре 1922 г. Ленин узнал об очищении Владивостока от интервентов, он, выражая мысли и чувства всего советского народа, написал: «...Владивосток далеко, но, ведь, это город то наш, сибирский». Нашенским, советским социалистическим стал весь Дальне-Восточный край — еще недавно мало населенная пустыня, а теперь — форпост Советского Союза на Тихом океане. Девять-десять дней нужно затратить на переезд в курьерском поезде из сердца страны — Москвы до Владивостока. Но край этот близок каждому гражданину нашей республики. Он окружен вниманием и любовью всего советского народа. В глубочайшем интересе к жизни Дальнего Востока советский патриотизм на-

ходит одно из наиболее ярких своих выражений. С этим краем связаны воспоминания о героических днях борьбы с иностранной интервенцией и внутренней контрреволюцией, легендарные бои под Спасском и Волочаевкой. С ним связаны и более поздние воспоминания о решительном отпоре, данном Красной Армией зарвавшимся империалистическим хищникам по ту сторону Амура. Это был первый наглядный урок крепости и мощи советского оружия, который надолго отбил охоту у иностранных захватчиков совать свое свиное рыло в советский огород. Дела славных пограничников, охраняющих наши дальне-восточные рубежи, получили легендарную славу. Имена братьев Котельниковых, Семена Лагоды, Никиты Карацупы, имена бойцов, командиров, политработников Особой Краснознаменной Дальне-Восточной, краснофлотцев-подводников Тихого океана — самые популярные в стране.

Не меньшей популярностью пользуются и рассказы о чудесных превращениях, происшедших в хозяйственной жизни Дальне-Восточного края за годы советской власти.

И действительно, здесь есть о чем рассказать, чем восторгаться. Впервые пущены в хозяйственный оборот несметные природные богатства края — его недра, леса, могучая и разнообразная природа. Размах социалистического строительства принял здесь невиданные размеры. Воздвигаются не только огромные предприятия, заводы, фабрики, шахты, электростанции, здесь строятся новые города и поселения — Комсомольск-на-Амуре, Биробиджан, Магадан, Советская Гавань и др. Реконструируются старые города — Хабаровск, Николаевск-на-Амуре. Тысячи переселенцев раздвигают тайгу, поднимают целину, строят дома, работают на новых промыслах, шахтах, рыболовных базах.

На самой границе с Манчжурией, в бассейне рек Биджан и Бира легла Еврейская автономная область. Бывшие ремесленники, мелкие торговцы, «люди воздуха» впервые занялись сельским хозяйством и не плохо осваивают это

новое для них занятие. В области растет и индустрия — швейная, мебельная, пищевая.

В пределах Дальне-Восточного края вырос новый богатейший золотonosный район — Колыма. От нового порта — Нагаево, на берегу Охотского моря, через г. Магадан в колымскую тайгу проложена на сотни километров автогужевая дорога, по которой мчатся вереницы автомобилей.

Дальне-Восточный край растет и развивается быстрее, чем любой другой район РСФСР. Иначе и быть не может — край стоит на рубеже двух миров. За Амуром притаились японские хищники. Богатейший край не дает спойно спать империалистам-захватчикам. Но граница — на замке. Ни один вражеский ворон не пролетит через нее незамеченным. Советский Дальний Восток — неприступная твердыня Советского Союза.

★

РСФСР занимает весь север Азиатского материка и значительную часть Европейского — до границы с Финляндией. Эти огромные пространства тундры и тайги составляют почти половину всей площади Советского Союза. Здесь живут десятки так называемых малых народностей Севера, о которых в дореволюционное время даже люди, считавшие себя образованными, мало что знали.

Было написано немало этнографических исследований о жизни и быте этих «дикарей», занимающихся зверобойным промыслом, охотой, рыболовством, живущих в чумах и ярангах, едущих на собаках и на оленях. В далекую тундру, за сотни километров от железных дорог и культурных центров, к ним заезжали только купцы-промышленники, которые за бесценнок, за гроши, за царскую водку скупали у них ценную пушнину. Царизм умел выкачивать из огромных северных областей колоссальные доходы, не давая «инородческим племенам» взамен ничего. А между тем эти маленькие народы Севера (чукчи, эвенки, ороченцы, гилайки, ненцы и др.) — это спо-

собные народы с большими природными дарованиями.

Советская власть сумела вдохнуть в эти необозримые просторы, покрытые дремучими лесами, где на тысячи километров тянется полоса вечной мерзлоты, новую жизнь. Ожили моря и берега. Начиная от побережья Чукотского полуострова на северо-востоке и кончая Кольским полуостровом на северо-западе, сооружены порты, гавани, радиостанции, радиомаяки. Проложен Великий Северный морской путь от Мурманска до Владивостока. Круглый год самолеты летают от материка к островам Северного Ледовитого океана, Карского моря, моря Лаптевых, Восточно-Сибирского моря.

Великий Северный морской путь начинается от Мурманска. Мурманск из маленького поселка вырос в большой портовый город.

Всем известны названия: Нарьян-Мар, Маточкин Шар, Новый Порт, остров Диксон, Дудинка, Игарка, мыс Челюскин, бухта Тикси, бухта Амбарчик — все это порты и станции Великого Северного морского пути.

Особенно выделяется гор. Игарка, выросший со сказочной быстротой за полярным кругом на реке Енисее. Город имеет уже сейчас до 20 тысяч населения. Здесь сооружен большой механизированный лесной порт, лесопильные заводы, электростанции, театр, больницы, школы. Здесь, несмотря на вечную мерзлоту, устроены сельскохозяйственные плантации, дающие в течение круглого года свежую зелень и овощи.

Остров Диксон служит центром всей сети полярных радиостанций. Радиостанция Диксона круглый год поддерживает радиосвязь со всеми большими городами на протяжении между Москвой и Владивостоком. Группы зимовщиков, раскинутых по всей советской Арктике, до самой крайней ее точки — острова Рудольфа, — не чувствуют оторванности от страны, они живут одной жизнью, одними переживаниями со своей великой родиной.

Большое промышленное значение имеет район Дудинка—Норильск. В Но-

рильских горах разрабатываются богатые залежи угля, железа, меди, никеля.

Энергия и темпы, с которыми советская власть осваивает огромные северные пространства, вызывают восхищение во всем мире. Большевики сумели включить огромную ледяную пустыню Севера в орбиту социалистического строительства. Малые народности Севера, эти недавние «дикари», теперь строят социалистическое общество наравне со всеми культурными народами Советской страны. Чукчи, ненцы, остяки, вогулы образовали свои национальные округа. Они строят города и поселки. Оленеводы объединились в колхозы. В глухой тундре построены культурные базы, ветеринарные пункты, больницы, амбулатории. Прекратилось вымирание северных народностей, наблюдается большой естественный прирост населения.

Особенно большие успехи сделала Якутская Автономная Советская Социалистическая Республика. Помимо крупной золотой промышленности, Якутия имеет большие лесопильные и кожевенные предприятия. За годы советской власти валовая продукция промышленности Якутии увеличилась почти в 15 раз, число рабочих, занятых на предприятиях Якутии, увеличилось больше чем в 4 раза. Свыше 86 процентов посевной площади в Якутии принадлежит колхозам. Якутская земля дает зерновые культуры, технические, овощебахчевые, кормовые. В якутских школах (начальных и средних) в 1937 г. обучалось почти 46 тысяч учащихся. Якутия имеет сейчас два высших учебных заведения, техникумы, рабфаки. В Якутии 4 театра, выходит 16 газет.

Советские летчики расширили пределы советского Севера до самого Северного полюса. Исторический перелет Чкалова, Байдукова и Белякова по Сталинскому маршруту: Москва — Земля Франца-Иосифа — Северная земля — Петропавловск-на-Камчатке — остров Чкалова, знаменитый перелет тех же летчиков через Северный полюс в Америку, повторенный затем Героями Советского Союза Гро-

мовым, Юмашевым и Данилиным, потрясли весь мир. Русский летчик, Герой Советского Союза Михаил Водопьянов был первым человеком, посадившим самолет на вершине мира — Северном полюсе. Девять месяцев на полюсе реяло красное знамя страны Советов. Герои завоевания полюса, знаменитая четверка — Папанин, Ширшов, Кренкель, Федоров, стали мировыми героями.

Советская власть, покорив Арктику, раскрыв ее тайны, освоив огромные ледяные просторы Севера, не только увеличивает могущество своей страны, но и совершает огромное общечеловеческое культурное дело.

★

Наш обзор новой экономической географии РСФСР далеко не исчерпан. Еще многое можно было бы сказать о грандиозном строительстве, развернувшемся на Кольском полуострове, где созданы новые индустриальные города — Кировск и Мончегорск. Первый стал центром апатитовой промышленности (апатит — «камень плодородия»), второй — медно-никелевой. Оба вида промышленности были совершенно неизвестны царской России.

От Онежского озера до Белого моря лег Беломорско-Балтийский канал имени Сталина, одно из величайших сооружений нашей эпохи. Здесь преодолен водораздел высотой в 108 метров. Создан искусственный водный путь длиной в 227 километров, имеющий огромное хозяйственное и оборонное значение для всей страны.

Можно еще многое рассказать о резких переменах, происшедших к востоку и к северу от Онежского озера — в лесах архангельских, вологодских, вятских, в районе Северной Двины, Печоры и других северных рек.

Теперь — это районы механизированных лесоразработок. И хотя лесная промышленность все еще отстает от других отраслей народного хозяйства, но усовершенствованные лесовозные дороги, тракторы, автомобили, — новая высокая техника проложила себе путь в эту глушь. Партия и правительство уделяют

исключительное внимание и заботу работникам леса и отпускают огромные средства на создание в дремучих лесах культурных условий жизни для лесорубов. Этот край, когда-то давший России Ломоносова, теперь дает стране немало знатных людей. Имена Александра Бусыгина и Василия Мусинского хорошо известны во всем Союзе. Оба, уроженцы Севера, еще недавно темные, неграмотные, стали знатными стахановцами, потом студентами промакадемий и, наконец, депутатами Верховного Совета СССР.

В этих краях расположены автономные социалистические республики — Карелия и Коми.

Немало интересного и нового создано и на юге РСФСР — в солнечной Крымской республике, превращенной во всесоюзную здравницу, на Черноморском побережье с его чудесными курортами — Сочи, Магеста, в Ростовской области, хлебном Краснодарском крае и других цветущих землях РСФСР, примыкающих к Дону, Кубани и Тереку.

Генеральская контрреволюция в годы гражданской войны избрала земли донские, кубанские, терские своей цитаделью. Корнилов, Каледин, Краснов, Деникин, Врангель, Шкуро, Мамонтов и другие собрали вокруг себя все темные силы старого царского казачества. Поддерживая все его кастовые и сословные традиции, его старую сомнительную репутацию прислужников монархии, усмирителей народных восстаний, они хотели при помощи офицерско-кулацкой верхушки казачества задушить социалистическую революцию.

Печально закончились походы казачьих атаманов-разбойников. Среднее и бедное казачество, примкнувши к большевикам, нанесло казачьей контрреволюции сокрушительные удары и развеяло в прах ее надежды и чаяния.

Обильно напоены казачьей и рабочей кровью степи донские, кубанские, терские, но эта кровь не пропала даром. В огне революции выковалось новое советское колхозное казачество. Сброшены с плеч воспоминания о тяжелом, кошмарном прошлом. Их заменили воспоминания о героической борьбе советско-

го казачества в рядах легендарной Первой Конной, о подавлении кулацкого саботажа и победе колхозного строя, об исторической встрече в Кремле с товарищем Сталиным, представителями партии и правительства.

Советское казачество стало активной силой социализма, могучим резервом Рабоче-Крестьянской Красной Армии. Преобразились казачьи земли, живущие теперь по сталинскому уставу сельскохозяйственной артели. По-новому расцвели станицы кубанские, донские, терские — они дышат изобилием, зажиточностью, молодостью и силой. Могучим эхом разносятся по степям молодые казачьи песни о Сталине, о родине, о Климе Ворошилове, о большевиках, возродивших лучшие традиции казачества, сделавших имя советского казака почетным и грозным для врагов советской власти.

★

Громадные достижения Российской советской федерации во всех областях социалистического строительства характеризуются цифрами, значение которых трудно переоценить.

В 20 раз выросла в РСФСР выработка электроэнергии. В 1913 г. на территории РСФСР было выработано 1,2 миллиарда киловатт-часов электроэнергии, в 1937 г. — 24,2 миллиарда киловатт-часов. Первенец ленинской электрификации — Волховстрой — теперь кажется небольшой заурыдной станцией по сравнению с новыми гигантами, которые выросли за эти годы.

В РСФСР добывается в 8,6 раза больше каменного угля, чем в 1913 г., чугуна производится почти 40 процентов всего производства чугуна в СССР. Металлургические заводы РСФСР дают сейчас свыше 53 процентов всего производства стали по Союзу. По выработке электроэнергии, по добыче каменного угля, выплавке стали РСФСР идет впереди таких капиталистических стран, как Франция, Италия, Япония, Польша.

РСФСР — страна крупного машиностроения. Нет теперь таких машин, которых нельзя было бы выпустить на

заводах РСФСР, из советских материалов. Машиностроение, сосредоточенное до революции в Ленинграде и Москве, раскинуто сейчас по всей стране. Вообще вся крупная промышленность размещена по другому принципу: «... с точки зрения близости сырья и возможности наименьшей потери труда при переходе от обработки сырья ко всем последовательным стадиям обработки полуфабрикатов вплоть до получения готового продукта»<sup>1</sup>.

Совершенно заново создана в РСФСР авто-тракторная промышленность. В 1937 г. автозаводы РСФСР выпустили почти 200 тысяч автомобилей. Марки тракторов «СТЗ» и «ЧТЗ» завоевали всесоюзную и мировую известность. Это были «сталинские снаряды», которые взорвали старый мир и покончили навсегда с «идиотизмом деревенской жизни».

Вся валовая продукция крупной промышленности РСФСР выросла (в ценах 1926—27 гг.) с 7,9 миллиарда рублей в 1913 г. до 66,4 миллиарда рублей в 1937 г. т.-е. в 8,4 раза. РСФСР дает теперь почти три четверти валовой продукции крупной промышленности всего Советского Союза. Необходимо при этом отметить, что темпы роста крупной промышленности по отдельным национальным республикам значительно выше среднего по всей РСФСР. В этом сказывается мудрость ленинско-сталинской национальной политики партии, стремящейся к созданию фактического равенства между народами, экономического и культурного подъема угнетенных прежде народов до уровня передовых.

РСФСР — страна крупнейшего в мире коллективизированного и механизированного земледелия. По производству тракторов РСФСР занимает первое место в Европе, а по производству комбайнов — первое место в мире. Но кроме тракторов и комбайнов заводы РСФСР выпускают сотни тысяч сложных и усовершенствованных сельскохозяйственных машин. Бросив эти огромные технические средства на поля вели-

<sup>1</sup> В. И. Ленин. Соч., т. XXII, стр. 434.

кой российской равнины и всех союзных республик, рабочий класс РСФСР помог многомиллионному крестьянству перестроить сельское хозяйство на социалистический лад.

К началу 1938 г. в РСФСР коллективизировано 92,6 процента крестьянских дворов, 99,4 процента посевой площади принадлежит колхозам. Исчезли межи и чересполосица. На миллионы километров тянутся массивы ржаные, пшеничные, льняные, овсяные, кукурузные. Они обслуживаются машинно-тракторными станциями, число которых доходит сейчас почти до четырех тысяч. Свыше 236 тысяч тракторов обрабатывали колхозные поля в 1937 г., свыше 74 тысяч комбайнов убирали урожай зерновых колосовых в колхозах.

Богатая техника, применение минеральных удобрений, новые методы земледельческого труда значительно подняли урожайность полей. В 1937 г. на полях РСФСР собрано 5.068,4 тысячи пудов зерна — в полтора с лишним раза больше, чем в 1913 г.; больше чем в три раза увеличилось производство сахарной свеклы; картофеля — больше чем втрое, льна — почти в полтора раза больше, чем в 1913 г.

Произошло также значительное перемещение культур. Пшеница передвинулась в северо-западные районы нечерноземной полосы (Московская, Ленинградская, Рязанская, Калининская, Тульская и др. области). На востоке (Алтайский край, Саратовская область, Дальне-Восточный край, Башкирская АССР, Новосибирская область) созданы районы сахарной свеклы. В Орджоникидзевском и Краснодарском краях, в республиках Крымской и Дагестанской, Чечено-Ингушской и Калмыцкой, Сталинградской и Ростовской областях созданы новые хлопковые районы.

Исчезла и пресловутая проблема «оскудения центра», которая не сходила со страниц русской печати в дореволюционные годы. Плодороднейший чернозем Курской, Орловской, Воронежской, Тамбовской губерний вернул себе былую славу. Эта центральная часть

РСФСР ведет интенсивное сельское хозяйство. Колхозы центральной полосы живут культурной, зажиточной жизнью.

Не менее показательны и цифры, характеризующие культурный рост страны.

До революции в царской России на каждые 100 человек приходилось 75 неграмотных. РСФСР в настоящее время стала страной сплошной грамотности. За 20 лет Советская страна построила школ больше, чем русское самодержавие за 200 лет. Число учащихся в средних школах увеличилось с 1913 г. почти в одиннадцать раз, число высших учебных заведений выросло с 1914 г. почти в пять раз, число специальных учебных заведений — промышленных, транспортных, строительных — в семь с половиной раз, сельскохозяйственных — в одиннадцать раз, медицинских — больше чем в шесть раз. В РСФСР в высших учебных заведениях обучается в три с лишним раза больше людей, чем в Англии, Германии и Италии, вместе взятых.

Некрасов когда-то мечтал о том желанном времени, когда духовной пищей для народа будет не бульварная лубочная литература, когда мужик «Белинского и Гоголя с базара понесет». Это желанное время наступило. Книжки в РСФСР выпускаются в небывалых в мире тиражах. Произведения классиков марксизма в 1936 г. разошлись: Маркса и Энгельса — почти два миллиона экземпляров на двенадцати языках, Ленина — свыше десяти миллионов экземпляров на двадцати шести языках, Сталина — почти двадцать семь миллионов на шестидесяти шести языках.

Колоссальный спрос предъявляют все народности РСФСР на произведения русских классиков. Сочинения Некрасова за период 1917 — 1936 гг. разошлись в количестве 3.970 тысяч экземпляров — в 20 раз больше, чем за предшествующий 19-летний период; произведения Пушкина за те же годы разошлись тиражом в 19.120 тысяч экземпляров (в два с лишним раза больше предшествующего 19-летнего периода); Салтыкова - Щедрина соответственно

65 тысяч и 4.861 тысяча; Толстого — 8.841 тысяча и 13.959 тысяч; Чехова — 509 тысяч и 11.406 тысяч. За 20 лет советской власти сочинения Пушкина издавались на 58 языках национальностей РСФСР.

Наша страна переживает невиданный расцвет искусства, народного творчества. Каждая национальная республика создает свою культуру — национальную по форме, социалистическую по содержанию. Все эти культуры сливаются в единое русло, обогащают друг друга и способствуют укреплению того морально-политического единства советского народа, которое возможно только в стране победившего социализма.

★

В отчетном докладе на XVII съезде партии товарищ Сталин нарисовал яркую картину изменения внешнего облика наших крупных городов и промышленных центров, изменения облика старой деревни. Он показал, как уничтожение эксплуатации, уничтожение безработицы в городе, уничтожение нищеты в деревне подняло материальное положение трудящихся в нашей стране до таких высот, о которых в самых «демократических» буржуазных странах не смеют и мечтать. С тех пор как товарищем Сталиным было дано это изображение нашей новой действительности, прошло свыше четырех лет. Прошла еще одна сталинская пятилетка, облик страны изменился еще резче, материальное благосостояние трудящихся поднялось еще выше.

Пример социалистического обновления подает столица Советского Союза — Москва — мозг и сердце страны, центр ее политической, хозяйственной и культурной жизни.

Нет такого уголка в нашей стране, где бы с любовью и восхищением не следили за каждой переменной, происходящей во внешнем облике столицы. Величественный план ее реконструкции вызывает восхищение друзей СССР за рубежом. В своей книге «Москва 1937» Лион Фейхтвангер с увлечением описывает модель новой Москвы. «Мо-

сква будет прекрасной» — заявляет Фейхтвангер. Исчезает старая дворянско-купеческая Москва, растет Москва новая, социалистическая, с широкими проспектами, магистралями, площадями, парками, стадионами, новыми театрами, дворцами культуры, гранитными набережными. Одиннадцать новых мостов получила Москва за последние полтора года. Волжские воды, пройдя через замечательный канал Москва—Волга, подошли к кремлевским стенам. Все выше поднимается над землей будущий Дворец Советов — монументальный памятник создателю советской власти — великому Ленину. На кремлевских башнях уверенно горят немеркнущие рубиновые звезды. Их свет виден со всех концов СССР.

РСФСР вступила в третью сталинскую пятилетку с широчайшими перспективами дальнейшего роста, дальнейшего расцвета. Когда знакомишься с планами третьей пятилетки, кажется, что все, сделанное до сих пор, — это только начало.

Чего стоит, например, один только проект «Большой Волги», осуществление которого так блестяще начато сооружением Ивановской плотины и созданием «Московского моря»! Будущая Волга изменит до неузнаваемости географию огромного Волжского бассейна. Возникнут громадные внутренние водоемы. Линии высоковольтных электропередач пойдут от ее мощнейших гидростанций на Урал и к центру страны. Волжские воды превратят засушливые степи в плодороднейшие долины. Волга станет глубоководным путем, который соединит северные моря — Балтийское, Белое с южными — Черным и Азовским, сделает Москву портом пяти морей.

Каждая область РСФСР, каждая из ее автономных республик осуществляет свои планы строительства. Из года в год растет материально-техническая база страны, ее производительные силы, растут ее люди, кадры.

Враги народа, троцкистско-бухаринские наймиты фашистских разведок, мечтали о реставрации капитализма в нашей стране. Вместе с буржуазными

националистами, пробравшимися кое-где на руководящие посты, они пытались поколебать великую дружбу, установившуюся между бывшими угнетенными народами царской России и русским народом. Они пытались оторвать народные массы национальных республик от русских рабочих, русских крестьян, русской интеллигенции. Они всячески тормозили изучение русского языка в школах, засоряли свой язык чуждыми словами, лишь бы они были поменьше похожи на русские, они мечтали о расчленении великого содружества народов, тем самым помогая фашистскому зверю в осуществлении его гнусных замыслов нападения на СССР. Гнев народов СССР смел с лица земли троцкистско-бухаринскую банду изменников и предателей, а заодно с ними и буржуазных националистов.

Сильные своим морально-политическим единством, народы РСФСР рука об руку с народами братских союзных республик готовятся к знаменательному дню — выборам в Верховный Совет республики.

В незабываемый день выборов в Верховный Совет СССР народы РСФСР показали образец организованности и единства. По РСФСР в голосовании участвовало 58.623.335 человек, 96,8 процентов избирателей явились к ур-

нам, чтобы дружно проголосовать за кандидатов сталинского блока коммунистов и беспартийных. РСФСР послала в Верховный Совет Союза лучших своих людей, цвет рабочего класса — стахановцев города и деревни, Героев Советского Союза, лучших представителей советской интеллигенции — ученых, писателей, артистов, педагогов, и первым своим депутатом РСФСР выбрала мудрого вождя народов товарища Сталина.

В день 26 июня 1938 г. великий русский народ, объединяющий десятки национальностей, еще раз продемонстрирует силу своей организованности, своей сплоченности. Великий русский народ создал замечательное государство. Он показал образец мира и дружбы среди народов. Этому делу он отдал и отдает свои таланты, свое трудолюбие, свою самоотверженность, свой героизм. Чувство национальной гордости охватывает и русского, и осетина, и якута, и калмыка, и марийца, когда он оглядывается на пройденный путь. С этим чувством они пойдут к избирательным урнам, чтобы послать в Верховный Совет РСФСР и в Верховные Советы автономных республик и областей лучших своих сынов, патриотов своей великой родины, беззаветно преданных партии Ленина—Сталина, делу коммунизма.



# Как сбылась мечта

М. В. ВОДОПЬЯНОВ

Герой Советского Союза

(Окончание <sup>1</sup>)

★

★

Долго гостили мы в Архангельске... Только на 11-й день раскрылись «ворота в Арктику». Что-то ждет нас в Нарьян-Маре?

... Летим с юга на север. Интересно наблюдать, как постепенно меняется картина под крылом самолета.

Сначала идем над сплошным лесом. Влево от Архангельска видна дымовая завеса: это работают многочисленные лесопильные заводы. Скоро вскрыется красавица Двина.

После Мезени лес встречается все реже и реже. Среди белой массы разбросаны редкие зеленые островки. Но вот и они исчезли. Началась тундра. Огромное пространство затянуто снежной пеленой. Ни конца, ни края. При плохой видимости лететь над тундрой почти невозможно. Все сливается в один общий белый фон. Летчику не к чему прицепиться глазом. Радуетесь каждому черному пятну, по нему определяешь положение своего самолета.

От Чешской губы Спирин меняет курс прямо на Нарьян-Мар. Мне эти места знакомы. Ровно год тому назад я пролетал здесь.

Через 3 часа 15 минут мы благополучно сели на хороший большой аэродром, приготовленный прямо на реке. Мороз 8 градусов. Самолеты мягко, легко

покатились по ровному твердому снегу.

Гостеприимные нарьян-марцы приняли нас очень радушно.

Меня, моего механика Бассейна и радиста Иванова встречают, как старых знакомых. Подбегают ненецкие дети, школьники. «Здравствуйте, товарищ Водопьянов! — кричат они. — Вы передали товарищу Сталину наше спасибо?».

Они от меня не отходили до тех пор, пока я не пообещал им не только дать советы, как строить модели, но и рассказать, куда мы летим.

Механики быстро надели чехлы на моторы, привязали самолеты, и все мы в прекрасном настроении уехали в город отдыхать.

Спали мы прекрасно. Зато утром... Трудно описать наше возмущение, обращенное к погоде, к Нарьян-Мару и даже к синоптику Дзержиевскому. Если в Архангельске еще можно было мириться с догнавшей нас весной, то здесь, в столице Заполярья, оттепель в первых числах апреля была прямо-таки издевательством.

День принес отвратительные новости: на Новой Земле ураган, доходящий до 12 баллов, на острове Рудольфа — пурга, а в Нарьян-Маре нагло хозяйничает весна. Ясно, что сегодня мы ночуем в Нарьян-Маре.

На третий день снег стал совсем рыхлым. Самолеты огромной тяжестью, в 23 тонны, осадил лед. Под машинами по-

<sup>1</sup> См. «Новый мир», кн. 8 за 1937 г.

явились лужи. Пришлось перетаскивать их на другое место. Работа нелегкая!

— Где же Арктика? — ехидно допрашивал нас Спирин. — Какое же это Заполярье? Дождь идет, тепло...

— Подожди, — сердито пробурчал Папанин. — Хватишь и Арктики.

Ежедневно в 9 вечера командиры корабля собираются в комнате Отто Юльевича и изучают утреннюю, полуденную и вечернюю синоптические карты. Утешительного мало: «завтра вылететь нельзя».

Потянулись дни томительного ожидания. Их несколько скрашивало внимание хороших людей, окружавших нас теплой заботой. Ежедневно мы получали приглашения в клуб на спектакль или просмотр картины. Ненцы всячески старались нас развлечь, устраивали вечера самодеятельности, пели свои родные песни. И все же каждый лишний день вынужденного пребывания в городе казался нам вечностью.

Наконец Дзержиевский нас обрадовал: «Завтра будет хорошая погода, надо готовиться к вылету». Все просияли. Отто Юльевич немедленно дал распоряжение участникам экспедиции ложиться спать. «Не забывайте, что завтра в пять утра все должны быть на аэродроме» — повторил он, прощаясь.

В семь назначен старт. Головин, как разведчик, вылетает на час раньше.

К утру погода несколько улучшилась. Но, увы, мороза, желанного, долгожданного, не было. Меня очень беспокоил взлет. Решили добраться до острова Рудольфа без посадки, поэтому машины были загружены горючим.

Головин в воздухе. Через 20 минут сообщает: «Идем на высоте 600 метров. Над нами сплошная облачность. Видимость хорошая». Даю распоряжение запускать моторы. С большим трудом удалось, наконец, оторваться от весеннего покрова Печоры. Корабль «Н-170» в воздухе. Экипаж доволен. Все улыбаются.

Делаю круг, ожидая взлета других. Следом за мной на старт идет машина Молокова. Жду, когда она поднимется в воздух. Вижу, машина пробежала весь аэродром, но так и не оторвалась.

Молоков убрал газ и зарулил обратно на старт.

Вдруг по радио сообщают: «Головин вернулся из-за плохой погоды. Над морем очень густой туман. Самолету грозит обледенение».

Я прошу Шевелева дать по радио распоряжение Головину пробить облака вверх и узнать их высоту.

Однако Иванов не успел еще передать радиogramму, как Головин пошел на посадку.

Ко мне подошел Спирин.

— Дело дрянь, Михаил Васильевич. Садиться с такой нагрузкой рискованно.

Иван Тимофеевич предложил пройти в течение 15 минут по курсу... Его предложение я охотно выполнил.

Через 15 минут я повернул обратно. Откровенно говоря, мне очень не хотелось возвращаться. Иванов только что получил сводку о погоде. На Новой Земле ясно, на Земле Франца-Иосифа тоже, а то, что нам вначале пришлось бы итти над облаками, совсем не страшно.

Посоветовавшись с Иваном Тимофеевичем, я связываюсь по радио с землей и сообщаю Шмидту:

«Погода прекрасная. Советую без помощи разведчика итти на остров Рудольфа».

Получаю ответ:

«Самолет Молокова не может оторваться».

Начинаю снижаться. Мы летели один час. Машину облегчили всего на 500 кг., — это, конечно, мало. Самолет перегружен. На земле с беспокойством следят за нашей посадкой.

Против ожидания все обошлось благополучно: самолет мягко покатился по ровному рыхлому снегу, из-под лыж во все стороны полетели брызги. Нас окружили радостные, взволнованные товарищи. Жали нам руки так, как будто мы отсутствовали не час, а по крайней мере полгода.

На другой день Головин опять пошел под облаками, но при выходе в море попал в туман. Пришлось вернуться обратно. Но на этот раз он не сел, тут же, около аэродрома, пробился вверх.

Через несколько минут сообщил: «Иду над облаками, высотой в 1500 метров. Видимость прекрасная».

Ровно через два часа я начинаю подниматься. Самолет лыжами зарывается в снег, оставляя за собой две параллельные полосы воды. Мне не удается вырвать самолет и поднять его в воздух. Я несколько раз зарываю обратом на старт, стараюсь оторвать самолет по своему же следу, но безрезультатно.

Молоков, Алексеев и Мазурук даже не пытаются подниматься. Решено немедленно облегчить машины, слив по две тонны горючего, и лететь не на Рудольф, а на Маточкин Шар. Головину было дано распоряжение изменить курс, итти тоже на Маточкин Шар и там ждать нас.

В воздухе каждый занят своим делом. Летчики ведут свои корабли по заданному курсу, механики следят за работой моторов и регулярно через 10—15 минут осматривают крылья. Корреспонденты записывают свои впечатления, следят за каждым нашим движением, стараясь поймать какое-нибудь особенное, «характерное» выражение лица. Одни только папанинцы сидят без дела. Они не отрывают глаз от окон... Вот-вот покажется Новая Земля. Папанин летит на борту Алексеева. Ему не сидится на месте: подойдет к механикам, узнать, как работают моторы. При этом обязательно справится: «Что, браточки, хватит ли у нас горючего?».

Часто заглядывает он и в штурманскую. И вот, наконец, на его очередной вопрос: «Где мы находимся?»—штурман Жуков спокойно отвечает: «Скоро должна показаться Новая Земля».

Новая Земля открыта. Впереди показалось Карское море. Далеко-далеко в прозрачном воздухе туманно вырисовываются знакомые контуры Маточкина Шара. Мы приближаемся все ближе и ближе к цели. Остается еще два перехода — Рудольф и полюс.

Зимовщики встретили нас очень радостно. Они знали, что мы везем из Москвы письма, газеты, рассказы об общих друзьях и знакомых.

★

Арктика таит массу неожиданностей. Плохая погода здесь бывает гораздо чаще, чем хорошая. Но у Маточкина Шара — еще свои особые прелести. Он отличается «стоками» (местными ветрами). Кругом ветер 3—4 балла, а в проливе свирепствует шторм. Поэтому нам и хотелось лететь прямо на Землю Франца-Иосифа. И мы не ошиблись в самых худших наших предположениях: на другой же день после нашего прилета поднялась невероятная пурга. Обычно говорят с преувеличением: в двух шагах ничего не видно. Во время этой пурги буквально ничего не видно. Открываешь дверь — и попадаешь в белую тьму. Бело и темно.

Мы установили дежурство на каждом самолете. От зимовки к машинам протянули веревки, и если бы не эти веревки, наверняка кто-нибудь из нас заблудился бы. Каждый из нас знал, что, если он оторвется от каната, хотя бы на одно мгновение, его стремительно унесет прочь, и он погибнет. Никто его не увидит, не услышит и не сможет ему помочь. Однажды здесь совсем рядом с зимовкой замерз человек. Доктор, зимующий уже второй год на Маточкином Шаре, рассказывал нам, как однажды повалило штормом укрепленную радиомачту.

Пурга бушевала трое суток. Самолеты занесло снегом. Около них образовались огромные сугробы. Два дня понадобилось для того, чтобы очистить самолеты и откопать лыжи. С аврала мы возвращались с багрово-красными физиономиями, усталые, но бодрые.

Зимовщики дружно помогали нам крепить на аэродроме наши машины, поддерживать порядок материальной части. Начальник сборочного цеха на Маточкином Шаре, Матвеев, ловил проблески хорошей погоды. Как только кончилась пурга, он отремонтировал сломанный штормом руль машины Алексеева. Корабли готовы — можно лететь.

В это время на Земле Франца-Иосифа разыгрался шторм.

Когда же на Рудольфе наступила тишина, на Маточкином Шаре снова выпал снег и начался новый шторм. Но, к счастью, он был менее продолжительным.

17 апреля наш разведывательный самолет Головина вылетел на Землю Франца-Иосифа и, благополучно перелетев Новую Землю, пошел над Карским морем. С борта его самолета радисты приняли тревожное сообщение. Слой облаков оказался настолько высоким, что и его сравнительно мало загруженная машина не может пробить облачность.

Головин получил распоряжение — итти на мыс Желания.

В этот же день мы тоже предполагали вылететь, но неудача разведчика заставила нас отложить старт. Убийственно медленно потянулось время. Машины, люди готовы. Все проверено, а приходится ждать. Укладываясь спать, мы утешали друг друга: «Утром обязательно вылетим». Но и полдень застал нас еще на Маточкином Шаре. Купол острова Рудольфа был закрыт туманом. Лететь нельзя...

Близится вечер. Неожиданно с Рудольфа сообщают: прояснилось, штиль. 8 часов 10 минут. Одна за другой, в косых лучах заходящего солнца, машины поднимаются в воздух.

Курс наш сначала лежит по восточному берегу Новой Земли до полуострова Крашенинникова. Над вершинами гор плывут кучевые облака. Они имеют вид скал самой причудливой формы. Вот и мыс Водяной. Поворачиваем строго на север. Иван Тимофеевич пользуется магнитным компасом.

Под нами извилистый берег Карского моря. Машины слегка покачивает. Мы постепенно набираем высоту.

Неожиданно перед нами вырастает облачная стена. Набираю 200 метров. Но облако еще выше. 2 300 метров. Ясно вижу верхний край облаков. Еще немного; 100—200 метров,—и мы будем над ними. Даю полный газ, моторы задымили, заревели. Из глушителей вылетают светлосиние языки пламени, солнце скрывается за облаками, скоро наступит темнота.

— Ну, умница-машина, вывози. Перетянешь ли этот барьер? Вот он, близко-близко.

В конце-концов нам все же удалось подняться выше облаков.

Через несколько минут я получил от Спирина курс на север. Дзержиевский порадовал ясной погодой на Рудольфе. Радист Иванов сообщил, что он слышит сигналы маяка Рудольфа. Веду самолет прямо на Рудольф.

Лететь в такое время одно удовольствие. Самолет идет спокойно, его совершенно не качает. Если бы не шум моторов, несущих нас к северу со скоростью 200 километров в час, трудно представить, что мы в воздухе, — плывем, как в лодке в тихую-тихую погоду.

Иван Тимофеевич открывает верхний люк своей рубки. Из люка показываются его руки, они тянутся к солнечному компасу. Штурман осмотрел компас, несколько раз повернул его и поставил на курс. В центре маленького объектива показался солнечный зайчик. Стоит только немного свернуть с курса, как этот зайчик исчезает. Но мы держим его в центре. Он ведет наш самолет строго по меридиану, на остров Рудольфа.

У нас много надежных приборов, контролирующих правильность нашего полета. Тут и магнитный компас, радиокompас, радиомаяк и солнечный компас. Самый слабый прибор в районе, близком к полюсу, — магнитный компас. Там у него стрелка менее устойчива. Она то-и-дело отклоняется в ту или иную сторону, даже, когда самолет идет прямо.

На горизонте — чернота. Это, вероятно, море. Значит, скоро-скоро кончатся облака. Но вот на темном фоне резко выделяется белое пятно. Бабушкин берет бинокль и внимательно смотрит вперед. Лицо его расплывается в приятной улыбке: «Я вижу остров». Из штурманской выходит Спирин, за ним Шевелев. Значит, Земля Франца-Иосифа открыта.

Мы вышли на остров, покрытый вечными льдами и снегом. Это Земля Вильчека. Справа вдали виднеется остров Грембель.

Мимо... мимо... Острова один за другим. Их очень много, кажется, около восьмидесяти. Еще час в полете, и мы идем над уже знакомым мне островом Рудольфа. Архипелаг открыт. Видимость великолепная. Машины мягко садятся на аэродром.

Вылезает из самолетов и оглядываемся вокруг. Хорошо! Нас встречают на двух вездеходах. В стороне стоят два трактора «сталинца», водо-маслогрейки. Аэродром прекрасно оборудован. Вдали видны жилые дома. По-хозяйски устроились здесь, на  $82^\circ$  северной широты!

Крепко жмем руки зимовщиков. Начальник зимовки, комсомолец Либин, шутит: «А мы боялись, что вы, не заглядывая к нам, махнете прямо на Северный полюс».

★

Укрепив самолеты, мы отправились на тракторе и вездеходе на зимовку. Часть нашего экипажа, любители лыжного спорта, отказавшись от механизированного способа передвижения, понесли на лыжах с 300-метрового пологого склона. Они быстро докатились до украшенной флагами зимовки.

При входе в дом участников экспедиции встретила с хлебом и солью белая медведица, подпоясанная красным кушаком. На правой ее лапе висел огромный ключ с надписью: «Ключ от полюса».

Медведицу убили за несколько дней до нашего прилета. Заморозили и замороженную тушу поставили в дверях. С ней были два медвежонка, которых очень быстро удалось приручить. Иногда они даже заглядывали в кухню.

Я уже подумывал перевыполнить обещание, данное перед полетом сынишке: привезти ему вместо одного двух медвежат. Но это было бы слишком сложно. Медвежата — неподходящие пассажиры для самолета, да еще в условиях Арктики. Пришлось их с первым же пароходом отправить в Москву в зоопарк.

... После раннего ужина гостеприимные зимовщики уложили нас спать.

Спали мы крепко и долго. Утром настроение у всех великолепное. Мы пролетели около 4 тысяч километров и достигли самой северной точки земли, находящейся на  $81^\circ 57'$  сев. широты и  $58^\circ$  вост. долготы. До полюса остается 900 километров.

Все, не исключая командиров, поехали на аэродром заправлять самолеты. Механики занялись моторами, а остальные, соревнуясь между собой, наливали бензин. Работа тяжелая. На каждый самолет для полета на полюс и обратно с 3-часовым запасом требуется семь тысяч двести килограммов бензина.

Прежде, чем приступить к заправке, нам пришлось откопать бочки с бензином и с помощью тракторов подвезти их по рыхлому, глубокому снегу к самолетам.

Только мы собрались приступить к работе, подул сильный ветер, поднялась пурга. Не успеешь откопать бочку — ее снова заносит снегом.

Одеты мы в дохи, вернее, в барашковые шубы на льсяем меху. Надо сознаться, что эти дорогие шубы оказались малопригодными. В мех набивается так много снега, что они становятся невыносимо тяжелыми. Невольно позабудишь чукчам, которые сверх оленьих малиц надевают так называемые камлейки из легкого полотна, предохраняющие от снега.

Несмотря на все усиливающийся ветер, мы работу не прекратили. Шубы сняли и остались в кожаных рубашках. Под ними на каждом из нас надета очень теплая шерстяная фуфайка.

Через три дня мы окончательно были готовы к вылету, но не тут-то было, — погода нас не пускала.

Оторваться... полететь!.. Скоро ли мыждемся этой чудесной минуты... А пока нам ничего не остается, как детально изучать остров Рудольфа.

Мы много раз любовались четырьмя куполами, покрытыми огромной шапкой вечного льда.

Примерно в километре на юг от нашей зимовки, в бухте Теплиц, стоит дом, построенный еще в 1932 году. Теперь его называют старой зимовкой. Немного выше стоит еще один дом

с пристройкой, мастерскими, кладовой и т. д. Недалеко от него — скелет сарая с прибитыми к стропилам кусками брезента. Дом и сарай принадлежали экспедиции Циглера, побывавшей здесь в 1904 году.

Еще в прошлом году, когда я впервые сажился на ледяной купол острова Рудольфа, мне бросилось в глаза, что внутри развалин сарая вырос настоящий ледник.

На-днях штурман Аккуратов, с помощью товарищей, выколот этот ледник и нашел в сарае интереснейшие вещи. Первое, что ему попало в руки, — это список участников экспедиции: 31 человек. Экспедиция была прекрасна снаряжена. У них была механическая мастерская, токарный станок, геофизическая лаборатория, целый склад боеприпасов, взрывчатых веществ, большая библиотека (одних библий 18 штук), пишущая машинка.

Мы нашли также конские седла, собачью сбрую, цилиндры, фраки, лакированные ботинки, всевозможные машинки, галстуки, гребенки и массу всевозможных продуктов, вин, спирта. Масло и варенье хорошо сохранились в запаянных банках. Были здесь и золоченые лыжи, на которых «завоеватели» собирались вступить на полюс.

Казалось бы, такая богатая экспедиция должна была достигнуть полюса, но она закончилась полным провалом. Почему? У них не было самого главного: настоящих людей, хорошего, тесно сплоченного коллектива. Они спорили между собой до тех пор, пока в бухте Теплиц не раздавило льдами оставленный ими без призора пароход «Америка».

... По вечерам мы разрабатывали планы высадки нашей экспедиции в районе полюса.

Дзержиевский ежедневно собирал погоду почти со всех концов Северного полушария Советского Союза, Европы и Америки и составлял синоптическую карту. Но это его не удовлетворяло. Как только позволяла погода, он поднимался на маленьком самолете в воздух, на высоту более трех тысяч

метров и проверял характер облаков.

Как правило, на вопрос: «Какова погода по маршруту» — мы получали стереотипный ответ: «Плохая».

Рисковать опасно. Наши самолеты сильно перегружены имуществом Папанина: на каждом самолете размещено 25 тонн 250 килограммов. С такой нагрузкой лететь опасно. Остается очень мало запаса прочности, при воздушной болтанке крылья могут не выдерживать.

Начали искать, без чего можно обойтись. Пришлось снять некоторые запасные части и инструменты. Выбросили все кресла, заменив их ящиками с имуществом. Члены экспедиции пожертвовали своими личными вещами, без которых они могли обойтись. Мы летим ненадолго, а папанинцам год зимовать на полюсе. Пусть поживут с комфортом.

С большим трудом удалось сократить груз на каждом самолете еще на 150 килограммов. Тогда Шмидт дает распоряжение своему заместителю Шевелеву вместе с папанинцами проверить весь груз.

Ох, и долго же они спорили между собой! Дрались за каждый килограмм. Бедный Иван Дмитриевич даже похудел от огорчения, но в конце-концов сдался: снял 750 килограммов.

Успокоился же он еще не скоро. Много раз являлся с требованием заменить ему один груз другим, на его взгляд, более важным. Ему охотно шли навстречу. Он хозяин — ему виднее!

★

Спирин и Сима Иванов взялись всерьез за выяснение очень важного для предстоящего полета момента — нет ли каких-либо отклонений при работе радиомаяка с земли. С этой целью однажды они погрузили на собачью упряжку аварийную радиостанцию с ручным приводом и отехали за три километра точно на север. Потом связались с базой и попросили пустить маяк. Звуки были слышны ровно, хорошо:

значит, они находятся в зоне. Но такая проверка их, конечно, не удовлетворяла. Слишком близко. Хорошо бы отехать или отлететь километров на 50—100. Но, к сожалению, этого нельзя сделать. Дальше на север — огромные нагромождения льда с большими разводьями. На собаках не проедешь, а для посадки самолета трудно подыскать подходящую льдину, которая вдобавок находилась бы точно на севере.

Тогда Спирин решил лететь на юг, где можно без большого риска сесть на какой-нибудь остров.

★

Только 27 апреля улучшилась погода. Воспользовавшись прояснением, Спирин решил лететь. Самолет «У-2» — трехместный. Пригласил с собой еще астронома — Евгения Федорова.

Полет был рассчитан на три часа. На всякий случай они взяли с собой пять плиток шоколада и полкило сухарей. Хотели прихватить палатку, но оказалось, что ее некуда погрузить.

— Да и не нужна она нам, что мы — отдыхать там собираемся?! — махнул рукой Спирин.

Мы спокойно проводили глазами улетающих товарищей. Народ опытный, бывалый, да и погода, в конце-концов, не так уж плоха.

Коротковолновый передатчик мог работать только на земле. Динамо нужно крутить руками. Спирин, Иванов и Федоров могли слушать работу маяка по длинноволновому приемнику, питающемуся от аккумулятора и сухой батареи.

... Скоро между островами они замечают подходящее место для посадки, снижаются метров на 20 и, сделав несколько кругов, убедившись, что поверхность ровная, спокойно идут на посадку.

Только при выравнивании самолета Спирин заметил небольшой ропок.

Самолет коснулся льдины, покатился по снегу. Вдруг взмылся, прыгнул вверх! Не успел летчик опомниться, как впереди вырастает еще один ропок. Не

теряясь, Спирин дал полный газ, удержал машину от резкого снижения. Выражаясь по-авиационному: «поддержал мотором».

В этот момент ропок мелькает под самолетом, чуть-чуть не задев лыжи. Несмотря на полный газ, машина не могла удержаться в воздухе и резко пошла вниз. Спирин убрал мотор. С небольшим «плюхом» самолет вторично касается снега... Конец пробега... Вдруг впереди опять вырастает ропок! Ясно, что этот ропок им уже не перепрыгнуть.

Иван Тимофеевич разворачивает самолет вправо. Левое крыло касается снега прикрепленной дужкой.

— Все в порядке! — восторженно кричит пилот. — Главное — сесть, а улететь мы всегда сумеем. Ты, Сима, налаживай шарманку, а мы с тобой, товарищ Федоров, сейчас возьмем высоту солнца.

Развернув самолет, он поставил его против ветра. Мотор остановили, но, чтобы он не очень остыл, накрыли его специально захваченной кухлянкой.

После этого весело и энергично принялись за работу. Через пять минут высота солнца взята. На карте появилась одна линия. Теперь надо ждать два часа, чтобы получить вторую линию и точку пересечения, которая и обозначит место их нахождения.

Находятся они в зоне, теперь нужно проверить, точно ли она направлена на юг.

— Ну как, Сима, готово радио?

— Одну минутку, Иван Тимофеевич, — присоединяя конец антенны к передатчику, ответил ему Иванов.

Иванов, попросив Федорова крутить динамо, начал вызывать базу.

— Рудольф почему-то не отвечает, — удивился Иванов.

Два часа промучились, а Рудольф так и не удалось вызвать.

Точка пересечения оказалась как-раз на юге. Можно спокойно возвращаться на зимовку.

Спирин собирает инструменты, снимает кухлянку, запускает мотор. Иванов с Федоровым по очереди крутят винт.

— Контакт?

— Есть контакт!

Несколько раз ставят на компрессию, но мотор не идет.

— Наверное, остыл, — кричит из самолета Спирин. — Давайте попробуем запустить амортизатор.

— Кто же его натянет?

— Придется тебе, Сима, одному, а Федоров будет держать винт.

Обычно моторы запускаются сжатым воздухом. Амортизатор был взят на случай отказа компрессора или порчи воздухопровода. На больших самолетах к этому способу прибегать не приходится, а так как «У-2» не имеет механизированного запуска и при низкой температуре, его мотор запускают амортизатором.

... Надели амортизатор. Спирин снова садится в кабину. Иванов натягивает чехол. Его ноги уходят по колена в снег.

Три часа они бились, тщетно пытаясь запустить мотор.

— Давай отдохнем, — предложил Спирин. — А потом что-нибудь придумаем.

Пока Спирин ломал голову, как запустить мотор, Федоров третий раз взял солнце. Новая точка легла рядом с первой. Иванов полез в кабину и начал ловить на длинноволновый приемник Рудольф.

★

Прошло четыре часа. Сидя в тепло натопленной комнате зимовки, мы начинаем беспокоиться за судьбу наших товарищей.

— Наши радисты слушают беспрепятственно, но — ни звука! А погода портится, остров Карла-Александра совсем уже не виден.

... Стрелки часов двигались неумолимо. Прошло шесть часов после вылета товарищей. Поднялась пурга. О поисках на самолете не может быть и речи.

Папанин мечется больше всех.

— Зачем увезли Федорова, он целый год готовился к зимовке на полюсе. Кем я его заменю?

— Он умер, что ли, что ты так забеспокоился? — рассердились мы.

— А вдруг он сломает руку или ногу, что я буду делать с инвалидом? И как это я его отпустил!

Иван Дмитриевич старательно опекал каждого участника предстоящей зимовки на полюсе.

... Ночью пурга усилилась. Решено послать на собаках наших опытных полярников — механика радиостанции Старожку и авиамеханика Латыгина. Им не раз приходилось даже в условиях полярной ночи делать большие переходы.

★

Что же в это время происходило на льдине в 110 километрах к югу от Рудольфа? Спирин открыл канат, проверяя, не отскочил ли провод пускового магнето. Но оказалось, что все в порядке.

Эх, хорошо бы подогреть мотор, да нечем!

Они долго бились над ним — мотор продолжал капризничать.

Началась пурга. В пяти шагах ничего не видно! Теперь уже бесполезно пытаться улететь. Решили ждать, когда пройдет пурга. Температура резко полезла вверх. На крыльях самолета образовалась ледяная корка, на заднем крыле появились сосульки.

— Вот теперь я понимаю, что такое Арктика, — залезая в кабину, вздохнул Спирин.

Ураган продолжался... Спирин устал и почувствовал, как постепенно холод начинает проникать сквозь теплый мех.

— Ничего не поделаешь. — Спирин неохотно поднялся. Посмотрел на товарищей. Как будто спят. — Еще замерзнут, — проговорил он. Начал будить.

Из глубины тесной кабины послышался глухой голос Симы:

— Какой туг сон! — Спина его, покрытая снегом, высывалась из кабины. — Ты потанцуй, Иван Тимофеевич, — предложил он. — Авось, согреешься!

Спирин снова начал бегать и прыгать. Скоро он почувствовал, что у него проснулся здоровый аппетит.



— Сима, — подошел он к кабине Иванова, — давай поедим. Неужели ты еще не проголодался? А у нас, кроме сухарей и шоколада, ничего нет, — грустно протянул он.

Все трое немного подкрепились и снова заняли свои места. Спирин продолжал бегать вокруг самолета, по очереди тормоза товарищей. Он очень боялся, что они замерзнут.

Так прошли сутки. Наконец, ветер затих. Появилась горизонтальная видимость. Погода еще не летная, но товарищи так замерзли и проголодались, что готовы были лететь в любых условиях.

Кое-как с трудом финским ножом очистили они лыжи, Иван Тимофеевич сел в кабину, дал полный газ, а товарищи принялись качать машину за крылья. Кое-как удалось ее тронуть с места. Прорулив метров десять вперед, самолет остановился. Все сели. Готово!

Но препятствие появилось снова. Лыжа опять прилипла к рыхлому снегу. Самолет не отрывается. Пришлось Иванову вылезть и, раскачав машину, садиться на-ходу. Спирин дал полный газ и пошел на взлет. Снег не только рыхлый, но и сырой. Машина почти не развивает скорости, но все-таки бежит... Вдруг впереди вырастают редкие торосы... Как только машина цела осталась!.. Счастливая случайность! Лавируя между торосами, Спирин быстро убрал газ. Самолет остановился. Спирин командует:

— Давайте порулим на старое место!

Федоров с Ивановым, держась за концы крыльев, помогают рулить. Когда машина стала на место, Федоров и Иванов отошли в сторону и о чем-то тихо совещались. Подойдя к самолету, они неожиданно для Спирина выдвинули новый проект спасения из ледяного плена. Они настойчиво требовали, чтобы Спирин летел один.

— Ты вернешься на Рудольф, — говорили они ему, — нальешь бензин, возьмешь продовольствие, палатку и прилетишь за нами. Дождемся все вместе хорошей погоды. Скоро подморозит, тогда легко оторвемся.

Спирин молча их выслушал. А когда они кончили, сказал спокойно, но твердо:

— Больше на эту тему разговоров не возобновлять. Один я не полечу, хотя бы нам и пришлось голодать.

Потом, закусив небольшим куском шоколада и сухарем, Спирин проверил наличие бензина. Его оказалось очень мало, минут на сорок.

— На этом бензине, — грустно сообщил он товарищам, — нам до Рудольфа не долететь. Мотор греть больше не будем.

Прошло еще 12 часов. Начались третьи сутки. К счастью, погода резко улучшилась. Хорошо видны берега островов Карла-Александра и Райнера.

Если удастся запустить мотор, можно полететь по направлению к Рудольфу, а если нехватит бензина, сесть возможно ближе к базе и итти пешком. На этот раз мотор удалось запустить очень скоро. Начали разгружаться. Выбросили кое-какие части, аккумулятор, батарею.

Спирин нашел для взлета другую, лучшую площадку. Но, как на грех, опять начала портиться погода. Все же решили лететь. Старым, уже проверенным способом стронули машину с места и с затаенным дыханием стали следить за взлетом. Машина вначале бежала с трудом. Потом она запрыгала по застругам.

Спирин решил не торопиться, — пусть самолет наберет скорость. Площадка кончается, скоро начнутся торосы, а там и вода. Перед самыми торосами летчик плавно и уверенно подтянул ручку на себя, машина повисла в воздухе.

Лица расплылись в счастливой улыбке. Наконец-то выбрались!

Через несколько минут летчик посмотрел на компас. В это время он заметил справа маленькую точку. Это остров. Спирин, изменив курс на север, вышел в море. Начался сильный снегопад. Машину бросает во все стороны. Бензин вот-вот кончится. Что же делать? Куда лететь?

Они знали, что скоро покажется берег Рудольфа. Прошли минут пять, показавшиеся часом.

Но вот внизу что-то пестреет. На воде появляются льдинки. Оказывается, самолет летит на высоте не больше 5 метров.

Осталось лететь километров 10. Прошли Аук. Виднеется Рудольф.

★

...Тридцатое апреля. Идет снег. Его так кружит, что трудно понять, откуда дует ветер.

Вдруг до нашего уха донесся какой-то звук...

Мы прислушались...

Неожиданно за дверью раздаются возбужденные голоса:

— Летит! Летит!

Мы срываемся с кроватей, выбегаем. «Летит!».

Далеко в небе, сквозь пелену падающего мокрого снега просвечивают контуры самолета.

— Самолет идет на посадку. Ура! Наши возвращаются из ледяного плена.

★

Ночью погода начала проясняться. Эх, хорошо бы Первое мая встретить на полюсе! Но нас разочаровал Борис Львович. Он предупредил, что погода на Рудольфе, возможно, будет хорошая, но по трассе совсем плохая.

Тогда мы, скрепя сердце, начали готовиться к встрече праздника на зимовке. Наш уважаемый шеф-повар Василий Васильевич готовил какой-то особенный обед.

На другой день—погода ясная. Поздравив друг друга с праздником, мы, утопая в снегу, пошли со знаменами, строем, на старую зимовку.

Ровно в 10 часов утра открылся первомайский митинг. По команде Спирина дали три залпа в воздух. Наш маленький коллектив вместе со всей могучей страной торжественно запел «Интернационал».

Вернулись мы на зимовку в веселом, праздничном настроении. Слушали по-

том трансляцию из Москвы, Киева, Ленинграда.

Третьего мая на самолете «П-5» прилетел летчик Крузе. Он видел Старожку и Латыгина, посланных на поиски Спирина, и сбросил им вымпел с сообщением, что товарищи благополучно вернулись на остров Рудольфа.

Пятого, как и предсказывал Дзержневский, наступила ясная погода. Видя общее возбужденное настроение летчиков и папанинцев, Отто Юльевич разрешил высотный полет на «У-2», с целью получить вертикальный разрез атмосферы.

Головин стал готовиться к полету. Одновременно готовились и большие корабли. Механики осматривали моторы, зимовщики помогали счищать снег с крыльев, с фюзеляжа.

Перед отлетом подходит ко мне Головин и спрашивает:

— Если я долечу до 88 градуса и выяснится, что у меня хватит горючего до полюса и обратно, что мне тогда делать?

Я немного подумал и сказал:

— Если бензина хватит и начальник экспедиции не вернет тебя, дуй прямо до самого полюса.

— А если я там сяду?

— Дело твое. Решай сам.

— А как бы ты поступил? — не оставал от меня Головин.

— Откровенно говоря, — ответил я ему, — если на полюсе льдина ровная, я бы, не задумываясь, сел там.

— И сообщал бы погоду, — добавил он.

— Да, и сообщал бы погоду.

— Только смотри, я об этом ничего не знаю, — предупредил я его.

Головин крепко пожал мне руку и весело направился к своему самолету.

Солнце светило волнующе ярко. Каждый был занят мыслью о полете. Пока механики грели моторы, Павел Головин тщательно проверил груз на своем корабле. Он взял с собой на два месяца продовольствия, оружие, лыжи, спальные мешки, клиппербот, две трехместные палатки, легкие нарты, аварийную радиостанцию и т. д. Часть имущества пришлось разместить в крыльях. На

всякий случай Головин погрузил еще несколько бидонов бензина, и таким образом у него оказался запас горючего на 13 часов.

Наконец, Головин вылетел в глубокую разведку. А я знал тайную мысль смелого летчика — достигнуть полюса и, если позволит погода, сесть там. «Счастливого пути, товарищ! Желаю тебе удачи!».

Немедленно после вылета разведчика я отдаю распоряжение греть моторы.

Каждые 30 минут Головин сообщает о состоянии погоды и свои координаты.

Отто Юльевич, Шевелев, Молоков, Спирин и я, конечно, не выходим из радиорубки. Мы прямо из-под карандаша радиста Богданова читаем:

«83° Погода ясная. Видимость хорошая. Иду вперед. Головин».

«Пересекаю 85°. Погода ясная. Курс держу по солнечному компасу и радиомаяку. Видимость хорошая. Лед торосистый, но для посадки самолета есть хорошие, ровные поля. Иду дальше».

«Подхожу к 86°. Слева показалась перистая, высокая облачность. Моторы работают отлично. Спокоен. Настроение у всех хорошее. Головин».

Следующее сообщение было менее приятное:

«Левый мотор сдает. Подыскиваю подходящую льдину для посадки».

Однако вслед пришла вторая радиограмма: «Все в порядке, мотор заработал хорошо. Причина временной остановки — переключение баков задержало передачу бензина в мотор».

«88°. Перед нами стена облаков. Решили итти выше облаков, узнать, далеко ли они тянутся, а также их характер».

Через 20 минут новое сообщение: «Идем над сплошной облачностью высотой две тысячи метров. До полюса осталось 100—110 километров. Иду дальше».

В 16 час. 23 м. наши советские летчики на своем советском самолете и моторах впервые достигли Северного полюса.

«Летим над Северным полюсом. Горды тем, что на своей оранжевой птице достигли крыши мира. Но, к великому

нашему разочарованию, полюс закрыт. Пробриться вниз не удастся. Возвращаюсь обратно. Погода на Рудольфе нас не беспокоит. Горючего вполне хватит. Головин».

Мы все зааплодировали. Отто Юльевич послал отважному экипажу приветственную радиограмму.

Через час над Рудольфом появилась низкая облачность и почти закрыла купол. Для приема Головина приготовили два аэродрома, по углам которых разложили огромные костры.

Четыре часа прошло с тех пор, как Головин повернул свой самолет к Северному полюсу. Главный аэродром затянуло густым туманом. О посадке не могло быть и речи.

На севере виднеется просвет. Я вылетел на «У-2» посмотреть, далеко ли находится от Рудольфа кромка облаков. Я минут двадцать покружился у кромки в надежде увидеть самолет Головина и вернулся обратно на Рудольф.

Мы снова налили в машину бензин. На этот раз поднялся Мазурук.

Прошло 5 часов. Все успокоилось — самолет «Н-166» должен был уже вернуться, а его все нет и нет. По радио сообщили Головину, что, когда он увидит впереди облака, ни в коем случае не лететь выше их, а смело итти под облака.

Прошло пять с половиной часов. Мазурук вернулся. Головин часто просил радиопеленг. Повидимому, он куда-то отклонился. На наши вопросы ответа не было.

Прошло шесть часов. Получаем радиограмму: «Иду под облачностью. Рудольфа не вижу. Бензин подходит к концу. Под нами битый мелкий лед и много разводьев».

Когда наше волнение достигло предела, мы вдруг услышали звук мотора, но с противоположной стороны острова: самолет! Он быстро приближался к Рудольфу. Не делая круга, Головин повел самолет на посадку. Самолет мягко коснулся снега у буквы «Т» и побежал по аэродрому.

Все, как один, бросились на аэродром. Когда мы добежали, самолет стоял на склоне крутой горы у самого обрыва.

Около кабины Головин и его товарищи, разминая затекшие члены, радостно приветствовали нас.

После полета Головина долго стояла плохая погода: то туман, то пурга. Мы коротали свободные часы игрой в домино. Самыми заядлыми игроками считались Бабушкин, Сима Иванов, Отто Юльевич и я.

К 10 мая мы успели сыграть больше четырехсот партий; счет вели с Архангельска.

Через несколько дней началась такая сильная пурга, что из помещения нельзя было носа высунуть. Пурга бушевала два дня. На аэродром, конечно, никто не ездил. В домике на аэродроме одиноко жил Мельников. Чтобы ему не было скучно, мы часто звонили на аэродром, справлялись о его здоровье, развлекали, как могли. На третий день ветер стих, но облачность была очень низкая, она совсем закрыла купол. Мы собрались ехать на аэродром откапывать самолеты. Перед отъездом Кекушев позвонил Мельникову, спросил, какова погода и сильно ли занесло самолеты.

— Как самолеты,—отвечает Мельников,— не знаю, а погода скверная, сплошной туман.

— А у тебя, — задает ему вопрос Кекушев, — насос для откачки резиновых матрацев есть?

— Есть, даже два, — радостно сообщил Мельников.

— Тогда ты возьми насос, который получше, и к нашему приезду разгони туман.

Мельников выругал его и повесил трубку.

Через час приезжаем на купол, смотрим и удивляемся: домик занесен почти до самой крыши. К двери нельзя подойти, она совсем завалена снегом. Окна тоже. В верхней части стекла осталась единственная дырочка, в которую, как в волчок, смотрел Мельников. Он очень обрадовался нашему приезду.

Самолеты сильно занесло. После скучных дней вынужденного безделья мы дружно взялись за очистку их. Через несколько часов непрерывной работы все корабли были готовы к полету.

В разведку, кроме Головина, летал еще и Крузе. В его распоряжении был одномоторный самолет «П-5». Обычно он не забирался дальше 84—85°. Горючего брал на 8—9 часов.

11 мая начало немного проясниться. В редкие окна облаков просвечивало солнце.

Облачность высокая. Купол открыт. Так как самолет Головина проверялся после полета на полюс, приказание лететь в разведку получил летчик Крузе. С ним отправился Дзержневский и штурман, он же радист, Рубинштейн. Их снабдили всем необходимым на случай вынужденной посадки. Мы слышали звук мотора, когда он прошел над Рудольфом, держа курс на север. Вскоре начали поступать сообщения о координатах и состоянии погоды: «Идем 1500 метров над сплошной облачностью. Видимость над облаками очень хорошая».

Мы внимательно следили за его полетом, рассчитывая, что на 82° и 83° эта облачность оборвется. Командование предполагало: если Крузе достигнет 85°, а может быть, 86° и найдет там хорошую площадку, — посадить его. Но облачность не оборвалась, и Крузе вынужден был вернуться обратно. Дзержневский сообщил: «Вылетать нельзя». Дело в том, что на севере он увидел высокослоистые облака: это проходил циклон, о котором синоптик предупредил перед отлетом.

Так как Крузе успел достигнуть только 84°, он должен был вернуться самое позднее через два с половиной—три часа. Но прошло четыре часа, а Крузе нет.

Дела разведчиков неважные. Летчик нервничает. Измучившись бесплодными попытками найти Рудольфа, он крикнул штурману Рубинштейну: «Мы заблудились, я буду пробивать облачность!». Штурман не ответил. Тогда Крузе убрал газ — машина скрылась в облаках. Сигналы радиомаяка слышны, но эти сигналы одинаковы и на юге, и на западе, и на востоке — во всех четырех направлениях. Никто точно не знал, в какой зоне находится самолет — в северной или южной.

В конце-концов Крузе пытается еще раз пробиться вниз. На этот раз на высоте 100 метров они видят разводья и льдины. Открытой воды было очень много, и они решили, что уже проскочили Землю Франца-Иосифа. Вернулись обратно. Крузе решил держать курс, не считаясь с радиомаяком и пеленгом, лишь бы уйти от чистой воды.

Мы это знали и беспокоились не на шутку. В районе Земли Франца-Иосифа негде сесть, кроме проливов, — подходящей льдины для посадки самолета здесь не найдешь.

Полученная радиограмма еще сильнее взволновала нас: «Бензин подходит к концу. Иду на посадку. Крузе».

— Клиппербот у них есть? — спросил один из зимовщиков.

— Есть, и продуктов много, а также и нарты они захватили.

— Ну, раз клиппербот есть, ничего страшного, — успокаивающе сказал тот же зимовщик. — Они ведь сели где-то неподалеку. Придут пешком. Мне не раз приходилось путешествовать по льдам.

— Тише, плохо слышно, — прервал нас радист.

Схватив карандаш, он начал записывать: «Рудольф. Шевелеву. Из-за плохой погоды и недостачи горючего мы были вынуждены сесть. Машина цела, где находимся, пока не знаем. При первом проблеске солнца определимся, а сейчас дайте пеленг. Необходимо забросить нам килограммов 200 бензина. Крузе».

Мы все облегченно вздохнули и только удивлялись, где они смогли подыскать такую льдину, что даже не поломали самолета.

Но, что самое замечательное, следом пришла другая радиограмма с борта «Н-128» от нашего синоптика. Он был верен себе: «Вылет на полюс невозможен. Между Северным полюсом и 84° проходит циклон. Дзердзиевский».

Зная, что льдина, на которой сидят наши попавшие в беду товарищи, не в состоянии принять второго самолета, мы поручили Мошковскому приготовить грузовые парашюты, наполнить резиновые баллоны бензином и, как-только по-

зволит погода, вылетев вместе с Головиным, сбросить их Крузе.

Все было немедленно исполнено. Остановка за погодой.

На льдина у Крузе жизнь шла своим чередом.

Установили дежурства по 8 часов в сутки.

Как-то ночью на вахте стоял Борис Львович. Погода тихая. Не слышно даже шороха дрейфующего льда. Товарищи спят. Ничто не нарушает великого безмолвия Арктики. Борис Львович, задумавшись, стоял, опираясь на винтовку. Вдруг перед ним возникло какое-то странное видение: Борису Львовичу показалось, что торос сошел с места и направился ему навстречу.

Пристально всмотревшись в белую движущуюся массу, Борис Львович увидел, что это пожаловал в гости «хозяин» — белый медведь.

Не задумавшись, синоптик вскинул винтовку и выстрелил в медведя. Тот, очевидно, не ожидая такой встречи, кинулся бежать. Дзердзиевский, не теряя ни минуты, дал еще один выстрел и бросился вслед. Медведь, ковыляя, скрылся среди торосов. Борис Львович подбежал к месту, где впервые увидел медведя, и обнаружил следы и кровь. Он осторожно пошел по следу, надеясь увидеть медведя мертвым где-нибудь неподалеку, среди торосов.

Кровавые медвежьи следы привели его к разводью. На краю льдины были видны свежие красные пятна. Ясно было, что медведь бросился в воду.

Старые зимовщики рассказывают, что раненые медведи всегда бросаются в воду. Рана горит, и он пытается успокоить боль ледяной водой. Но вода соленая, — она еще сильнее раз'едает рану, и медведь с ревом выскакивает обратно на льдину.

Дзердзиевский тщательно осмотрел льдину, но следов около разводья ни на этой стороне, ни на той не было. Очевидно, медведь был тяжело ранен и утонул. Борису Львовичу ничего не оставалось делать, как вернуться обратно. Хорошо, что медведи в это время не голодные, а то для задумавшегося Дзердзиевского это могло окончиться

плохо. Медведь не стал бы считаться с тем, что у нас в экспедиции всего один синоптик.

15 мая немного прояснилось, и Головин с Мошковским вылетели на помощь Крузе. Эту приятную новость на льдине узнали очень быстро. Рубинштейн держал с нами непрерывную связь. Через 40 минут обитатели льдины увидели самолет. Он шел километров на пятнадцать правее и не видел их. Непосредственной связи у Рубинштейна с Головиным не было. Пришлось передавать через Рудольфа. Мы немедленно же сообщили Головину курс: «Крузе вас видит, но вы прошли правей. Возьмите 90° влево».

Через несколько минут Рудольф радировал Головину: «Вы находитесь на одном меридиане севернее самолета Крузе. Возьмите 90° влево. Держите курс прямо на юг. Идите прямо на них. Вы над ними». И только, когда Головину сообщили, что он находится над самолетом Крузе, он его заметил.

Не будь связи по радио, вряд ли удалось бы найти товарищей. Самолет Крузе настолько мал, что его очень трудно заметить среди множества разводьев.

Мошковского справедливо считают крупным специалистом по парашютам. Он настолько точно рассчитал все, что три парашюта легли буквально рядом с самолетом. Сбросив бензин, кайла, лопаты и т. д., Головин, качнув крыльями в знак приветствия, вернулся обратно.

На льдине закипела работа. Залили в машину бензин, расчистили площадку. Так как солнечного компаса не было, а магнитный в этих широтах очень ненадежен, Крузе использовал один парашют для флажков. Определив по солнцу направление на Рудольфа, он вместе с Дзержидиевским сделал из флажков створ с северо-запада на юго-восток. Было решено, поднявшись в воздух, взять направление по флажкам. А в полете держать курс по курсодержателю, внося соответствующие поправки.

О своей подготовке к полету Рубинштейн все время нас информировал. Как только он сообщил, что машина в воз-

духе, мы немедленно включили радиозону и выслали им навстречу самолет «У-2».

Поднявшись, Крузе смело взял направление по флажкам. Через несколько минут он увидел далеко на горизонте черную точку — это был наш «У-2». А этот самолет, в свою очередь, видел Рудольф.

Таким образом, хотя облачность низкая и видимость скверная, мы перехитрили природу: Крузе нашел Рудольфа и сел около самой зимовки.

Нашей радости не было границ.

Утром 17 мая погода начала проясняться. Не теряя ни минутки, Головин пошел в разведку. В этот день снег был настолько рыхлым, что пилоту пришлось дважды брать разбег.

Прошел час. Головина нет.

Наш радист начал запрашивать их о месте нахождения. Вдруг его перебивает Стромиллов — радист Головина: «Дайте зону». Через две минуты он попросил пеленг.

Туман так надавил на Головина, что тот был вынужден идти бреющим полетом. У летчика не было времени оторваться от приборов, чтобы написать радиограмму.

Вдруг к нам вбегает Дзержидиевский:

— Я слышу звук могора на севере. Летит!

Звук нарастал, он шел прямо на нас. Вот-вот машина выйдет из тумана. Затаяв дыхание, мы прислушиваемся к нарастающему гулу моторов. Совсем близко... и вдруг... звук отклоняется влево. Все тише и тише. Мы слышим его не на севере, а на западе.

— Скорей передайте ему, — неистовым голосом закричал Марк Иванович, — пусть повернет влево, он выйдет прямо на нас!

Радист немедленно передает радиограмму в эфир. Стромиллов принимает ее, дает Кекушеву для передачи Головину. Но тот не может даже повернуть голову или протянуть руку, чтобы прочесть радио. Он ведет машину в сплошном тумане, на высоте не более 3—4 метров.

Самолет уходит вправо, взяв курс на восток. По затихающему звуку моторов

мы определяем, что Головин уходит от нас.

Шевелев прерывающимся голосом диктует вторую радиogramму: «Вы уходите от Рудольфа. Развернитесь на 180°, выйдете прямо на нас».

И эту радиogramму постигла та же участь, Головин не имел возможности ее прочесть. А так как штурман Волков сидел впереди летчика и получал радио только через него, он не мог дать курс на Рудольфа.

Мы растерянно глядели в серое марево тумана. После нестерпимого грохота моторов наступила такая тишина, что каждый отчетливо слышал удары своего сердца.

Неожиданно Стромиллов сообщает: «Идем на посадку, слушайте нас на волне 600 метров и на короткой аварийной станции...».

Что Головин делает? Куда он сядет, да еще в таком тумане?

На зимовке остановилась жизнь. Люди двигались неслышно, разговаривали шопотом. В помещении радиорубки до отказа набились люди.

Только один человек, среди находившихся в рубке, все время напряженно работал — это был радист Богданов.

Мы следили за его руками, осторожно регулировавшими приемник, ловили малейшие изменения в его лице.

— Они? — робко спрашивали мы.

— Нет, — разочарованно отвечал Богданов. — Это мыс Желания вызывает Диксон...

Но вдруг Богданов подрегулировал приемник и застыл.

Богданов поднял руку и шопотом сказал: «Они! Стромиллов зовет!».

— Ну, что, — накинлись мы на Богданова, — как они сели? Что говорит Стромиллов?

— Он спрашивает, — ответил Богданов, — на какой волне будем работать?

— Да чорт с ней, с волной! Спроси, как сели?

На этот раз на вопрос Стромиллов ответил: «А какой тон!».

Мы не знали, как реагировать на такое невероятное издевательское спокойствие Стромиллова.

По нашему настоянию Богданов в третий раз запросил Стромиллова о посадке. Тот невозмутимо ответил нам:

«Командир корабля Павел Головин сидит верхом на ропаке и пишет радиogramму. Подождите, сейчас кончит».

Наконец пришла исчерпывающая радиogramма Головина:

«Боясь налететь на какой-нибудь остров, я решил сесть. Сначала мне это не удавалось, так как подо мной и впереди мелькал 5-балльный мелко-битый лед. Только увидев более или менее подходящие льдины, я, не задумываясь, убрал газ, выключил моторы и пошел на посадку. Машина сильно запрыгала по ропакам. Наконец остановилась. Машина оказалась настолько прочной, что, несмотря на сильные толчки, мы при осмотре не обнаружили никаких повреждений. Судя по вашим радиogramмам, которые я не успел прочесть в полете, мы находимся недалеко от Рудольфа. Бензин есть. После ремонта площадки и улучшения погоды прилетим на Рудольф».

Телеграмма Головина нас обрадовала.

★

Снова ждем летную погоду.

Прогноз неизменен: туман, низкая облачность, угроза обледенения.

Головин сидит на хорошей льдине в 80 километрах к западу от Рудольфа. Ему не угрожает никакая опасность. Но как разведчик он временно вышел из строя, так как мы не знаем, когда он сможет перебраться на Рудольф.

Последние дни Спиринов и Бабушкин упорно доказывали мне целесообразность нового плана полета на полюс: на полюс должен вылететь сначала один самолет. Одному можно идти в всздухе при худших метеорологических условиях, отпадает опасность столкновения с другими самолетами. Кроме того, одну машину легче заправить горючим и снарядить в полет при первом же проблеске хорошей погоды, нежели готовить сразу все четыре самолета.

Вечером, на очередном совещании Отто Юльевича с командирами, я поставил

на обсуждение вопрос о полете одного корабля.

После тщательного обсуждения решено было лететь не всей эскадрой сразу. Первой идет флагманская машина, а после ее посадки вылетают остальные корабли.

На другой же день на флагманский корабль погрузили продовольствие и инструмент для ремонта аэродрома. Все научные приборы и зимовочная станция разместились на других самолетах.

В этот же день — 19 мая — исполнился ровно месяц, как мы сидим на Рудольфе.

Вечером, слушая последние известия по радио, я узнал, что в Москве в Реалистическом театре прошла генеральная репетиция моей пьесы «Мечта» и что на 21-е назначена премьера.

Улетая из Москвы, я договорился с театром, что «Мечта» увидит огни рампы после того, как советские самолеты спустятся на полюсе. Но они, как видно, не дождались нас. Ничего не поделаешь.

★

Наступило 20 мая.

Глядя на серое, низко нависшее небо, я думал: завтра герой моей пьесы Бесфамильный водрузит на вершине мира родной советский флаг.

А я вот застрял в девятистах километрах от полюса...

В облаках все чаще и чаще появляются окна. Вот в просвете мелькнул солнечный луч. Вслед за ним показалось солнце во всей своей полярной красе.

Борис Львович, довольно улыбаясь, докладывает — завтра ожидается хорошая погода.

Мигом закипела работа.

★

К чегырем часам утра самолет был готов к старту.

Вижу, Борис Львович с последней сводкой в руках спешит к Отто Юльевичу. По выражению «хозяина погоды» ясно — вести неутешительные. Иду узнавать, в чем дело.

— Впереди большая облачность, — говорит мне Отто Юльевич. — Давайте посоветуемся с товарищами.

Решение было единодушное: лететь!

Прощаемся.

В кабину самолета один за другим вошли: Шмидт, Бабушкин, Спирин, папанинцы, кинооператор Трояновский, радист Иванов. Все три бортмеханика — Бассейн, Морозов и Петенин — давно уже на своих местах.

Я занимаю свое место у штурвала. Прощай, Рудольф! Прощайте, дорогие друзья! До скорого радостного свидания!

Винты с силой рассекают воздух. Еще какой-то миг, и ревушие на полных оборотах моторы потянули машину вперед. Самолет набирает скорость. Скачок-другой... и на 24-й секунде машина отрывается от земли.

С левой стороны, недалеко от домика, стояли провожающие. Они восторженно махали нам руками. Особенно радовались корреспонденты и Догмаров: наша машина оторвалась легко, — значит, они тоже полетят на полюс.

В этот момент я вижу самолет Головина, идущий на посадку. Какое замечательное предзнаменование! Нас бесспорно ждет удача.

Каждый находившийся в самолете занимался своим делом. Шмидт сидел в штурманской рубке и что-то писал. Спирин прокладывал курс, проверял путевую скорость. Механики следили за работой моторов, то-и-дело забираясь в крылья. Иванов держал непрерывную связь с землей. Бабушкин достал тетрадку — свою верную спутницу — и, часто заглядывая за борт, записывал в нее свои впечатления.

В пассажирской кабине приютилась отважная четверка: Папанин, Ширшов, Федоров и Кренкель. Иван Дмитриевич о чем-то горячо рассказывает своим товарищам.

... Мы идем на высоте 1500 метров. Но облака так высоко, что на нашей тяжело загруженной машине перетянуть их невозможно.

Погода явно портится. Мы уже летим в прослойке облаков.



Но возвращаться не хотелось. Мы решили итти вперед. И только в том случае повернуть обратно на Рудольф, если сомкнутся верхние и нижние облака и мы попадем в обледенение.

Я и не подозревал, что в это время в левом крыле самолета бортмеханики переживают очень тяжелые минуты. Первым заметил подозрительный пар, идущий от левого среднего мотора, механик Морозов. Он позвал Бассейна, и они вдвоем стали искать причину появления пара. Думая, что дело в дренажной трубке, Бассейн закрыл ее конец рукой. Но пар продолжал итти, вызывая у механиков беспокойство. Морозов вопросительно посмотрел на Флегонта, но тот недоумевающе пожал плечами.

Ясно одно, что пар идет не из трубки. Надо искать в другом месте. Начали искать.

Неожиданно Морозов обнаруживает, что пар просачивается снизу, из крыла. Он быстро прикладывает руку к нижнему шву крыла. Рука — влажная. Морозов понял, что из радиатора вытекает незамерзающая жидкость — антифриз.

После внимательного осмотра механики убедились: лопнул флянец радиатора. Мотор скоро выйдет из строя. Посадка неизбежна.

Короткое совещание состоялось тут же, у большого мотора.

Бассейн незаметно подошел к Отто Юльевичу:

— Разрешите доложить, товарищ начальник: через час, а может быть, и раньше один из моторов выйдет из строя. Повреждена магистраль — из мотора вытекает антифриз. Предстоит вынужденная посадка.

— Как посадка? — Отто Юльевич опешил от неожиданности. — А Водопьянову вы доложили?

— Нет еще, Отто Юльевич, но я заранее знаю, что командир скажет: «Полетим на трех моторах».

— Я тоже думаю лететь вперед. Если придется садиться, то сядем как можно ближе к полюсу. Вы все-таки доложите командиру.

Бассейн подошел ко мне. Его слова не сразу проникли в мое сознание.

— Какой мотор? Почему?

— Левый средний, — ответил Бассейн. — Мотор где-то под крылом теряет антифриз. Вероятно, в радиаторе течь.

Дело серьезное...

Что же делать? Надо взвесить за и против. Сесть на лед?.. Вернуться обратно?.. Но корабль наш перегружен. Каждая лишняя посадка — риск.

Я еще немного подумал и решительно сказал:

— Полетим на трех моторах, Флегонт! Там будет видно. Только смотри, Флегонт, больше никому ни слова.

★

Когда Бассейн возвращался в левое крыло, его остановил Папанин. Нелегко сохранить в секрете от опытных и наблюдательных людей такое событие, как недоразумение с мотором.

Иван Дмитриевич уже давно присматривался к стремительно бегающим по самолету механикам. Ему казалось очень подозрительным, что они то забираются в левое крыло, то спешат к запасным бакам или за инструментами.

Беря под руку Флегонта, он тихонько спросил его:

— Слушай, браток, что случилось?

— Ничего, Иван Дмитриевич, — невозмутимо пожал плечами Бассейн.

— А может быть, все-таки мне-то скажешь? — Иван Дмитриевич заглянул в ясные глаза Бассейна.

Он ничего не прочел в этих глазах, кроме безмятежного покоя, смешанного с легким удивлением, — почему, мол, мне задают такие странные вопросы?

— Да... а с мотором все же не ладно... — невольно произнес вслух Иван Дмитриевич. И тут же махнул рукой: все равно ничем не помогу, займись лучше своим делом. И вновь погрузился в свои записи.

Я вел машину сквозь облака. Приборы поглощали все мое внимание. Изредка я прислушивался к ровной песне моторов. Ни один, самый легкий диссонанс не нарушал мощной гармонии.

Все четыре мотора, в том числе и левый средний, работали безухоризненно.

Усилием воли я подавил нахлынувшую тоскливую тревогу.

Скорей бы кончились облака. Тогда легче будет найти удобную для посадки льдину.

Из штурманской рубки вышел Спирин. Он подошел ко мне, осмотрел все приборы, уточнил курс.

После небольшой паузы Спирин, как-то подозрительно осмотревшись вокруг, наклонился ко мне:

— Погода-то какая! А!

— Не беда, Иван Тимофеевич, до полюса еще далеко! Кончится! Увидим и хорошую! — стараясь казаться беззаботным, сказал я.

— Кончится ли? — неуверенно протянул Спирин.

— Обязательно! А где мы сейчас находимся?

— Подходим к 85-му градусу северной широты. До полюса еще около 600 километров, — вздохнул Спирин.

Спирин стоял около меня, то вглядываясь в окружающую нас облачную пелену, то присматриваясь ко мне. Назойливая мысль не давала ему покоя:

«Как быть? Предупредить Водопьянова или нет? Ведь бедняга даже не подозревает, что мотор теряет антифриз».

Оказывается, Спирин еще раньше меня знал, что с мотором неладно и нам предстоит вынужденная посадка. Так мы и не сказали ни слова о моторе — решили не расстраивать друг друга...

Я посмотрел на Михаила Сергеевича. Он, действительно, ничего не подозревая, спокойно сидел за вторым управлением. Я показал ему вперед: плохо, мол, там! Бабушкин понял меня и, наклонившись в мою сторону, громко крикнул:

— Ничего, Миша, долетим!

Пока я и Бабушкин неуклонно вели машину вперед, Бассейн, Морозов и Петенин не теряли ни одной минуты времени. Они прорезали металлическую обшивку нижней части крыла и нашли в верхней части радиатора течь во флянце. Механики поспешно замотали трубку флянца изолировочной лентой и тесьмой. Но остановить потерю антифриза не удалось. Драгоценная жидкость капля за каплей уходила из мотора. Как будто человек на глазах умирал. Кровь уходила из тела!

Трудно определить, кому из механиков первому пришел в голову еще один способ спасения сочащейся из мотора жидкости. Возможно, всем трем сразу. Во всяком случае трое — Бассейн, Морозов и Петенин — взялись дружно за работу. Они размотали ленту и начали прикладывать сухие тряпки к большой ране флянца. И, когда эти тряпки впитывали достаточное количество жидкости, механики отжимали их в ведро. Оттуда они перекачивали жидкость насосом — обратно в бачок мотора.

На первый взгляд легко и просто. Но для этой несложной операции механикам пришлось снять перчатки и в 23-градусный мороз, при стремительном ветре, высунуть наружу голые руки. Очень скоро их обмороженные руки покрылись кровавыми ссадинами, на ладонях появились волдыри от ожогов горячей жидкостью — антифризом.

Несмотря на мучительную боль, стиснув зубы, Бассейн, Морозов и Петенин спасли жизнь мотора, продолжая собирать драгоценную жидкость.

Никто из летевших на корабле не подозревал о героической работе механиков. Мы узнали о ней позже из короткого делового доклада Бассейна.

★

Погода все ухудшалась и ухудшалась. Коридор среди облаков, в котором мы летели, становился все уже и уже. Наконец, оба слоя облаков сошлись, и мы полетели в сплошном молоке.

Иногда я забывал о моторе, о предстоящей посадке. Все мое внимание было устремлено на приборы. Мы шли слепым полетом. Я потерял ощущение времени. Минута казалась часом, вечностью. Все с большей остротой вспыхивала в усталом мозгу тревожная мысль: сейчас остановится мотор, сейчас остановится мотор! Мне казалось, что я начинаю ненавидеть этот красавец-мотор.

И вдруг неожиданно я услышал голос Бассейна:

— Командир, лети спокойно! Мотор будет работать.

Счастливая волна захлестнула меня. Не оборачиваясь, я кивнул головой:

— Спасибо, дорогой друг!

Мы продолжали идти в слепом полете, строго выдерживая прямую по меридиану. Я взглянул на моторы: винты с силой рассекали пушистые облака. Мне показалось, что моторы работают еще лучше. Да и погода как будто лучше стала.

Стальная советская птица несла советских людей все ближе и ближе к цели. Теперь нам не страшна суровая стихия. Вперед! Вперед!

Я продолжал спокойно вести самолет, строго выдерживая прямую.

Когда мы подошли к 88-му градусу северной широты, словно кто-то отдернул гигантский занавес, сотканный из облаков. Освобожденное арктическое солнце показалось нам навстречу.

Его лучи скользнули по оранжевой обшивке корабля, зажгли ее мириадами веселых искристых огней. Винты с прежней силой рассекали теперь уже не пушистые облака, а прозрачный голубой воздух.

Мы неслись над ледяным простором. Сердца тринадцати бились в унисон с сердцем машины.

Четыре красавца-мотора пели торжествующую песню победы.

Как только кончилась облачность, у всех засияли лица. Приток радиogramм тоже как будто увеличился. Связь с землей непрерывная.

Внизу под нами расстилалась однообразная ледяная пустыня. Кое-где ее рассекали разводья, похожие на узенькие речушки. Они тянулись с юга на север, параллельно нашему полету, на сотни километров и, казалось, не имели ни начала, ни конца.

Лед был менее битый и с высоты 1800 метров казался сплошь ровным: хоть садись на любую льдину.

Все были уверены, что полюс открыт.

Но скоро нам пришлось жестоко разочароваться: к великому нашему огорчению, впереди показались облака.

До полюса оставалось 100 км. Решено было в случае плохой погоды вернуться на 88°, сесть там и при первом улучшении погоды перелететь на по-

люс. А пока... я уверенно веду самолет вперед. Спирин с абсолютной точностью прокладывает курс. Высота 1800 метров. Под нами волнистые облака.

Спирин и Федоров, один секстантом, другой октантом, берут каждые 10 минут высоту.

— Через 20 минут будем на полюсе! — сообщает Иван Тимофеевич.

Эти 20 минут тянулись нескончаемо долго.

Не только один я, все на самолете знали, что мы приближаемся к заветной точке, и, напряженно притихшие, ждали, когда же, наконец, Спирин произнесет короткое, но глубоко волнующее слово — полюс.

И вот Иван Тимофеевич снова вышел из своей штурманской рубки.

Его всегда сосредоточенное лицо на этот раз расплывалось в сияющей улыбке. Он подошел ко мне и своим спокойным глухим голосом, почти переходя на торжественный шопот, произнес:

— Под нами полюс!

Полюс! Веками стремились сюда люди. Путь к нему устан человеческими жизнями.

И вот я, в прошлом забитый деревенский парень, а сейчас советский летчик, возвращенный большевистской партией, родиной, лечу над полюсом.

Еще несколько минут, и я должен посадить наш самолет там, где никто, никогда еще не садился. С быстротой молнии разнеслась по самолету весть, что мы над полюсом. Обернувшись назад, я увидел ликующие лица своих товарищей.

Рожденные к жизни революцией, вдохновленные нашим великим другом и учителем, мы привели сюда нашу гигантскую птицу, на крыльях которой красуется эмблема освобожденного труда, светлое будущее всего человечества: СССР.

То, что было не по силам старому миру, сделала наша молодая страна.

... Ко мне подошел Сима Иванов.

— Товарищ командир, тебе радиogramма.

Я развернул ее. Прочел: «Папа, экзамен сдала на «отлично», перешла в чет-

вертый класс. Вова тоже перешел на «хор». Вера».

Теплом повеяло от этой радиограммы.

Улетая из Москвы, я заключил с дочкой договор. И вот она рапортует мне, а я еще не могу. Мы над полюсом, но удастся ли сесть?

Из штурманской рубки вышел Шмидт. Он направился ко мне, видимо, желая что-то сказать, но я предупредил его:

— Отто Юльевич, раз мы над полюсом, — разрешите пробиться вниз.

Видя, что я весь горю от нетерпения, Отто Юльевич сдержанно улыбнулся:

— Подожди, друг мой! — ласково сказал он. — Не надо торопиться. Спирин и Федоров еще раз проверят расчеты.

К нам подошли Спирин и Федоров.

— Проверили? — спросил их Шмидт.

— Под нами полюс, — подтвердил Спирин, — но я прошу пролететь еще минут 5 — 10 за полюс, для страховки.

— Правильно, — согласился с ним Шмидт, — лучше перелететь, чем недолететь.

Отто Юльевич написал очередную радиограмму о том, что мы находимся над полюсом. Иванов начал передавать ее в Москву, но едва он отстучал ключом одно-два слова, как сгорел умформер и рация вышла из строя. Связь с землей оборвалась...

Мы пролетели условленные десять минут по ту сторону полюса, и, наконец, я получил разрешение пробивать облака.

— Ну, теперь делай, что хочешь! — улыбаясь, сказал мне Отто Юльевич.

Прежде всего я развернулся на 180°: все же ближе к полюсу. Убрал моторы и с высоты 1800 метров, как с огромной вышки, нырнул в облака.

Солнце мгновенно скрылось. Мы погрузились в белесый туман. Все прильнули к окнам. Каждый горел желанием скорее увидеть крышу мира, — что то там?

К счастью, обледенения — этого страшного врага авиации — не было. Стекла фонаря затянута тонкой вуалью, похожей на иней. Но меня все же не покидала мысль: вдруг облачность тянется до океана.

1000 метров — ничего не видно. 900 метров — ничего не видно. 800... 700... Сквозь облака мелькнул лед, но с такой быстротой, что мы не успели разобрать, какой он, как все скрылось.

600 метров. Наконец, словно сжалившись над нами, облачная пелена выпустила нас из своих влажных объятий.

Перед нашими взорами раскрылась панорама вершины мира.

Насколько хватал глаз, тянулись яркobelые ледовые поля с голубыми прожилками разводьев.

Беспредельная поверхность океана казалась вымощенной плитами разнообразных форм и размеров.

Я делаю круг, выбирая подходящую льдину. Самолет продолжает снижаться. Моторы работают на малых оборотах.

Шмидт внимательно смотрит вниз, разглядывая измеченную мной льдину. Подходит Спирин, Бабушкин. Они также внимательно осматривают ее.

— Хорошая льдина, — говорит Бабушкин.

Спирин предложил снизиться метров на 20, пройти бреющим полетом над льдиной. Взоры всех участников полета были устремлены на нее. Одному только Симе Иванову было не до льдины. Он был занят исправлением рации. Она испортилась в самый нужный момент. Сима слышал, как его непрерывно, со все возрастающей тревогой, вызывала Москва, вызывал Рудольф. А он не мог им ответить. А главное, не мог сообщить о достижении полюса.

Льдина шириной километра четыре тянулась километров на десять. Как раз посредине, поперек ее виднелась гряда торосов — след прошедшего сжатия. Казалось, в этом месте природа мощным плугом прошлась от одного края до другого. Льдина была покрыта редкими пологими ропаками разной величины, а среди ропаков была ровная чистая площадка, примерно 700 на 400 метров. Пролетая над площадкой, мы заметили заструги, такие же, как на островах Земли Франца-Иосифа или в тундре.

Судя по торосам, лед был толстый. многолетний. Мы решили, что можно обойтись без сбрасывания 8 — 10-кило-

граммовых чугунных бомб, захваченных для испытания его крепости.

Развернувшись еще раз, я снова прошел над площадкой. Спирин открыл нижний люк штурманской рубки и приготовился по моему сигналу бросить дымовую ракету. Горит она всего полторы минуты, за это время мне нужно успеть сделать круг и, определив по дымному направлению ветра, пойти на посадку. Спирин должен бросить ракету в том месте, где самолету нужно коснуться лыжами льда.

Перетянув торосы, я махнул Спириной рукой: бросай! Но Спирина из открытого люка было виднее. Он подождал еще секунды две, затем бросил ракету. Тут уж зевать нельзя. Я быстро развернулся влево, зашел против ветра (как я и предполагал, он дул вдоль площадки) и снизился метров на десять. С огромной быстротой подо мной мелькают торосы, вот-вот задену их лыжами.

К хвосту моего самолета в виде воздушного тормоза приспособлен парашют. Он был прикреплен тросом к костылю. Я попросил Бабушкина, чтобы он, как только самолет коснется снега, дернул трос и открыл парашют.

Вот кончилась гряда торосов. Впереди ровная площадка. По белому снегу навстречу стелется черный дым. Вот-вот погаснет ракета — я убираю моторы, планирую... подвожу самолет на посадку... Самолет мягко касается нетронутой целины снега и катится вперед. На всякий случай я выключаю моторы, — вдруг не выдержит льдина и машина провалится... Бабушкин дергает за трос, парашют раскрывается, и мы даже не почувствовали, как трос оборвался. Самолет катится... не проваливается. Я снова включаю моторы: раз садиться, так по всем правилам — с рабочими моторами. Пробежав 240 метров, самолет «СССР Н-170» остановился.

Мы на полюсе!!!

Это было 21 мая в 11 час. 35 мин.

Самолет остановился, но зато мы пришли в движение. Мы не заметили, как оказались в объятиях друг у друга.

А еще через минуту мы стояли ногами на нашем советском полюсе. И

громкое «ура» в честь товарища Сталина далеко разнеслось среди ледяных просторов.

★

Папанин сразу показал себя хозяином полюса.

— Кренкель, дай-ка бутылку коньяку, — распорядился он. — Выпьем за наш полюс!

Коньяк был разлит на тринадцать чашек, и мы выпили за советский полюс, за нашу великую родину.

— Товарищи, — обратился я ко всем окружающим, — мы же на премьере. Сегодня в театре ставят «Мечту». Эта мечта осуществилась!

... Через 10 минут на полюсе закипела работа. Спирин и Федоров занимались астрономическими наблюдениями и вычислениями. Им нужно было уточнить место нашей посадки. Механики возились около самолета. Иванов и Кренкель налаживали радио, а все остальные устанавливали радиомачты.

Прежде всего надо было сообщить в Москву о нашей посадке. Ведь там ждут не дождутся, беспокоятся.

Мачта была установлена быстро, но оба радиста доложили, что бортовой передатчик работать не сможет — сгорел умформер.

Тогда мы немедленно приступили к выгрузке папанинского имущества и радиостанции Кренкеля.

Через час на полюсе уже стояли четыре палатки, две радиомачты; была натянута антенна. Но тут возникла новая задержка: на морозе разрядились аккумуляторы. Надо их снова заряжать. Выручил предусмотрительный Папанин. Он не забыл взять на наш корабль для зарядки аккумуляторов моторчик «В-3», спаренный с динамкой. Мы быстро запустили моторчик и приступили к зарядке.

... Прошел уже целый час, как связь с самолетом была оборвана. В Москве и на острове Рудольфа нарастало беспокойство. Десятки радиостанций шарилы по эфиру, ловя наши позывные. Из Москвы Шевелев получил правительственную радиограмму: «Приготовить остальные три корабля и, при первой возмож-

ности, вылететь на поиски самолета «СССР Н-170».

Три самолета стояли в полной готовности, но на Рудольфе испортилась погода, и лететь на поиски было невозможно.

Радисты Богданов и Стромиллов сидели с наушниками, напряженно ловя на два приемника малейшие шорохи в эфире. В радиорубку набилось полным-полно народу. Экипажи остальных кораблей и зимовщики недвижно стояли, взволнованно следя за напряженной работой радистов.

... На ярком белом снегу — огромная оранжевая птица «СССР Н-170».

Время тянулось мучительно медленно.

— Ну, как? — раздался голос Ивана Дмитриевича. — Скоро ты закрутишь свою шарманку? — входя в палатку, обратился он к Эрнесту.

— Еще немного, — ответил Кренкель, — кислота уже начала пениться.

Я вышел от Кренкеля и увидел Бабушкина и Спирина, устанавливающих палатку для жилья.

— Ты чего же, — добродушно обратился ко мне Бабушкин, — жить на полюсе собираешься, а дом строить не хочешь.

Я выпил наскоро чашку чая и стал помогать товарищам устанавливать палатку. Отто Юльевич, увидев, что мы начали обкладывать палатку снежными кирпичами, присоединился к нам. Вчетвером мы быстро закончили сооружение нашего дома... Затем накачали воздух в резиновые матрацы, расстелили их на снежном полу палатки, внесли четыре спальных мешка: Шмидта, Спирина, Бабушкина и мой, и наш дом сразу принял жилой, даже уютный вид.

Прошло уже 10 часов, как мы сели на полюс. За это время сильным ветром нас отнесло километров на десять в сторону Гренландии. Наши координаты были  $89^{\circ} 41'$  с. ш. и  $87^{\circ}$  з. д. Бойко работал трехсильный моторчик «В-3». Он крутил динамку, заряжал аккумуляторы.

Из самолета вылез расстроенный Сима.

— Я сейчас слушал Рудольф. Он нас непрерывно зовет, — сказал он.

— А ты, Сима, не слушай, расстраиваться не будешь, — успокаивал я его и добавил: — Скоро Кренкель заработает, тогда свяжемся. Пойдем к нему, узнаем, как там дела.

По дороге к Кренкелю нас встретил Иван Дмитриевич.

— Послушай, браток, — взяв меня за руку, сказал он. — Отдай мне парашют, который оборвался. Он все равно тебе теперь не нужен, а мне он необходим до-зарезу. Я должен сделать из снега радиостанцию, а покрыть ее нечем.

Конечно, я не мог отказать в такой просьбе Папанину.

— Вот спасибо! — горячо пожал мне руку Иван Дмитриевич. — Я тебя за это угощу мировым обедом.

И, не откладывая в долгий ящик, Иван Дмитриевич тут же забрал парашют.

Мы зашли в палатку Кренкеля.

— Еще немного подзаряджу и начну, — ответил Кренкель, предугадывая наш вопрос.

Вслед за нами в палатку вошел Широшов.

— Послушайте, товарищи, — сказал я, — только сейчас вспомнил! Ведь я же вас всех троих снял со льдины.

— А вот теперь ты нас и посадил на льдину, — смеясь, ответил мне Кренкель.

— Я вас породил — я вас и посадил, — становясь в позу Тараса Бульбы, сказал я.

★

... Прошло двенадцать часов с момента, как оборвалась связь зимовки с самолетом.

Стромиллов сидел в радиорубке, ни на секунду не прекращая работы. Он слушал на всех волнах самолет «Н-170», ловил станцию Кренкеля. Стромиллов хорошо знал волны, на которых работают Иванов и Кренкель.

Вдруг Стромиллов настроился и замер. В наушниках он услышал знакомые звуки. Он чуть-чуть повернул ручку конденсатора. Прислушался... и неистовый крик: «Зовет!» — потряс стены радиорубки.

Все, кто находился в соседней комнате, повскакали со своих постелей и, в чем были, кинулись к Стромилову.

— Не мешайте! Не мешайте! — не оборачиваясь, торопливо выкрикивал Стромилов. Он схватил трубку телефона, передал в машинное отделение, чтобы дали мотор, начал что-то выстукивать ключом, затем снял наушники и стремительно выбежал из радиорубки.

Никто никогда не видел таким Стромилова. Он отличался своим спокойствием. Но на этот раз он вел себя, точно одержимый.

В соседнем доме все спали. Стромилов пулей влетел в дом и неистовым голосом заорал:

— Вставайте, Марк Иванович!

Все, как встрепанные, повскакали со своих мест.

— Станция моя! Сели, гады!.. — выкрикивал возбужденный Стромилов.

— Что с тобой? Кто сели? Какие гады? Успокойся, милый!

Но Стромилова трудно было успокоить:

— Аккумуляторы сели! Моя станция! Связался. Они на полюсе! — выпалил он и стремительно умчался обратно в радиорубку. За ним помчались все остальные. Через минуту в радиорубке собралось все население острова Рудольфа. Стромилов, надев наушники, принял первую радиограмму с полюса: «Все живы. Самолет цел. У Симы сгорел умформер. У меня сядились аккумуляторы. Если связь прервется, то вызывайте в полночь. Отто Юльевич пишет телеграмму. Лед — мировой! Кренкель».

★

... Сидя на запаянном бидоне с удовольствием, Отто Юльевич держал на коленях тетрадь и писал радиограмму. Мы, окружив Кренкеля, наперебой просили передать товарищам наши приветы. Отто Юльевич кончил писать и подошел к нам. Мы все притихли. Своим ровным, спокойным голосом Отто Юльевич начал диктовать Кренкелю радиограмму в Москву и на остров Рудольфа.

★

Первую ночь на полюсе мы спали поистине богатырским сном. В спальнях меховых мешках было так тепло, что мы совершенно не чувствовали мороза.

Разбудил нас неугомимый Папанин. Он уже успел сделать массу дел, и сейчас он принес нам чаю и галет.

— Выпейте пока горячего чаю, — предложил нам любезный хозяин полюса, — а через 10 минут я сделаю яичницу.

— Иван Дмитриевич, как погода? — спросил Шмидт.

— Плохая! — ответил тот, — туман, ничего не видно.

Бабушкин разжег примус, и через две минуты в палатке стало настолько тепло, что мы могли вылезать из мешков, в которых спали в одном белье, и спокойно, не ежась от холода, одеваться.

— Который час, кто знает? — спросил я товарищей.

— Десять, — уверенно ответил Иван Тимофеевич.

— Утра или вечера? — переспросил я.

— По-моему, утра, — теперь уже неуверенно протянул он.

— А по-моему, вечера. Мы спали часов двадцать, не меньше.

— Нет, не может быть, Михаил Васильевич. Сейчас, должно быть, утро. В разговор вмешался Бабушкин:

— Солнце здесь кружится над нами на одной высоте. Правда, сейчас его не видно, но это неважно, так как по нему все равно трудно определить. Ведь льдина, на которой мы сидим, тоже кружится.

Так мы и не решили, что сейчас—утро или вечер.

Только по радио или по хронометру, который был у нас в самолете, мы могли точно определить время дня и ночи.

Свернув спальняные мешки, мы положили посреди палатки большой лист фанеры, который служил нам столом, и, кто лежа, а кто сидя, начали пить чай.

— Есть радостная радиограмма, Отто Юльевич, — появляясь в палатке, сб'явил Кренкель.

Мы сразу заволновались, предчувствуя, от кого эта радиограмма. Отто Юльевич быстро пробежал ее глазами.

Через две-три минуты первые тридцать жителей Северного полюса провели свое первое собрание. Мы стояли, стараясь не проронить ни одного слова радиограммы, которую читал наш начальник:

«... Партия и правительство горячо приветствуют славных участников полярной экспедиции на Северный полюс и поздравляют их с выполнением намеченной задачи — завоевания Северного полюса.

Эта победа советской авиации и науки подводит итог блестящему периоду работы по освоению Арктики и северных путей, столь необходимых для Советского Союза.

Первый этап пройден, преодолены величайшие трудности. Мы уверены, что героические зимовщики, остающиеся на Северном полюсе, с честью выполняют порученную им задачу по изучению Северного полюса.

Большевистский привет отважным завоевателям Северного полюса!

*И. Сталин, В. Молотов, К. Ворошилов, Л. Каганович, М. Калинин, В. Чубарь, А. Микоян, А. Андреев, С. Косиор, А. Жданов, Н. Ежов».*

... Мы стояли под открытым небом, сняв шапки, не чувствуя мороза, не замечая снегопада.

Когда Отто Юльевич закончил чтение радиограммы, раздалось дружное «ура» в честь товарища Сталина, партии и нашей родины. Мы немедленно составили ответ.

От имени всех товарищей радиограмму подписали Шмидт, Папанин и я.

... Несмотря на огромное расстояние, отделявшее нас от Большой земли, мы не чувствовали себя оторванными. Ежедневно мы получали массу телеграмм со всех концов нашей необъятной страны. Колхозники, рабочие заводов и фабрик, красноармейцы и командиры, пионеры и ученые слали нам, своим соотечественникам, пламенные приветствия.

Приятно было нам получать эти братские приветствия. Они как-то особенно подбадривали нас.

23 мая мы стали делать во льду прорубы. Она нужна была Ширшову для измерения глубины океана. Толщина льдины оказалась в три метра. Вдруг к нам подошел Кренкель.

— Товарищи, я видел пуночку! — сказал он.

— Ты, Эрнест, брось нас разыгрывать, — продолжая долбить лед, ответил я. — Откуда сюда может прилететь этот маленький воробышек?

— Не знаю, откуда, — развел руками Кренкель, — но я своими глазами видел ее около продовольственной палатки. Я даже чуть не поймал ее!

Мы подняли Эрнеста на смех и не поверили ему.

★

Мы живем на полюсе уже четвертые сутки. Жизнь течет однообразно. Так как основные грузы папанинской станции — научное оборудование — находятся на трех остальных кораблях, работы у нас мало. С нетерпением ждем товарищей.

Но, как только мы сели на полюс, погода начала портиться. Бесперывные туманы, снегопады, ветры, пурга не позволяли нам вызвать с Рудольфа остальные самолеты.

К вечеру 25 мая со стороны Америки показалось голубое небо, ветер стих.

На Рудольфе механики приступили к подготовке самолетов к полету на полюс. Погода на Рудольфе была не очень хорошая. Шевелев дал распоряжение летчику Крузе вылететь в разведку, и тот немедленно пошел в воздух.

Перелетом второй группы руководил заместитель начальника экспедиции товарищ Шевелев. Командиром флагманского корабля был назначен Герой Советского Союза товарищ Молоков.

Погода над островом была плохая, но командиры самолетов решили вылетать, не дожидаясь хорошей погоды. Первым, в 23 ч. 15 м., поднялся самолет «СССР Н-171»; взлет был очень трудным. Так как командиры кораблей условились итти в зоне радиомаяка и встретиться у кромки облаков, Молоков, поднявшись в воздух, отлетел немно-



го в сторону — к радиомаяку, не делая круга, вошел в зону, и, взяв направление на север, лег на курс.

У кромки облаков Молоков стал описывать круги, дожидаясь остальных двух кораблей.

Через несколько минут из облаков вынырнула машина Алексева. Теперь на условленном месте встречи нехватало только Мазурука. Время шло. Корабли, один за другим, делали круги. Моторы сжигали бензин, каждый грамм которого был на учете, а самолет Мазурука не появлялся.

Что же случилось с Мазуруком?

Желая поскорее догнать Молокова и Алексева, Мазурук, поднявшись в воздух, не пошел к радиомаяку, а решил срезать угол, пролететь за кромку облаков и только там войти в зону маяка. В результате получилось так, что Мазурук обогнал Молокова и Алексева. Выйдя из облаков и не встретив там первых двух кораблей, Мазурук подумал, что Молоков и Алексеев, не дождаввшись его, ушли вперед. Тогда он вошел в радиозону и пошел на север, стараясь догнать товарищей. А в это время Молоков и Алексеев продолжали все кружиться у кромки облаков.

Наконец, прошли все сроки ожидания. Обратное возвращаться на Рудольф было опасно. Тогда Марк Иванович дал распоряжение лететь на полюс, а на Рудольф сообщить, что самолеты легли на курс. Непосредственной связи с Мазуруком Шевелеву установить не удалось.

А примерно на полдороге Алексеев стал отставать от Молокова. Хотя Молоков и убавил скорость со 180 км. до 160 км., но Алексеев все отставал, и вскоре самолет Молокова скрылся из виду. В конечном итоге получилось так, что все три корабля шли самостоятельно.

Погода была ясная. С большим вниманием следили мы за полетом этой тройки. Со стороны погоды им ничто не угрожало. А в работе материальной части мы были уверены. Нас беспокоило только одно: найдут ли они нас. Радиостанция Кренкеля не имела той волны, на которой можно было бы пеленговать идущие самолеты. А наша

бортовая рация вышла из строя еще при посадке. Решение задачи ложилось исключительно на штурманов.

На борту корабля Молокова радиостом летел Стромиллов. Он непрерывно держал связь с землей и с нами. Первую радиограмму о вылете самолетов на полюс мы получили с Рудольфа от начальника зимовки товарища Либина. В 5 ч. 48 м. Шевелев радировал нам: «Достигли полюса, мы счастливы и горды. Разворачиваемся над полюсом. Идем к вам. Ждите, скоро будем».

Бабушкин с механиками приготовили! аэродром для приема самолетов.

Все вышли из палаток и пристально всматривались в беспредельную синеву горизонта, в ожидании появления там черных точек.

Мы все увидели, далеко на горизонте, едва заметную точку. Самолет!

Сделал два круга, благополучно приземлился. Мы все бросились к самолету приветствовать товарищей. Объятиями и поздравлениями встретили мы новых жителей Северного полюса.

Тут же была получена радиограмма от Алексева. Он просил разжечь костры так, чтобы было много дыма; Алексеев кружился где-то около нас. Шевелев немедленно радировал Алексеву: «Молоков сел около Водопьянова. Если явится малейшее сомнение увидеть нас, немедленно садитесь, точно определитесь, — а потом перелетайте в лагерь».

Больше всего нас беспокоила судьба третьего самолета. Мы не знали, где находится Мазурук. Связи с ним не было. Единственная радиограмма была получена от него радиостанцией на острове Уединения еще в начале полета. В ней Мазурук сообщал, что у него все в порядке, но с тех пор прошло много времени.

И только поздно ночью с острова Диксона мы получили радиограмму, в которой они сообщали, что Мазурук благополучно сел в районе полюса, что он приступил к ремонту площадки и просит передать привет от всего экипажа. Он находился от нас на расстоянии 55 км. Мы ломали себе голову, строя самые различные предположения

по поводу непрохождения радиоволн. Но на этот вопрос не только мы не смогли ответить, но и его сю пору он является тайной для науки.

★

К утру следующего дня пурга, начавшаяся тотчас же после прилета Молокова, стихла. Мы немедленно сообщили Алексеву о предполагаемом улучшении погоды.

Через два часа погода настолько улучшилась, что можно было вылетать.

Вскоре Алексеев благополучно посадил машину на папанинский аэродром. И во-время, ибо буквально вслед за его посадкой та же невидимая сила снова накрыла нас облачным колпаком, — погода испортилась.

По случаю прилета Алексеева Иван Дмитриевич закатил для прилетевших торжественный обед.

Но вообще Иван Дмитриевич не отличался большой щедростью. На следующий же день после нашего прилета он снял нас всех со своего довольствия.

— Живите на собственные средства, — сказал он нам. — У вас на каждом самолете имеется неприкосновенный запас, а мне здесь со своими иждивенцами целый год сидеть надо.

Мы не стали спорить с Иваном Дмитриевичем, его доводы были вполне резонны.

... Алексеев доставил Ивану Дмитриевичу солидный запас продовольствия, 1200 литров бензина в резиновых баллонах и дом — большую черную палатку с белой надписью: «СССР — Дрейфующая Экспедиция Главсевморпути».

Несмотря на то, что на Северном полюсе жилищное строительство разворачивалось полным темпом, все же оно не поспевало за ростом населения. С прилетом Алексеева на полюсе стало 29 жителей. Погода стояла теплая, всего 8° мороза, и можно было отдыхать под открытым небом, забравшись в меховой мешок. Планировку строительства взял на себя, конечно, Иван

Дмитриевич. Одна улица у него называлась Самолетная, другая — Советская, третья — Складочная, а площадь в центре поселка называлась Красной площадью.

Оборудование полярной станции подошло к концу. У людей появилось больше свободного времени. Ширишов и Федоров вели планомерную научную работу, но больше всех работал кинооператор Трояновский. Он, что называется, сбился с ног. На Северном полюсе было так много объектов для съемки, что ему было трудно всюду поспеть.

В дни, когда бывала хорошая погода, солнце так пригревало, что многие из нас, сняв рубашки, принимали солнечные ванны. И на Северном полюсе тело скоро покрывалось загаром.

Как-то раз во время приема солнечных ванн у самолета Молокова раздался радостный крик Ритслянда: «Поймал! Поймал!».

— Что поймал? — спросили мы его.

Ритслянд подошел к нам с консервной банкой и, к величайшему нашему изумлению, вынул оттуда маленькую живую птичку.

— Пуночка! — в один голос воскликнули мы. Оказывается, Кренкель был тогда прав, говоря, что видел пуночку. Возможно, мы привезли ее в крыле самолета.

Так было поймано первое живое существо на Северном полюсе, в том месте, где многие утверждали, что нет никакой жизни. А за несколько дней до поимки пуночки мы видели чистика, летавшего над разводьем. А Ширишов поймал в воде бокоплавов.

Последние дни радиостанция Кренкеля, три бортовых рации, а также все радиостанции западного сектора Арктики непрерывно шарили в эфире в поисках позывных Мазурука. Но непосредственной связи установить с ним мы не могли.

После перелета наших самолетов с Рудольфа на Северный полюс в наших машинах осталось горючего ровно столько, сколько нужно на обратный полет до острова Рудольфа. Тем не менее мы все же решили послать одну машину на поиски Мазурука.

29 мая выдалась солнечная, безоблачная погода. Самолет «Н-171» легко оторвался от аэродрома и начал набирать высоту. Молоков около часа кружился над ледяной равниной; обследовав 30-мильный район и нигде не обнаружив Мазурука, он повернул обратно к лагерю. И в тот момент, когда Молоков шел на посадку, Стромиллов, сматывая антенну, вдруг услышал отрывочные сообщения самолета Мазурука. Но ничего нельзя было сделать, антенну необходимо было убрать, так как через минуту самолет должен был приземлиться.

Но все же первая весточка от Мазурука была получена: «Все в порядке. Работу радиостанции самолета Молокова слышу. Основной приемник испорчен. Буду работать в 20 часов на волне 625».

... В 20 часов не только радисты Кренкель, Иванов, Стромиллов и Жуков чутко прислушивались к звукам радио. В назначенное время удалось установить двухстороннюю связь с Мазуруком. Он передал, что весь экипаж здоров, настроение бодрое, завтра они кончат расчистку аэродрома от торосов и при первом прояснении погоды вылетят к нам в лагерь.

Но Арктика все же заставила нас понервничать шесть долгих дней, прежде чем прилетел Мазурук. Только 4 июня вечером в сером небе появились голубые просветы.

Всю ночь с 4 на 5 июня Отто Юльевич, Спирин, Шевелев и я разговаривали по радиотелефону с Мазуруком и его экипажем. Давали указания о перелете, сообщали свои координаты, силу и направление ветра.

К утру погода стала вполне летной. К радиотелефону подошел Отто Юльевич и сказал Мазуруку: «Советую вылетать». Тот ответил: «Вылетаю» — и попросил дать пеленг.

Наши взоры обратились к далекой маленькой точке на облачном горизонте.

Вот он идет уже прямо на нас, все ближе и ближе. Гул моторов все нарастает... Еще несколько минут... И самолет «Н-169» кружит над нами.

Мазурук осторожно подвел самолет к самому «Т» и классически посадил свою машину.

Первым из самолета выскочил с радостным лаем четвероногий пассажир — овчарка «Веселый».

— Веселый! — крикнул Папанин.

Собака сразу узнала своего хозяина и бросилась прямо к нему на грудь.

— Все в порядке! — выходя из самолета, сказал Мазурук, — 68 ропавков скovyрнули!

За ним из самолета вышли остальные товарищи: второй пилот Козлов, парторг Догмаров, штурман Аккуратов, механик Шекуров и Матвеев.

Когда слышала первая волна радости, прилетевшие прежде всего осмотрелись вокруг. Они не ожидали увидеть всего того, что было перед их глазами. Папанинский лагерь напоминал большую новостройку: 13 палаток, из них основной дом зимовки, радиорубка, камбуз, склады, метеобудка, ветряк, горы припасов, оборудования, горючего; на аэродроме четыре огромных корабля. И мы сами напоминали своим видом коренных жителей полюса.

С прилетом Мазурука вся экспедиция была в полном сборе.

Под руководством Папанина механики всех кораблей приступили к выгрузке последней партии имущества из оборудования станции. Больше всех ликовал Ширшов: Мазурук привез ему долгожданную лебедку для гидрологических наблюдений. Он сразу принялся за ее установку.

Позднее мы узнали, что глубина океана на Северном полюсе — 4 290 метров.

Когда все снаряжение было выгружено, мы стали подсчитывать, сколько же груза было привезено на льдину. И тут, совершенно неожиданно, оказалось, что Папанин вместо положенных ему 8 250 кг. умудрился доставить на полюс свыше десяти тонн.

Мы все уставились на Ивана Дмитриевича. Он виновато опустил глаза и, лукаво улыбаясь, развел руками:

— Я и сам не знаю, как это случилось! Но вы не огорчайтесь, я ду-

маю, что все это мне в хозяйстве пригодится.

Каждый килограмм своего имущества Иван Дмитриевич тщательно проверил. Чего только тут не было. Среди вещей можно было найти пишущую машинку, шахматы, бритвы, научные приборы, книги, кастрюли, оружие, мануфактуру, клиперботы, карты, стулья и тысячи других предметов.

Иван Дмитриевич даже взял с собой на полюс печать. Смеясь, он говорил: «Моя канцелярия должна работать по всей форме». И он штемпелевал все письма, которые мы должны были доставить в Москву, на Большую землю.

Как только разгрузка была закончена, сразу приступили к подготовке самолетов в обратный путь. Мы стали подсчитывать наличие горючего. При подсчете выяснилось, что у Молокова и у меня на обратный путь бензина хватает, но у Алексеева и у Мазурука его недостаточно.

По предложению Мазурука и Алексеева решили так: лететь до тех пор, пока хватит горючего. До 84-го градуса или даже до 83-го нам его хватит. На той широте найти подходящую льдину и сесть на нее. А кто-нибудь привезет бензин. Таким образом машины будут спасены.

Приближался момент расставания с папанинцами. За время экспедиции мы еще крепче полюбили их и сроднились с ними. Близость разлуки наполняла наши сердца еще большей нежностью к отважной четверке.

... В 2 часа ночи, когда все машины были готовы к отлету, мы собрались на Красной площади папанинского городка, между основной палаткой и складом. Отто Юльевич поднялся на нарты, которые служили трибуной, а мы все, остальные 34 участника экспедиции, окружили его.

— Открываю митинг, посвященный окончанию работ по созданию научной станции на дрейфующем льду Северного полюса. Мы все глубоко пережили эти месяцы, когда выполняли большое и трудное дело, доверенное нам страной. Мы счастливы, что осуществили задание товарища Сталина, что мы

добыли новую славу нашей родине, что еще ярче засверкали слова «СССР» во всем мире.

Вслед за Шмидтом на нарты встал Папанин, начальник первой, невиданной в мире зимовки. Просто, но глубоко-волнующе говорил Иван Дмитриевич:

— От имени четырех остающихся здесь сынов социалистической родины я прошу Отто Юльевича передать товарищу Сталину, что мы с честью выполним задание и оправдаем доверие, оказанное нам.

... Будьте спокойны за нас, дорогие друзья. Трудности нас не страшат. Вы улетаете, но мы не остаемся одиночками, — мы чувствуем поддержку всей нашей страны, всего советского народа.

До свиданья, друзья! Спасибо вам за все!

Когда Иван Дмитриевич сошел с «трибуны», Отто Юльевич сказал:

— Научную зимовку на дрейфующей льдине в районе Северного полюса объявляю открытой. Поднимите флаги!

6 июня устройство научной станции на дрейфующей полярной льдине закончено. Станция торжественно открыта подъемом флага, пением «Интернационала», салютом и «ура» в честь СССР и товарища Сталина.

... По последним полученным сводкам, погода на Рудольфе удовлетворительная, купол открыт. А Крузе, прилетевший на 85°, чтобы сообщить нам состояние погоды, радировал: «Облачность полная. Высота 600 метров. Видимость 20 километров».

— Отто Юльевич! — обратился я к Шмидту, — надо торопиться с вылетом, пока еще не испортилась погода на Рудольфе.

— Я вас не задерживаю, — ответил Шмидт. — Если в такую погоду можно вылетать, — пожалуйста, я готов.

— По машинам! — отдал я команду. Через десять минут все шестнадцать моторов грохотали, поднимая винтами снежные вихри.

Снежный заряд прошел, и мы один за другим пошли в воздух.

Четыре самолета в воздухе. Четыре человека на льдине.

Сверху мне хорошо был виден весь городок. На мачте развевался по ветру красный советский флаг.

Четыре крохотных человеческих фигурки стояли на опустевшем аэродроме, провожая удалявшиеся самолеты...

★

Мы держали непрерывную связь между самолетами.

Шли над сплошными облаками, под нами расстилалась белая холмистая равнина.

На 84° Алексеев вызвал по радиотелефону Отто Юльевича. Сообщив, что бензин подходит к концу, он попросил разрешения, как было условлено, итти вниз искать льдину для посадки. Отто Юльевич дал согласие.

В это время Мазурук по радиотелефону попросил разрешения итти за нами, так как с той скоростью, с которой мы шли, у него должно хватить горючего до Рудольфа.

Пока мы совещались с Отто Юльевичем, Алексеев вышел из строя, за ним Мазурук, и с высоты 1500 метров стали планировать вниз.

Я хорошо видел, как машина Алексеева скрылась в волнистых облаках. Ее, как бы бушующее море, поглотили облака. За Алексеевым стал погружаться в облака и Мазурук. Но в этот момент он получил разрешение Шмидта следовать за нами. Его самолет стремительно выскочил из облаков, догнал нас и стал в строй.

... До острова осталось шесть минут лета. Над островом стелется туман. К счастью, самый склон еще не совсем закрыт, и три машины, одна за другой, благополучно садятся.

Все отправились вниз на базу, а я решил остаться на аэродроме, чтобы лично руководить полетами на выручку Алексеева.

Но вскоре после нашего прилета на Рудольфе погода совершенно испортилась, и мы не могли вылететь к Алексееву.

Для доставки бензина на самолет Алексеева был приготовлен разведыва-

тельный двухмоторный самолет Головина. Его экипаж, вместе со мной, жил в домике на аэродроме, чтобы не упустить малейшей возможности полета.

Алексеев по радиотелефону передал нам, что над ними пролетел Крузе и чтобы мы готовились к его встрече.

В ответ мы сообщили, что к ним вылетел Головин.

Снова был включен радиомаяк, в эфир понеслись непрерывные сигналы, указывая самолету правильный воздушный путь к острову.

Мы все выбежали из помещения, напряженно всматриваясь в светлый горизонт.

Через некоторое время на горизонте показалась точка, затем она превратилась в тире, все ближе и ближе... наконец Головин сделал круг над аэродромом и сел.

В 1 час. 45 м. утра мы получили радиограмму от Алексеева, адресованную нам и в Москву: «Последний корабль Северной воздушной экспедиции покидает центральный район Северного Ледовитого океана. Видны берега архипелага, скоро остров Рудольфа».

... После прилета Алексеева нас больше всего интересовала погода на Москву.

... Проходят два дня. Летчики и механики дежурят на аэродроме, готовы вылететь каждую минуту, но нам мешала погода. Амдерминцы нас торопили — они ежедневно, на тракторах, из оврагов, подвозили снег и закидывали проталины. Но весеннее, яркое солнце быстро уничтожало плоды их работы.

Наконец 18 июня Дзержиевский сообщил нам, что на Новой Земле и Амдерме погода хорошая — надо торопиться с вылетом. Но в это время, через купол острова, проходил мокрый туман. Моторы были все запущены, опробованы, и мы ждали момента просветления, чтобы один за другим, не теряя ни минуты, подняться в воздух. Для возвращения в Москву были назначены четыре машины: три четырехмоторные и одна двухмоторная — Головина. Мазурук со своей машиной должен был остаться на Рудольфе и быть

готовым в любой момент, если это потребуется, вылететь к Папанину.

Конечно, если бы не угроза таяния снега в Амдерме, мы не стали бы торопиться с вылетом.

Через 6½ часов мы увидели Амдерму. Видимость была хорошая. Было тепло.

Ветер был боковой. Хотя мы рисковали зацепиться друг за друга при посадке, но нам всем повезло. Сели хорошо. Как мы не поломали самолеты, я уж и сам не знаю.

Через три дня ледокольный пароход «Садко» привез нам колеса. Но наш вылет неожиданно задержался. Впрочем на этот раз причина задержки была настолько приятной, что мы даже не пожалели об отодвигающейся встрече с родной Москвой.

Мы не могли лететь только потому, что все радиостанции были заняты тем, что ловили в эфире сигналы Чкалова, Байдукова и Белякова.

Краснокрылый самолет мчал их из Москвы через Северный полюс в Северную Америку.

Еще одна замечательная победа родной авиации!

В приподнятом настроении мы 22 июня вылетели из Амдермы. Стартовали с того самого аэродрома, на который всего несколько дней назад садились на лыжах.

Наступила настоящая весна...

Архангельск встретил нас ясным небом, солнцем, цветами. Вылетели мы из Амдермы при 5° тепла, а в Архангельске оказалось 25°.

Экспедиция пробыла в Архангельске два дня. После ледяного безмолвия Арктики этот город показался нам очень шумным и светливым.

25 июня мы поднялись в воздух и взяли курс на Москву.

Неужели мы сейчас будем дома? Всего три месяца прошло с тех пор, как в холодное мартовское утро флагштурман полярной экспедиции дал курс норд. А кажется, что прошла целая яркая, полная напряженной борьбы со стихией, жизнь.

Ровно в 17 часов четыре самолета строем появились над Москвой.

Мы увидели в толпе нарядных, веселых москвичей, радостно взволнованные лица родных и близких. Но мы, пристально вглядываясь в толпу, искали вдохновителя и организатора нашего полета. Его задание, задание родины мы выполнили. И он, вождь народов, приехал встретить нас. Какой теплотой светились его глаза, когда он по очереди обнимал нас! Спасибо тебе, родной Сталин! Это тебе обязаны мы нашей победой, победой всей страны.

Переходя из объятий в объятия, мы, оглушенные дружным хором приветствий, нагруженные огромными букетами живых цветов, прошли на трибуну.

Начался митинг.

Участников высокоширотной экспедиции приветствовал от имени партии и правительства член политбюро товарищ Чубарь. Ему отвечал Отто Юльевич Шмидт.

Когда я услышал свой голос, он показался мне чужим, только слова давно-давно знакомые, — сколько раз я мысленно повторял их, рисуя встречу с родными, друзьями, знакомыми.

А сейчас я говорю с трибуны, и меня слушают тысячи, меня слушает товарищ Сталин!

... Не помню, как я покинул трибуну.

Увитый гирляндами цветов автомобиль мчал нас по нарядным улицам Москвы. Давно ли мы пробивались на самолетах сквозь пургу? Попали в Москву, и снова наши машины засыпает густой-густой «снег».

Машины продолжают свой стремительный бег по улице Горького, пробиваясь сквозь снежный вихрь приветственных листовок.

Дети не сводили с меня сияющих глаз. Они соскучились без меня. Мишук крепко прижался ко мне. Он уже простил мой невольный обман: так ведь и не привез я ему обещанного медвежонка.

В этот же вечер все участники экспедиции вместе с семьями были на приеме в Кремле.

## Джамбул и его поэзия

(К 75-летию творческой деятельности)

А. ВЛАДИН

★

В советской поэзии замечательный акын Казахстана Джамбул занял одно из первых мест; его знают, любят миллионы читателей и слушателей. Джамбул, — глашатай народных дум, чувств и чаяний, великий и подлинно народный поэт-импровизатор. Нет события в жизни нашей страны, на которое не откликнулся бы Джамбул с юношеским жаром и глубоким поэтическим волнением. Как и Сулейман Стальский, он словно олицетворяет собой понятие «поэт» в самом высшем смысле этого слова — такого поэта, который является голосом народа, голосом страны. И творческая судьба Джамбула доказывает, что таким поэтом может быть лишь поэт, который кровно связан с народом.

Говорить о Джамбуле — значит говорить о глубинных родниках народной казахской поэзии, о песнях и легендах, которые народ создавал и лелеял веками, о могучем взлете народного творчества в наши дни. Джамбул неотделим от народной поэзии Казахстана: он — ее высшее проявление, ее гордость и сила. В могучем даровании Джамбула нашел свое выражение народный гений казахов, которые в продолжение многих столетий скрашивали свою безысходную жизнь песнями.

Джамбул — весь в атмосфере фольклора, его песня возникает из глубин народного творчества и продолжает лучшие традиции народного искусства. Не умея ни писать, ни читать, Джамбул

обладает богатейшей памятью. Он помнит наизусть большинство легенд, сказок и песен казахов, может читать на память тысячи строф из киргизского эпоса «Манас», без труда вспоминает одну за другой арабские сказки из «Тысячи и одной ночи», знаком с «Шах-Намэ» Фирдоуси. Все творчество Джамбула — это сегодняшний день устной народной поэзии. Джамбул соединяет в своем лице акына — певца-импровизатора, слагающего новые песни, и жирши — сказителя, сохранившего в памяти лучшие образцы народного творчества и исполняющего их.

Джамбул и Сулейман Стальский — это первенцы нового золотого века искусства, искусства народного. А. М. Горький, понимая все значение народной поэзии и провидя ее великое будущее, восторженно встретил певцов-импровизаторов типа Сулеймана Стальского и Джамбула.

«Берегите людей, способных создавать такие жемчужины поэзии, какие создает Сулейман» — завещал он, выступая на первом Всесоюзном съезде советских писателей. И страна берегла Сулеймана; страна бережет и чтит Джамбула.

Казахские степи были одной из наиболее отсталых и закабаленных колоний Российской империи. До революции 98 проц. казахов были неграмотны. Лучшие образцы казахской литературы — от героических былин о батырах до революционных песен о всеказах-

ском восстании 1916 г. — оставались в устной форме, в фольклоре. Передаваемое из поколения в поколение, непрерывно пополняемое, «устное художественное творчество трудящихся служило единственным организатором их опыта, воплощением идей в образах и возбудителем трудовой энергии коллектива» (Горький).

Существует легенда об Асане Кайгы, народном певце, жившем в средние века. Образ этого, повидимому, действительно существовавшего гения народной песни оброс легендой, и сам акын мало-помалу превратился в один из поэтических образов казахского фольклора. Асан Кайгы — это вечный скиталец. Он обезжает на одногорбом верблюде весь белый свет в поисках волшебной страны «Жер-уюк». Ни ветры, ни стужи, ни бураны не могут остановить вдохновенного искателя правды; он скитается и поет. «Жер-уюк» — это обетованная страна, золотой век, вечно благоухающая степь, где нет насилия и несправедливости, где бедняки становятся счастливыми и богачами. В этом земном раю «даже жаворонок может свить гнездо на спине барана, и его птенчикам будет тепло и уютно». В своих песнях, — говорит легенда, — Асан Кайгы рассказывал о вековой горе казахского народа. Гневные и страшные песни обращал он к казахскому хану. Асан Кайгы обвинял хана во всех несчастях и бедствиях, которые терпел казахский народ.

Лучшие акыны Казахстана, равняясь по легендарному Асану Кайгы, поставив его перед собой, как идеал акына, были верны народу. Их песни глубоко западали в народную память, выдерживали испытание временем, варьировались, дополнялись, видоизменялись и даже становились в конце-концов безымянными. Именно это свойство народной памяти сохранять лучшее из того, что создавалось, способствовало появлению изумительных по красоте и глубине поэтических творений. Вручая в Кремле в 1936 году ордена деятелям казахского и украинского искусства, М. И. Калинин отметил как-раз эту сторону народного искусства. «Несомненно, самым высо-

ким видом искусства, — сказал он, — самым талантливым, самым гениальным является народное искусство, то-есть то, что запечатлено народом, что народом сохранено, что народ пронес через столетия. Вы понимаете, что в народе не может сохраниться то искусство, которое не представляет ценности. Народ — это все равно, что золотоискатель, он выбирает, сохраняет и несет, шлифуя на протяжении многих десятилетий, только самое ценное, самое гениальное».

Как бы черпая из сокровищницы народных дум, народных чувств алмазы своих песен, акыны возвращали их в ту же народную сокровищницу отшлифованными, отграненными.

Так складывается казахский эпос — поэмы мирового значения: «Кыз-Жибек», «Козы Корпеш и Баян Слук», легенды о батырах Кобланды, Ер-Саин, Ер-Таргын, Шора и др. Через все эти легенды и народные поэмы казахов проходит бессмертная мечта о волшебной стране народного счастья. Лучшие акыны и жирши Казахстана были носителями народной правды и народной мечты. Не случайно во главе восстания казахов против хана Джангера в XIX веке стал акын Махамбет; он призывал народ к восстанию против хана и против царской колониальной политики. Песни Махамбета — это песни измученного народа, взявшего в свои руки оружие и решившего отчаянно бороться до конца.

Народная поэзия и ее носители — акыны и жирши — подвергались преследованиям со стороны ханов, баев, мулл и царских чиновников. В казахском народном искусстве нет ни одного крупного певца, поэта, композитора, который не был бы гоним. Один из талантливейших певцов и композиторов, Курман Газы, был дважды заточен в Оренбургскую крепость и закован в кандалы. Акын Махамбет после долгих преследований был схвачен и зверски растерзан ханскими приспешниками. Народный акын Жайау Муса жил в том уезде, где самодурствовал феодал Шорманов Муса. Этот феодал — тезка акына — надменно заявил: «В моем уезде не может быть человека с именем,



похожим на мое». Он отобрал у акына единственную лошадь и повелел именовать его «пешим». Но Муса продолжал выступать с дерзкими песнями и был сослан в сибирские рудники. За свободные песни ханы и их челядь убивали певцов, заточали их в крепости, выкалывали глаза, вырывали языки.

Песню гнали, глушили, давили, но она вставала и росла снова. Увидев, что с песней не расправишься, что песню не убьешь, — колонизаторы, царские чиновники, феодалы, богачи-баи пытались подкупить песню, поставить ее на колени, заставить служить правящему классу. Это не удавалось им потому, что те поэты и певцы, которые, потеряв честь, прославляли богачей и поработителей, теряли уважение народа. Народ смеялся над ними, лишал их священного имени поэта, переставал с ними считаться.

Уже в наше время, отлично учитывая огромную культурную и агитационно-пропагандистскую роль фольклора, враги народа всех мастей и оттенков пытались систематически исказить фольклор или пользовались внешней формой фольклора для проповеди контрреволюционных идей. На это в свое время обратил внимание А. М. Горький. «Надобно особенно зоркое внимание, — писал он, — обратить на многочисленные попытки пользоваться материалом фольклора в целях контрреволюционных и узко-националистических, что ведет к вытравливанию и порче общечеловеческих — интернациональных тем фольклора».

До революции собиратели казахского фольклора Ильминский, Алекторов и др. пытались путем фальсификации и искажения его оправдать колонизаторскую политику русского империализма. Националисты также приложили свои грязные руки к фольклору. Поэт-националист Магжан Жумабаев, воспевая в своих поэмах погромщиков и предателей, имитировал язык сказок и народных легенд, пытался украшать свои произведения образами и сравнениями, украденными из фольклора. Алаш-ордынский «теоретик» Досмухамедов утверждал, что Октябрьская ре-

волюция принесла народной поэзии смерть.

Но клевета врагов, псевдонаучные рассказы о том, что песенное творчество в Казахстане якобы иссякло, были опровергнуты реальной жизнью и живой историей. В Алма-Ате за полтора года собрано более 500 печатных листов фольклора, старого и нового. Обнаружен замечательный фольклорный «Евгений Онегин» — казахский перевод пушкинского романа, передаваемый из аула в аул казахскими жирши. Не говоря уже о новых пословицах и поговорках, о бытовых, застольных песнях, записаны прекрасные народные песни о Ленине, Сталине, Кирове, Орджоникидзе, Молотове, Ворошилове, о «казахском Чапаеве» — Амангельды, о Фурманове.

Районные, областные и республиканская олимпиады народного творчества, проведенные в 1937 году по всему необъятному Казахстану, со всей очевидностью доказали, что акынов и жирши имеют не только районы, но и отдельные колхозы, совхозы, предприятия. Акыны исчисляются сотнями. Весь Казахстан знает акынов Джамбула, Маймбета, Умурзака, Рахима, Бека, Кенена, Орумбая, Утепа, Джартыбая, Оспантая и др. Известность старейшины казахских акынов, Джамбула, давно стала всесоюзной.

Джамбул — образ и символ народной поэзии, неуязвимой и бессмертной, как народ, который создает ее. Джамбул — неопровержимое доказательство того, что народная поэзия не только не иссякла в наши дни, но расцвела роскошным и свежим цветом. Подобно легендарным поэтам античного мира, Джамбул — свидетель истории. Он говорит, он поет, он показывает: советская власть — это жизнь; социализм — это жизнь!

Джамбул привлекает всеобщее внимание даже внешним своим видом. Суतудый, как беркут, с седой, как ковыль, бородой, скуластый, в куньей шапке, в парчевом халате, с древней домброй со струнами из бараньей кишки, — он похож на свидетеля и посланца тех далеких времен, когда Асан Кайгы ехал

на верблюде и пел о волшебном «Жеруюк».

Джамбул родился почти век тому назад, в буранный февральский день 1846 года, в семье казаха-кочевника Жабая, в степном становище у горы Джамбул. Ему дали древнее имя этой горы. Рос Джамбул, как росли обычно дети казахов-кочевников. Его, вместе с люлькой, перевозили с кочевья на кочевье. В детстве он ездил верхом на собаке. 12-летним мальчуганом Джамбул научился играть на домбре у своего родного дяди, известного домбриста. «Звуки перевернули мне душу, — вспоминает Джамбул, — мне казалось, что звенит не домбра, а мое молодое сердце. 14-ти лет Джамбул начал жить самостоятельно. В первую же уразу — магометанский пост — Джамбул пошел по юртам и стал петь обрядовую песню — жара-пазан. За это его кормили. Бродя с домброй, он набрел на аул, где жил знаменитый в тех краях акын Сююмбаи. Пение Джамбула понравилось Сююмбаю, и он пригласил его в юрту. Целую ночь Джамбул пел Сююмбаю свои песни. Старый акын окончательно убедился, что подросток одарен талантом, и взял его себе в ученики. Сююмбаи ездил по аулам, пел песни, Джамбул его сопровождал и учился у него. Когда Джамбулу исполнилось 16 лет, он впервые выступил самостоятельно. Это была песня о невесте на одной из аульных свадеб. Молодой акын восхвалял красоту девушки, сравнивая ее щеки с цветами, а косы с ночью. Песня имела успех. С тех пор Джамбул стал бродить по аулам один, исполняя народные поэмы и легенды, а иногда и собственные песни. Через некоторое время Джамбул столкнулся со своим старым учителем Сююмбаем. Старый акын, выслушав песни Джамбула, честно сказал ему:

— Ты увлекаешься чужими мелодиями, это плохо. Большой акын должен иметь свой голос. Измеряй землю своим аршином. Каждое слово оттачивай, как кинжал. Черпай слова из своего сердца, как воду из колодца.

Эти мудрые слова запали в сердце Джамбула. Он глубоко задумался. Для

юноши наступил переломный момент его жизни.

«Будучи бедняком, я хорошо понимал бедный народ, — говорит Джамбул. — Правдиво я мог петь только о себе и народе. Когда я пел о народе, я пел и о себе; когда же я пел о себе, я одновременно пел о народе. Поняв всем сердцем, что акыну нельзя фальшивить и лицемерить, я стал петь своим голосом и только правду».

Встречаясь с акынами и жирши, Джамбул с горечью и стыдом наблюдал, что некоторые из них, выступая перед власть имущими, льстят, лицемерят, торгуют песней. Это неизменно вызывало гнев Джамбула, продолжавшего традиции подлинно народных акынов Асана Кайгы, Махамбета, Сююмбаи, Жайау Мусы. Джамбул клеймил позором «продажных акынов», которые за кумыс и баранину «грабителей выше звезды возносили», и с полным правом впоследствии сказал о себе:

Но песня моя никогда не лгала,  
Ее не слышали ни хан, ни мулла,  
Подругой народа в беде и весельи  
Жила моя песня, живет и доселе.

Джамбул ездил из аула в аул и пел свои импровизации. Он об'ехал весь Казахстан, захватил часть Киргизии. «Часто я выступал в состязаниях акынов двух родов, — вспоминает Джамбул. — Я всегда выходил победителем, и начальник того рода, от которого я выступал, дарил мне халат, барана или жеребенка. Многие родоначальники упрасивали меня остаться у них, обещали кормить, уважать и давать богатые подарки, чтобы я прославлял их и участвовал в состязании с акынами других родов. Но я не хотел лицемерить и уходить от народа к баям, решительно отказывался и уезжал дальше».

Джамбул ездил по степям в плохой одежде, на худой кляче:

Я встретил в седле своей жизни рассвет  
Была моя кляча худа, как скелет.  
Шаталась она, и степной ветер, ох  
Сумел бы свалить ее с ног.  
На ярмарки и на базары я вез  
Печальные песни страдания и слез.  
На кляче худой из аула в аул  
Скитался я, рванный Джамбул.

В казахских и киргизских степях в ту пору гремело имя акына Кулмагамбета, победившего всех акынов. Однажды два казахских рода — Албан и Уйсун — устроили большой той (пиршество) и состязания акынов. Приглашенный на этот той Кулмагамбет затмил всех выступавших там акынов. Получили за Джамбулом. Джамбул принял вызов и приехал на той. Кулмагамбет, сидевший в белой байской юрте, встретил его насмешками. Началось состязание. Кулмагамбет свое мастерское по форме выступление построил как оду баям, биям, волостным управителям и прочим захребетникам. Джамбул, ударив по струнам домбры, выступил с вдохновенной песней не как байский прихлебатель, а как представитель народа. Все, кто в оде Кулмагамбета превозносились до небес, в песне Джамбула получили самые язвительные характеристики. Чванного аксакала, бия, кичившегося своей честностью, Джамбул разоблачил как матерого конокрада, святошу-муллу он правдиво изобразил убийцей, баи были представлены, как беззастенчивые воры. Песня Джамбула имела огромный успех. Кулмагамбет был побежден. Джамбул был признан первым акыном Джетысу — Семиречья. Но и после этой блестящей победы, доставившей Джамбулу всенародную славу, он продолжал жить среди бедняков-кедеев и попрежнему вместе с ними переносил унижение родной степи.

В ней горела трава.  
В покинутой юрте гнездилась сова.  
Курай обивал одинокий курган  
В проклятый народом заман.

Народ любил Джамбула, а баи и муллы, волостные управители, конечно, не любили, но боялись певца. Это понятно. В те времена песня акына в степи заменяла и газету, и книгу, и публичное выступление с трибуны.

«Однажды вечером, — вспоминает Джамбул, — приехал я на кочевье одного знатного рода. Дал о себе знать.

Бай говорит:

— Пусть будет он даже богом, но ночевать его не пушу.

Я сказал:

— Хотя я не бог, но ночевать я здесь буду.

С этими словами я вошел в юрту. Бай, увидев меня, сразу заговорил по-другому:

— О, это Джамбул? Будь гостем...

Единственный сын этого бая был сильно болен. К нему был приглашен известный бахсы (знахарь). После угощения бахсы стал играть на кобызе и вызывать духов — жинов и пэри. Конечно, никаких духов не появлялось. Разгневанный бахсы сказал:

— Я буду бить того, кого боятся мои жины и пэри.

Он подошел ко мне, но я, возвысив голос, сказал:

— Нужно бить тебя, бездельника, за обман!

Испуганный бахсы покинул юрту».

В ранних песнях Джамбула звучат гнев и горе. Кровный сын угнетенного народа, он выражал в своих песнях народные мысли и чувства. Песни эти никто не записывал, и тысячи их погибли безвозвратно; лишь иногда кое-где вдруг прозвучит старая песня Джамбула, иногда забытая даже им самим, но сохранившаяся в народной памяти.

В песнях Джамбула нашли отражение «барамта» — родовые столкновения из-за скота и пастбищ, кровавая месть, длившаяся целые десятилетия, голодные годы, соляные бунты, бесправное положение женщины-казашки. Джамбул видел вражду племен, натравливаемых друг на друга царским правительством, и, как летописец, отразил это в своих песнях; но не спокойно и бесстрастно, как делали это в средние века монастырские и дворцовые летописцы, а с гневом, с ненавистью к душителям народа — царю и его сатрапам — и с горестной любовью к угнетенным народам:

Россия была для народов тюрьмой,  
Дышали народы отравленной тьмой.  
Не видели люди из душных темниц  
Ни солнца, ни зорь, ни волшебных зарниц.  
Палач-император народы губил,  
Как диких зверей, друг на друга травил,—  
И в ярости темной за сабли брались  
Забитый казах и бездольный киргиз.  
Вдыхая отравленный злобой туман,  
Шел турок с кинжалом на землю армян.  
Рыдания, проклятий и стонов полна,

Катилась еврейских погромов волна.  
Спадала волна, поднималась, и вновь  
Дымилась горячая братская кровь.

Раскаты революции, грозно прозвучавшие в казахском восстании против царизма в 1916 году, Джамбул приветствовал вместе с лучшими сынами казахского народа. Разгром восстания был для него страшным горем, но настал, наконец, Октябрь, который превратился для Джамбула, как и для всех казахских кедеев, в весну новой жизни. Победное шествие Красной армии во главе с т. Фрунзе Джамбул встретил восторженными песнями. «Душа восхищается, — говорил он, — большевики пришли издалека». Он гордо и радостно пел о том, что «свергнут трон из золота», что на легендарном крылатом коне Тулпаре едет Ленин. Красную армию он приветствовал, как армию народа, сражающуюся за народное счастье и правду:

Создал тебя в бурях народ трудовой,  
Вели тебя Ленин и Сталин на бой.  
Когда наша кровь по арыкам текла  
И тыма боролась с зарей,  
Ты силу свою укрепила в боях,  
Мужали джигиты твои на конях.  
За землю, за воду, за солнечный свет  
Ты билась на всех фронтах.

Первые годы советизации Джамбул приветствовал как новую эру в истории казахского народа. «Я оглядывался вокруг, — вспоминает Джамбул, — и не узнавал знакомых степей. Я поехал по аулам и стал воспевать новую жизнь. Как всегда, я был заодно с моим народом и был понятным народу. Я был свидетелем рождения новой страны Казахстана — той новой сказочной страны, о которой мечтали целые поколения и о которой пели все лучшие акыны».

В 1924 году Джамбул сложил и спел песню на всеказахском тое, в которой он поздравил народ с рождением новой страны Казахстана.

В 1930 году Джамбул стал незаменимым и неутомимым пропагандистом и агитатором коллективизации в Казахстане. Прекрасные колхозные песни Джамбула передавались из уст в уста по молодым казахским колхозам. Народ верил Джамбулу, никогда не лгавшему

в своих песнях, свято хранившему завет — «не лицемерить и черпать слова из своего сердца, как воду из колодца». Песня Джамбула проникала туда, куда иногда не доходили ни газета, ни книга.

«О колхозах я пропел сотни песен, — говорит Джамбул, — и они полетели по степям, потому что шли от самого сердца. В свои колхозные песни старый Джамбул вложил много покоряющего лиризма, теплой задушевности, поэтического мастерства.

Джамбул умел найти такие, точные, ясные и понятные миллионам, подлинно народные формулировки, которые сразу озаряли для многих людей смысл совершающихся событий. Процесс ликвидации кулачества как класса Джамбул определил четко, просто и мудро: «Байское имущество — наше имущество, оно нашло теперь своих хозяев».

Из забитой, обреченной на голод и вымирание царской колонии Казахстан превратился в цветущую страну с молодой могучей индустрией, с социалистическим земледелием, со школами и вузами. Древняя «русская Индия» раскрыла свои сокровища перед своими настоящими хозяевами — казахским народом, руководимым партией Ленина — Сталина. И седой Джамбул стал народным акыном советского Казахстана, воспевающим счастливую, радостную жизнь:

Посмотри, мой джолдас, посмотри,  
В чистом пламени ясной зари  
Пред хозяевами сполна  
Все богатства раскрыла страна.  
Кара-тау дает свинец.  
Кокче-тау гонит овец.  
Тянет с золотом руки Алтай.  
Медь обильно дает Карсакапай.  
Белый хлопок дарит Чимкент.  
Шерсть овечью дает Джаркент.  
Золотые, как в сказке, хлеба  
Для народа растит Актюба.  
Меж озер и меж каменных глыб  
Мчитса, гривой дымя, Турксиб.  
Дни и ночи грузит поезд  
Черным золотом Караганда.  
В Эмбе гордые вышки стоят  
И кипит нефтяной водопад.  
В Кармакчинской степи зреет рис,  
К Ала-Тау сада поднялись.  
А в садах, слаще сна и мечты,  
Спеют яблоки Алма-Аты.  
А в степях, где душисты цветы,  
Вольно бродят овечьи гурты.

С белой шерстью, нежней облаков,  
 Табуны вороных скакунов.  
 Табуны золотых скакунов —  
 Чалых, сивых, гнедых скакунов.  
 На закате, что сиз и багров,  
 Над стадами молочных коров  
 Пыль клубится, и пахнет кругом  
 Теплым, сладким, парным молоком.

В своей поэме «Моя родина» Джамбул четкими, лаконическими, но полными страсти словами создает поэтическую летопись своего народа. Пред нами проходят кровавые годы нашествия кокандских ханов, которые «с пастбищ сгоняли стада»; черные времена бешеного хана Куспега; волчье время хана Аблая, когда «дешевле овцы жизнь была», когда степь слушала стоны; проклятая пора Джангера, принесшего «подарок народу—плеть да аркан»; лихолетья русского колонизаторства. Через всю поэму проходит образ кедея — бедняка. Поэма кончается советской эпохой, когда «с именем Ленина бились сердца, с именем Сталина радость пришла». Джамбул как бы продолжил величавую поэму о счастье народа, начатую 500 лет тому назад Асаном Кайгы. Вековая мечта казахского народа о счастье сбылась, и Джамбул, живой свидетель, слагает прекрасные песни об этом.

Казахи жили и живут в стране, природа которой прекрасна суровой, мужественной красотой. Но прежде, забытые, бесправные, обращенные в колониальных рабов, они не видели красоты природы. И только разогнув горбы, сбросив байское иго, они увидели глазами хозяев и жемчужные вершины гор, и степи, пурпурные от маков, и жаркое цветение радуг, и изумрудные чаши ледниковых озер. И здесь замечательное лирическое дарование Джамбула раскрывается во всей силе. Джамбул не может налюбоваться природой любимой родины. В поэмах «Утеген-батыр», «Моя родина», в песнях «Джайялу», «Ала-Тау», «Гасему Лахути» и др. Джамбул сочными красками рисует пейзажи Казахстана, цветущего «под синию юртой небес».

В орлиных просторах большой высоты,  
 Как чалые кони, вздыбились хребты, —  
 Над всем Джетысу поднялся Ала-Тау,  
 Исполнен величия и красоты.  
 Снега на вершинах мерцание льют,

Косматые тучи нашли там приют;  
 Они, золотясь при закате, клубятся  
 И тайны жемчужных вершин стерегут.  
 С покрытых снегами и льдами громад  
 Кипит, низвергается, бьет водопад, —  
 Гремит валунами и пеной играет,  
 Из радужных брызг одсвая халат.  
 Снега и орлы высоко в небесах,  
 А ниже — дремучих лесов полоса.  
 Зеленые сосны звенящею хвоей  
 Поюг свои дикие песни в лесах...  
 В долине меж гор — под парящим орлом —  
 Густой синевую блестит водоём,  
 Веселые стаи играющей рыбы  
 Мерцают в воде голубым серебром.  
 На склонах трава от лучей золотá,  
 Луга в бирюзовых и желтых цветах,  
 А ниже в напевном жуочанье арыков  
 Столица — красавица Алма-Ата.

Джамбул ходит с древней домброй и видит свободную, радостную, зажиточную жизнь. Его переполняет юношеский восторг, он поет о возрождении народа и о своем возрождении. Тема возрожденной молодости, цветущей старости, юности в 92 года от роду — один из самых волнующих мотивов поэзии Джамбула, и мотив этот войдет в историческую сокровищницу мировой поэзии. Возрождение поэта не только метафора, не только прекрасный образ, но действительный факт биографии самого Джамбула. Возрождение творческих сил акыну принесла революция.

«Когда мне исполнилось 70 лет, — говорит Джамбул, — я почувствовал прилив свежих сил, встал с постели, бросил палку и взял в руки домбру. Жизнь началась для меня снова. Я совершенно переродился и начал петь, как 25-летний юноша, — сильно, с подъемом, с большим жаром и охотой. Это возрождение моих сил принес мне вождь угнетенного человечества Сталин, давший счастье всем народам».

Сталин, солнце весеннее — это ты!  
 Ты смотришь — и, словно от теплых лучей,  
 Колосятся поля, расцветают цветы,  
 Сердце бьется сильнее и кровью горячей...  
 Дважды юности в теле цветы не дано, —  
 Я — старик, у меня серебро в бороде,  
 Но увидеть тебя я мечтал так давно,  
 Что, увидев, я сразу помолодел.  
 Снова юность, как чудом, Джамбулу дана —  
 Будто кровь, как кумыс, забурлила, звеня,  
 Будто снова моя разогнулась спина,  
 Будто белые зубы растут у меня.  
 Молодой — в свои девяносто лет, —  
 Жизнь прожив, как самый последний кедей.

Я принес тебе, Сталин, народа привет  
И любовь возрожденных тобою людей.

Старый Джамбул любознателен, как очень молодой человек, жаден к жизненным наблюдениям и впечатлениям. Ничто не ускользает от его зоркого взгляда. Он живет одной жизнью со страной. И молодость эпохи стала его личной молодостью.

Страна празднует Первое Мая — Джамбул поет первомайскую песню; страна празднует открытие метро — Джамбул слагает прекрасную песню о метро; Джамбул впервые в жизни попадает в поезд, и из уст его летится бурная импровизация о Турксибе:

А в Казахстане цветет душа,  
Радуюсь быстрой езде,  
От голубого, как день, Балхаша  
К черной Караганде.  
А в Казахстане — гриваст, красив,  
Словно миллионом копыт,  
Огненный и вороной Турксиб  
Звонко в степях гудит...

Вождь народов Сталин делает исторический доклад о Конституции, и Джамбул первым из народных певцов откликается песней; Съезд Советов принимает Сталинскую Конституцию, и Джамбул выступает с прекрасной песней «Великий Сталинский Закон»; страна хоронит великого писателя А. М. Горького, и Джамбул поет скорбную песню «Умер большой человек»; страна выбирает в Верховный Совет, и Джамбул слагает свои замечательные песни о Верховном Совете и первом депутате народа Сталине.

В мае 1936 года Джамбул посетил Москву, был в мавзолее Ленина, в метро, в театрах, в парках, и обо всем этом он пропел свои свежие, простые и мудрые песни.

Джамбул — автор одних из лучших песен о Сталине, Молотове, Кагановиче, Ворошилове, Калининe, Ежове, Микояне.

В прекрасной «Поэме о Ежове» Джамбул рассказал стране о том, как разгромлена троцкистско-зиновьевская черная банда:

Раскрыта зменная вражья порода  
Глазами Ежова — глазами народа.

Всех змей ядовитых Ежов подстерег  
И выкурил гадов из нор и берлог.  
Разгромлена вся скорпионья порода  
Руками Ежова, руками народа.  
И Ленина орден, горящий огнем,  
Был дан тебе, сталинский верный нарком!  
Ты — меч, обнаженный спокойно и грозно,  
Огонь, опаливший зменные гнезда.  
Ты — пуля для всех скорпионов и змей,  
Ты — око страны, что алмаза ясней.

В «Поэме о Ворошилове», исполненной сыновней любовью к родине и ненавистью к ее врагам, Джамбул рассказывает о жизни и работе К. Е. Ворошилова и о Красной армии. Обращаясь к Ворошилову, Джамбул от лица всех народов, населяющих СССР, дает клятву биться за родину до последней капли крови:

Батыр Ворошилов! Свободный народ  
По первому зову оружие возьмет.  
Взмахни только саблей — и мы за тобою  
Без трепета выйдем к священной бою.  
Как только тобою приказ будет дан,  
Поднимется грозно степной Казахстан,  
Коней оседает и саблями брызнет  
В защиту счастливой и радостной жизни.  
Герои отважные выйдут из масс,  
Каких не знавали Тимур и Манас,  
Какие не мчались песками империй  
При Кире Персидском и при Искандере...  
...Взмахни только саблей, вождем тебе  
данной,

И встанут под знамя полки Киргизстана.  
Разведчики знойного Узбекистана,  
Отважные всадники Туркменистана,  
Танкисты орлиного Таджикистана,  
Бесстрашные летчики Азербайджана —  
Рванутся в походы, как смерч, как буран,  
Одиннадцать страха не знающих стран,  
Одиннадцать стран, полных мощи и силы,  
И ты поведешь их, батыр Ворошилов.  
И ты их обрушишь, прекрасен и смел,  
На тех, кто границы нарушить посмел.  
Нам дорого счастье и честь дорога.  
Клинками в куски мы изрубим врага...  
Мы в землю горячую втопчем врага...  
Любимая родина нам дорога —  
Мы будем рубиться на землях врага.  
Рубиться и в зной, и в дожди, и в снега  
До полного уничтоженья врага,  
Чтоб Сталин, рукою потрогав усы,  
Узнав о победе, промолвил: «Жаксы».

Любимый образ поэзии Джамбула — это образ батыра батыров — Сталина. Монументальный, исполненный величавости и человечности образ гениального Сталина встает в песнях Джамбула таким, каким его знает и любит многомиллионный народ, каким он входит в народную поэзию, каким он снится за

рубежами колониальным рабам, — и Джамбул, рисуя живые черты Сталина, передает вместе с тем и чувства народов к вождю. Голос Джамбула — голос народа.

Он поет от лица миллионов, используя богатейшие изобразительные средства, веками накопленные народной поэзией. Щедрость красок, мастерство метафор, страстность и ясность песен о Сталине, сложенных Джамбулом, пленяют и будут пленять миллионы людей. Это — песни о любви, верности и твердости, песни о человеческой гордости, которую дали большевики забитым и темным прежде народам:

Сталин! Ты крепость врагов сокрушил!  
Любимый! Ты — житель моей души!  
Сравнений тебе не найдут жирши,

И у акынов, степных мастеров,  
Таких не найдется жемчужин слов.  
С пророком не мог я тебя сравнить!  
Правду пророк не умел говорить!  
Хотел с океаном тебя сравнить,  
Не мог с океаном тебя сравнить!  
И в океане порой корабли  
С распорогим дном сидят на мели...  
С полярной звездой хотел сравнить,  
С полярной звездой не мог сравнить!  
Она, как прибитая гвоздем,  
Вечно стоит на месте своем...  
С горами хотел я тебя сравнить,  
Из гор тебе не равна ни одна, —  
У каждой горы вершина видна...  
Хотел тебя с полной луною сравнить,  
Не мог тебя с полной луною сравнить!  
В небе она холодна и бледна —  
Свет свой струит лишь ночью луна.  
И с солнцем хотел я тебя сравнить,  
Не мог я тебя и с солнцем сравнить!  
Может и солнце порой изменить —  
Светит оно лишь в ясные дни.  
Сталин! Сравнений не знает старик...  
Сталин, как вечный огонь, горит.

# „Слово о полку Игореве“

(К 750-летию его создания)

Н. И. СУТТ

★

Памятники древнего искусства, поэзии — национальная гордость каждого народа. Греки горды своей античной скульптурой, горды «Илиадой» и «Одиссеей», французы — «Песней о Роланде», финны и карелы — «Калевалой», иранцы — «Шах-Намэ», произведением величайшего персидского поэта X века Фирдоуси; грузины — образцом своего национального эпоса, поэмой «Витязь в тигровой шкуре» Шота Руставели. Русский народ вправе гордиться гениальным произведением неизвестного певца конца XII века — «Словом о полку Игореве».

Найденное в 1795 году среди старинных рукописей Спасо-Ярославского монастыря и впервые изданное в 1800 г., «Слово о полку Игореве» сразу же привлекло внимание ученых, поэтов и просто любителей старины. Ученые писали о «Слове» книги, стремясь дать исчерпывающий анализ текста, правильно истолковать малопонятные или незнакомые слова, пытались разгадать имя автора; поэты находили в нем источник вдохновения.

Находка Мусина-Пушкина привела в смятение знатоков древней письменности. Казалось слишком нелепой возможность такой высоты поэтической культуры для Руси домонгольского периода, какая характеризует песнь о полку Игореве.

С легкой руки академика Шлецера, еще до появления «Слова» в печати, разгорелся горячий спор о его подлин-

ности как памятника XII века. Было высказано предположение, что это просто ловкая подделка — произведение, созданное шутики ради кем-то из поэтов XVIII века. И, несмотря на то, что сам «великий скептик» Шлецер, прочитав произведение, отказался от своего первоначального суждения, решительно заявив обратное, споры не прекращались вплоть до опубликования «Задонщины», поэтического отклика на Куликовскую битву (1380 г.), написанной в прямой зависимости от «Слова».

Голоса скептиков были настолько внушительны, что даже сорок лет спустя после открытия памятника Пушкин, готовившийся незадолго до своей смерти издать «Слово» в собственном переводе, нашел нужным отвечать им. «Подлинность же самой песни, — писал он, — доказывается духом древности, под который невозможно подделаться». И, отводя всякую возможность подделки, Пушкин спрашивает: «Кто из наших писателей в XVIII веке мог иметь на то довольно таланта. Карамзин? Но Карамзин не поэт. Державин? Но Державин не знал и русского языка, не только языка *Песни о полку Игореве*. Прочие не имели все вместе столько поэзии, сколь находится оной в плаче Ярославны, в описании битвы и бегства. Кому пришло бы в голову взять в предмет песни темный поход неизвестного князя? Кто с таким искусством мог затмить некоторые места из своей песни словами, открытыми впоследствии



в старых летописях или отысканными в других славянских наречиях, где еще сохранились они во всей свежести употребления? Это предполагало бы знание всех наречий славянских»<sup>1</sup>. Нас в этом высказывании Пушкина будет интересовать не только убедительность его доказательств подлинности памятника, но и его оценка поэтической мощи автора «Слова».

Впрочем, в отношении общей оценки поэтических достоинств памятника, по существу, разногласий не было. И ученые, и поэты не переставали восторгаться красотой его формы, глубиной мысли и тонким художественным вкусом певца отдаленной эпохи. Но в понимании идейной сущности произведения, в истолковании так называемых «темных мест» текста и особенно в разрешении проблемы авторства разногласия никогда не прекращались.

Трудно сказать, в какой степени в результате многолетних ученых споров приблизилось к истине понимание «Слова о полку Игореве». Во всяком случае, в области изучения памятника проделана колоссальная работа. Много, ранее совершенно непонятное, теперь стало ясным, большинство «темных мест» уже не вызывает сомнений, установлена с достаточной обоснованностью дата написания произведения (между серединой 1185 г. и апрелем 1187 г.); имеются прекрасные исследования лексики и поэтических свойств памятника.

В нашем распоряжении в настоящее время свыше двухсот больших и малых работ о «Слове» исследовательского порядка. Кроме этого, имеются труды (А. Смирнова, И. Жданова, Е. Барсова, П. Владимировой, Н. К. Гудзия, В. Н. Перетца), дающие обзор литературы об этом памятнике. И тем не менее еще нельзя утверждать, что в песне о полку Игореве все ясно, все изучено, что больше сказать о ней нечего.

Еще раньше ученых к «Слову» обратились поэты, переводчики, стараясь переложить его на современный язык.

Уже в 1803 г. появляется перевод И. Серякова, затем Н. Язвицкого (1812), И. Левитского (1813), а в 1817 году Жуковского. С этого времени работы по переложению «Слова» продолжались — вплоть до наших дней. Побудительной причиной к этому служил тот восторг, который памятник внушал поэтам.

В зависимости от личных поэтических вкусов переводчиков и от общих литературных настроений стихотворные переложения «Слова» выливались то в формы херасковской «Бахарианы», написанной в ложно-древнем «стопосложении», то в форму гекзаметра, в подражание переводу Гнедича «Илиады».

Но чаще всего поэты-переводчики в своем переложении текста памятника прибегали к знакомым стихотворным формам своего времени. В результате этого героическая песнь древности, с ярко выраженными особенностями стиля и языка, теряла свою оригинальность и непосредственную свежесть красок. Свободное обращение с текстом приводило к простой переделке его.

Наиболее правильно к переложению текста «Слова о полку Игореве» на язык современности подошел В. А. Жуковский. Наблюдая в памятнике наличие мерной речи, он переложил его с соблюдением собственного ритма произведения, разделяя фразы на строки определенной звучности, но без рифмовки. Тем самым поэт достиг наибольшей точности передачи авторского текста, хотя перевод этот, в связи с тем, что изучение текста продвинулось далеко вперед, уже не может считаться лучшим.

★

«Слово о полку Игореве» — героическая песнь о неудачном походе новгород-северского князя Игоря в союзе со своим братом Всеволодом, князем курским и трубчевским, сыном Владимиром, князем путивльским, и племянником Святославом рыльским против половцев весной 1185 года. Поэт значительно расширил тему, введя публицистические мотивы.

<sup>1</sup> Сочинения А. С. Пушкина, т. VI. М. — Л. Гослитиздат, 1936, стр. 228.

«Смысл поэмы,—как говорил Маркс,—призыв русских князей к единению как-раз перед нашествием монголов»<sup>1</sup>.

Перед автором «Слова» стояла трудная задача: воспеть Игоря и показать на фоне его трагической истории бедствия народные.

Певец смело принимается за ее выполнение. На поэтический подвиг его воодушевляет пример гениального предшественника, Бояна, который за сто лет до этого пел свои песни во славу русских князей-воинов.

К Бояну у певца Игоря похода особые чувства. Он преклоняется пред величием его гения, называет его «внуком Велеса» — славянского языческого бога богатства и, очевидно, бога поэзии. Боян взлетал умом под облака, «свивая в славе обе стороны сего времени». Он был «вещий», способный предвидеть будущее, «вещие» — и его персты. Когда он их «на живые струны воскладал», те «сами князьям славу рокотали». Если бы Боян задумал воспеть Игоря, он, конечно, прибегнул бы к своему излюбленному приему психологического параллелизма — «не буря соколов несет через поля широкие, галочки стаи бегут к Дону великому», — подразумевая под соколами храбрых русских воинов, а под галочьими стаями — их врагов, половцев.

Но Боян был романтик, растекавшийся «мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом под облаки». Певец же Игоря похода хочет петь

по былинам сего времени,  
а не по вымыслам Бояна.

Поэт-гражданин готов воспеть Игоря потому, что тот «напряг ум крепостью, поострил сердце свое мужеством» и храбрые свои войска навел

на землю Половецкую,  
за землю Русскую.

Игорь — центральный герой поэмы. Поэт восторгается им и одновременно корит его за поспешность, за излишнюю самоуверенность.

<sup>1</sup> Письмо Маркса Энгельсу от 5 марта 1856 г. (Соч., т. XXII, стр. 122).

История его трагична. Отправляясь в поход, Игорь надеялся преломить копье в конце поля половецкого; выступая с речью перед дружиной, испугавшийся дурного предзнаменования природы (солнечного затмения), он говорит: «Хочу голову свою сложить, либо испить шелоном Дону». Но «испить Дону» значит завоевать его, точно так же, как «преломить копье в конце поля половецкого» символизирует победу над врагом, означает — победоносно пройти вражеские пределы и в конце поля, в знак того, что битвы кончены и враг сломлен, «преломить копье». Девиз Игоря: только вперед, только победа... или смерть! Таким образом, перед нами человек исключительного мужества и высокой гражданской сознательности: «Лучше убиту быть, нежели полонену» — заявляет он дружине.

Этим самым поэт как бы хочет подчеркнуть, что Игорю достался худший удел, чем сама смерть: он потерпел поражение, попал в плен. В этом — трагедия героя.

Но и в плену Игорь остается верен себе. Измерив мыслью поля «от великого Дона до малого Донца», он организует побег и благополучно возвращается на родину. Его появление на Руси встречено всеобщим ликованием —

Страны рады, грады веселы.

Желая оттенить значение Игоря для Русской земли, поэт снова обращается к излюбленному приему Бояна. По его мнению, «соловей старого времени» спел бы так:

Тяжко ведь голове без плеч,  
Зло ведь телу без головы,  
Русской земле без Игоря.

Соратник Игоря, его брат Всеволод, воин тех же качеств. Он также не обращает внимания на зловещие предостережения природы и, полный отваги, предлагает Игорю седлать «своих борзых коней». В битве он стоит в самом опасном месте — «на борони» и «прыщет» на врагов стрелами. Куда ни скачет он, «своим златым шелоном посвечивая», там уж и лежат «поганые головы половецкие». В порыве воинского

пыла Всеволод забыл все, даже свою «милую утеху», красивую жену, Глебовну.

Под-стать князьям — предводителям похода — и дружина. Это — бывалые воины. Они родились под звуки боевых труб, во время битв; под шеломами, военными доспехами дружинников росли, — следовательно, они с детства воины; они «с конца копья вскормлены», — только воины, находясь в походе, едят с конца копья, — значит, вся жизнь их протекала в походах. Понятно, что и «пути им ведомы», и «овраги им знаемы».

У них все наизготовке: «луки натянуты, колчаны отворены, сабли изострены». В поле они напоминают стремительных, сильных зверей — скачут, «словно серые волки»; в битвах ищут «себе чести, а князю славы».

Князья и дружина — это две стороны единого целого: войска, грозной силы Русской земли. Когда «храбрые русичи» вступили в землю Половецкую, их твердая поступь заставила содрогнуться врагов. Половцы непротеренными дорогами убегают к Дону:

Скрипят телеги в полуночи,  
Что лебеди распуганы.

Скрип немазанных телег, напоминающий чуткому к звуку поэту неприятные крики распуганных в ночной обстановке лебедей, пружинообразно передает панику в лагере врага.

Пробудилась природа. В ней все пришло в движение, насторожилось; разразилась гроза, которая гонит птиц «по дубовью» с предвестиями несчастий; див — демоническое существо восточной мифологии — «кличет с вершины дерева», призывает соседние страны послушать: происходит знаменательное событие — русские движутся к Дону.

Так, отдельными сочными мазками, но строго последовательно, поэт создает исключительно яркий героический образ «храбрых русичей». Однако их слишком далеко увлекла храбрость. Уйдя вглубь враждебной страны, они тем самым оторвались от родной почвы.

«О, Русская земле, уже за шеломянем еси!» (т.-е. осталась позади, за курганами сторожевых постов).

Половцы черной тучей окружают храбрецов.

«Быть грому великому. Итти дождю стрелами с Дона великого!» — восклицает поэт. Закипел бой — страшный, напряженный. Поэту нужно отметить величие битвы, и он уходит в прошлое — во времена Владимира Мономаха, вспоминая, как тогда Олег Гориславич, дед современного Игоря, «мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял». В те времена были великие битвы, но такой рати не слышано.

В результате — трагическая развязка. Погибли бывалые воины, а

Игорь князь пересел из седла злата,  
Да в седло кощиево,

т.-е. обратился в пленника.

Роковая битва поэту представляется свадебным пиром, на котором нехватило вина — «тут кровавого вина не достало», — отчего пир сам собой кончился.

Тут пир закончили  
Храбрые русичи:  
Сватов напоили,  
А сами полегли за землю Русскую.

Поэт старается подчеркнуть, что трагедия Игоря — это трагедия всей Русской земли.

С его поражением половцы, эти «дети бесовы», набросились на русские окраины: жгут села, собирают дань. На Руси «закликала Карна» — похоронная песня, и Жля — мифическое существо, олицетворяющее пожары, — скачет по Русской земле, рассыпая жар и пепел из своего «пламенного рога». Раздаются плач, стенания: «стонет Киев скорбью, а Чернигов напастями». «Встала Обида в силах даждбожих внуков»; в стране «разлилась тоска», и «печаль обильно течет среди земли Русской». Сколько скорби, сколько пламенной любви к своей многострадальной родине слышится в этих словах поэта!

Но кто же виновник всех бедствий народных?

Поэт отвечает: князья. Они в эту «невеселую годину», как всегда, заняты позорным делом, которое для себя они считают «великим», — крамолами. Князья

говорят: «Это мое и то мое же». Так было и в прошлом, при дедах современных князей. При Олеге Гориславиче «сеялась и росла усобица», тогда в княжеских раздорах укорачивался человеческий век, «погибало добро даждбожья внука», редко выезжали в поле пахари, но зато вороны делили трупы, «да галки свою речь лопотали, готовясь лететь на убоину». То же самое происходило и во времена борьбы полоцкого князя Всеслава с Ярославичами. «О, стонать Русской земле, вспомянувши прежнюю годину и прежних князей!» — скорбно восклицает поэт. Некому защитить страну от «барсова гнезда» — половцев; а «Игорева храброго полка не воскресить!».

Отдельным храбрецам, вроде Игоря и Всеволода, не одолеть черных туч половцев, нужно мощное объединение сил, — вот мысль поэта, которую он проводит как центральную идею своей песни.

Кто же должен, по его мнению, взять на себя инициативу объединенного похода? Конечно, киевский князь (Киев ведь — «мать городов русских»). Правда, в Киеве княжит убежденный сединой старец, для князей далеко не авторитетный. «Вот зло, — говорит он, — князи мне не пособники, изнанкою судьбины обернулись». Но «разве диво стару помолодеть?» Он слаб лишь потому, что «князи не пособники, но он может превратиться в сокола, который в зрелом возрасте никогда не даст гнезда своего в обиду.

Годом раньше (1184) Святослав вихрем промчался по владениям половецкого хана Кобяка, «притоптал холмы и овраги, возмутил реки и озера» и самого хана взял в плен — «исторгнул» из железных полков половецких:

«И простерся Кобяк... во-gridнице Святославовой».

Теперь, когда Игорь потерпел поражение, подвиг Святослава стал особенно значителен, и слава о нем распространилась далеко за пределы Руси: «немцы и венецианцы, греки и моравы поют славу Святославу», укоряя князя Игоря.

Именно он, Святослав, должен призвать лучших князей своего времени к

чувству гражданского долга перед родиной. Отсюда — свои патриотические помыслы, свои гражданские чувства поэт влагает в уста Святослава. На правах старшего в роде Ольговичей, Святослав укоряет виновников поражения русских на реке Каяле: «Рано вы начали, — говорит он, обращаясь к Игорю и Всеволоду, — Половецкую землю мечами зудить, а себе славы искать...». Но здесь же он подчеркивает и их исключительные качества воинов: их храбрые сердца «в жестоком булате скованы и в удали закалены». Они поторопились «восхитить» «грядущую славу», но поступок их сам по себе героичен. И Святослав шлет пламенный призыв русским князьям выступить со своими «железными полками» против ненавистных врагов,

За землю Русскую,  
За раны Игоревы,  
Буйного Святославича.

В гиперболических тонах в «Золотом слове» Святослава подчеркивает поэт силу и могущество областных властителей. Суздальский князь Всеволод в состоянии «Волгу веслами раскропить, а Дон шлемами вычерпать», своими союзниками, «удальными сынами Глебовыми», он может, «как живыми стрелами, метать»; галицкий Осмомысл Ярослав стреляет «салтанов за землями»; волынские князья Роман и Мстислав стреляются «птицу в буйстве одолеть», их сила так значительна, что от нее «расселась земля»; у князей Рюрика и Давида «шлемы по крови плавали», а храбрая их дружина «рыкает, словно туры раненые», и т. д.

Святослав призывает их вступить «во злат стремень — за обиду сего времени», «загородить Полю ворота», стрелять «Кончака поганого кашия»...

Хорошо разбираясь в политической обстановке, автор «Слова» указывает и направление похода — к Дону:

Дон ведь кличет  
И зовет князей на победу!

Дон — это сердце Половецкой земли, туда шел Игорь.



ИВАН ГОЛИКОВ (Палех). Иллюстрация к «Слову о полку Игореве».



★

Автор «Слова о полку Игореве» поет славу Игорю и Святославу, подобно тому, как в свое время Боян пел песни «старому Ярославу, храброму Мстиславу», воевавшему с кавказскими касогами, «красному Роману Святославичу».

Но он прославляет лишь достойных — тех, кто направил свою боевую энергию во славу родины, хотя бы и неудачно: «Слава Игорю Святославичу, буй-туру Всеволоду...» и т. д.

Своей героической стороной «Слово о полку Игореве», несомненно, сближается с былинным эпосом; но богатство символики, задушевный лиризм его сразу же вызывает сравнение с русскими народными песнями, украинскими думами и т. д. Можно сказать, что вся песнь дышит стихией народной поэзии; ее нельзя отделить от устно-поэтического творчества, так же, как этого нельзя сделать, например, в отношении чудесной поэмы неизвестного казахского певца «Кыз-Жибек» или произведений Сулеймана Стальского. И никакой трафаретности, никакого штампа, — во всем свежесть красок, высокое поэтическое мастерство гения отдаленной эпохи.

Психологический параллелизм — любимый прием крестьянской лирической песни — помогает поэту создать изумительный образ тоскующей русской женщины — жены Игоря, Ярославны, которая, подобно бездомной зегзице (кукушке), плачет на городской стене Путивля, взывая к ветру, Днепру и солнцу, то с упреком, то с нежной жалобой и мольбой вернуть ей милого ладу (мужа). «Слово о полку Игореве» переполнено живописными сравнениями, параллелизмами, метафорой, поэтическим олицетворением; автор прибегает то к антитезе, то к гиперболе, вводит в общий строй песни лирические рефрены, запевы, восклицания от своего имени.

Особенно любима поэтом метафора, необычайно расцвеченная им. Чего стоят, например, такие выражения: «итти дождю стрелами», «тоска разлилась по Русской земле», «печаль разливом идет», «поострил сердце свое мужеством». Или — такое: «Изяслав прирубил сла-

вы деду своему Всеславу»; и здесь же, несколько ниже, как бы играя вариацией фразы, поэт о том же Изяславе замечает:

А сам был прирубен литовскими мечами.

Метафора чаще всего сочетается с символикой:

Черные тучи с моря идут,  
Хотят прикрыть четыре солнца,  
А в них трепещут синие молнии.  
Быть грому великому...

Здесь сама встреча русских с половцами представляется поэту в виде столкновения света и тьмы: четыре солнца — четыре предводителя похода, черные тучи — символ врагов. Зловещность обстановки подчеркивается эпитетом «синие» (молнии). Метафорично и само восклицание автора «Быть грому великому», где гром символизирует грядущие битвы. Говоря о результатах походов Олега Гориславича, певец сравнивает их с посевом, создавая тем самым символическую картину торжества смерти:

Черная земля под копытами  
Костями была засеяна и кровью полита,  
Горем взошли они по Русской земле!

Во всем этом сказывается близость поэта к природе, чуткость к ней. Певец еще весь во власти анимистических настроений. Для него, как и вообще для народных масс той эпохи, природа — живое, мыслящее, чувствующее, понимающее и по-своему реагирующее начало. Действия людей, по мнению поэта, вызывают соответствующий отклик и в поведении сил природы, которые могут быть или дружелюбны, или враждебны человеку. Солнце, земля и все растущее на ней благосклонны к земледельческому народу — «даждбожьим внукам». Игорю грозит беда — знаменья природы зловещи: солнце, вместо света, шлет тьму («Солнце тьмою ему путь заступило»), накануне роковой развязки «кровавые зори свет возвещают». Во время битвы сочувствующая русским земля «гудет», «реки мутно текут», символизируя горе русских; кончился бой, пали знамена Игоревы —

«никнет трава от жалости и дерево с тоской к земле приклонилось». Совсем другое происходит в природе, когда Игорь свершает удачное бегство из плена:

Стукну земля,  
Восшуме трава...  
Соловьи веселыми песнями свет возвещают...

Дружественны русским и реки: Дон, зовущий «князей на победу», Донец, вступающий с Игорем в разговор, «леявший князя на волнах, ставший ему зелену траву на своих серебряных берегах», одевавший его теплыми туманами.

Ветры, наоборот, враждебны русским. Во время битвы они «веют стрелами на храбрые полки Игоревы», за что их и упрекает Ярославна:

О, Ветер-Ветрило!  
Почему, господин, враждебно веешь?..

Враждебны и стервятники — волки, орлы, своим клекотом зовущие зверя на кости.

Поэту близки и понятны древнеславянские народные верования. Для него русский народ — это «даждбожьи внуки», ветры — «стрибожьи внуки»; в Бояне он видит «внука Велеса» и пр.

Вряд ли это просто поэтический прием певца, подобный обращениям поэтов XVIII—XIX вв. к существам греческого Олимпа. Автор «Слова» сам еще весь во власти народной мифологии.

Сочетая мир человека с миром природы, певец как бы прислушивается к звучанию жизни. Для него вся природа живет, полна звуков: русские вступают во вражеские пределы — «свист зверин вста близ», половцы убегают — «кричат телеги», наступает битва — «земля гудет», «звенят сабли», «трещат копыя» и т. п.

Характер совершающихся событий поэт старается передать в самом стиле песни. В начале повествования он придерживается спокойного эпического тона:

И сказал Игорь дружине своей:  
«Братья и дружина...».

Или:

Дремлет в поле Ольгово храброе гнездо...

Но, как только певец переходит к описанию роковой битвы, строй речи сразу меняется. Торжественная эпика уступает динамике, фразы становятся сжатыми, отрывочными:

С зарания до вечера,  
С вечера до светла  
Летят стрелы каленые,  
Трещат копыя харалужные...

Звучание битвы поэт старается передать словами «трещат», «гремят», Всеволод «брызжет стрелами».

В той же динамике выдержан стиль последней части песни описания бегства Игоря.

«Золотое слово» Святослава, как патриотическая призывная речь, произносится в тоне высокого пафоса: «Ты, буй-Рюрик, и Давыд. Не ваши ли злаченные шлемы по крови плавали? Не ваша ли дружина рыкает, словно туры раненые саблями калеными в поле неизвестном?..» и т. д.

Плач Ярославны во многом напомнит народные плачи.

★

Пушкин в статье «О ничтожестве литературы русской» в 1834 году писал: «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей древней словесности». Если учесть, что из произведений светской художественной литературы XI — половины XIII вв., кроме этого памятника, до нас дошел лишь небольшой отрывок от «Слова о гибели земли Русской», летопись да «Моление Даниила», о которых, кроме летописи, Пушкин даже и не знал, — песнь об Игоревом походе, действительно, покажется Хеопсовой пирамидой среди полуразрушенных сфинксов. Но теперь наши знания в области русской литературы настолько продвинулись вперед по сравнению с пушкинским временем, что здесь нужно говорить уже не о «пустыне» древней словесности, а о «золотом веке» ранней русской культуры. Пусть «Слово о полку Игореве» — вершина поэзии домонгольской поры, но, чтобы ее достигнуть, потребовалось пройти немалый путь. Одним из этапов



этого пути явились песни Бояна. Автор «Слова» прибегает к ряду выдержек из произведений своего легендарного предшественника. Уже по этим отдельным фразам можно судить, на какой значительной высоте стояла поэтическая культура Руси даже во времена Бояна.

«Слово о полку Игореве» ценно и своими совершенно исключительными художественными качествами, позволяющими поставить его в ряд с шедеврами мировой средневековой литературы, и как документ, дающий возможность полнее осознать эпоху раннего русского феодализма.

Энгельс, в письме к мисс Гаркнес, по поводу «Человеческой комедии» Бальзака писал, что из нее он узнал «даже в смысле экономических деталей больше, чем из книг всех профессиональных историков, экономистов, статистиков этого периода, взятых вместе»<sup>1</sup>.

Точно так же из произведения великого поэта XII века мы узнаем о Руси домонгольского периода больше, полнее, ярче, чем из тенденциозно составленных летописей, «Поучения Мономаха», «Русской Правды» и пр. В кратких замечаниях поэта, поющего свою песнь «по былинам сего времени», правда жизни предстает во всей полноте.

Перед нами — раздробленная на уделы Русь, раздираемая княжескими междоусобиями, от которых бедствует русский народ, Русь, где торговля пленниками признается справедливостью, где власть природы еще довлеет в сознании человека, трепещущего при солнечном затмении.

Но кто же творец этой замечательной песни?

Автора «Слова о полку Игореве» принято считать придворным поэтом — певцом дружинно-княжеской среды, человеком, близко стоящим ко двору князя. Но можно ли на основании одного лишь художественного текста (а кроме этого, у нас ничего нет), уверенно определить социальную принадлежность автора? Кто — спросим — в одах Ломоносова смог бы узнать «архангельского мужика», или в «Кому на Руси...» — поэта, дворянина по происхождению?

Считать автора «Слова» дружинником или князем, с нашей точки зрения, ровно столько же оснований, сколько их и для признания в нем, например, холопа. В самом деле, что может доказывать его высокое положение в обществе? Образованность? Но история знает примеры широкой образованности холопов в любую, даже самую мрачную, эпоху. Его прекрасная ориентировка в междукняжеских отношениях? Однако для образованного, стоящего на гребне общественного сознания человека знание истории своей страны и понимание политической обстановки — необходимое условие. Его воспевание доблести князей и дружины? Но ведь то же самое мы находим и в народном устно-поэтическом творчестве. И, сколько бы ни приводилось соображений в пользу традиционного мнения, доказать принадлежность автора «Слова» к княжеской дружине не удастся, если не будут когда-нибудь найдены более веские свидетельства. Но, кто бы ни был он, автор песни о полку Игореве, он, прежде всего, — народный поэт, великий патриот своего времени.

<sup>1</sup> Маркс и Энгельс о литературе. М. 1933. Стр. 167.

# Пушкин и „Слово о полку Игореве“<sup>1</sup>

М. ЦЯВЛОВСКИЙ

★

„Слово о полку Игореве“ Пушкин понимал от начала до конца наизусть и готовил ему объяснение. Оно было любимым предметом его последних разговоров — писал через шесть лет после смерти поэта Шевырев.

Несмотря на то, что еще в 1855 году Анненков издал в собрании сочинений Пушкина часть работы поэта над «Словом» — начало его комментария к памятнику, — никто из многочисленных исследователей «Слова» с этой публикацией никак не посчитался.

В литературе о «Слове», исчисляющейся сотнями печатных листов, тема об отношении Пушкина к «Слову» не только не разрабатывалась, но, можно сказать, и не ставилась. Наука о «Слове», скажем прямо, позорно пренебрегла работой великого поэта над этим памятником нашей древней литературы<sup>2</sup>.

Теперь, когда, в связи с изданием Академией Наук собрания сочинений

Пушкина, произведена полная ревизия всех дошедших до нас рукописей поэта, когда учтены и издаются все его заметки и записи, вплоть до нескольких слов на каком-нибудь клочке бумаги и отчеркиваний на полях книг, мы имеем достаточный материал, чтобы представить себе отношение поэта к «Слову о полку Игореве».

До второй половины 1820-х годов у Пушкина нет ни прямых, ни косвенных упоминаний «Слова». Конечно, трудно представить себе, что Пушкин до этого времени не читал его, но во всяком случае упоминание Бояна в стихах «Руслана и Людмилы» (песнь I):

Но вдруг раздался глас приятный  
И звонких гуслей беглый звук...  
Все смолкли, слушают Баяна:

и (песнь III):

Поставят тихий гроб Русланов,  
И струны громкие Баянов  
Не будут говорить о нем!

<sup>1</sup> Настоящий очерк представляет собой краткое изложение работы на эту же тему, приговоренной к печати.

<sup>2</sup> Об этом уже писал Н. О. Лернер в статье «Из истории занятий Пушкина «Словом о полку Игореве» — см. «Пушкин в 1834 г.» — Лгр. 1934, стр. 93. Отдельные не мотивированные замечания Е. Барсова по поводу некоторых мест комментариев Пушкина, имеющиеся в предисловии Барсова к его публикации перевода «Слова» Жуковского (который Барсов принял за перевод Пушкина), ни в какой мере не ослабляют нашего утверждения. Только теперь проф. Н. К. Гудзием написана статья о Пушкине как исследователе «Слова о полку Игореве».

никак не могут служить доказательством противного. Еще до выхода в свет «Слова о полку Игореве» в гамбургском журнале «Spectateur du Nord», издававшемся на французском языке (1797, октябрь), была помещена статейка Карамзина о русской народной поэзии, заканчивающаяся таким сообщением: «Вы может быть удивитесь более, если узнаете, что два года тому назад открыли в наших архивах отрывок поэмы под названием: «Песнь Игоревых воинов», ко-

тору можно сравнить с лучшими. Оссиановскими поэмами и которая написана в XII столетии. Слог, исполненный силы, чувства высочайшего героизма; разительные изображения, почерпнутые из ужасов природы, составляют достоинства сего отрывка, в котором поэт, представляя картину одного кровавого сражения, восклицает: Увы! чувствую, что кисть моя слаба; я не имею дара великого Бояна, сего соловья времен прошедших; следственно, в России и до него были великие поэты, которых творения поглощены веками. Летописи наши не говорят об этом Бояне, мы не знаем, когда он жил и когда пел. Но это почтение, воздаваемое его дарованиям таким поэтом, заставляет чувствительно жалеть о потере его творений». Это было первое печатное сообщение о находке «Слова о полку Игореве».

Извлеченный из «Слова» Боян, в качестве русского Оссиана, тогдашнего «властителя дум» литературно-образованной Европы, с легкой руки Карамзина, получил необыкновенную популярность; имя Боян, наряду с именем собственным, стало тогда же употребляться и как нарицательное. Уже в 1798 г., т.-е. до выхода в свет «Слова», появляются в «Приятном и полезном препровождении времени» «Песни Владимиру Киевских Баянов» Нарежного.

В 1801 г. Карамзин свой «Пантеон российских авторов» открывает характеристикой Бояна с сопровождением гравированного «портрета» первого русского поэта. П. Львов в «Сельском препровождении времени» («Иппокрена», 1801, IX) вспоминает «витязей, которые подвизались в полках Игоревых и которые воспеты бояном». У Востокова в «Светлане и Мстиславе», «древнем романсе» («Опыты лирические и другие мелкие сочинения в стихах», ч. II, 1806 г.) действуют «баяны». Имеются они и в «Певисладе и Зоре», «древней повести в пяти идиллиях» (там же).

Конечно, такого же происхождения баяны в «Руслане и Людмиле»; вероятно, и в черновом стихотворении Пушкина «Как счастлив я, когда могу покинуть» (26 ноября 1826 г.), кончающимся стихами:

А речь ее... Какие звуки могут  
Сравниться с ней — младенца первый  
лепет,  
Журчанье вод, иль майский шум  
небес,  
Иль звонкие Бояна Славья гусли.

В лицейском дневнике поэта под 10 декабря 1815 г. есть запись: «Третьего дни хотел я начать ироическую поэму: *Игорь и Ольга*, а написал эпиграмму...». Сюжет этой «ироической поэмы», конечно, не имеет никакого отношения к «Слову»: Игорь и Ольга — это князь и княгиня киевские X века. Задуманная поэма — произведение в жанре оссиановско-«славянорусских» повестей и поэм, каких немало писалось в эти годы.

О том, что Пушкин до второй половины 1820-х годов был равнодушен к «Слову», свидетельствует эпилог к «Кавказскому пленнику» и примечание к нему. К стихам эпилога:

Богиня песен и рассказа,  
Воспоминания полна,  
Быть может повторит она  
Преданья грозного Кавказа;  
Расскажет повесть дальних лет,  
Мстислава древний поединок,

Пушкин делает такое примечание: «Мстислав, сын св. Владимира, прозванный *Удалым*, удельный князь Тмутаракана (остров Тамань). Он воевал с косагами (по всей вероятности, нынешними черкесами) и в единоборстве одолел князя их Редедю. См. «Ист. Гос. Росс. том II». Таким образом, рассказ Карамзина заслонил для Пушкина упоминание автора «Слова» о «храбром Мстиславе, иже зареза Редедю пред полки Касожьскими». «История государства российского» остается первоисточником и для обещанной в эпилоге к «Кавказскому пленнику» поэмы из истории XI века, главным действующим лицом которой должен был явиться Мстислав Тмутараканский. В сохранившихся «планах» этой поэмы, которая должна была заключать в себе элементы и «исторические», и волшебные

сказочные, и мифические, «Слово» никак не отразилось<sup>1</sup>.

Оценил Пушкин в полной мере значение великого памятника в конце 1820-х годов. К 1829 — 1830 гг. относятся два плана статьи, задачей которой было обозрение русской литературы с X — XI веков. В первом плане читаем: «Летописи, сказки, песни, пословицы, послания царские, Песнь о полку, Побойще Мамае, царствование Петра, царствование Елизаветы, Екатерины, Александра. Влияние французской поэзии». Во втором плане: «Язык. Влияние греческое. Памятники его. Литература собственно. Причины 1) ее бедности, 2) отчуждения от Европы, 3) уничтожения или ничтожности влияния скандинавского. Сказки, пословицы: доказательство сближения с Европою. Песни. Песнь о Полку Игореве. Песнь о побойще Мамаеве. Сказки. Мистерии...».

В этих планах интересно указание «Песни о побойще Мамаеве». Сделано оно, вероятно, по Карамзину, но возможно, что к этому времени Пушкин прочел уже сохранившуюся в его библиотеке книжку «Древнее сказание о победе великого князя Димитрия Иоанновича Донского над Мамаем». Изд. И. Снегиревым, М. 1829.

Сохранилось и начало статьи, стоящее в связи с этими планами:

«Приступая к изучению нашей словесности, мы хотели бы обратиться назад и взглянуть с любопытством и благоговением на ее старинные памятники, сравнить их с этою бездною поэм, романов, ироических и любовных, простодушных и сатирических, коими наводнены европейские литературы средних веков. Нам приятно было бы наблюдать историю нашего народа в сих первоначальных играх разума, творческого духа, сравнить влияние завоевания скандинавов с завоеваниями мавров. Мы бы увидели разницу между простодушной сати-

рою французских *trouveurs* с лукавой насмешливостью скоморохов, между площадной шуткою полудуховной мистерии и затеями нашей старинной комедии...

Но, к сожалению, старинной словесности у нас не существует. За нами темная степь — и на ней возвышается единственный памятник — Песнь о полку Игореве.

Словесность наша явилась вдруг в 18 столетии, подобно русскому дворянству, без предков и родословной...».

К этой неоконченной статье Пушкин вернулся в 1834 году. В тексте, несколько переработанном, Пушкин снова говорит о «Слове о полку Игореве»: «Несколько сказок и песен, беспрестанно поновляемых изустным преданием, сохранили полуизглаженные черты народности, и «Слово о полку Игореве» возвышается уединенным памятником в пустыне нашей словесности».

Нам кажется, можно с достаточной уверенностью утверждать, что интерес к «Слову» у Пушкина возник в связи с его увлечением народной словесностью, в частности песнями, о чем между прочим свидетельствуют и приведенные планы, где «Слово» следует непосредственно за песнями.

Приехав в сентябре 1826 г. из Михайловского в Москву с «Борисом Годуновым», записями народных песен и своими песнями о Степане Разине, Пушкин среди молодых литераторов, организовавших во главе с ним журнал «Московский вестник», встретил не только полное сочувствие этим занятиям, но и поддержку и помощь. Погодин, Шевырев, Соболевский и Максимович были не менее Пушкина увлечены народной поэзией.

Вспомним рассказ Погодина, как на вечере у Веневитиновых Пушкин после чтения «Бориса Годунова» читал свои песни о Степане Разине: «Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью по Волге на востроносой своей лодке».

<sup>1</sup> А. Н. Веселовский утверждал ошибочно: «Пушкин работает в Кишиневе над планом «Владимира», причем хотел воспользоваться былинами, «Словом о полку Игореве», Тасом — и Херасковым» (А. Н. Веселовский, «Жуковский», 1918, стр. 498).

В 1827—1828 гг. Соболевский намеревался издать с Пушкиным «Собрание русских народных песен».

Для характеристики взглядов кружка «Московского вестника» на народную поэзию чрезвычайно важно следующее место статьи Шевырева в № 3 этого журнала за 1827 год: «Эпическая поэзия и песни — вот общее начало словесности у всех народов. В подтверждение сего заметим, что в поэмах эпических прославлялись всегда войны не оборонительные, но наступательные, как смелые подвиги ума изобретательного. — Таков предмет «Илиады» Гомеровой, «Освобожденного Иерусалима», «Лузнады» Камюэнса и проч... У нас от скупой древности осталось одно бесценное произведение, которое свидетельствует сию истину. Это Слово о полку Игоре, где прославлен смелый подвиг доблестных витязей Юга. — Не в нем ли должно искать зародыша нашей русской поэзии? — Быть может до сих пор мы не обращали на него надлежащего внимания, так, как и на всё народное; но мы знаем, что и песни Омира собраны только при Солоне». Это высказывание Шевырева выражало не только его взгляды и было, конечно, мнением кружка лиц, группировавшихся вокруг «Московского вестника».

Существенное значение для углубления интереса Пушкина к «Слову» имело общение поэта с Максимовичем, по специальности ботаником. Пятнадцатилетним юношей приехав в 1819 г. с Украины в Москву, М. А. Максимович прожил зиму в тесном общении со своим дядей, профессором Московского университета Ром. Фед. Тимковским, специалистом по классической филологии, в последние годы жизни (умер в 1820 г.) изучившим «Слово о полку Игоре» и готовившим его издание со своими комментариями. Можно утверждать, что если бы не погибла вся работа Тимковского (во время петербургского наводнения 1824 года), то это был бы самый значительный труд той эпохи по «Слову». Впоследствии в своей статье о «Слове» Максимович вспоминал об исследовании Тимковского, который, надо думать, и привил ему интерес к русской

словесности. В начале 1827 г. Максимович с'ездил ненадолго в родную Украину и привез оттуда собрание песен, которые уже летом этого года печатались на средства Соболевского. С Максимовичем Пушкин общался и после 1827 года, во время своих наездов в Москву в 1828—1832 годах.

Когда в начале 1833 г. вышел в свет перевод Вельтмана «Слова», Максимович поделился своими наблюдениями над песнями в связи со «Словом» с Вяземским, которому писал (17 февраля 1833 г.): «Сравнивая песни с «Песнию о полку Игоре», я нахожу в них поэтическое однородство, так что одну песнь — которую согласно с общим мнением должно, кажется, относить действительно к XII веку, — называю началом той южнорусской эпопеи, которая звучала и звучит еще в думах бандуристов и многих песнях украинских; а песнь Ярославны темою, которая распевается в разнообразных, полных чувством женских песнях Украины. Это мнение я хочу написать по поводу нового, Вельтманом изданного мерно-прозаического перевода сей песни. Мне бы весьма хотелось знать суждение ваше о таком мнении, — и что скажет об нем Пушкин, которому прошу покорнейше передать мой усердный поклон»<sup>1</sup>.

Эти интересные и оказавшиеся впоследствии столь плодотворными мысли о родстве украинского фольклора со «Словом» были впервые высказаны в литературе Максимовичем.

В последних словах письма Максимовича к Вяземскому нельзя не видеть указания на то, что Пушкин, вероятно, не раз беседовал с ним о «Слове». Во всяком случае к сентябрю 1832 г. Пушкин хорошо знал не только текст памятника, но и литературу о нем.

Приехав в это время в Москву, Пушкин писал жене (27 мая 1832 г.): «Сегодня еду слушать Давыдова, не твоего супиранта, а профессора; но я ни до каких Давыдовых, кроме Дениса, не охот-

<sup>1</sup> Эти строки из письма Вяземскому Максимович почти без изменения перенес в свою рецензию на перевод «Слова», сделанный Вельтманом, напечатанную в 1833 г. в №№ 23 и 24 «Молвы».

ник — а в Московском университете я оглашенный. Мое появление произведет шум и соблазн, а это приятно щекотит мое самолюбие». В письме от 30 сентября находим описание этого посещения: «На днях был я приглашен Уваровым в Университет. Там встретился с Каченовским (с которым, надобно тебе сказать, бранивались мы, как торговки на вшивом рынке). А тут разговорились с ним так дружески, так сладко, что у всех предстоящих потекли слезы умиления. Передай это Вяземскому».

Слова поэта, что его появление произведет «шум», сбылись в полной мере. Посещение Пушкиным университета и импровизированный диспут его с Каченовским явились крупным событием в жизни университета. Нам известны шесть воспоминаний пяти студентов, присутствовавших на диспуте, в том числе и И. А. Гончарова. Так, мемуарист, скрывшийся под псевдонимом «Бывший студент», писал: «Однажды утром читал лекцию профессор Ив. Ив. Давыдов... предметом бесед его в то время была теория словесности. Г-на министра <sup>1</sup> еще не было, хотя мы, по обыкновению, ожидали его. Спустя около четверти часа после начала лекции вдруг отворяется дверь аудитории и входит г-н министр, ведя с собою молодого человека, невысокого роста, с чрезвычайно оригинальной, выразительной физиономией, осененной густыми курчавыми каштанового цвета волосами, одушевленной живым, быстрым, орлиным взглядом. Вся аудитория встала. Г-н министр ласковой улыбкой приветствовал юношей, и, указывая на вошедшего с ним молодого человека, сказал:— «Здесь преподается теория искусства, а я привез вам само искусство». Не надобно было объяснять нам, что это олицетворенное искусство — был Пушкин: мы узнали его по портрету, черты которого живо были напечатлены в воображении каждого из нас, узнали по какому-то сердечному чувству, подсказывавшему нам имя нашего дорогого гостя...

и, в это утро, может быть в первый раз, почтенный профессор И. И. Давыдов в аудитории своей имел слушателей несколько рассеянных, по крайней мере, менее против обыкновенного внимательных к умным и поучительным речам его. За лекцией проф. Давыдова следовала лекция покойного профессора М. Т. Каченовского. Каченовский (который в то время не был уже издателем Вестника Европы) вошел в аудиторию еще до окончания лекции первого. Встреча Пушкина с Каченовским, по их прежним литературным отношениям, была чрезвычайно любопытна... В это время лекция превратилась уже в общую беседу г-на министра с профессорами и с Пушкиным. Речь о русской литературе, сколько мы помним, перешла вообще к славянским литературам, к древним письменным памятникам, наконец — к Песни о Полку Игореве. Здесь исторический скептицизм антиквария встретился лицом к лицу с живым чувством поэта... Сколько один холодным, безжалостным критическим рассудком отвергал и подлинность и древность этого единственного памятника древней русской поэзии, столько другой пламенным поэтическим сочувствием к нему доказывал и истинность, и неподдельность знаменитой Песни. Каждый остался при своих убеждениях, и беседа, продолжавшаяся долее, нежели сколько было назначено времени для лекции профессора, окончилась дружеским пожатием между собою рук антиквария и поэта...».

Очень ценным дополнением к этому рассказу является воспоминание другого студента, известного впоследствии слависта О. М. Бодянского <sup>1</sup>: «В конце сентября 1832 года <sup>2</sup> в доме старого университета (где теперь в библиотеке читальная зала) был на лекции у Давыдова Пушкин (сидел на креслах). По окончании ее взшел в аудиторию Каченовский и, вероятно по поводу самой лекции, заговорили о Слове о полку Игореве. Тогда Давыдов заставлял сту-

<sup>1</sup> С. С. Уварова, знакомившегося в те дни с университетом. Он в это время был еще только товарищем министра.

<sup>1</sup> Рассказ записан Бартеневым.

<sup>2</sup> Бодянским ошибочно указан не 1832, а 1833 год.

дентов разбирать древние памятники. Обращаясь к Каченовскому, Давыдов сказал, что ему подано весьма замечательное исследование, и указал на Бодянского, который, увлеченный Каченовским, доказывал тогда подложность Слова. Услыхавши об этом, Пушкин с живостью обратился к Бодянскому и спросил: «А скажите, пожалуйста, что значит слово *харалужный*?». — Не могу объяснить. — Тот же ответ на вопрос о слове *стрикусы*. Когда Пушкин спросил еще о слове *кмет*, Бодянский сказал, что вероятно слово это малороссийское от *кметыти* и может значить *примета*. «То-то же, говорил Пушкин, никто не может многих слов объяснить, и не скоро еще объяснят». Через день Пушкин обходил весь университет вместе с Уваровым и потом скоро уехал».

Через несколько дней после диспута Пушкина с Каченовским, читал лекцию по ботанике Максимович, который вспоминал впоследствии в своей автобиографии, написанной в виде письма к С. П. Шевыреву: «Когда я приехал в назначенный день к Уварову на обед (он стоял у камина, возле него одесную А. С. Пушкин, и ошую И. И. Давыдов), — он тотчас же сказал: «А я только что говорил с Иваном Ивановичем о вашей лекции. Я удивляюсь вашему дару слова... у вас совершенно литературное выражение...». На это заговорил Пушкин: «Да мы г. Максимовича давно считаем нашим литератором: он подарил нас малороссийскими песнями... et cetera... (На этом обеде были, если не ошибаюсь, и Вы [С. П. Шевырев], и Погодин, и Строев, с надетою в тот день на шею Анною...».

Перевод Вельтмана «Песнь ополчению Игоря», полученный Пушкиным в феврале 1833 г. (сохранившийся в библиотеке поэта), знаменует новый этап в работе Пушкина над «Словом». Вероятно, со времени получения этого перевода Пушкин до конца своей жизни был занят мыслью о «Слове». Поэт, создающий «Медного всадника», «Капитанскую дочку», «Историю Пугачева», напряженно работающий над историей

Петра, в самые тяжелые годы своей жизни находит время заниматься «Словом». Он читает и перечитывает этот памятник, он запоминает его весь от начала до конца наизусть, он старается осмыслить многочисленные темные места его. Желание вернуть народу гениальное произведение безвестного поэта, воскресить эту древнюю поэзию — составляет Пушкина приняться за истолкование и издание «Слова». О работе Пушкина над «Словом», несколько перефразируя его собственные слова об «Истории» Карамзина, можно сказать, что она — не только дело великого писателя, но и подвиг патриота.

Вопрос о подлинности памятника для Пушкина не существовал. Для него она была так самоочевидна, что он не считал нужным это доказывать. В введении к своим комментариям он просто высмеивает скептиков.

Но Пушкина интересовал вопрос о времени происхождения рукописи, вопрос чрезвычайной важности для определения не подлинности, но степени достоверности текста. В бумагах поэта сохранилась его рукой переписанная записка знаменитого ученого А. Х. Востокова о «Слове», сообщающая, что ему «сказывал знаток (покойный А. И. Ермолаев), видевший рукопись до истребления ее в 1812 году, что почерк ее был полуустав XV века. Что касается до наречия ее, будто бы несогласного ни со славянскими ни с нашими областными, несходство сие касается только до некоторых неизвестных слов, как то: *харалуг*, *стрикус* и проч., вообще же в ней наречие то же самое, какое и в летописях наших и в других древних памятниках языка русского, чистое русское, а не польское, ниже какое либо другое наречие.

Окончание глаголов *шет* или *шетъ* вместо *ше*, и *хуть* вместо *ху*, напр., *бьшет*, *помняшет*, *сыпахуть*, *говоряхуть*, отличается от простого *ше* или *ху* только усиливательною приставкою *тъ*, которая не в одном *Слове о Полку Игоре*, но и в других старинных памятниках языка встречается. Напр. в Лаврентьевском списке временника Нестерова л. 98: «и дар си от бога прия, да егда в църкви внидишет, и слыша пение, и

обие слезы *испущает*». — *Одевахте* есть, вероятно, описка, вместо *одевахуть*. Впрочем, в списке XV века, по которому напечатано *Сл. о Плк. Иг.*, нельзя искать первобытного правописания сей поэмы, сочиненной в конце XII века. Каждый переписчик переменил правописание своего подлинника, частью неумышленно, по привычке, частью же и с умыслом поправить мнимую ошибку. Востоков».

Подлинник этой записки в настоящее время неизвестен, как неизвестно, у кого и когда Пушкин снял свою копию. Можно лишь предполагать, что поэт списал себе записку с подлинника, принадлежавшего Максимовичу, потому что в статье последнего о «Слове»<sup>1</sup> имеется сообщение об определении А. И. Ермолаевым времени происхождения рукописи в таких выражениях: «Сия рукопись, по свидетельству известного знатока сего дела А. И. Ермолаева, была писана полууставом XV века». Ни этому сообщению Максимовича (в 1836 году!), ни свидетельству такого авторитета, как Востоков, сообщающего мнение лучшего палеографа того времени (А. И. Ермолаев умер 10 июля 1828 г.) в литературе о «Слове» не было уделено надлежащего внимания. А между тем нельзя не указать, что Н. М. Каринский в работе, посвященной специально палеографии погибшей рукописи, пришел к выводу, лишь уточняющему мнение Ермолаева: «Представляется, повидимому, естественным относить памятник к концу XV века»<sup>2</sup>.

Ко времени занятия Пушкина «Словом» из лиц, видевших подлинник, был жив один только А. Ф. Малиновский, главный переводчик «Слова» в первом издании<sup>3</sup>. Семья Малиновского — близкие знакомые родителей Пушкина и семьи Гончаровых. Жена Малиновского была даже посаженной матерью у не-

сты Пушкина. Несомненно, что Пушкин в свой последний приезд в Москву в мае 1836 года, бывая в архиве, директором которого был Малиновский, не мог не говорить с ним о рукописи «Слова». Ведь, по свидетельству Шевырева, как-раз во время этого пребывания в Москве Пушкин особенно был увлечен «Словом о полку Игореве». Об этом же говорит и запись в дневнике И. М. Снегирева от 15 мая 1836 г.: «Утром я был у А. С. Пушкина, который... просил сообщить ему мои замечания на Игореву песнь, кою он занимается, как самородным памятником русской словесности».

Вообще Пушкин в последние месяцы жизни любил делиться своими мыслями о «Слове» с людьми, которые могли оценить это. Так, в декабре 1836 г. он весь вечер говорил с А. И. Тургеневым о «Слове», в начале января 1837 г. беседовал с археографом М. А. Коркуновым, который вскоре после смерти поэта, вспоминая эту беседу, писал: «его светлые объяснения древней «Песни о полку Игореве», если не сохранились в бумагах,—невозвратимая потеря для науки».

Ив. Петр. Сахаров, фольклорист и этнограф, так же как и Шевырев и Снегирев, впоследствии занимавшийся «Словом», вспоминал о своем последнем свидании с Пушкиным, к которому он пришел с поэтом Лукьяном Андр. Якубовичем: «Перед смертью Пушкина приходим мы, я и Якубович, к Пушкину. Пушкин сидел на стуле; на полу лежала медвежья шкура; на ней сидела жена Пушкина, положила свою голову на колени к мужу. Это было в воскресенье; а через три дня уже Пушкин стрелялся. Здесь Пушкин горячо спорил с Якубовичем и спорил дельно. Здесь я слышал его предсмертные замыслы о «Слове Игореве полка» — и только при разборе библиотеки Пушкина видел на лоскутках начатые заметки».

Замечательна та серьезность, с которой Пушкин брался за ответственнойшее дело национального значения. Пользуясь словами поэта, можно сказать, что он подходил к великому поэтическому произведению, сняв шапку.

Показательна в этом отношении пре-

<sup>1</sup> См. «Журнал министерства народного просвещения», 1836, апрель, стр. 3.

<sup>2</sup> См. «Журнал министерства народного просвещения», 1916.

<sup>3</sup> Видевший рукопись арендатор Сенатской типографии, в которой печаталось «Слово», С. А. Селивановский умер в 1835 г. Нет никаких сведений о знакомстве с ним Пушкина.



жде всего библиотека Пушкина, где собрано немало книг, с разных сторон помогающих осветить памятник. Пушкин имел почти без исключения все существовавшие тогда переводы «Слова» (вплоть до стихотворных). Среди них обращает на себя внимание экземпляр «Слова о полку Игореве», изданного в Праге Вячеславом Ганкой с его переводами текста на чешский и немецкий языки. Вероятно, по этому экземпляру должна была вестись Пушкиным основная работа, так как в книгу вплетены белые листы для заметок. Затем в библиотеке Пушкина имеется и литература о «Слове». Среди нее важно отметить второе и третье издания «Истории государства российского» Карамзина, для которого высоко чтимый Пушкиным историк кое-что перерабатывал, по сравнению с первым изданием, в том числе и разъяснения темных мест «Слова»; «Объяснениями важнейшими, писал Пушкин, обязаны мы Карамзину, который в своей *Истории* мимоходом разрешил некоторое загадочные места». Были у Пушкина в библиотеке и летописи, и сборники украинских и сербских народных песен. Последние, конечно, теснейшим образом связаны с пушкинскими «Песнями западных славян», но ведь работа над «Песнями западных славян», — писавшимся Пушкиным в те самые годы, когда он начинал свою работу над «Словом», — находится несомненно в известном соответствии с работой Пушкина над «Словом». Сверх того насчитываем мы до пятнадцати словарей и грамматик разных славянских языков. Как видно по некоторым пометам Пушкина на переводе «Слова» Жуковского (о чем речь впереди), Пушкин сопоставлял трудные слова с польскими, чешскими и даже немецкими словами. — К сожалению, не все книги библиотеки Пушкина дошли до нас. Так, не сохранился подарок чешского филолога Шафарика в 1836 г. Пушкину — вероятно его известный труд по истории славянских языка и литературы всех наречий (1826 г.). Когда привезший эту книгу передал Пушкину просьбу Шафарика получить от поэта его «Современник», Пушкин сказал, что «Шафарика совест-

но посылать «Современник», а если удастся издать что-нибудь поважнее, тогда пошлет». Конечно, в этих словах надо видеть намек на подготавливавшееся им издание «Слова».

Не сохранилась еще одна любопытная книжка, которую «ссудил» Пушкина Тургенев. Это было издание «Слова» с отметками А. Я. Италинского, дипломата, бывшего в 1817—1827 гг. послом в Риме и занимавшегося археологией. Эрудицию Италинского очень высоко ценил Тургенев, называвший его «единственным русским археологом». Отметки эти, по словам Тургенева, заключали «объяснения по восточным языкам» и были «важны».

Не удовлетворяясь своей библиотекой, Пушкин ходил и в Публичную библиотеку, где, встретив однажды академика П. И. Кеппена, узнал от него, что польский ученый Кухарский прислал Кеппену свою работу о *Трояне*, одном из темных мест текста «Слова», вызывавшем различные толкования. Получив от Кеппена копию исследования Кухарского, Пушкин не был удовлетворен и новой гипотезой, утверждавшей, что в *Трояне* «Слова» надо видеть не римского императора, а полководца.

Первая задача, стоявшая перед Пушкиным как толкователем и переводчиком памятника, заключалась в осмыслении всех слов его. Поэтому самой ранней стадией его работы являются лингвистические заметки. Он искал и сопоставлял слова интересующего его памятника в Библии, в летописях, в Четьих-Минях.

Сохранился лист с заметками по объяснению древнерусских слов, сделанными, возможно, осенью 1830 г. в связи с чтением II тома «Истории русского народа» Полевого. Здесь в объяснении слов летописи: «стукну земля» Пушкин делает ссылку на выражение в «Слове»: «земля тутнет». Здесь же запись: «усобица войны» очевидно тоже имеет отношение к «Слову», в комментариях к которому поэт указывал на неправильный перевод этого слова Вельтманом<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> См. «Летописи Государственного Литературного музея», кн. первая, 1936, стр. 321.

Чрезвычайно интересны пометы на вышеназванной книге о Мамаевом побоище, где Пушкиным отмечены в шестнадцати местах слова и отдельные предложения, в которых он видел сходство с отдельными местами «Слова». Так, например, отмечены слова «ркучи», «стязи ревут», «рози», «бугай». Эта редакция сказания не так близка к «Слову о полку Игореве», как «Поведание» Софония о Мамаевом побоище, — тем значительнее пометы Пушкина, устанавливающие связь даже и этого памятника XIV—XV века со «Словом».

Кроме выписок древнерусских слов из летописей с объяснениями, сделанными на отдельном листе, остальные записи дошли до нас на двух маленьких листочках и на клочке бумаги. Судя по тому, что эти листочки и клочок после смерти Пушкина оказались у частных владельцев, можно думать, что они не все нам теперь известны.

На клочке бумаги с выписками слов из Библии записаны слова: «истягнуши» для объяснения слова «изтягнул», имеющегося в «Слове», «щиты», — слово, несколько раз встречающееся в «Слове», и «роги алтаря». Слово «роги», вероятно, выписано в связи с выражением «нъ рози нося им хоботы пашут» (текст первого издания «Слова»), подвергавшимся самым разнообразным толкованиям.

На одном из листочков записаны слова Игоря: «Хочу копье преломити а любо испити» и возражение поэта Каченовскому (ошибочно названному Сенковским), видевшему в этих словах одно из доказательств позднего происхождения памятника. На другом листочке записано: «стуга — то же, что туга, как скоп и коп». Запись эта объясняется тем, что в первом издании «Слова» имеются такие места: «а древо стугою к земли преклонилось» и «и древо стугою к земли преклоило». Теперь вместо «стугою» читают «с тугою».

Кроме этих записей мы имеем выписку из жития Иоанна Кушника, сделанную из Четвix-Миней, где подчеркнута слово «туга» и запись на письме Чаадаева «в хоботы сзади»; слово *хобот*, встречающееся в одном из темных мест

памятника, вызвавшем большое количество кон'ектур, очень интересовало Пушкина. Встретив это слово в «Ледяном доме» Лажечникова, поэт обращался и к нему за разъяснением. Ответ Лажечникова, надо думать, не мог удовлетворить Пушкина.

Но одной лингвистикой Пушкин не ограничивался. Его интересовала и поэтика «Слова», его метафоры, сравнения, образы. Кроме заметок и помет на «Древнем сказании» лексического характера, сохранилась запись Пушкина украинской песни:

Черна роля заорана  
Гей гей  
Черна роля заорана  
И кулями засияна  
Билым тилом взволочена  
Гей гей  
И кровию сполочена<sup>1</sup>.

Несомненно сходство этих стихов с описанием битвы в «Слове»: «На Немизе снопы стелют головами, молотят чепи харалужными, на тоце живот кладут, веют душу от тела. Немизе кровави брезе не бологом бяхуть посеяни, посеяни костью русских сынов». Конечно, именно потому Пушкин и записал эту песню. В связи со «Словом» объяснял ее и Максимович, который издал песню в «Украинских народных песнях» и привел в своих лекциях о «Слове о полку Игореве» (1836 г.). Но Пушкин пользовался не его изданиями, так как записал песню по совершенно иной орфографии. Может быть, записал он ее со слов Гоголя, который принимал участие в сборнике украинских песен Максимовича; за Максимовичем записать он этой песни не мог, так как они виделись в последний раз в 1832 году, может быть, коротко в 1833 г., а запись сделана в 1834 г. Эта запись свидетельствует, что Пушкин полностью разделял точку зрения Максимовича на связь «Слова о полку Игореве» с народными

<sup>1</sup> Т. е.:  
Вспахана черная пашня,  
Засеяна пулями,  
Взборонена белым телом,  
Взмочена кровью.

песнями. Надо думать, что Пушкин привел бы песню в своей работе о «Слове».

Не менее, чем запись песни, любопытны выписки Пушкина терминов соколиной охоты из «Книги глаголемой Урядник; Новое уложение и устроение чина Сокольничья пути», помещенной в «Древней российской вифлиофике», имевшейся в библиотеке Пушкина. Образами соколиной охоты, как известно, пронизано «Слово о полку Игореве». На «Урядника» навели Пушкина, вероятно, примечания Вельтмана к «Слову». Разъясняя выражение «коли сокол в мытех бывает, высоко птицъ взбивает», Вельтман приводит цитату из «Урядника» и поясняет: «Здесь *размытъ* значит: отдели (sic!) от самца. Есть слово смычили — связали». Пушкин отчеркивает это место и пишет на полях сохранившееся в живом языке слово *смыкать*.

Увлечшись описанием соколиной охоты, Пушкин делает выписки значительно шире, чем требовало бы пояснение «Слова о полку Игореве»<sup>1</sup>.

Центральное место среди пушкинских материалов по «Слову» занимают его пометы и замечания на экземпляре перевода Вельтмана и на рукописи перевода Жуковского, сделанного, вероятно, в 1818—1819 гг. и неизвестно когда полученного Пушкиным.

На переводе Вельтмана рассеяно около тридцати замечаний Пушкина. Около восьмидесяти замечаний находим мы на рукописи Жуковского, к которой Пушкин обращался дважды, часть помет сделано карандашом, другая — пером. Тут имеются подчеркивания отдельных слов с толкованием их на полях; так, у фразы: «погрозившего силу на дне Каялы реки Половецкия» — Пушкин пишет, вместо *силу*: «тысячи»; «неволя грянула на волю» — Пушкин меняет на «Нужда сменила изобилие»; «*Не с честью вы победили*» — Пушкин предлагает: «Неславно». Имеются и просто подчеркивания мест, где переводчик пренебрегал подлинником. Так, Вельтман, переводя весь текст мерной

прозой (написанной амфибрахием), перевел слова «серым волком по земли» — «как серые волки, неслись по пространству». Пушкин подчеркнул слова «по пространству», принесенные, вероятно, из-за размера. Третья группа помет — это подчеркивания с пометой «NB» на полях. Этот знак ставился Пушкиным для напоминания себе, что об этом нужно сказать в статье. Проходя вторично перевод Жуковского, уже с пером в руке, Пушкин к пяти местам его пишет замечания на отдельных листках<sup>1</sup>, обозначив первые три цифрами, которые он поставил и в переводе. Эти замечания можно рассматривать как наброски будущей статьи (статьей о «Слове о полку Игореве» принято называть начало исследования Пушкина о «Слове»).

О работе Пушкина в последние недели жизни поэта имеется ценнейшее свидетельство А. И. Тургенева. Когда в конце 1836 года французский лингвист Эйхгоф готовился читать в Сорбонне лекции по литературе, он обратился к жившему в Париже Ник. Ив. Тургеневу с просьбой достать ему «Слово о полку Игореве». Николай Иванович в свою очередь обратился с этой просьбой к брату в Петербург. В ответ Александр Иванович писал ему 13 декабря 1836 г.: «...О «Песне о полку Игореве» переговорю с Пушкиным, который ею давно занимается и издает с примечаниями. Между тем посылаю две статьи о ней, напечатанные недавно в журнале нар. просв.<sup>2</sup> Передай их Эйхгофу и скажи ему, что постараюсь еще кое-что о ней доставить и самую песнь. Справлюсь о лучшем немецком переводе...». «Полночь. Я зашел к Пушкину справиться о песне о полку Игореве, коей он приготавливает критическое издание. Он посылает тебе прилагаемое у сего издание оной на древне русском (в оригинале) латинскими буквами и переводы Богемский и польский<sup>3</sup>; и в конце

<sup>1</sup> Об этих листках («лоскутках») и писал в вышеприведенных воспоминаниях И. П. Сахаров.

<sup>2</sup> Публикация лекции Максимовича в Киеве.

<sup>3</sup> Издание Вячеслава Ганки; Тургенев ошибся: кроме чешского, там был приложен не польский, а немецкий перевод.

<sup>1</sup> На связь этих выписок со «Словом о полку Игореве» обратил внимание И. А. Новиков.

написал и свое мнение о сих переводах. У него случилось два экз. этой книжки. Он хочет сделать критическое издание сей песни, в роде Шлецерова Нестора, и показать ошибки Шишкова и других переводчиков и толкователей; но для этого ему нужно дожидаться смерти Шишкова, чтобы преждевременно не уморить его критикою, а других смехом. Три или четыре места в оригинале останутся неясными, но многое пояснится, особливо начало. Он прочел несколько замечаний своих, весьма основательных и остроумных: всё основано на знании наречий славянских и языка русского...».

Конечно, в связи с замыслом «сделать критическое издание в роде Шлецерова Нестора» Пушкин в 1836 году читал знаменитое исследование Шлецера «Нестор», где между прочим автор отказывается от своего сомнения в подлинности памятника, высказанного до выхода в свет «Слова». В сохранившихся заметках Пушкина, сделанных им при чтении «Нестора», нет ничего непосредственно относящегося к «Слову», но совершенно очевидна внутренняя связь работы Пушкина над памятником с замечательными мыслями Шлецера о величии России и ее истории.

Работой уже над критическим изданием «Слова о полку Игореве» и является так называемая статья Пушкина. Она состоит из введения и толкования текста памятника.

Введение включает в себе краткие сведения об открытой Мусиным-Пушкиным рукописи, общую характеристику существовавших к тому времени переводов (А. Ф. Малиновского, А. С. Шишкова, Я. О. Пожарского, Н. Ф. Грамматина, А. Ф. Вельтмана) и ненапечатанного перевода Жуковского), и по-пушкински остроумную отповедь скептикам, позволявшим себе отрицать подлинность «Слова».

Толкования относятся лишь к началу памятника, до слов «А мои ти куряне сведоми кмети, под трубами повиты». Таким образом, комментарии Пушкина были написаны примерно к одной восьмой части текста «Слова». Наряду с эрудицией в них видна необыкновенная

острота мысли, свежесть, оригинальность. Приведем комментарий Пушкина к зачину «Слова»:

«§ 1. Не лепо ли ны бяшет братие начати старыми словесы трудных повестий о плъку Игореве, Игоря Святославича. Начати же ся тѣй песни по былинам сего времени, а не по замышлению Бояню».

Все, занимавшиеся толкованием *Слова о Полку Игореве* перевели: Не прилично ли будет нам, не лучше ли нам, не пристойно ли бы нам, не славно ли, други, братья, братцы... воспеть древним складом, старым слогом, древним языком трудную, печальную песнь о Полку Игореве, Игоря Святославича. Но в древнем славянском языке частица *ли* не всегда дает смысл вопросительный, подобно латинскому *ne*; иногда *ли* значит *только*, иногда — *бы*, иногда — *же*; донныне в сербском языке сохраняет она сии знаменования. В русском частица *ли* есть или союз разделительный, или вопросительный, если управляет ею отрицательное *не*, в песнях не имеет она иногда никакого смысла и вставляется для меры так же, как и частицы: *и, что, а, как, уж, уж как* (Замечание Тредьяковского).

В другом месте *Слова о полку ли* поставлено также, но все переводчики решили, что это есть ошибка переписчика, и перевели не вопросом, а утвердительно. То же надлежало бы сделать и здесь.

Во-первых, рассмотрим смысл речи: по мнению переводчиков, поэт говорит: Не воспеть ли нам об Игоре по-старому? Начнем же петь по былинам сего времени (то есть по-новому), а не по замышлению Боянову (т. е. не по-старому). Явное противуречие<sup>1</sup>. — Если же признаем, что частица *ли* смысла вопросительного не дает, то выйдет: Не прилично, братья, начать старым слогом печальную песнь об Игоре Святослави-

<sup>1</sup> Очень понимаем, почему А. С. Шишков не отступил от того же мнения. Сочинителю *Рассуждения о старом и новом слоге* было бы неприятно видеть, что и во время сочинителя *Слова о полку Игореве* предпочитали былинны своего времени старым словесам. (Примечание Пушкина. — М. Ц.).

че; начаться же песни по былинам сего времени, а не по вымыслам Бояна.

Стихотворцы никогда не любили упрека в подражании, и неизвестный творец *Слова о Полку Игореве* не преминул об'явить в начале своей поэмы, что он будет петь по-своему, по-новому, а не тащиться по следам старого Бояна. Глагол *бьшет* подтверждает замечание мое: он употреблен в прошедшем времени (с неправильностью в спряжении, коему примеры встречаются в летописях) и предполагает condition'альную частицу. Неприлично было бы. Вопрос же требовал бы настоящего или будущего.

Интересно отметить, что Шевырев в одном из своих воспоминаний о Пушкине как-раз говорил об этом истолковании Пушкиным зачина «Слова». Вот что писал Шевырев в своей «Истории русской словесности»: «Известно, что Пушкин готовил издание «Слова о полку Игореве»... Я слышал лично от Пушкина об его труде. Он об'яснил мне изустно вступление, которого смысл, по мнению Пушкина, был тот, что автор «Слова», отказываясь от *старых словес и замышления Боянова*, предпочитал говорить о полку Игоревом по былинам своего времени».

Ниже Пушкин несколько раз возвращается к этому, при всяком обращении певца Игоря к Бояну, придавая большее значение этому своему утверждению. Особенно неожиданно толкование знаменитого места «О Бояне, соловью старого времени, абы ты сиа полки уще-котал, скача, славлю, по мыслену древу...» и т. д., места, пересказанного Карамзиным так: «Увы! чувствую, что кисть моя слаба; я не имею дара великого Бояна, сего соловья времен про-

шедших...». Пушкин же тонко замечает относительно этих слов: «Если не ошибаюсь, ирония пробивается сквозь пышную хвалу».

Очень интересны размышления Пушкина по поводу слова *Троян*. «Должно ли не шутя опровергать такое легкомысленное об'яснение?»—говорит Пушкин по поводу гипотезы об императоре Трояне; Пушкин сам не мог предложить никакого толкования этому «Трояну», о котором до сих пор нет согласия среди исследователей. Замечательно, что на полях вельтмановского перевода «Слова» Пушкин чертит какие-то лигатуры, в которых ясно читается лишь буква «э»; иначе говоря, Пушкин пытается сделать кон'ектуру, восстанавливающую, по его мнению, неправильно прочтенное переписчиком слово, из которого он сделал «Трояна». Таким образом, Пушкин, пойдя по этому пути поисков, предвосхищает здесь известную кон'ектуру Тихонравова, видевшего в слове *Троян* испорченного неверным чтением *Бояна*.

Уважение к подлиннику, точность передачи мысли, всякого оттенка ее, и бережный перевод каждого слова — вот требования, которые поэт пред'являет переводчику «Слова».

Нам кажется, что самым лучшим памятником «Слову о полку Игоревом» в этот юбилейный год было бы критическое его издание, о котором не только мечтал, но к которому уже и приступил безвременно погибший великий поэт.

Когда Пушкин на смертном одре «жалел не о жизни, а о трудах, им начатых и не оконченных», он думал прежде всего, конечно, о своей оборванной работе над величайшим памятником русской поэзии — «Словом о полку Игореве».

# Мастера большевистской литературной критики

П. ЛЕПЕШИНСКИЙ

★

10 мая 1923 года и 8 мая 1933 года — незабываемые нами календарные даты, обведенные черной, траурной каймой. 15 лет тому назад погиб Вацлав Вацлавович Воровский, убитый в Швейцарии выстрелами русского белогвардейца Конради, и 5 лет тому назад скончался Михаил Степанович Ольминский. Нам нет надобности пояснять, кого именно партия и все трудящиеся Советской страны потеряли в их лице, ибо эти славные имена вошли уже в историю нашей ленинско-сталинской партии и ее неустанной борьбы за дело освобождения всего народа, всех трудящихся великой страны. И Воровский, и Ольминский немало поработали рука об руку с Лениным для осуществления этой громадной исторической задачи, и кто хоть немного знаком с историей ВКП(б), для того не могут оказаться «тайственными незнакомцами» эти люди.

В настоящей статье мы рассмотрим вопрос, на каких фронтах Воровский и Ольминский по-большевистски воевали, и, в частности, осветим один из особых участков того фронта, где оба эти товарища оказались большими мастерами.

Одним из главных орудий борьбы с темными силами старого уклада жизни у Воровского и Ольминского было перо. Они были литераторами, — да не теми горе-литераторами, о которых благодушно говорят: писатели пописывают, а читатели почитывают. Они писали не для забавы, не для любителей легк о-

го чтения, не заставляющего ни о чем сильно задумываться, ни о чем тревожиться и не реагировать эмоциями гнева, раздражения или протеста против гнусных явлений окружающей действительности. Они были писателями-большевиками, которые, наподобие пушкинского «Пророка», «глаголом жгли сердца людей». Они учили пролетариев по-марксистски мыслить, по-ленински ненавидеть и бороться с классовыми врагами пролетариата, разбираться в ухищрениях скользкой, как уж, мысли присоседившегося к пролетарским массам меньшевистского или всеровского красnobая, либо фашистского предателя и изменника Троцкого, которого Ленин недаром заклеил когда-то прозвищем «Иудушки».

Кто, например, не знает литературного ампула М. С. Ольминского, когда он, — эмигрировав после тюрьмы и ссылки, отнявших у него десять лет жизни, за границу, где он примкнул к кучке окружавших Ленина «твердокаменных» большевиков, — избрал себе роль политического памфлетиста под псевдонимом Галерки, не отступавшего перед перспективой самой отчаянной драки с меньшевиками? В то время, как Ленин бил меньшевиков и организационно (мобилизуя комитеты в России на местах), и в полемических выступлениях (вспомним, например, его знаменитую книгу «Шаг вперед, два шага назад»), так сказать, по всем правилам регулярной войны, — неукротимый Галерка предпочитал (если только про-

должить нашу аналогию) метод партизанщины в борьбе большевиков с меньшевиками. Он далеко не всегда мог угрожать противнику тяжеловесными аргументами из дальнобойных артиллерийских орудий, какими располагал в своем арсенале Ленин, но зато его «ручные гранаты», начиненные злой карикатурой, насмешкой и убийственной сатирой, производили весьма опустошающее действие в тылу у меньшевиков.

Меньшевики делали вид, что Галерку не следует принимать всерьез, что его полемические уколы не опаснее комариных укусов, которые причиняют телу только зуд, а не боль... Но на самом деле полемические налеты Ольминского — иногда с очень неожиданных позиций — очень были им неприятны, ибо положительно портили им их «агрессорскую» музыку. Ведь этот словесный турнир происходил не в герметически закупоренном пространстве, не в пределах только эмигрантской Женевы, а и перед массой заинтересованных свидетелей дуэли. Несомненно, голос Галерки получал широкий резонанс в российском подполье на местах, и разоблачаемые Галеркой меньшевики не могли, конечно, не кисло улыбаться в виду этого обстоятельства.

Но не следует думать, что М. С. Ольминский, облюбовавший себе ампула памфлетиста — «Галерки», не захотел расставаться с этим ампула даже и в то время, когда потребность в такого рода литературной партизанщине в большевистских кругах миновала. Во вторую половину 1904 года по инициативе Ленина большевики, ведя принципиальную ленинскую линию на разрыв, на раскол с оппортунистами — меньшевиками, создали свой собственный организационный центр («Бюро комитетов большинства») и образовали свой особый партийный орган — нелегальную газету «Вперед», ставшую впоследствии, со времени III съезда партии, официальным ЦО партии с переименованием его в «Пролетарий». В редакцию нового органа вошли Ленин, Луначарский, Воровский и Ольминский. От большого зазора галеркинского пера не осталось и

следа. Время «партизанщины», период борьбы с «агрессорами», с захватчиками-меньшевиками, с «рыцарями» «кооптационной дрязги» — борьбы методами карикатуры, хлесткой насмешки, словом — галеркинского жанра, прошло.

И вот вчерашний воинствующий Галерка превращается в тихого и скромного газетного работника. Он пишет статьи в газете по заданиям и под руководством Ленина, и таким при этом стилем, что нередко начало статьи принадлежит перу Ленина или Воровского, а конец пишется Ольминским, или наоборот. Редакционная четверка представляет одну спаянную, крепко цементированную ленинскую мыслью, семью. В высшей степени скромный «солдат революции» М. С. Ольминский выполняет свой революционный долг на новом революционном посту, даже не задумываясь о том, какое именно официальное положение занимает он в составе новой редакции.

А между тем он уже налагает на печатаемые в газете статьи и корреспонденции печать своей яркой литературной индивидуальности. Присылаемые из России заметки, письма и корреспонденции он подвергает своеобразной обработке, безжалостно вычеркивая из них все, что, по его мнению, является в них словесным балластом (сам он в своих писаниях был чрезвычайно скуп на слова и того же требовал от корреспондентов газеты, так что, например, фраза: «Явившаяся на место происшествия местная полиция арестовала восемь человек демонстрантов» после сокращения сводилась у него к двум словам: «арестовано восемь»). Недаром же П. А. Красиков в шутку стал распространять про него «клеветнический слух», будто после его правки «остается только точка в конце статьи — и больше ничего».

Приобретенные Ольминским в период его эмиграции навыки заправского журналиста и публициста, в высшей степени «читабельного» и понятного для низовых рабочих масс, очень пригодились ему впоследствии, при создании рабочей печати в так называемую эпоху «Звезды» и «Правды».

Вслед за еженедельной большевистской газетой «Звезда» товарищем Сталиным по решению партии была организована ежедневная большевистская газета «Правда».

Это был период подъема рабочего движения, предсказанный большевиками, ознаменовавшийся бурным революционным протестом против чудовищного расстрела рабочих на Лене.

Роль «Правды» была исключительно велика, она приводила к большевизму самые широкие массы рабочего класса. «Правда» подвергалась беспрестанным полицейским преследованиям, и в этих условиях она могла существовать и существовала лишь при активной поддержке десятков тысяч передовых рабочих.

У «Правды» было огромное количество корреспондентов. Только за один год в ней было напечатано свыше одиннадцати тысяч рабочих корреспонденций.

«Правда» освещала задачи рабочего движения и все политические события с последовательной большевистской точки зрения. «Правда» организовала пролетариат накануне выборов в IV Думу, разоблачала предательскую позицию меньшевиков — ликвидаторов. «Правда» помогала организовать революционные выступления пролетариата, она стояла в центре борьбы за партийность, за создание массовой рабочей партии. Вдохновителями и руководителями «Правды» были Ленин и Сталин.

Большевиков тогда называли «правдистами». «Правда» 1912 года — это закладка фундамента для победы большевизма в 1917 году» (Сталин).

Нужно ли говорить и подчеркивать, что такой испытанный ученик и соратник Ленина, как Ольминский, у которого вся его жизнь, все его революционное прошлое свидетельствовало о его беззаветной преданности делу рабоче-крестьянской революции, не мог остаться в стороне от массового выступления пролетариата на арену борьбы в эпоху подъема 1912—1914 гг. для продолжения незаконченной революции 1905 года? И действительно, в большевистской рабочей печати этого времени, т.-е. в «Звез-

де» и особенно в «Правде», Ольминский играет роль первой скрипки, не только снабжая эту печать своими яркими, полнокровными, насыщенными большевистскими мотивами, статьями, но и редактируя опытной рукой рабочие «корявые» корреспонденции. За период 1911 — 1914 гг. Ольминским было помещено в газетах «Звезда» и «Правда» около сотни статей, которые воспринимались их читателями-рабочими, как поучительные разъяснения партийных лозунгов или даже как директивы со стороны авторитетнейшего партийца.

Еще более продуктивной в количественном отношении и не менее важной и значимой по своему содержанию была публицистическая работа Ольминского после Февральской революции в 1917 г. В «Правде» этого времени и в «Социал-демократе» за 1917 г. им написано около 130—135 статей.

В качестве критика произведений художественной литературы Ольминский выступает главным образом после бурных годов революции, завершившейся поражением ее и торжеством столыпинской контрреволюции, которые сопровождались, с одной стороны, эксцессами каннибальской расправы царских сатрапов с побежденными революционерами, а с другой — отходом интеллигенции от революции, или, лучше сказать, ее торопливым повальным бегством с недавней арены борьбы. Общекультурная реакция стала такой же стихией жизни, как и карательные экспедиции господ Минов, Ренненкампов и тому подобного зверья. «Веховство», как этап идейного и политического ренегатства буржуазной демократии, и «санитшина» с ее аморальной проповедью «эгоизма» и с ее возведением чисто животного зоологизма в принцип жизни, как симптом культурного разложения «общества» времен реакции, — таковы были основные черты периода пореволюционного «распада». Выступать против этих явлений «распада» было довольно трудным делом и сулило литератору, пошедшему против неукротимого отливного течения, ряд обескураживающих неудач. Кажется, поэтому не очень далек от истины автор статьи «Литера-



турные работы М. С. Ольминского», когда он указывает на всеобщую реакцию как на главную причину довольно прохладного приема журнальных критических статей Ольминского не только в среде современной ему писательской братии, но и обывательской толпы читателей того времени. «В чем же дело? — ставит он вопрос, констатировав равнодушные тогдашних широких читательских кругов к литературной продукции Ольминского. — Дело главным образом в том, что работы Ольминского в либеральной и радикальной легальной печати были инородными, чуждыми или прямо враждебными рядовому читателю эпохи трех государственных дум»<sup>1</sup>.

И в самом деле, в огромном количестве статей Ольминского, посвященных характеристике литературных знамений времени в эпоху «распада» (статьи о Соллогубе, о Леониде Андрееве, о Куприне и Арцыбашеве, о беллетристических аллюрах Винниченко и т. д. и т. д.), красной нитью проходит непримиримо враждебное отношение автора к культуре эстетизма и чистого искусства, к смакованию эротических сцен, к пасквильной хуле на революцию, к опошлению всякой мысли и всякого душевного движения, всякого честного порыва, подсказанного моментами героической революционной борьбы, к черносотенным оргиям всякого рода ренегатов и предателей революции. «На примере похода (литераторов обывательского типа. — П. Л.) против Горького, — замечает в одной своей статье А. В. Луначарский, — осмелившегося заявить, что «Бесы» Достоевского, при всей их талантливости, есть черносотенное произведение, на примере Соллогубовских, быть может, бессознательных (? — П. Л.), издательств над революцией и революционерами, на примерах, взятых у Арцыбашева, у Куприна, у Винниченко, ярко и глубоко изображает Ольминский этот процесс интеллигентской реакции»<sup>2</sup>.

Вот как сам Ольминский характеризует полосу «возрождения эстетики» в годы реакции: «Люди бежали от жизни, — кто с романом в руках, кто с билетом в театр, кто с пулей в висок. Бежали от жизни, бежали от знания, погружались в фантастику, азарт или небытие. Искали спасительных настроений в раздражении спинного мозга, создавали торжество порнографии».

Чтобы отмахнуться от этой картины послереволюционного безвременья, автор торопится отвести от нее свой взор и вызвать в памяти далекое прошлое русской общественности: «Вспоминается мне другое время, эпоха возрождения, 60-е годы, когда пронеслось крылатое слово «Сапоги выше Шекспира», когда эстет граф Ал. Толстой громил передовую молодежь топорными стихами в реакционном «Русском вестнике» М. Н. Каткова:

Они ж матерьялисты:  
От имени прогресса  
Кричат, что трубочисты  
Суть выше Апеллеса.

Обеспеченные в услугах сапожника и трубочиста, эстеты ужасно не любят, когда им напоминают о людях без сапог и без квартиры...

Сейчас не найдется дурня, который не пожимал бы презрительно плечами по поводу односторонности идейных вождей 60-х годов, — писателей, занимавшихся разрушением эстетики. Дурень остается дурнем, а разрушители эстетики 60-х годов заняли почетное место в истории русской литературы»<sup>1</sup>.

Гм!.. Сильно сказано! Что за великолепная антитеза: дурни — и разрушители эстетики, занявшие почетное место в истории русской литературы! А к какой же категории отнести Г. В. Плеханова, который в своей работе о Чернышевском, в первой ее части (вышедшей в издании «Шиповника» в 1910 г.), в главе «Белинский, Чернышевский и Писарев» пытается развенчать теоретиков 60-х годов, «разрушавших» эстетику? Найдя в лице Писарева крайнего выразителя взглядов «разрушителей»,

<sup>1</sup> М. Ольминский. «По литературным вопросам». М.—Л. ГИХЛ, 1932, стр. 21—22.

<sup>1</sup> Н. Пиксанов. «Звезда», 1926 г., № 5.

<sup>2</sup> А. Луначарский. «Ольминский как литературный критик», Ж. «Пролетарская революция» за 1926 г., № 6 (53), стр. 235.

Плеханов идет гораздо дальше, чем даже «дурень», пренебрежительно пожимающий плечами, когда речь заходит об этом классическом «разрушителе»; он обстоятельно аргументирует, доказывая «абсурдность» взглядов. Писарева на эстетику, или, лучше сказать, доведение Писаревым до абсурда литературных взглядов Белинского и Чернышевского, грешивших идеалистическими уклонами в своих эстетических теориях. «Если ему (Писареву), — говорит Плеханов, — случалось доходить до абсурда (говорим: случалось, потому он тоже не всегда «разрушал» эстетику), виновата была в этом несостоятельность идеалистического взгляда на искусство, которая в самом деле приводит или к «мистическому туману» теоретиков «чистого искусства», или к более или менее «разрушительным» для эстетика выводам «просветителей»<sup>1</sup>.

Нельзя, конечно, заподозрить Ольминского в том, что он хотел бы подвести Плеханова под категорию... не очень мудрящих людей, презрительно пожимающих плечами при упоминании о «разрушителях» эстетики. Но налицо все-таки тот факт, что в разгар порожденного «веховскими» настроениями интеллигенции рецидива повального преклонения представителей этой интеллигенции перед «чистым» искусством, большевистски настроенный литературный критик не торопится отказаться от идеологического наследства «просветителей» и грубоватым по форме жестом презрения реагирует на черносотенные лозунги «эстетов» в роде Ф. Соллогуба и тому подобных приверженцев «чистого» искусства; в это же время матерой, образованнейшей меньшевистский литературный критик доктринерски ополчается на тех же «просветителей» и старается заклеить их своим ученым приговором. Случайно ли это? Нет, не случайно!

Вспомним, что Ленин, делавший пометки на полях изданной «Шиповником» в 1910 г. книги Плеханова о Чернышевском (см. Ленинский сборник,

т. XXV), находит поводы упрекнуть Плеханова именно в доктринерстве. В одном месте он замечает: «Из-за теоретического различия идеалистического и материалистического взгляда на историю Плеханов просмотрел практически-политическое и классовое различие либерала и демократа» (Лен. сб., т. XXV, стр. 231). Именно так! Теоретизируя по поводу идеалистических уклонов мысли «просветителей» 60-х годов и вступая с ними в запоздалую полемику, Плеханов и в интересующем нас случае не видит классовый подоплека в позиции «просветителей», ополчающихся на реакционные тенденции дворянской литературы затуманить головы умственного пролетариата теорией и практикой «чистого» искусства. Большевистский критик охотно устанавливает свое идейное родство с «просветителями» 60-х годов. Меньшевистский же теоретик спешит занять какое-то промежуточное положение между теоретиками «чистого» искусства и «разрушителями» эстетики. Он против «перегибов». Он стоит за «чистую» доктрину своего эстетического кодекса и во имя этой доктрины отмежевывается и от позиции Аполлона Григорьева, и от взглядов эстетикоеда Писарева. Большевистский критик, попав в волчью стаю мракобесов полосы «распада», вовсе не желает по-волчьи выть и храбро дерется с ними в меру предоставленных ему обстоятельствами возможностей. Меньшевистский же литературовед предпочитает просто молчать. Он ни одним гневным словечком не обмолвился ни об Арцыбашеве, ни о Соллогубе, ни о Куприне, ни о прочих литературных «светилах» на темном ночном небосклоне «веховщины» и распада. Случайно ли это? Вряд ли... Эти «светила» не представляют для него интереса как объекты высокоученой, выдержанной в академических тонах критики; а в других отношениях они ему безразличны, ибо он не способен, подобно неисправимому революционному демократу Галерке, пламенеть гневом и резко протестовать против тех фактов гнилостного разложения «общества», которые являлись, с точки зрения Плеханова, «естественным» по-

<sup>1</sup> Плеханов. Сочинения, т. V, стр. 357.

следствием «революционных излишеств» пролетариата, не учевшего своевременно того обстоятельства, что ему «не нужно было братья за оружие».

Очень характерно также, что Ольминский, утомленный зрелищем развязного паясничанья поэта «чистого искусства» Ф. Соллогуба, воспевающего в очень игривых тонах «трех дев» (жалких «жертв общественного темперамента», как высокопарно говорилось в старину), невольно тянется в своих думах к Некрасову, к «поэту мести и печали, живой крови и той любви, что клеймит злодея и глупца», к поэту, который и на женщину, выброшенную на улицу, смотрит иными глазами, чем смотрят жрецы «чистого» искусства — господа Соллогубы и К°. «Люди, перебегающие из стана «погибающих за великое дело любви» в стан «ликующих, праздно болтающих, обгадряющих руки в крови», обыкновенно становятся ярими поклонниками «чистого искусства», — произносит свой суровый приговор Ольминский по адресу тех, кто «благоговея богомольно перед святыней красоты, ...гасят свою мысль, убивают в себе остатки честности и достигают забвения о тех, кто погибает»<sup>1</sup>.

Плеханов же, конечно, не забывает принадлежащего поэту различия в места в истории русской общественности и, в частности, истории русской литературы, не забывает о его служении угнетенному народу... Но... его аристократическое музыкальное ухо решительно не переносит неприятно режущих слух «шипящих звуков вроде вот этих:

От ликующих, праздно болтающих,  
Обагривших руки в крови,  
Уведи меня в стан погибающих...

и т. д.»<sup>2</sup>.

И то обстоятельство, что стихи Некрасова представляют «топорную работу», что его стих «не гладок или, как он сам характеризовал его, тяжел и неуклюж», а его язык «редко бывает

звучен», — все это еще, по мнению Плеханова, «только полбеда». А в чем же беда?.. «Беда заключается в том, что стихотворения Некрасова очень часто не удовлетворяют художественным требованиям даже по своему внутреннему содержанию» (курсив Плеханова). В качестве примера автор приводит знаменитое стихотворение Некрасова «Размышления у парадного подъезда», производящее на Плеханова впечатление «красноречивой прозы» или «риторики», в которой «поэзии нет никакой»...

И вот, перед нами два типа демократа, два потомка шестидесятников, вспоенные и вскормленные, между прочим, некрасовскими мотивами поэзии «мести и печали»: один — близкий по своей психологии к представителям того мира, где живут люди,

Чьи не плачут суровые очи,  
Чьи не ропщут немые уста,  
Чьи работают грубые руки,  
Предоставив почтительно нам  
Погружаться в искусства, науки...

Он сам принадлежит к числу ушедших «от ликующих и праздно болтающих»; он отдал всю свою жизнь, все свои помыслы, все силы своего ума, все симпатии своего сердца борющемуся пролетариату, «штурмующему небо» и ведущему вслед за собою широкие массы крестьянской бедноты, жестоко эксплуатируемой не только последышами крепостнического дворянства, но и Деруновыми, Колупаевыми, Разуваевыми — всевозможными вообще деревенскими пиявками, «кровопийцами». Он ненавидит лютой ненавистью не только царского чиновника, который насильничает над угнетенным, бесправным народом, но и «культурного» либерала, определяющего линию своего поведения «применительно к подлости»; он всегда готов дать бой подлому ренегату, ознаменовывающему «веховством», похабными виршами, порнографическими повестями и богомольной аллилуйей в честь «святынь красоты» финал великой революции, растоптанной сапогом бравого царского генерала и задущенной политической российской Тьеров. Для него вы-

<sup>1</sup> Цит. выше сборн. «По литер. вопросам», статья «Искусство и Ф. Соллогуб», стр. 26—27.

<sup>2</sup> Это место и дальнейшие цитаты взяты из юбилейной речи Плеханова о Некрасове (см. Соч., т. X, стр. 377—378).

страданные мотивы некрасовской поэзии не рифмованная проза, не жалкая «риторика», а неиссякаемый источник для постоянного подновления его демократических настроений...

Другой — тоже демократ, но демократ с постоянной оглядкой в сторону близкой ему по духу Жиронды. Он из числа тех, что погружаются целиком в искусства, науки и забывают о тех, чьим грубым рукам они обязаны своей житейской карьерой. Великая русская революция сближает его с Милюковым, а буржуазный «Товарищ» становится его излюбленным складочным местом для его политических взглядов, проповедей, прогнозов. Картину битвы истекающего кровью пролетариата с озверелой полициейшиной и пьяной солдатчиной 1905 г. он спокойно созерцает из своего окошка и меланхолически изрекает: «не нужно было братья за оружие». Впоследствии, во время империалистической войны, он опускается до ура-патриотизма, солидаризируясь с самыми циничными оборонцами. Не мудро, что и в области своих литературно-критических высказываний он склонен к чисто теоретическому доктринерству, закрывая глаза на классовое различие либерала и демократа. Не мудро также, что и Некрасова он расценивает прежде всего, как плохого поэта, оскорбляющего утонченный слух эстета, каким считал себя Плеханов, прозаической риторикой и шипящими звуками...

Одним словом, один — тип демократа до мозга костей, пролетарского демократа-большевика, а другой — тип «демократа» с большими оговорками, мелкобуржуазного демократа-меньшевика.

В критических статьях Ольминского читатель встречает ту самую парадоксальность, ту самую тенденцию не считаться с «общепринятыми» взглядами в «хорошем обществе», итти напролом против господствующих в данной, классово-чуждой ему, среде течений, которая является отличительной чертой и памфлетов воинствующего Галерки.

Для примера укажем на его постановку вопроса о том, что именно яв-

ляется характерным в художественном творчестве Чехова. Многие критики склонны были трактовать Чехова, как реалиста, объективно или даже «бесстрастно» отображающего жизнь так, как она есть, — без всякой идеализации и без тени каких бы то ни было прикрас. В противовес этому ходячему мнению о Чехове, Ольминский выдвигает свою трактовку художественного творчества Чехова. «По внешним приемам своего письма, — говорит Луначарский в упомянутой выше статье, — Чехов очень часто казался совершеннейшим реалистом. На самом же деле, как тонко отмечает Ольминский, он был родным братом символистов. Конечно, в начале своей деятельности он писал иногда просто забавные пустячки, но затем он привык подавать публике этот самый, будто бы забавный пустячок таким образом, что вы сразу чувствовали в нем целый символ тех или других граней сумеречной, опустошенной, нелепой жизни 80-х годов». «С другой стороны, — говорится в той же статье, — черта, которую отмечает Ольминский и которая неразрывна с первой, это то, что в общем Чехов вкладывает в свои мнимо-реалистические, на самом деле символические, рассказы какую-то теплоту, какую-то надежду на лучшее будущее, что он доходит иногда до прямых предсказаний предстоящего перелома». И совершенно прав рецензент, говоря, что «работа Ольминского о Чехове служит образчиком того необычайно тонкого подхода, который обязателен для подлинно-марксистского критика по отношению к произведениям искусства»<sup>1</sup>.

Но самое большое внимание в своих критических статьях М. С. Ольминский уделяет любимейшему своему писателю — Щедрину, которого он тщательно изучал, еще сидя в тюрьме, при чем в результате этого изучения явился «Щедринский словарь». Это — не просто большая справочная книга для быстрого нахождения «щедринизмов», особенно импонирующих щедринских словечек, формул, афоризмов, но и великолепная подсобная книга для выявления миро-

<sup>1</sup> «Пролет. револ.», 1926 г., № 6, стр. 237—238.

воззрения гениального сатирика, для изучения многообразных вопросов и проблем, которые вставали перед Щедриным и над разрешением которых он возился.

В Щедрине Ольминский усматривает не только крупнейшего сатирика в истории русской литературы, но и зрелого мыслителя, который в своих взглядах очень часто интуитивно приближается к марксизму, резко расходясь с современным ему народничеством по многим вопросам (например, по вопросу об общине или о роли личности в истории, по взглядам на либералов и по оценке их двурушнической, лицемерно-предательской роли в деле освободительного движения в России и т. д.). Для него Щедрин, со своей политической неприимчивостью, враждебностью к компромиссам, с неуклонной верой в свои демократические идеалы, с его ненавистью к «геенству» капиталистических хищников, с неизменяющим ему реализмом, — казался образцом демократа, посвятившего все силы своего ума и своего таланта борьбе доступными ему средствами за интересы широких обездоленных масс эксплуатируемого и зажатого в тисках полицейского гнета населения. В такого рода оценке Щедрина Ольминский резко расходился с критиками из лагеря либералов и народников, вроде А. Скабичевского, К. Арсеньева, Н. К. Михайловского и даже «марксистскообразного» Евгения Соловьева. Зато взгляды Ольминского одобрял В. И. Ленин и считал очень полезным делом разработку и освещение Ольминским в рабочей прессе исторической роли и значения «старой» демократии и, в частности, Щедрина. Так, например, в письме в редакцию «Правды» от 8 сентября 1912 г. он между прочим пишет по поводу статьи Ольминского о Щедрине: «Пользуюсь случаем, чтобы поздравить т. Витимского (Ольминского. — П. Л.) ...с замечательно удачной статьей в полученной мною сегодня «Правде» (№ 98). Чрезвычайно кстати взята тема, и разработана в краткой, но ясной форме превосходно. Хорошо бы вообще от времени до времени вспоминать, цитировать и растолковывать в

«Правде» Щедрина и других писателей «старой» народнической демократии. Для читателя «Правды» — для 25.000 — это было бы уместно, интересно, да и получилось бы освещение теперешних вопросов рабочей демократии с иной стороны, иным голосом»<sup>1</sup>.

Неудивительно, что и в качестве щедриноведа Ольминский оказался «неприемлемым», чужим, инородным писателем в среде представителей антимарксистской дореволюционной печати.

Та же среда встретила заговором молчания и замечательную книжку Ольминского «Свобода печати», выпущенную им в 1903 г. Да и не мудрено. В этой книжке, по отзыву А. В. Луначарского, «с замечательным блеском и глубокой доказательностью выясняет Ольминский всю пустоту либерального трезвона о свободе печати». Все буржуазные историки литературы в один голос кричали о полярной противоположности двух начал в истории развития русской общественной мысли, — с одной стороны, литераторов и шедшего за ними образованного общества, а с другой — цензуры. На ряде живых примеров марксист Ольминский разрушает эту дуалистическую легенду и доказывает, что даже те прозаики и поэты, которые на судьбе собственных произведений испытывали гнет царской цензуры, отнюдь не отрицали «благодетельной» роли цензуры вообще и, оставаясь идеологами господствующих классов, даже часто натравливали цензурное ведомство на инакомыслящих своих собратьев по профессии.

У В. В. Воровского есть много общего с Ольминским в литературно-критических выступлениях, но есть и отличия. Общее — это их большевистское мировоззрение, их политическая школа, которую они совместно прошли, будучи соратниками Ленина, его помощниками в партийно-литературной работе и его верными учениками. Но различие индивидуальностей обоих большевистских представителей литературной было не незначительно. У

<sup>1</sup> Ленин. Соч.,

в его критических работах чувствуется больше темперамента, непосредственности, эмоциональности и даже некоторой плебейской грубоватости. Его ирония или насмешка по адресу идейного противника часто переходит за пределы простодушного, веселого юмора и звучит, как удар хлыста. Его ненависть к классовому противнику, против идеологии которого он ополчается, выявляется в откровенных формах, столь хорошо знакомых нам по политическим памфлетам Галерки. Зато его критика проигрывает с точки зрения своей теоретической обоснованности и глубины своего анализа. Воровский же не любит выступать в роли «драчунишки» и всегда нащупывает подходящую теоретическую позицию, которая обеспечила бы ему успех в стрельбе по противнику.

Приведем пример в подтверждение сказанного. Ольминский прямо произносит свой приговор над Арцыбашевым в своей коротенькой заметке о подобных героях безвременья: «Теперь Арцыбашев разоблачил себя. Но что нужно думать о писателе, который проник во враждебную ему среду (социал-демократов. — П. Л.), скрывая целые годы свою личину, ради того, чтобы устроить свою карьеру»<sup>1</sup>. И — никаких при этом объяснений, как и почему эти беллетристы «дошли до жизни такой». Суровый критик просто объявил его провокатором и ренегатом, не желая входить в дальнейшие рассуждения.

Воровский поступает не так. По поводу Арцыбашева и его наиболее одиозного романа «Санин» он ставит перед собой задачу затронуть большую проблему — проследить весь путь развития интеллигенции от Базарова до Санина, этих литературных представителей двух различных типов «нигилизма», появление которых в жизни русского общества разделено полустолетием. Он только в подстрочном примечании как бы оправдывается: «Санина и его автора много — и вполне заслуженно — ругали. Однако, полагая, что ему уже отпущена вся причитающаяся порция негодования, я рассматриваю в

своей статье этот роман совершенно объективно, допуская, что автор — в рамках указываемых мною ограничений — использовал реальные черты происходящего на наших глазах движения». И, сделав эту несколько насмешливую оговорку, он распускает паруса на своей углой лодочке и смело пускается в океан историко-литературных справок, остроумнейших сопоставлений и социально-психологического анализа общественных формаций в их последовательной исторической смене.

Воровский является одним из крупнейших марксистских искусствоведов, который при этом, в отличие от Плеханова, не беспрепятственно создавал свою эстетическую теорию, как некоторую алгебру искусствоведения, теоремы которой он, Плеханов, не всегда умел успешно приложить к рассмотрению того или иного конкретного объекта своей критики, — а в связи со своей работой в качестве литературного критика. Очень хорошо характеризует Фриче искусствоведческие взгляды Воровского:

«Как марксист, т. В. В. Воровский прекрасно понимал, что центральная, в области исследования литературных явлений, задача состоит в том, чтобы показать, как созданный писателем художественный мир со всеми его особенностями, со всеми его подробностями вырастает из недр творческой психики, социально predeterminedной, или, иначе, в том, чтобы показать, как свойственные писателю как представителю известной социальной группы черты predeterminedляют все его творчество, начиная от тем и образов и кончая его литературной манерой, его стилем».

Сам автор так характеризует основные идеи своих эстетических принципов: «Творчество писателя определяется всегда, с одной стороны, общественной деятельностью, служащей для него материалом, а с другой — его психикой, являющейся также продуктом общественных условий»... «Как цветное стекло пропускает только лучи определенной окраски, так и авторская психика пропускает только соответствующие ей понятия и образы».

Эти принципы, как компас в руках

<sup>1</sup> Цит. сб. «По литературным вопросам», стр. 38.

путешественника, помогают Воровскому правильно ориентироваться в оценке того или иного литературного явления, того или иного писателя, оставившего свой след в литературе или в политической жизни. Возьмем для примера его очерк «Был ли Герцен социалистом?». Прежде всего, он устанавливает такую исходную точку зрения: «Характеристика общественного деятеля не может основываться на его словах и мнениях, а должна определяться той общественной ролью, которую играло данное лицо, и тем общественным, т.-е. объективно-историческим, значением, которое имела его деятельность». Руководствуясь этим критерием, он ставит перед собой три вопроса: а) как отразились социалистические учения на общественной деятельности Герцена, иначе говоря, в какой мере «социалистическое» слово становилось у него «делом»; б) как относился Герцен к тем течениям, организациям и отдельным лицам, социалистичность которых ни в ком не возбуждает сомнений; в) какие исторические события полнее всего и глубже всего захватили Герцена, т.-е. с какой полосой общественного движения он теснее всего связал свое имя?»

Отвечая в последовательном порядке на эти три вопроса, Воровский производит тщательный осмотр всех фактов, характеризующих личную жизнь и идеологическое самоопределение Герцена в данной исторической обстановке, и в результате этого детального анализа приходит к следующим выводам: 1) Герценовское увлечение утопическим социализмом Сен-Симона имело чисто платонический характер. 2) Программа Герцена, в связи с поднятой кампанией по вопросу об освобождении крестьян, являлась программой прогрессивного дворянства. 3) Первые социалисты не из бар, а из разночинской демократии (Чернышевский, Добролюбов и др.) были встречены Герценом враждебно, как «желчевики», вносящие в «обновляющуюся Россию» какую-то «тлетворную струю». 4) Герцен в значительной мере стоял на точке зрения дворянских идеологов, питающих ненависть к буржуазии, в которой

они чувствуют своего могильщика; отсюда—своеобразное барское народничество. 5) Не считая Герцена социалистом, Воровский отнюдь не умаляет личности Герцена как буржуазного революционера. «Как идеолог и провозвестник исторического переворота, происшедшего в России во второй половине XIX века, он (Герцен) является самым крупным, самым блестящим, самым замечательным деятелем эпохи. Мы имеем больше основания преклоняться пред Герценом — буржуазным революционером, чем перед Герценом — псевдо-социалистом»<sup>1</sup>.

Заметим, кстати, что эти выводы не расходятся и с оценкой Ленина, данной им в статье «Памяти Герцена» (Соч., т. XV, стр. 464—469). И Ленин признает, что «Герцен принадлежал к поколению дворянских, помещичьих революционеров первой половины прошлого века», что в учении Герцена «нет ни г р а н а социализма», что, будучи оторван от России и принадлежа к барской среде, он «не видел революционно народа и не мог верить в него» и что отсюда проистекали «его либеральная апелляция к «верхам» и «его бесчисленные слащавые письма в «Колоколе» к Александру II Вешателю, которых нельзя теперь читать без отвращения». Ленин при этом не забывает оттенить, что «Чернышевский, Добролюбов, Серно-Соловьевич, представлявшие новое поколение революционеров-разночинцев, были тысячу раз правы, когда упрекали Герцена за эти отступления».

На иной позиции в аналогичном вопросе стоит Плеханов. В своих статьях о Герцене он исходит в оценке социально-политического лица Герцена не из рассмотрения его «дел», а его «слов», хотя он и утверждает, что дело не в том, кем человек родится, а в том, «что он делает, как он ведет себя в сознательную пору своей жизни»<sup>2</sup>. Поэтому он считает Герцена «не и с п р а в и м ы м социалистом» — в утопическом смысле этого слова<sup>3</sup>; при этом он уве-

<sup>1</sup> В. В. Воровский. Соч., том II, стр. 101—111.

<sup>2</sup> Г. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 454.

<sup>3</sup> Там же, стр. 337.

ряет, что «Герцен явится в ней (в истории международной социалистической мысли), как один из наиболее вдумчивых и блестящих представителей той переходной эпохи, когда социализм стремился сделаться «из утопии наукой»<sup>1</sup>.

Плеханов склонен думать, что Герцен «приблизился к точке зрения научного социализма»...<sup>2</sup>. Одним словом, Плеханов отыскивает у Герцена не один «гран» социализма, и кто в этом случае прав, большевик Воровский или меньшевик Плеханов, — пусть об этом судит сам читатель.

Мы уже отметили выше то обстоятельство, что Плеханов игнорирует и даже как бы избегает затрагивать скользкие для него темы с оценкой русской художественной литературы новейшего времени. Он ни одним словом не упоминает ни о Леониде Андрееве, ни об Арцыбашеве, ни о ряде других писателей, которые были в свое время «властителями дум» переменчивой в своих настроениях русской интеллигенции. И даже М. Горькому, которого он глубоко уважает (судя по письмам к Горькому, опубликованным в XXIV томе его сочинений), он удосуживается посвятить одну лишь статейку — «К психологии рабочего движения», по поводу драмы Горького «Враги».

Когда читаешь этот очерк маститого меньшевика, то все более и более настаиваешь: к чему он клонит? На какой предмет плетет кружева своей хитроумной мысли? «Революционеры из буржуазной среды, — говорится в статье, на 268-й странице, — очень любят обманывать себя преувеличенными надеждами. Эти надежды нужны им, как воздух... Долгая, кропотливая работа систематического воздействия на массы представляется им прямо скучной... И пока пролетарское движение подчиняется их влиянию, оно само отчасти заражается их романтическим оптимизмом... Но... неосновательный оптимизм поистине представляет собою проклятие почти всякого молодого рабо-

чего движения, подпадающего под влияние интеллигенции. Им объясняется значительная часть неудач, испытываемых этим движением»...

Наконец, все дело очень просто объясняется. Свои мудрые мысли à la Заратустра Плеханов изрекает не спроста, не в пространство, а по очень определенному адресу: «Интересно, что Горький, писавший в «Новой жизни», сам, как видно, попал с этой стороны под сильнейшее влияние интеллигенции. Тактика «большевиков» кажется ему, — как показалась бы она и его Татьяне Луговой, — наиболее «страстной» и «героичной». Будем надеяться, что его пролетарский инстинкт рано или поздно обнаружит перед ним несостоятельность тех тактических приемов, которые Энгельс еще в начале пятидесятых годов так метко назвал революционной а л х и м и е й».

Так вот оно что! Меньшевистский литературный критик изволил, наконец, отдать дань своего почтительного внимания великому пролетарскому писателю нашей эпохи, чтобы в порыве фракционного задора лишний раз ушипнуть большевиков! Ему хочется пзки и паки бросить в лицо восставшему рабочему классу: «не нужно было браться за оружие!». Вряд ли Горький сказал спасибо своему критику за его «отрезвляющую» статью, зовущую писателя подальше держаться от большевистских «интеллигентов», зовущих пролетариат (не в пример Плеханову, забывающему кстати упомянуть о том, что он не рабочий, а тамбовский дворянин) к «страстной» и «героичной» борьбе с самодержавием.

Зато нет никакого сомнения, что ряд обстоятельных и вдумчивых очерков о Горьком Воровского встречен был великим писателем с большим одобрением.

Литературно-критические работы Ольминского и Воровского пронизаны партийной непримиримостью, большевистской страстностью, глубиной понимания социально-литературных явлений. Они весьма поучительны и для нашей критики; она должна изучить их опыт и продолжить их дело.

<sup>1</sup> Г. Плеханов. Соч., т. XXIII, стр. 445.

<sup>2</sup> Там же, стр. 452.



## БИБЛИОГРАФИЯ

### ВАС. ЛЕБЕДЕВ-КУМАЧ. — «КНИГА ПЕСЕН»

Гос. Изд. «Художественная Литература».  
М., 1938, 204 стр. Тир. 10.000. Ц. 4 р. 75 к.



Стихи В. И. Лебедева-Кумача знают наизусть больше, чем кого-либо другого из современных поэтов; его повсюду распевают, и не только у нас, его знают и за границей; его песни имеют несомненно огромное воспитательное значение. В связи с этим год тому назад поэт был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

В конце книги помещены «Примечания» к песням, где указано, кем написана музыка. Оказывается, из ста стихотворений, включенных в собрание, очень немногие не положены еще на музыку, и почти половина песен написана для звуковых фильмов. Это — характерное явление нашего времени.

В. Лебедев-Кумач печатается давно. Первое его выступление в печати относится еще к 1916 г. Многие годы он работал, главным образом, в области сатирического и юмористического жанра. Здесь он научился легкой и разнообразной строфике.

Необычайный успех встретил Лебедева-Кумача, когда он начал писать песни для звуковых фильмов. Шумному и повсеместному успеху «Веселых ребят» и «Цирка» способствовали, разумеется, и песни Лебедева-Кумача, вставленные в эти фильмы. У поэта были такие могучие распространители и пропагандисты его песен, каких не знали его предшественники, — радио и звуковое кино, особенно кино: радио, как бы часто ни повторяло какую-нибудь песню, еще не в силах сделать ее популярной: если песня не нравится, она легко забудется.

Первое, что надо сказать о песнях Лебедева-Кумача, это то, что они могли быть созданы только в годы второй пятилетки, в годы стахановского движения, тех отважных полетов и тех открытий, которыми ознаменовался подъем народного творчества и производительности во всех областях.

Есть у Лебедева-Кумача несколько песен на тему о славной смерти («У гроба борца», «Прощай, товарищ»). Они проникнуты не столько скорбью, сколько боевым настроением, но они для него не так характер-

ны. В некоторых из «эстрадных» песен, — например, «Орлиное племя», — чувствуются даже перепевы из других поэтов. Настоящая область Лебедева-Кумача, где он чувствует себя полным хозяином, это — веселая, жизнерадостная песня: здесь и песня пионеров, и комсомольцев, и физкультурников, и парашютистов, и лыжников, и туристов, и женской бригады, и «Марш железнодорожников», гордых тем, что «нарком с кочегаром и смазчиком вместе готовы бороться за каждый успех», и «Марш трактористов», называющих тракторы своими «боевыми друзьями», и целая цепь оборонных песен, кажется, от всех видов оружия.

Жизнерадостность всех этих песен не беспредметная, не бездумная, а целеустремленная и боевая. Они дышат пафосом строительства новой жизни и пламенной любовью к нашей родине.

Одной из излюбленных тем Лебедева-Кумача является сама песня. Такие песни о песне, как «Марш веселых ребят», «Ну как не запеть» и «Веселый ветер», принадлежат к наивысшим достижениям его песенного творчества. Песня всегда мыслится только бодрая и веселая. В «Марше веселых ребят» речь идет о значении такой песни в обстановке нашей жизни и нашего строительства:

Нам песня строить и жить помогает,

Она, как друг, и зовет и ведет,

И тот, кто с песней по жизни шагает —

Тот никогда и нигде не пропадет!

Этот припев является основным стержнем всего стихотворения — в остальных куплетах дается уже детализация этой мысли: «Мы покоряем пространство и время... «когда страна быть прикажет герою, у нас героем становится любой», «мы можем петь и смеяться, как дети, среди упорной борьбы и труда».

О причинах появления веселого и песенного настроения говорится в песне, где каждый куплет, кроме одного и кроме припева, начинается словами «Ну как не запеть»:

Ну как не запеть в молодежной стране,

Где работа, как песня, звучит...

И в той, и в другой песне автор обращается к молодежи («Комсомольское племя», «молодежная страна» и т. д.), и та, и другая могли появиться только у нас и в наше время. Казалось бы, что третья песня, «Веселый ветер» из фильма «Дети капитана Гранта», не может иметь отношения к нашей современности; ее тема — обзор возможных тем. Но заключительные строки этой песни о желании «догнать и перегнать отцов» сразу перебрасывают мост к нашей советской действительности; после этого и все стихотворение становится столь же нашим, как и два предыдущих.

Во всех трех случаях, как мы видим, тема песни тесно слетается с темой «Родина», а в двух первых — с темой «Молодость». Родина, молодость, песни — эти три понятия у нашего поэта неотделимы. Одно вытекает из другого, и все связано пафосом строительства. Очень хорошо заявление трактористов:

Наша сила везде поспевает,  
И когда запоет молодежь,  
Вся пшеница кругом подпеваает,  
Подпеваает высокая рожь.

Советские женщины (в «Марше женской бригады») поют о том, что и о них будут петь звонкие пеони:

А ну-ка, девушки! А ну, красавицы!  
Пускай поет о нас страна!  
И звонкой песнью пускай прославятся  
Среди героев и наши имена.

«Родина» характеризуется как необ'ятная, вольная, могучая и певучая.

Запевай веселей, запевала:  
Эту песенку новых бойцов,  
Чтобы родина вся подпевала  
С четырех необ'ятных концов.

«Человек проходит, как хозяин необ'ятной родины своей».

Большая страна,  
Родная страна,  
От моря до моря легла ты!  
Куда ни пойдешь,  
Везде молодежь  
И все от рожденья крылаты.

Эти стихи доходчивы, они сразу запоминаются и сами собой напеваются даже без помощи композитора.

Все лучшие «песни» и «марши» Лебедева-Кумача можно было бы назвать «одами» и «гимнами» нашей молодой Социалистической родины. У греков слово «ода» означало — «песня», она «воспламеняла бойца на битву». В царской России оды уже не пелись, а читались, потом их дады и писать перестали. У нас боевая роль перешла к «песням». Расцвет песен всегда связан с революционным подъемом (Бёрнс, Беранже). Теперь у нас в стране по-

бедившего социализма оде возвращается ее основное значение песни. Наши оды — наши песни. Наши песни — наши оды. И, конечно, они — для пения, а не для чтения.

С точки зрения «книжных» стихов, у Лебедева-Кумача найдется немало недочетов: он не поражает ни новизной эпитетов и рифм, ни оригинальностью метафор. Такие выражения, как «седой туман», «золотые лучи солнца», такие реминисценции, как «не стаи вороньи слетались» или «ты сном беспорядком навеки уснул... и горы почетный несут карачи», несколько не обогащают нашей поэтической речи. Не всегда удачны и сравнения.

Если Волга разольется,  
Трудно Волгу переплыть,  
Если милый не смеется,  
Трудно милого любить.

Строки эти эмоциональны и доходчивы, но сравнение не очень удачно: разлившуюся Волгу скорее можно сблизить с расхидившимся милым, которого трудно унять, чем с несмеющимся.

Есть песни, текст которых без пения совершенно пропадает: так незначительно их содержание. В песне «Голубой пароход» читаем такие строки:

Кто-то машет рукой  
Над рекой.  
Знаю я, что это ты.  
Я на пристани стою  
И в руке моей цветы.

Эту вещь не стоило включать в книгу.

В пении эти недостатки значительно сглаживаются. Поэтика песен совсем иная, чем поэтика стихов для чтения.

Эту поэтику В. Лебедев-Кумач постиг в совершенстве. В предисловии к своей книге он говорит, что старался сохранить «все особенности песенного жанра — рефрены, повторы отдельных слов и т. д. — то-есть все то, что отличает песню от всех других видов поэтического творчества».

Кроме рефренов и повторов, для массовой песни нужно, конечно, еще многое другое, о чем Лебедев-Кумач не упоминает, но чем неизменно насыщено его песенное творчество: нужна предельная ясность мысли, простота, насыщенность.

Не все песни Лебедева-Кумача заслуживают одинакового внимания. Из семи отделов его книги два — эстрадные песни и песни шуточные и сатирические — значительно слабее прочих; но и в этих отделах есть прекрасные отдельные песни: среди первых — «В двадцатом году», среди шуточных — популярная «Песенка о капитане».

## АНТонио Руис-Вилаплана. — «Я СВИДЕТЕЛЬСТВУЮ».

★

«Я свидетельствую» («Дой фе») Антонио Руис-Вилапланы — самая знаменитая из всех книг, вышедших за два года гражданской войны в Испании. О ней существует уже целая литература. На нее ссылались на ноябрьском (13—16 ноября 1937 г.) пленуме ЦК компартии Испании Хосе Диас. Ее историческое значение признано на территории народной Испанской республики всеми.

В чем же заключаются достоинства этой книги? Вот как характеризовал ее в своем ноябрьском выступлении Хосе Диас:

«Мы имеем много данных о терроре в зоне мятежников: письма находящихся там рабочих, показания беженцев, информация иностранной прессы. Недавно издана книга «Дой фе». Автор книги — секретарь бургосского суда, правоверный католик, которого никак нельзя заподозрить в сочувствии коммунизму. Он рассказывает о чудовищных убийствах рабочих и антифашистов, совершаемых жандармами и фашистами. Они убивают без суда, лишь по подозрению в том, что их жертвы являются нефашистами.

Только фаalangисты имеют право издавать газеты. Никто не смеет выразить даже малейшее недовольство. Рабочие, крестьяне, мелкая буржуазия, торговцы, мелкие ремесленники, интеллигенция.—все слон трудящихся стоят под гнетом фашистского террора.

Территория, находящаяся под властью Франко, отдана завоевателям и превращена ею в иностранную колонию<sup>1</sup>.

Достоинство книги Антонио Руис-Вилапланы — в ее правдивости. Хосе Диас совершенно правильно охарактеризовал ее автором словами «правоверный католик». Вилаплана настроен далеко не революционно. В лучшем случае его можно отнести к умеренно-передовому слою испанской интеллигенции. Он религиозен, по политическим воззрениям — националист. Недаром же в своей книге он рисует идеальный портрет вождя испанской фааланги Антонио Примо де-Ривера. За его спиной десятилетия службы в различных испанских канцеляриях и судах. Словом, Вилаплана — средний испанский интеллигент чиновничьего склада, со всеми его недостатками.

Но автор — человек умный и честный, горячий патриот. Оказавшись в силу случайности на территории, захваченной мятежниками в первые же дни войны, он сперва поверил в необходимость мятежа и признал новое правительство, но не покинул своей должности. События, однако, не замедлили нанести жестокий удар его оптимизму. Вся деятельность его на службе у мятежников свелась к реги-

страции чудовищных убийств и преступлений, невольным свидетелем которых он являлся.

От сомнений Вилаплана перешел к разочарованию, а затем — к отчаянию. Ему — испанскому патриоту — было нестерпимо видеть, как его родина волей преступных и бездарных генералов превращена из цветущей страны в окровавленную колонию иностранного фашизма, в базу для новых войн. По книге Вилапланы мы можем проследить эту эволюцию в мировоззрении автора. Книга в этом смысле является ценнейшим психологическим документом, весьма важным для изучения истории испанской интеллигенции в эпоху гражданской войны.

По своему содержанию книга делится на две части: первую («Факты») составляют воспоминания автора о годичном пребывании на территории, оккупированной мятежниками (главным образом, в Бургосе), и об его работе в следственных органах бургосского правительства. Это — длинный мартиролог, описание убийств и всякого рода бесчинств, творившихся черной властью испанских генералов и их иностранных хозяев.

Вторую часть («Националистическая Испания») составляют главы, в которых автор дает характеристику государственному строю, установленному мятежниками в захваченной ими зоне. Здесь он рисует фигуры генералов Франко и Кейпо де-Льяно, говорит о бургосском правительстве, об юстиции, о захвате частной собственности, о духовенстве, военных, о фашистских милициях, о населении («народ»), об иностранной интервенции. Книга заканчивается красноречивым эпилогом: автор, покидая территорию, оккупированную мятежниками, обращается к своим детям; он думает, что, когда они вырастут, его оправдают.

Тупость, бездарность, полное отсутствие моральных начал, алчность, коварство, — вот те черты, которыми Вилаплана характеризует мятежную власть.

Но книга его свидетельствует и о другом. В зоне, занятой мятежниками, наблюдается рост революционных настроений. Приводимые Вилапланой факты подтверждают слова Хосе Диаса в его ноябрьской речи:

«Несмотря на осуществляемый ими террор, мятежники и интервенты наталкиваются на большие затруднения. Угнетенные и поработанные трудящиеся массы оказывают по мере своих сил сопротивление режиму Франко: на фабриках, на железных дорогах, на полях саботируются мероприятия правительства, так называемой бургосской хунты. Многие знают, что часто фашистские бомбы не разрываются: это — дело рук рабочих, наших братьев, оставшихся в зоне мятежников. Там взрываются мосты, происходят крушения поездов, взлетают в воздух пороховые склады. Все это делают рабочие и крестьяне, нередко платя за

<sup>1</sup> Сокращенная стенограмма речи на ноябрьском пленуме — «Коммунистический Интернационал», 1937 г., № 12, стр. 64.

это своей жизнью. В политической области антагонизм между «испанской фалангой» и традиционалистами начал принимать кровавый характер. Банды тех и других расстреливают друг друга в Памлоне, Сарагосе и даже на фронтах. Между иностранными фашистскими завоевателями тоже возникают противоречия, неизбежные противоречия империализма; правда, немцы и итальянцы объединились для захвата Испании, но каждый из них украдкой старается урвать кусок побольше.

При такой системе, полной противоречий и антагонизма, невозможно построить прочное и крепкое государство, невозможно наладить гражданскую жизнь цивилизованной страны, невозможно ни благосостояние трудящихся, ни развитие сил прогресса. Если бы Испания была обречена на этот режим, то она превратилась бы в нищую и разрушенную страну, постепенно впала бы в варварство.

Ни один испанец, действительно любящий свою страну, желающий видеть ее независимой и процветающей, не может оставаться равнодушным перед перспективой разрушения и варварства, которые фашизм готовит нашей

стране. В зоне, занятой мятежниками, живут тысячи честных испанцев, которые видят и чувствуют на себе весь ужас этого положения. Они должны помочь нам всеми средствами и силами установить в Испании режим свободы, демократии, благосостояния, прогресса и мира, которого желает весь испанский народ<sup>1</sup>.

Именно к числу таких честных испанцев и принадлежит Антонио Руис-Вилапана. Он не писатель-профессионал, а между тем его книга, вышедшая в Париже в 1937 г., читается с захватывающим интересом и навсегда запоминается читателем. Это — грозный обвинительный акт против мирового фашизма, против его убийств и преступлений, против уничтожения им великой и прекрасной испанской культуры.

Гослитиздат и Библиотека Всемирной Литературы хорошо делают, выпуская эту интересную книгу Виладельны<sup>2</sup>. Среди многих книг, написанных о гражданской войне в Испании, она занимает свое особое почетное место. Ее должен знать советский читатель.

*Ф. В. Кельин*

### ЖОЗЕФИНА ДЖОНСОН. — «ТЕПЕРЬ В НОЯБРЕ».

Перевод с английского. Э. Бер.

М. Изд. Жургазоб'единение. 1938 г. 158 стр. Тираж 25 000. Ц. 1 р.  
М.-Л. Гослитиздат. 1938. 165 стр. Тираж 10 000. Ц. 2 р. 75 к.

★

Имя Жозефины Джонсон, молодой американской писательницы (род. в 1910 г.), уже в течение ряда лет хорошо известно американскому читателю. В 1935 году ей была присуждена высшая в США литературная премия — так называемая премия Пулицера — за рецензируемый здесь роман «Теперь в ноябре»; в 1936 году она издала сборник рассказов; а в 1937 году избрала темой своей книги «Джорданстаун» жизнь небольшого промышленного города и его обитателей-рабочих, создающих свою профессиональную организацию. Автор — член Лиги американских писателей; она неоднократно выступала в печати с горячим призывом к борьбе против фашистской угрозы. Книги ее пользуются популярностью и среди рабочих читателей, ценящих неподдельную искренность писательницы, ее любовь ко всем тем, чье человеческое достоинство поругано и затоптано в грязь волчьими законами капитализма. Джонсон на своем опыте испытала, какова «свобода» писательского творчества в условиях капиталистической страны: глубоко интересуюсь проблемой положения фермеров, она предприняла поездку в штат Арканзас для изучения условий жизни местных фермеров-издольщиков; за это писательница была арестована властями, опасавшимися, что собранный ею материал, к тому же воплощенный в художественном произведении, может прозвучать как грозное обвинение по адресу существующего строя.

Ознакомив ныне советского читателя с романом Джонсон «Теперь в ноябре», наши издательства поступили вполне целесообразно. Это — искренняя, правдивая книга, свидетельствующая о несомненном даровании автора.

Судя по всему, роман, в частности образ девушки Маргет, от лица которой ведется повествование, в какой-то мере содержит автобиографические черты. Число действующих лиц его весьма ограничено. Перед нами не широкое полотно с изображением жизни народных масс, их борьбы, — это полное лирических отступлений, написанное в мягких тонах повествование о распаде и разорении одной фермерской семьи, заброшенной в глухой сельскохозяйственный район, лежащий в стороне от большой дороги, оторванный от бурной, активной жизни больших городов. Но даже в эту глушь, прекрасную своими красотами природы, проникает тлетворное, всеразрушающее дыхание капиталистического мира; в итоге — смерть, разрушение, катастрофа.

Три девушки — сестры Кэррин, Мэрль и Маргет, их отец — старый фермер Арнольд Гольдмарн, энергичная и добродушная жена его Вилла, батрак Грант, бегло очерченные фи-

<sup>1</sup> Сокращенная стенограмма речи на ноябрьском пленуме. — «Коммунистический Интернационал», 1937 г., № 12, стр. 65.

<sup>2</sup> Ряд глав из нее появился также в № 4 «Знамени» за текущий год.

гурь соседей, негра Рамзай и семьи Ратмен, — вот, по существу, все персонажи книги. Каждый из них наделяен своими, индивидуальными чертами, обрисован с большой наблюдательностью и тонкостью психологического анализа. Уже с первых страниц читатель проникается интересом к их судьбе, с чувством жалости и дружеского участия следит он за переживаниями молодых девушек с их трагически складывающейся личной судьбой, за тщетными попытками этого трудолюбивого фермерского семейства предотвратить надвигающуюся катастрофу. Атмосфера этой напряженности, ожидания, страха перед неопределенным будущим, ощущение неуверенности и неустойчивости хорошо переданы в книге; и когда в конце ее разражается ожидаемая всеми катастрофа, читатель подготовлен к ней всем предыдущим ходом изложения.

Ферма, ее хозяйство — это последнее убежище, последний оплот старого фермера Гольдмарна и его семьи. Придя на эту ферму, они «покинули мир, лживый насквозь, смятенный и тающий угрозой самому себе, и пришли сюда, в другой, не менее жестокий и в такой же степени готовый предать человека или вышвырнуть его вон».

Каторжный, нечеловеческий труд с утра до позднего вечера поглощает силы не только старого фермера и работающего у него (за часть урожая и пищу) Гранта, но и всех членов семьи; однако он не позволяет все же избавиться от закладной, от гнетущих долгов: страх перед ними проходит через все мысли и поступки персонажей книги.

Непосильный труд, бережливость, экономия не спасают семьи Гольдмарн. Засуха довершает ее разорение; вспыхивающий лесной пожар подбирается к ее дому. Борясь с огнем, гибнет от ожогов мать; вслед за этим кончается самоубийством старшая из сестер — Кэррин, изуродованная ненормальными условиями жизни, не видящая выхода из тупика. Под этими ударами разорившийся Гольдмарн превращается в жалкого, беспомощного старика, которому предстоит доживать свои дни в одиночестве и нищете.

Из всей семьи могут смотреть навстречу будущему лишь Маргет и младшая сестра ее Мэрль. Они, как и Кэррин, одаренные, способ-

ные девушки, не знают, однако, ни радости свободного труда, ни радости в личной жизни. Но если Маргет, не жалуясь (по крайней мере во всеуслышание), молча переносит тяготы жизни, то Мэрль, видимо, склонна к активному выражению своего протеста: «Я умею ненавидеть людей, жару... и вот таких, как вы, которые стоят в стороне и говорят, что не стоит возмущаться. Я умею ненавидеть все, что вызывает ненависть!» — восклицает она (стр. 129).

Но это чувство ненависти, этот социальный протест еще не осознан, не заострен против вполне определенных причин, порождающих нищету, разорение, самоубийства. Сможет ли она подняться до последовательной непримиримой борьбы с этими причинами, сможет ли стать на путь этой борьбы сама Маргет — на эти вопросы прямого ответа книга не дает. Впрочем, попытку такого ответа мы можем увидеть в следующих словах Маргет на одной из заключительных страниц книги: «Нельзя жить так оторванно от других людей. Даже отец начинает это понимать, с гневом и болью соглашается на это позднее признание. Мы можем идти вперед: путь достаточно ясен. Но побоям этой дороги такие крутые откосы и такая глубокая пыль на ней»...

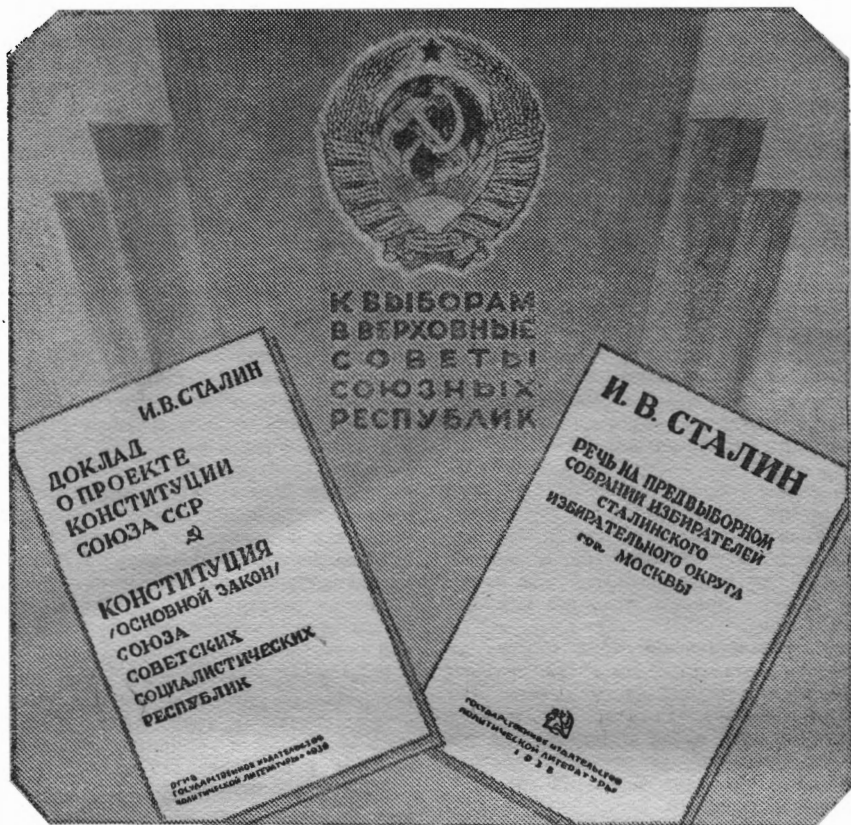
При чтении книги сразу же бросаются в глаза любовь автора к природе, умение видеть и чувствовать ее красоту, так дисгармонирующую с ужасом и уродливостью человеческих отношений при капитализме.

Нельзя не отметить, что основное настроение придают книге все же не мотивы борьбы и протеста, звучащие несколько приглушенно, а мотивы грусти, тоски, страха. Впечатление от романа ослабляется многочисленными отступлениями, не всегда оправдываемыми абстрактными размышлениями Маргет. Некоторые из них говорят о наблюдательности автора, иные же кажутся неуместными (например: «что такое в сущности душевное здоровье, как неспособность подавлять в себе безумие?»...). Но при всем том небольшая книга Джонсон говорит о ее творческих возможностях и, как один из этапов ее литературного пути, заслуживает несомненного внимания.

*Вл. Рубин*

Редколлегия: Ф. В. Гладков.  
Л. М. Леонов.  
А. Г. Малышкин.  
В. П. Ставский.

Ответственный редактор В. П. Ставский.



ТРЕБУЙТЕ ЭТИ КНИГИ ВО ВСЕХ КНИЖНЫХ МАГАЗИНАХ И  
КИОСКАХ КОГИЗ'а, СОЮЗПЕЧАТИ и ЛАВКАХ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

КОГИЗ

ПОЛИТКНИГА



## «НОТЫ-ПОЧТОЙ» МОГИЗ'А

МОСКВА, 31. Неглинная 14/нм

Высылает наложенным платежом, задаток не требуется

КНИГИ ПО МУЗЫКЕ

- РОМЭН РОЛЛАН. «Музыканты прошлых дней», перев. Ю. Вейсберг. В переплете. Ц. 8 р.  
 ЧАЙКОВСКИЙ, П. И. Переписка с Юргенсоном П. И. Письма 1877—1883 гг. В переплете. Ц. 17 р.  
 ЧАЙКОВСКИЙ, П. И. Переписка с фон-Мекк Н. Ф. Письма 1882—1890 гг., том III. В переплете. Ц. 17 р.  
 ЧАЙКОВСКИЙ, П. И. «Тиковая дама». Сборник статей к 45-летию первой постановки. Ц. 5 р.  
 ПЕРЕПИСКА А. Н. СКРЯБИНА и М. П. БЕЛЯЕВА. Ц. 2 р.

КЛАВИРЫ ОПЕР С ПЕНИЕМ

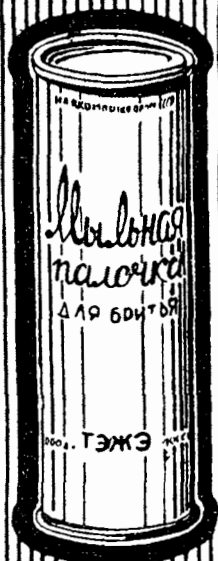
- МАДАМ БЕТТЕРФЛЕЙ (Чио-Чио-Сан), муз. Д. Пуччини. Ц. 27 р.  
 КНЯЗЬ ИГОРЬ, муз. А. Бородина. Ц. 25 р.  
 ЗОЛОТОЙ ПЕТУШОК, муз. Н. Римского-Корсакова. Ц. 13 р.  
 МАЙСКАЯ НОЧЬ, муз. Н. Римского-Корсакова. Ц. 17 р.  
 МОЦАРТ и САЛЬЕРИ, муз. Н. Римского-Корсакова. Ц. 6 р. 50 к.

ПЕРЕСЫЛКА ЗА СЧЕТ ЗАКАЗЧИКА.

ТРЕБУЙТЕ КАТАЛОГИ

НАРКОМПИЩЕПРОМ СССР  
ГЛАВПАРФЮМЕР

ТЭЖЭ



МЫЛЬНАЯ  
ПАЛОЧКА  
ДЛЯ  
БРИТЬЯ

ЛУЧШЕЕ ОСВЕЖАЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО

ТРОЙНОЙ  
ОДЕКОЛОН №3



Цена 3 руб.

# ДЕТСТВО Сорьского

Н О В Ы Й  
З В У К О В О Й  
Х У Д О Ж Е Ш Т В Е Н Н Ы Й  
Ф И Л Ь М

★ ★ ★

ПРОИЗВОДСТВО  
КИНО - СТУДИИ  
„СОЮЗДЕТФИЛЬМ“



Сценарий И. А. ГРУЗДЕВА и М. С. ДОНСКОГО.

Постановка Марка ДОНСКОГО.

Операторы: П. В. ЕРМОЛОВ.

★ Звукооператор Н. ОЗОРНОВ.

И. Ф. МАЛОВ.

★ Ст. ассистент Р. Я. БЕРЕНШТЕЙН.

Композитор Лев ШВАРЦ.

★ Ассистент Э. И. ФАЙК.

В ГЛАВНЫХ РОЛЯХ:

Народная артистка Республики орденосеица В. О. Массалитинова,  
М. К. Трояновский, заслуж. арт. Республики Е. Г. Алексеева,  
Алеша Лярский, Д. Л. Сегал, Игорь Смирнов и др.

**СМОТРИТЕ И СЛУШАЙТЕ НА ЭКРАНАХ СОЮЗА ССР**